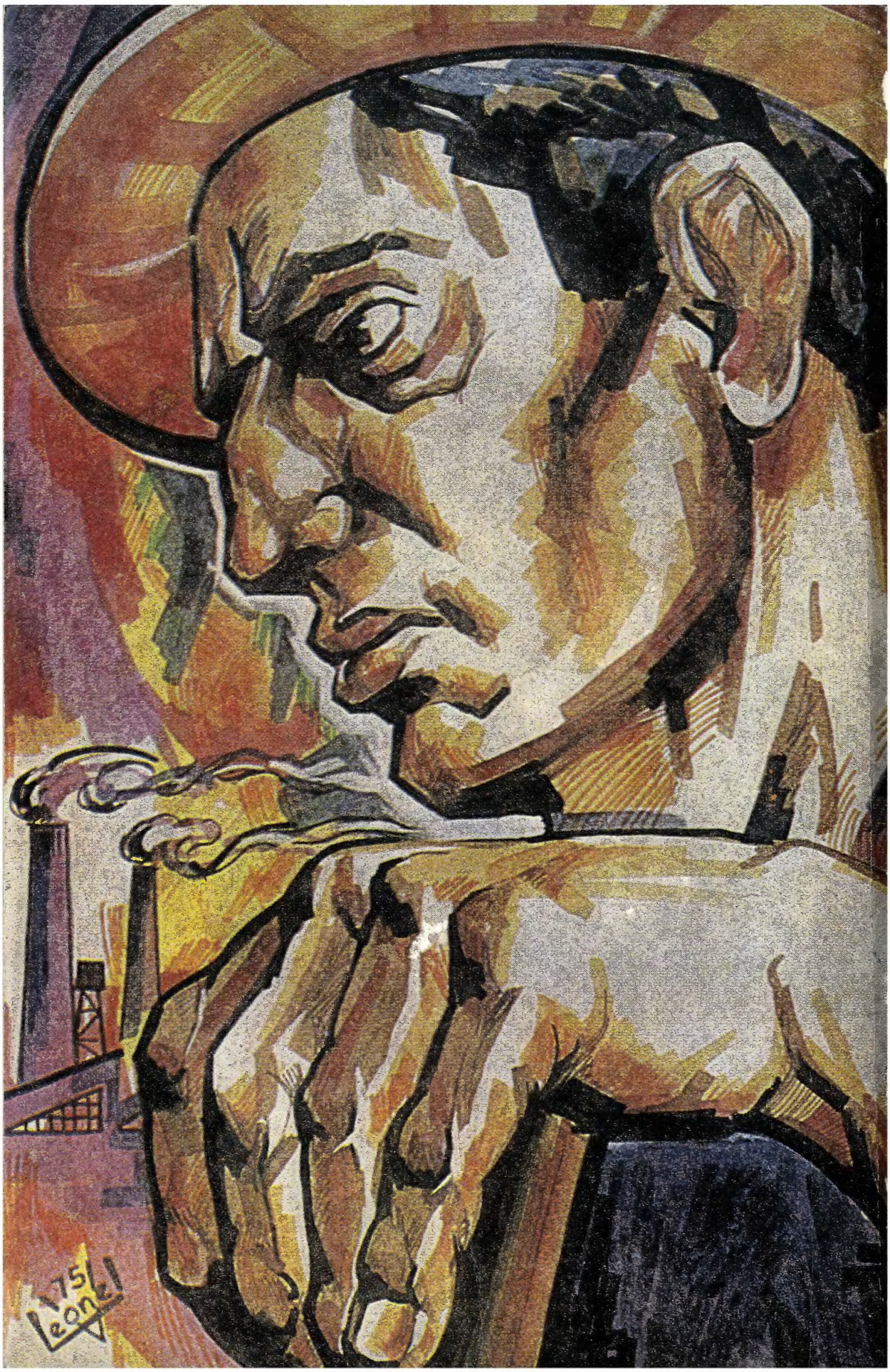
2.1976

Иностранная литература


'75
Leonel

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

Содержание

2 ФЕВРАЛЬ 1976

ХОАКИН ГУТЬЕРРЕС — Умрем, Федерико?.. *(Роман. Перевод с испанского Юрия Павлова)* 4

Молодые поэты Великобритании

Д. М. ТОМАС. ДУГЛАС ДАНН. ШЕЙМАС ХИНИ. БРАЙЕН ПЭТТЕН. Б. МАК-СУИНИ. ГЛИН ХЬЮЗ *(Перевод с английского Е. Витковского, В. Топорова, А. Кистяковского, Я. Берлина, И. Левидовой, Г. Симановича)* 108

ЭМИЛ МАНОВ — Сын директора *(Роман. Окончание. Перевод с болгарского Алексея Собковича)* 118

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ — Стихи *(Перевод с урду Г. Плисецкого)* 161

ФРАНЦ-ЙОЗЕФ ДЕГЕНХАРДТ — Бикфордов шнур *(Роман. Окончание. Авторизованный перевод с немецкого И. Зильбермана и В. Котелкина)* 164

Критика

Ю. БОГДАНОВ — Момент самосознания в словацкой прозе 195

К. ЯЦКОВСКАЯ — Монгольский писатель Лодонгийн Тудэв 204

Возвращаясь к напечатанному

Н. ПАВЛОВА — Забота и надежда—человек 210

Культура и современность

Заметки на полях

Д. Александров — Личность — общество — литература. П. С.— Эпопея незабываемых 215

Публицистика

МАДЛЕН РИФФО — Больница как она есть *(Фрагменты книги. Перевод с французского Тамары Ивановой. Предисловие С. Зыкова)* 223

Наши гости

М. САЛГАНИК — Связь времен (В редакции «Иностранной литературы» — пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз) 255

Среди книг

Издано в СССР

В. Тейтельбойм — Трагедия больше не должна повториться. Юрий Нагибин — Покоя нет... Кирилл Ковальджи — Простор и теснота жанра. Г. Богемский — Феномен Павезе 259

Издано за рубежом

М. Ульрих — Имре Добози рассказывает. Павел Грушко — Элисео Дйего: время, ставшее словом. Н. П. «Скройся, вещь!» 266

Из месяца в месяц 272

Авторы этого номера 286

На обложке: эскиз к стенной росписи испанского художника ХОСЕ РЕНАУ.

На второй и третьей страницах обложки: работы перуанского художника ЛЕОНЕЛЯ.

ЛЕОНЕЛЬ *(Перу).* Рабочий.

ХОАКИН ГУТЬЕРРЕС

Умрем, Федерико?..

РОМАН

Перевод с испанского ЮРИЯ ПАВЛОВА

I

Федерико зашел к Колачо [1], когда тот предавался сиесте. Старый холостяк в одних трусах дремал в гамаке — жидкие волоски на его груди слиплись от пота,— с тихим рокотом крутил над ним лопасти вентилятор. Окна аптекарь оставил раскрытыми настежь, и один глаз его был не столько прищурен, сколько приоткрыт — это выдавало едва заметное отражение света меж веками,— видимо, до того, как погрузиться в сон, аптекарь следил за сеньорой Менчей, которая на балконе дома напротив что-то вязала, хотя все ее внимание было приковано к чему-то иному, и это иное ее выводило из себя. Аптекарь услышал, что Федерико поставил пластинку на проигрыватель, распахнул холодильник и потом захлопнул — с таким стуком закрывают только чужие холодильники. А когда Федерико всунул ему в руку стакан с виски, он даже попытался отхлебнуть, не поднимая головы, чуть повернув ее набок, но лишь облил волосы на груди. Вот дьявольство!

А Федерико, водрузив ноги на подоконник, принялся потягивать виски. Обнаружив, что сеньора Менча, старая чертовка, подглядывает за ним, он вяло, словно сонная игуана, шевельнул пальцами, как бы в знак приветствия: считай, что я узнал тебя, а на большее и не рассчитывай, пиявка церковная!

У аптекаря, вообще не щедрого на слова, да к тому же еще не пробудившегося окончательно от сиесты, мелькнула мысль, как только до него донеслось бормотание Федерико: что-то случилось, что-то необычное, серьезное. А тут Федерико почему-то поставил пластинку «Прелестная Мария» и всем своим видом старался показать, что ничего не произошло, что, дескать, просто решил у друга перехватить глоточек... Как бы не так! Нет, не надуешь...

Однокашники едва ли не с кори и свинки, которой, кстати, один — паршивец! — заразил другого, росли они вместе и за компанию даже страдали несварением желудка (как волновались родители — в ту пору антибиотиков не было — и спасали своих наследников клизмой из лимонного сока); пути их было разделились в университете, один — на юридическом факультете, другой — на фармацевтическом, но позже слились, как только оба предпочли возвратиться в Пуэрто Ли-

[1] Уменьшительное от имени Николас. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

© Joaquin Gutiérrez, 1973.

мон [1]: в один и тот же год явились сюда в одинаковых и модных тогда шляпах с перышком за лентой.

Поскольку Колачо знал Федерико как самого себя, аптекаря насторожил приход друга в самое неподходящее — наиболее жаркое — время, в самый канун надвигавшейся грозы. Именно потому Колачо посчитал за лучшее проглотить все с содовой водой, сохранять невозмутимость, не забегать вперед и воздерживаться от советов, если дела не столь уж колючи. Почесал голову. Не отрывая глаз от огромной и ленивой тучи, которую ветер гнал с моря на сушу, протер воспаленную от потницы подмышку палочкой «дезодоранта», подаренной ему в качестве образца первого выработанного в стране средства против запаха пота. И стал выжидать. Опять почесался. И продолжал ждать. С Федерико иначе нельзя: сразу не скажет никогда.

За «Прелестной Марией» последовал «Фонарик», которому стали подпевать оба: эти затасканные мелодии сидели уже в печенках. А сеньора Менча, прикрыв веки, подсматривала за ними со своего балкона, рисуя в воображении леденящие сердце сцены. Беременные тучи — одна за другой — продвигались к берегу. Вентилятор все крутился и жужжал. И, к счастью, никто из друзей не мог видеть со своего места развернувшейся под диваном смертельной схватки скорпиона с тараканом.

Колачо приступил ко второй подмышке. И размышлял. Вот это, черт возьми, настоящая дружба! Такую придумали древние греки во времена Перикла, как им рассказывал когда-то учитель в школе,— дружба беспредельная и бескорыстная. Будто хлебаешь жизнь из одной миски. Впрочем, тут только так и можно! Иначе — никак, потому что жить в Пуэрто Лимоне хуже, чем плавать среди фрикаделек в супе. Только имея такого друга, удается преодолеть чувство отвращения, озлобленность и просто тоску. Такого друга, чтобы даже разговаривать было не обязательно. Будто жуешь сыр...

Ручейки пота стекали по животу, и, откровенно говоря, аптекарю хотелось, чтобы так было и дальше: потягивать виски под вентилятором, почесывая подмышки — теперь он это делал карандашом с резинкой на конце,— и плыть в летаргическом забытьи, словно плот, скользящий по медленной масляной реке.

Федерико поставил другую пластинку и крикнул из кухни, что виски кончилось, надо открыть новую бутылку. Опять зазвякали кубики льда, а вентилятор крутился и рокотал, сеньора Менча вязала, посматривая украдкой на них, и наверняка вела счет выпитому.

— Неважные дела,—произнес, наконец, Колачо, полагая, что слово «дела» может дать ключ к началу разговора.

— Какие дела?

— Так, вообще говорю, дела неважные,— Колачо изобразил чуть заметную усмешку.— Знаешь, что цены на молоко поднялись, а гуаро [2] подешевело? Наша страна заняла второе место в Америке после Чили по потреблению алкоголя, зато у нас курят больше марихуаны, чем в Мексике, в этом обогнали всех. Спички подорожали. В прошлом году мы закупили за границей четыреста тысяч центнеров риса, маиса и фасоли — вот тебе и Национальный совет по производству! Но есть и нечто положительное: раньше у нас было больше учителей, чем солдат, а теперь больше проституток, чем учительниц. Не зря же мы отмечаем столетие всеобщего, обязательного и бесплатного образования...

Все это он выложил одним духом и оборвал чуть не на полуслове.

[1] Порт на атлантическом побережье Коста-Рики.

[2] Спиртной напиток из сока сахарного тростника.

Федерико насупил брови, и Колачо решил, что старина вот-вот заговорит. Но нет, ни звука. Номер не прошел.

Аптекарь поднялся, переменил пластинку, напевая сквозь зубы «Помни Акапулько!..», а сам думал, что приближается час, когда волей-неволей надо принимать душ, напяливать брюки, рубашку и тащиться под солнцем в свою аптеку, чтобы забрать дневную выручку. Решил подождать. И вновь пустился в философские раздумья о древних греках:

«В одном и том же потоке нельзя выкупаться дважды. Это правильно, но вот до чего не додумался Гераклит: ведь один и тот же человек не может одновременно выкупаться дважды! А значит, черт возьми, он вообще ничего не может сделать в этой жизни. Он все время тот и не тот: как с незнакомым на улице, сталкивается сам с собой, здоровается, полагая, что знает его, а потом останавливается и думает, где же я мог его видеть? Значит, тот чудак, который мылся вчера в потоке тысяч струй, был еще не я. Антидиалектика софистики. Очень похоже на кислоту, разъедающую все, в том числе и пузырек, в котором ее хранят. И не остается ничего. Ничего!»

— У меня уж терпение лопается, а ты все заставляешь себя ждать. Ведь видно же, что ходишь, как курица, проглотившая шмеля,— сказал он, повернувшись к Федерико, чтобы проверить свои предположения.

— Ты что так подозрительно меня разглядываешь?

— Ничего не разглядываю. Прикидываю, что пока мне лучше не мыться. Ведь если я вымою Николаса, подыхающего сейчас от жары, то, учитывая, что каждую минуту в организме распадаются тысячи клеток, происходит нескончаемый обмен веществ, который нас беспрестанно меняет, новый Николас через полчаса тоже будет обливаться потом. Лучше оставлю на эти полчаса теперешнего, издыхающего.

— Не кривляйся,— движения Федерико порывисты.— Твоя философия просто балаган... Того и гляди, клоуны запрыгают. Скажи лучше, откуда вдруг у тебя такой интерес к социальным вопросам?

«Заговорил! Наконец-то заговорил!»

— Откуда? Очень просто. Я — крестьянский сын. У меня нет, как у тебя, генеалогического древа. Мой дед спустился на землю с манго, а бабка спрыгнула с куриного насеста. К тому же я не очень трезв...

— А зачем такое увлечение статистикой? Может, решил выдвинуть свою кандидатуру в депутаты?

— Знаешь, Федерико, кончай притворяться и выкладывай, что у тебя стряслось. Я же вижу: что-то случилось. И серьезное...

Лицо Федерико потемнело, он подождал какое-то время, потом, тяжело вздохнув, заговорил:

— Твое счастье, старый козел, что ты не женат.

Аптекарь присел в гамаке. В семейных делах не поможешь ни слабительным, ни компрессом. Просто надо уметь выслушать то, что тебе рассказывают. Лицо его выразило интерес, и это сейчас же подействовало. Федерико бессвязно, взволнованно и слегка заплетающимся языком поведал о своих горестях.

А донья Менча, посматривая на них, продолжала вязать. По той стороне улицы прошла семья Монтойя, все толстозадые, под зонтиками. Следом — китаец Вонг в холщовых брюках и соломенной шляпе.

— И все это из ревности?— спросил Колачо, оттолкнувшись ногой от стены, чтобы раскачать гамак.

— Думаю, что да.

— Беспочвенной, разумеется? А теперь что она говорит?

— Вот и главное, что теперь вообще не разговаривает. Перекинется словом с детьми, и то редко.

Еще один толчок ногой.

— А ты не думаешь, что ее надо показать врачу?

— Врач уже смотрел. Сама вызывала из Сан-Хосе [1]. Этот тип нашел у нее какую-то дископатию позвонков. Вот в этом месте, отсюда и ниже...

— А может, и правда. Моя тетка, например...

— Не болтай...

— Нет, серьезно. Тетка ни с того ни с сего вдруг решила, что она — утконос, а после вмешательства психиатров возомнила себя королем Монако...— У Калачо дрогнуло веко.— В общем, будут тянуть деньги, пока не посчитает себя вертолетом.

— Хватит валять дурака!

— А я не валяю.

— Тогда заткни свою тетку знаешь куда!

От того, что они были знакомы с детства, Федерико чувствовал себя так хорошо в доме аптекаря. Его как бы подхватывала волна беззаботной холостяцкой жизни, шутливой, радостной. Когда-то такая же волна сорвала их с места, и, побросав вещи в чемоданчик, они понеслись в путь под порывом свежего ветра. Свежего! И теперь еще от Колачо шла эта свежесть.

— Так что же ты мне мозги крутил... что твоя Эстебанита кроткая, послушная! Перехвалил!

— Такие случаи бывали и раньше. В средние века не помню уже какая святая сделала то же самое. Жена какого-то из Капетингов. Кажется...

— А ты выбей из нее эту королевскую блажь. Покажи ее другому врачу, своему, которому доверяешь.

— Наотрез отказывается. Не хочет.

— Да?.. Ну ладно, давай еще раз все по порядку: говоришь, не допускает до себя; ты требуешь, а она отвечает «нет»? Я что, здорово опьянел?

— Не очень. Вот именно так и происходит. Совершенно переменилась...— На лицо Федерико наползла тень печали.— Совсем другая стала. Как войду в ее спальню, она начинает визжать. Молится и визжит. Уже целую неделю сплю в гостиной на диване...

— Не может быть!

— Еще как может, старина. Все пошло кувырком...

— А ты не пробовал сказать ей, что все это сплетни, пустая болтовня? Или свалил бы все на меня: что эта твоя особа — моя любовница. Люди, мол, перепутали...

— Да говорил. Сто раз говорил.

— А она?

— Отвечает, что хотела бы дожить до того дня, когда у Колачо все тело покроется коростой, а ногти выпадут, чтобы нечем было чесаться. Не верит она мне. Все ей известно, вплоть до дат, до мельчайших подробностей. Как говорится, до последнего волоска...

— Даже до волоска?

— Иди ты к чертовой матери!

Во всяком случае, когда он выговорился, ему стало легче. Допил из стакана виски и притих, глядя на гвоздь, на котором висел грязный, засиженный мухами альманах фармацевтической фирмы Росса. Через двери балкона доносились далекие звуки: лязг товарного поез-

[1] Столица Коста-Рики.

да, хохот подгулявших негров, звонок велосипедиста, развозившего хлеб. А в горле — комок. Узел...

— Не поужинать ли нам сегодня у китайца Алтуло? Согласен? Вот и отлично. А пока поставим танго.

— Ставь.

Калачо не стал слушать стенания Гарделя[1], пошел принимать душ. Когда он вернулся, Федерико, сгорбившись, сидел все в той же позе.

— Знаешь, я вот, пока мылся, подумал: а твоя жена случаем не читала в последнее время Аристофана?

Федерико улыбнулся,— может быть, в знак грустной признательности другу.

■

Сегодня мне исполнилось двенадцать лет восемь месяцев четырнадцать дней и шесть часов, потому что я родился в девять утра. А високосные годы подсчитывать неохота. Мое рождение состоялось в Пуэрто Лимоне, на одиннадцатой параллели и на таком-то меридиане (потом вставлю), в Республике Коста-Рике, на центральноамериканском перешейке, планета Земля, Солнечная система. Сюда в Лимон прибыл Колон[2] — получается даже в рифму. Правда, в те времена место называлось Кариари. А потом тут появился пират Морган, когда плыл на завоевание Старой Панамы, правда, тогда она еще не была Старой. Об этом я прочитал в книге Сальгари, которую одолжил Тоньо. Моего папу зовут дон Федерико Гарсиа, маму — донья Эстебанита, а сестру — Флор де Мария. По вероисповеданию я принадлежу к римской апостолической католической церкви (почему — римской, сам не знаю), а когда вырасту большой, буду голосовать за республиканскую партию, хотя бы даже папа рассердился на меня. Я белый, но в нашей школе есть и негры, и вовсе неправда, что от них плохо пахнет. Есть еще один китаец — Хосе Акон, который родился в Кантоне, в тачке с аккордеоном. Понятно, что все пахнут по-разному, а Тоньо — хуже всех, потому что у него гнилые зубы.

Папа и мама у меня тоже белые, а сестра смуглая, оттого что очень много купается и загорает. Больше всего в жизни я люблю читать, и папа говорит, что я счастливчик, потому что теперь выпускают такие красивые книги. Когда он был маленьким, то читал некрасивые книги, какие были у его дедушки, то есть у моего прадедушки. Потому что папин дедушка — мой прадедушка, а прадедушкины прадедушки называются предки. Они уже давно кончились, и от них теперь ничего не осталось, даже зубов, так что и чистить нечего. Счастливчики!

Раньше мне нравились книги о приключениях, а теперь по астрономии. Когда вырасту большой, буду ученым. Из-за этого сестра меня дразнит — «Эйнштейн!» Учительница сказала, что сверх программы объяснит нам одну теорию, но я ничего не понял, потому что все время отвлекался.

Вот такая у меня жизнь. Учительницу зовут Клаудиа, а мы ее называем Кавита и поем ей: «Поцелуй меня, Кавита,

---

[1] Карлос Гардель — аргентинский певец, исполнитель песен в ритме танго.

[2] По-испански: Колумб.

поцелуй еще разок — за одни лишь поцелуи не наказывает бог». Она делает вид, что сердится, а в самом деле нисколечко.

Ну вот, меня уже зовет Тоньо. Пойду играть с ним.

II

— Больше не могу выносить этой муки, Федерико. Клянусь, не могу. Скажи, что мне делать?

Одна бровь у него насмешливо изогнулась, а пальцы продолжают свое занятие—выдавливают из тюбика крем для бритья. Голос отсутствующий, безразличный:

— Я уже сказал: не обращай внимания. Не думай об этом.

— Но ведь болит, Федерико. Понимаешь, болит! Голова раскалывается.

«А если бы и ее вот, как этот тюбик, свернуть, сжать, расплющить, скатать снизу доверху, может быть, и вышла бы из нее эта мигрень: выдавилась пеной из ушей, густой, булькающей, цвета тоски?»

— Не обращай внимания, жизнь моя. Займись чем-нибудь, не думай об этом.

В другой стране или, может быть, для другой женщины все это послужило бы причиной для развода — «mental cruelty [1], ваша честь». Но не в данном уголке Карибского бассейна. Не для такой маленькой и хрупкой женщины, испытывающей безотчетный страх лишь из-за того, что перекладывает в шкафу свое нижнее белье пучками корней фиалки, чтобы придать ему возбуждающую силу. Нет, нет, развод — не для нее! Ни за что! Развод? Даже и мысли такой не может быть! Еще что!

— Послушай, интересно,— сказал он однажды, читая газету за завтраком.— Некая американка в Иллинойсе, страстно увлекавшаяся полицейскими романами, добилась развода, ссылаясь на то, что муж потихоньку прочитывал эти романы до нее и потом писал на полях, в середине книги, имя убийцы.— Он сложил газету.— Каковы гринго, а?

А она испуганно спросила, вероятно, потому, что как раз думала об этом:

— У них дети были?

— Дети? Наверняка. В таких случаях всегда остается куча детей.

Эстебанита суеверно прикоснулась к дереву стола, от одной мысли о разводе дрожь пошла у нее по коже. «Пресвятая богородица, ни за что!» И это была правда. Сущая правда!

Годы шли и шли, дети росли и все меньше нуждались в той нехитрой помощи, которую она могла им оказать. Раньше она еще была в состоянии подсказать им кое-что, когда они готовили уроки. Ох, как немного узнала она, учась в монастыре. Побросав тетрадки, дети опрометью вылетают из дома, и больше до самого вечера она их не видит. И правда, ведь Флор де Марии уже исполнилось тринадцать. Как-то неделю назад дочь, придя домой, озадачила ее вопросом: «Мамочка, ведь правда, что я не умру?» А долговязому Хосе Энрике — одиннадцать. Подумать только—одиннадцать! И теперь, как бы этого ни хотелось, нечего ждать, что они, как бывало, уткнутся носом в коленки, в твое кружевное платье (всегда с глухим воротом и широким поясом— мученье носить эти платья в такую-то жарищу,— но надо, чтобы все у тебя выглядело прилично, все на своем месте, ничего вульгарного, что-

[1] Душевная жестокость *(англ.)* — часто используемый в США аргумент для развода.

бы потом не раскаиваться и не просить отпущения грехов). Теперь только и оставалось, что смотреть, как они уходят по утрам из дома: Флор де Мария, потряхивая своими косичками, а Хосе Энрике, прыгая на одной ноге по ступенькам. Потом — вечерний поцелуй, «спокойной ночи». Но сын даже и целовать себя не дает, так повзрослел... Да еще надо идти на мессу помолиться за Федерико, чтобы оставил наконец свои масонские глупости. Все это правда. К тому же Федерико запретил ей купать сына: «Больше не смей, слышишь?! У него уже ломается голос!» И действительно, решившись как-то раз — тайком разумеется — нарушить этот запрет, она потом сама устыдилась и должна была смущенно исповедоваться. Потому что, намыливая сыну живот, заметила, как у него кое-что шевельнулось. У нее словно сердце оборвалось, и звон пошел в ушах.

Вот из-за всего этого она и не могла. И думать не должна была о разводе; ведь развод — нарушение святого причастия. А потом, стать посмешищем в глазах людей! В Соединенных же Штатах — какой ужас!— из-за кино народ совсем распустился.

— Что же ты, почему не читаешь дальше?— сказала она, передавая мужу масленку, осторожно, будто вручала драгоценность, с которой у нее было связано все.— Наверно, эта американка просто сошла с ума?

Он взял масленку с естественной беспечностью человека, берущего масленку, и только.

— Ты совершенно права...

— Может, ты хоть на минуту оставишь газету?

— Я же тебе ответил: ты абсолютно права.

— В чем?

— Да в том, о чем говорила.

— А что я говорила?

— Ты что, не знаешь, о чем говорила?

— Но ты же не слушаешь меня! Я сказала, что американка должна быть сумасшедшей, если поступила так.

— Правильно. В определенном возрасте они почти все сходят с ума. Одна, например, помешалась на коллекционировании очков, другие коллекционируют мужей...

— Я не об этом, Федерико, как ты не понимаешь?

После тяжелой паузы:

— Может, у нее были другие причины?

Он, не скрывая скуки:

— Для чего?

— Для развода.

— А! Ты все о том же...

— Но о чем же мы все это время говорим?

— В газете больше ничего нет. Правда, американки иногда разводятся даже из-за того, что муж не употребляет... Это... Фу ты, черт, вылетело слово! Ну это — против пота...

Она вздрогнула. Да и как могут рассказать короткие газетные строки о том, что происходит в человеческом сердце? Что они знают, эти журналисты?

— У них иногда и так бывает: «Слушай, дорогой, давай сегодня разведемся». А муж отмахивается: «Сегодня не могу, у меня сегодня гольф». — Федерико сложил салфетку.— Я пошел, Эстебанита. Еще многое надо сделать.

Она смотрит ему вслед. Высокий, одно плечо чуть выше другого. В последнее время очень похудел. Пиджак стал широковат. Будто в море плывет.

Оставшись одна, торопливо заканчивает домашние дела, чтобы выкроить минутку, присесть в кресле у окна и еще раз подумать о разведенной из Иллинойса. И вдруг она ее увидела! Да так ясно... Окруженная кучей маленьких детей, уцепившихся за подол, американка смотрит, как мимо проходит товарный поезд (почему-то тоска Эстебаниты всегда связана с поездами). Длинный, длинный состав. Заунывный гудок...

Какое-то воспоминание просыпается в ней, что-то вроде комка ваты набухает внутри, давит сердце, заставляет снова отыскать газету, посмотреть,— может быть, там сказано еще что-нибудь, адрес, например, чтобы послать этой американке к Новому году...

Но сообщение короткое. И вежливо-бесчувственное. Как могут эти журналисты быть столь равнодушными?

Положив газету на колени, со взглядом, утонувшим в дали океана, — баклан тяжело пролетел на юг,—пришла, наконец, к выводу, что истинными виновниками всех зол являются сторонники епископальной церкви, евангелисты и мормоны — последние хуже всего,— а также весь этот сброд безбожников, которые в своих проповедях утверждают, что грех приятен и непорочная Дева была просто Марией, одной из многих. Развод — это прелюбодеяние, отход от церкви, путь к бесконечным мукам в огне ада. Ни за что!

Друг за дружкой пролетели еще несколько бакланов... Дети американки начали плакать перед огромными железными воротами ада, призывая свою мать. Жалость сдавила горло.

Вот почему вечером в ванной, когда она установила перед Федерико зеркало— он брился,— вдруг что-то заволокло взор, все потемнело. Она снова вспомнила тех детей.

— Нет, это не просто мигрень,— сказала она.— Но ты, кажется, не слушаешь меня.

— Что такое? Еще что-нибудь болит?

— Нет, не болит. У меня больше ничего не болит, Федерико. У меня вот что... Всю эту неделю не было вечера, чтобы ты не нашел предлога уйти из дома. Хочешь, посчитаем: понедельник — с депутатами, вторник — масонская ложа, среда...

— Седьмой день не забудь — воскресенье,— сказал он, правя бритву о мякоть большого пальца.— Ты кажешься дурочкой, Эстебанита. Я ведь уже сказал, что сегодня никуда не собирался. Абсолютно никуда. Ну если там у Колачо какие-то глупости, ерунда, то при чем тут я?..

«Федерико такой уж есть,— горячо защищала она мужа перед подругами.— Любой бы стал таким, имея ужасного деда, как у Федерико». С того самого дня, когда познакомилась с ним. Ей было семнадцать, а ему двадцать четыре, и он, ловкий, статный, лучший танцор на том балу в Национальном театре, подошел к ней, приглашая на конгу[1], и она согласилась чуть слышным «да», а сама боязливо косилась на отца. Пара крепких рук сразу же сжала ее, заставляя двигать бедрами в такт танца. Она бы никогда не позволила себе на глазах родителей чего-то даже отдаленно похожего, но тогда лишь чувствовала, что задыхается, что ей не хватило бы и воздуха целого мира, как только подумала, что вот тут, рядом, всего в нескольких сантиметрах от нее бьется его горячее и сильное сердце. Мурашки побежали по коже, захотелось запрыгать козой и глотать слезы, искрящиеся огнями люстр. Это называется — любовь с первого взгляда.

«Если бы я знал, что он такой развязный, то не позволил бы тебе танцевать с ним»,— заявил дон Игнасио, когда на рассвете она возвратилась домой. Она не посмела возразить, но с тех пор постоянно

[1] Популярный танец.

вспоминала все, что было в ту ночь, как бы заново переживая ее, секунду за секундой. В двенадцать — бокал шампанского, потом конга... Твердые мускулы под рубашкой, горячее дыхание и неистовый ритм танца.

«Пусть лучше не тратит времени на пустые мечты!— кричал дон Игнасио — член Верховного суда, когда мать пыталась вмешаться.— И знай, за этого шалопая ты замуж не выйдешь! По крайней мере пока я жив!»

На хлеб и воду! Целый месяц наказанья за такой проступок. Она очень похудела. Мать обещала на год наложить на себя епитимью. Кухарка со слезами на глазах совала ночью под подушку Эстебаниты сдобные булочки. Лишь дон Игнасио оставался непоколебимо упрямым, и это было лучшее из того, что можно было ожидать от представителя рода Лисаурсабалей.

А результат?

Они стали встречаться тайком. Пускались на всякие хитрости, выработав условные сигналы, зажигали спички в темном окне, подкупали прислугу. Все это кончилось, когда однажды они встретились в соборе, в темной исповедальне. Скрипучие доски, пылища, от которой невозможно было сдержать чихание. Федерико с такой религиозной страстью начал ласкать ее, что она, будто пораженная смертным грехом, упала в обморок. Один бог знает, как им удалось тогда сбежать под шквалом проклятий богомолок.

На следующий день Федерико явился к ним в дом, готовый ко всему. В гостиной, торжественно усевшись в обитое зеленым бархатом креслице, он напрямик попросил у дона Игнасио руки его дочери.

— Эстебаните только семнадцать лет. О свадьбе не может быть и речи. Заходите лет через пять,— отрубил член Верховного суда.

— Шекспировской Джульетте было четырнадцать,— ответил Федерико, вставая.

— Какое мне дело до комиков из бродячей труппы!

— Это не комики, а трагики, сеньор.

Оба повысили голос:

— Так вы хотите внести в мой дом трагедию?

— Согласимся на трагикомедию?

— Вон отсюда, нахал!

Ровно через неделю состоялось похищение. «Да, милые подружки, верьте не верьте, но у Федерико все вот так. Как в кино!..»

Рано утром по радио объявили: «...сообщите нам любые сведения об указанной паре. Они едут на юг в автомобиле зеленого цвета. По некоторым сведениям направились в Курридабат...»

А они уже миновали Сапоте, Асерри, Тарбаку. Волосы, брови и даже ресницы побелели от пыли. Приближались к Эль Хорко, когда началась организованная погоня. В Эль Хорко Федерико договорился со священником, который только что прослушал объявление по радио и спрятался было за алтарем, откуда его пришлось вытаскивать силой. А когда в церковь ворвался начальник полиции, Федерико заставил и того успокоиться и подождать конца церемонии, направив в его сторону кольт. Потом машину столкнули в овраг, чтобы запутать преследователей, и тайными тропинками пешком добрались до Кебрадильяса — в небольшом крестьянском ранчо с земляным полом, стены патриотически раскрашены красной, белой и голубой красками[1], в полночь они и стали мужем и женой.

Простыни пахли свежестью; дюжина звезд втиснулась в маленькое окошко без занавески, подсматривая за ними.

---

[1] Цвета национального флага Коста-Рики.

«Не верите? А вот все точно так и было, как я рассказываю...»

Восстанавливая в памяти ту ночь, она думала, что нашла в нем самого желанного мужчину в мире... Поскрипывает бритва в схватке с густой щетиной его бороды, журчит вода, вытекая из неисправного крана, доносится монотонное пение кухарки. Снова вспыхивают вдалеке бледные зарницы. Запах мыла, темные подмышки мужа, воспоминание о клеверном поле вокруг ранчо — все это вмиг перемешалось в сознании, и она, сжимая ручку зеркала, спросила срывающимся, то ли протестующим, то ли возмущенным голосом, что̀ именно он называет глупостями Колачо. Спросила и сжалась, как испуганный, настороженно замерший олененок, впившись взглядом в угол ванной, где в облицовке не хватало одной плитки.

— «Глупости»? Так это очень просто... Ты же знаешь Колачо.— И заколебался: может, усадить ее, как обычно, на колени, приласкать, повторяя: «Моя глупая ревнивая птичка», или, наоборот, взмахнуть руками, повысить голос и обрушить всю мощь своей мужской власти на эту кудрявую головку, ожидающую его ответа.

И именно этот миг растерянности оказался для него ловушкой. Потому что когда это было, чтобы он, боже милостивый, когда это он не имел под рукой ответа, быстрого, логичного и убедительного?

— Мне кажется, что ты меня обманываешь, Федерико,— сказала она, не поднимая глаз.— И когда ты разговариваешь со мной, пожалуйста, не кричи — сейчас придут дети. Не кричи! Слышишь?

■

Иногда мне папа совсем не нравится. А когда я был маленьким, то наоборот. Помню, мама мне сшила пробковый пояс и папа водил меня на берег. Там бросал в воду, чтобы я учился плавать,— так учат щенков, говорил он. А когда шли обратно, покупал мороженое. Только это было давно. А с тех пор как мама заболела, все перевернулось. Папа ходит все время сердитый и из-за всего дает подзатыльники. Я даже сказал бы, что ему это нравится. Правда, ребята в школе говорят, что их тоже бьют, но все-таки им, наверно, попадает не столько.

Когда я обо всем этом думаю, то понимаю, что это неправильно — не любить отца. Особенно, если вижу его озабоченным или печальным. Смотрю на него и ничего сказать не могу...

Отметки за эту четверть я показал маме и просил не говорить папе, а она сказала, и он придумал расправу: четыре воскресенья сидеть дома.

Но было еще хуже, когда мне выписали очки и в школе стали дразнить меня «четырехглазым». Я разозлился и выбросил их, а дома сказал, что потерял, когда играл. Купили другие, но эти я тоже спрятал, и, когда их нашли, папа выпорол меня чуть не до смерти.

А с Флор де Марией папа не такой. Никогда ее не бьет.

III

— Дед.

— Чего тебе?

Немного подумав:

— Ничего, я так.

— А раз так, то помалкивай!

Старик вонзил шпоры в бока своей рыжей лошади, и парень отстал. Догнал только в лощине.

— Федерико,— сказал дед, заслышав сзади храп его кобылы,— что с тобой делается?

— Ничего. И не было ничего, правда, дедушка.

— Нет, что-то было.

— Говорю — ничего. Неважно себя чувствую, вот и все.

— Болит что-нибудь?

— Нет, просто на душе муторно. Будто разрывает ее.

— А-а...— У старика вспыхнули глаза.— Ну тогда и пусть разрывает. Если мужчина говорит, что на душе муторно, а сам не добивается того, чего хочет, значит, он просто слюнтяй.

Так говорил старик, так думал и так учил внука.

Ночью, присев на порог, дед вернулся к разговору:

— Видишь эти звезды? Нет, вот эту кучку, гляди на мой палец. Это созвездие. Называется Орион, а у нас говорят — Оленья Шкурка. Потому что дубленые шкуры для просушки растягивают по потолку ранчо на четырех гвоздях с большими шляпками. И когда ляжешь на постель и посмотришь вверх, кажется, видишь небо. Поэтому те звезды так и называют...— Он зажег трубку.— Один раз я тоже чувствовал себя так. Свербило в душе... Это когда у твоей бабки началась послеродовая горячка, от которой она и умерла... Но я решил, что до этого мы должны обвенчаться. Родители начали меня ругать: «Как это, да что такое — нашел какую-то чумеку [1] и собирается жениться!» Вот тогда и у меня на душе было муторно.

— А как было?

— Так... Казалось, что если поглубже вздохну — взорвусь.

— И что же ты сделал?

— Ничего. Рявкнул на них так, что и священник и родственники до смерти перепугались. Какая-то старуха даже выскочила в окошко... И я остался один, провожая на тот свет твою бабку. Совсем один. Понимаешь? Вот почему и говорю: когда уверен, что надо делать так, а не иначе — сделай несколько ровных глубоких вздохов. Я тогда сразу почувствовал себя лучше.

Некоторые фразы врезаются в память. Словно их выжгли каленым железом. Может показаться, что забыл, и не повторяешь их никогда. Но они в тебе. Вошли, чтобы остаться.

■

Вдруг залаяли собаки. Странно, очень странно. Он чуть подался вперед и замер, склонив голову, прислушиваясь. Лаяли зло, взахлеб — на чужого.

Очень странно. Потому что он мог распознать звук любого мотора намного раньше, чем лодка пересечет реку у «Эль Сафиро»: надрывный перестук моторки Арриэты или приглушенный рокот пироги какого-нибудь чирикано [2]. Но это было не то.

— Хосефина!

— Чего?

— Слышишь?

— Нет.— Она подошла поближе, вытирая руки о передник.

— Кто это может быть? — Он вглядывался сквозь грязную сетку окна.

[1] В Коста-Рике так называют негров, выходцев с Ямайки.

[2] Житель Чирики, ближайшей к Коста-Рике провинции Панамы.

— Кому бы это? — покорным, тихим эхом откликнулась Хосефина.

— Может, Арнульфо?

— Не... У него с лодкой беда.— Она оживилась от того, что могла сообщить ему новость.— Он налетел на камень, и лодка раскололась, как арбуз.

— Кто же тогда?

— Ума не приложу, дон Федерико. Если знала, сказала бы.

Женщина вернулась на кухню, а он продолжал внимательно вслушиваться, спрашивая себя: «Кто? Кому это понадобилось видеть меня? Кому?..»

Через лужайку прыжками неслась к нему Пирула, следом — вся свора, и, наконец, появился Самбо[1]. Федерико оставил пасьянс, торопливо сбросил карты в ящик письменного стола и снова посмотрел в окно. Теперь увидел. Через бамбуковую рощу шли двое в пробковых шлемах. Впереди — краснолицый толстяк, за ним — высокий, похлестывая плетью по крагам.

Федерико пристегнул пояс с револьвером, вышел на луг и властно окликнул собак. Возбужденно крутя хвостами, те подбежали к нему.

— На место, черт вас подери!— И только Пируле, любимице, протянул руку, чтобы лизнула.

Самбо своим обычным манером, на цыпочках, будто у него болели пятки, прошел мимо, лишь едва шевельнув бровями, и скрылся на кухне. Вблизи у толстяка оказалось почти обычное лицо.

— Да, да, добрый день, проходите.

Похоже, оба знают его.

— Перальта.

Они счистили грязь с ботинок.

— Артуро Солера. Весьма приятно.

Он не знаком ни с тем, ни с другим и удовольствия от знакомства не выразил.

— Сюда, пожалуйста. Садитесь. Нет, не в кресло-качалку, здесь сяду я,— пригласил он, указывая на два плетеных стула, когда-то крашенных зеленой краской, и табурет, обтянутый телячьей кожей.

«Что-то необычное. Визитеры — и здесь? От них как от епископа, кроме предсмертного причастия, ждать хорошего нечего. Сюда только один Эпифанио может явиться. Но он — другое дело, его не надо пропускать вперед, не надо подниматься с кресла, даже рук отрывать от подлокотников не надо».

Толстяк сел на один из стульев и, поискав взглядом вешалку, опустил тропический шлем на землю, рядом с собой. Тощий, назвавшийся Солерой, выбрал табурет, обитый телячьей кожей, шлем снимать не стал, а на колени положил элегантный портфель свиной кожи с вытисненным ацтекским календарем.

— Приехали через Пачуко? — спросил Федерико почти спокойным тоном.

— Нет, дон Федерико, мы не из Пуэрто Лимона, а из Сан-Хосе,— ответил толстый.

— А перекаты?

— Только что подорвали самый опасный. Ведь там ливнем целую гору снесло в реку.

«Надо бы расспросить поподробнее об этом»,— но было нечто более интересное:

---

[1] Человек индейско-негритянской крови, в данном случае — прозвище.

— А почему я мотора вашей лодки не слышал? Так тихо подъехали...

Они переглянулись.

— Заглох мотор,— улыбнулся Перальта.— Натерпелись мы страху — отказал в самой середине водоворота. А этот парень, видно, мастак. Ловко нас выволок, хотя и одним веслом управлялся.

— Это потому, что по течению,— пренебрежительно пожал плечами худой.

— Но пирога — штука капризная,— тоном знатока продолжал Перальта.— Да еще Самбо рассказал нам, что именно в этом омуте живет крокодил метров на шесть.

Федерико поморщился:

— Так и сказал?

— Сказал, но, правда, я ему не поверил,— заторопился Солера.— Моему коллеге нравится собирать сказки для внуков.

«Вроде неплохие люди. Обыкновенные. Только худой слишком внимательно смотрит на меня. И все время моргает».

— А еще он нам говорил,— продолжал Перальта, скрестив ноги,— что акулы поднимаются по реке до этих мест. Будто бы прыгают через песчаные отмели и гонятся за косяками рыб. Только, похоже, это враки, что-то я не слышал, чтобы акулы жили в пресной воде.

«Зачем они приехали? Если просто так, посмотреть, вроде экскурсии, то уже сказали бы. Действуют вместе? Толстяк, как с картинки, изображает из себя добряка. А другой?»

— Не верите? Но я действительно видел акулу, когда плыл однажды вверх по реке.— Тут он заметил на указательном пальце Перальты массивное золотое кольцо — свернувшаяся змея с рубиновыми глазами.

— Точно,— поддержал его Солера,— я тоже припоминаю, что акулы водятся даже в озере Никарагуа. Видимо, поднимаясь на такое расстояние по реке Сан-Хуан, они в конце концов привыкают к пресной воде.

— Ко всему можно привыкнуть,— сострил Перальта.— Даже к жизни на Сентрал-авеню.

Федерико согласился. На этот раз без улыбки.

— Ну что ж, в воде можно встретить даже вот такого зверя.— Он показал на Пирулу, которая вертелась на месте, пытаясь лизнуть ранку на своей спине.— Тоже переплывает реку. На том берегу у нее живет любовник — какой-то шелудивый кобель, так вот она пересекает быстрину только для того, чтобы повидаться с ним. Я уж сколько раз говорил ей: не унижайся, так ты никогда не добьешься длительной любви. А будешь дальше глупить — попадешь однажды в брюхо к акуле... Но она меня не слушается.

Замолчал. Начинал нервничать.

— Послушайте, дон Федерико,— удивленно спросил Перальта,— может, мне кажется, но собака-то вроде улыбается?

Пирула действительно умела делать это: она приоткрывала зубы с одной стороны пасти, и морда ее становилась похожа на лицо ухмыляющегося паралитика. Это был ее талант, улыбалась она всегда кстати, чем и восхищала гостей.

Даже, может быть, слишком кстати.

Федерико зашел в спальню, вынес бутылку контрабандного рома и налил в три стакана. В свой добавил немного английского соуса и размешал:

— За ваше здоровье!

У Перальты выступили слезы.

А все от одиночества. Это оно, проклятое, толкает на всякие выходки. Достается и тем, кто под руку подвернется. Понятно, если с ним живешь, спишь, смотришь сны и ешь. Даже тарелку ставишь поодаль от себя, а потом тянешься вилкой, чтобы зацепить кусок юкки[1], не прервав своего одиночества. Если с ним пьешь кофе и с ним возвращаешься в старое кресло. Зачем думать? Вспоминать?

Пара больших птиц пересекает бескрайность неба. Ты смотришь на них, пока они не исчезают из виду, а когда улетят, взор твой снова уходит в себя...

Бывают часы, когда становится совсем плохо,— например, под вечер. Думать в одиночестве, думать без слов, без звуков — разве это не то же, что играть на пианино без клавишей?

К счастью, Хосефина знала об этом. Знала, что, если он разговаривает сам с собой, надо просто притвориться, будто ничего не происходит. Или когда ругается. Ругался он временами ужасно, хотя это, слава богу, проходило довольно быстро.

— Хорошо тут одному,— сказал Перальта.

— Неплохо.

— А разве Рохасы не здесь живут?

— По ту сторону. На этом берегу я один. Эпифанио и я. А дальше к морю — Поросячья Старуха.

— И никого больше?

— Никого,— не скрывая гордости.— Больше никого.

Совершенно никого. Ни одного «доброго утра», ни «заходите, когда будет минутка, проведать меня». Только вялость, медлительность, оцепенение.

— Я бы так не смог, это точно,— сказал Солера, моргая без остановки.

— Конечно, нет,— с заметным ехидством,— но зато преимущество тут есть, не теряешь времени на пустую болтовню.

Прежде чем пускаться в путь, они все о нем разузнали. И о его чудачествах, о несдержанности. И хотя пока все вроде обещало полное спокойствие, никаких бурь, лишь легкий ветерок, какое-то чувство подсказывало, что где-то в глухих зарослях свивается тугой пружиной змея, скрытная, недремлющая. Надо было торопиться, но двигаться вперед осторожно, тщательно прощупывая почву, как ходят городские жители, впервые попавшие в сельву: не трогай ничего руками, берегись — то, что принимаешь за лиану, может оказаться гремучей змеей!

— Так вот, дон Федерико,— начал Перальта, шевельнувшись на стуле всей массой своего тела и поставив на столик пустой стакан.— Чтобы, как говорится, углубиться в дело, я объясню в двух словах, что привело нас сюда. Или, лучше сказать, что заставило нарушить ваше прекрасное одиночество.

«Паскудное начало».

— Нельзя ли по существу? — перебил Федерико.

— Я объясню покороче,— сухо ответил худой.— Дело в следующем. Мы прибыли сюда от имени Компании, от ее юридического управления. Перальта,— он показал на него пальцем,— начальник этого управления. Я не имею к этому столь непосредственного отношения, но нам двоим поручили поехать сюда и лично поговорить с вами.— Он перевел дыхание.— Потому что в Сан-Хосе вы почти не бываете, верно?

— Да, не часто.

---

[1] Клубни тропического растения, употребляемые в пищу.

— От того, что мы поговорим друг с другом, никто ничего не теряет,— сказал Перальта, снова овладевая разговором.— Хотелось бы узнать, наконец, решаетесь ли вы продать «Эль Сафиро»? И только. Ясно?

Федерико выглянул в окно. Большая красноперая птица-кардинал села на лимонное дерево, ветка качнулась под ней. Краешком глаза заметил, как Перальта вытирает пот со лба. Солера, надумавший вдруг тоже положить свой шлем на землю, курил. В этот момент Федерико вспомнил деда и решил для начала не отвечать на их вопрос, не отвечать, пока не качнется пятнадцать раз в своем кресле-качалке.

Он начал отсчет.

Они смотрели на него.

...Три... Четыре...

— В течение последних недель вы должны были получить несколько писем от Компании,— сказал Перальта, откашливаясь.

— Совершенно точно,— подтвердил худой,— как раз в моем присутствии мистер Брукс диктовал их секретарше.

...Шесть... Семь...

— Впрочем, я понимаю, в такую жару отвечать на письма не очень хочется.

Пирула, отказавшись, наконец, от бессмысленных попыток зализать ранку на спине, начала дремать, подрагивая во сне. А он все покачивался.

— Я бы тоже не смог. Даже телеграмму составить.

...Двенадцать...

Оказывается, как это долго — качнуться в старом кресле пятнадцать раз!

После двух неудачных попыток кардинал, наконец, взлетел. Ветви лимонного дерева заходили вверх и вниз.

— Извините,— посетители переглянулись.— Может, вам нездоровится?

— Наверное, выпивка подействовала. Эта проклятая жарища не спадает ниже пятидесяти градусов.

— Да еще в тени!

...Четырнадцать...

...Пятнадцать...

— А что было в этих письмах? — наконец, заговорил он, повернувшись и рассматривая Солеру с выражением странной твердости.

Оба вновь переглянулись. Несколько часов назад, когда они проезжали через Сикиррес, директор почтового отделения показал им квитанции о вручении заказных писем, собственноручно подписанные доном Федерико. Но мистер Брукс недаром предупреждал: «Не забывайте, с кем вам придется вести переговоры. Прежде всего выдержка! Если надо будет прожить там пятнадцать дней, чтобы добиться его согласия, оставайтесь. Ясно?»

Мистер Брукс произносил: яс-сно. И было ясно, а как же иначе? Перальта уже представлял себе: если дела пойдут и далее так, то придется бежать к катеру под дождем пуль, и будет тебя преследовать свора псов.

— Что-то я не помню никаких писем,— сухо заметил Федерико.— Правда, почта тут изрядно барахлит. Так же, как страховые компании, компания по борьбе с желтой лихорадкой, например. Кругом жулье. Подонки.

— Вы говорите, что не получили ни одного письма? — спросил Солера, выдвинув подбородок.

— Ничего не говорю, сеньор. Может, письма и приходили. Валяются где-нибудь нераспечатанными. Если хотите, поищите,— закончил Федерико, нетерпеливо взмахнув рукой, словно отгоняя назойливую муху.

Солера криво улыбнулся. Перальта подумал, что ответ очень хорош своей нелепостью, и улыбнулся тоже. Федерико нет. Взглянул на кардинала, вернувшегося на ветку лимонного дерева и теперь перебиравшего клювом алые перья на груди.

— Надеюсь, вы останетесь пообедать со мной.— Федерико подождал, пока Перальта сбивчиво поблагодарит его (Солера ограничился легким кивком головы), и продолжал: — Тогда давайте прикинем. Вы говорите, Компания заинтересована в том, чтобы я продал ей свое поместье, правильно? Или я вас не понял?

— Нет, нет, именно так. Об этом как раз и речь.— В глазах Перальты светилось беспокойство.— Чтобы вы назвали свою цену...

— Ах, чтобы я назвал...

— Разумеется, потом мы...— поторопился объяснить Солера, почуяв опасность с другой стороны,— а потом мы назовем нашу цену...

И оборвал фразу, пытаясь улыбнуться.

— Та-ак...— Глаза Федерико сверкнули; он широко, округло, неопределенно повел рукой.— Но тут есть одна деталь, почему я и уточняю. Непонятно, откуда мистер Брукс взял, будто я хочу продать поместье.— Он поднялся с кресла и, засунув руки в карманы, продолжал:— Нетрудно понять, что Компании очень подходят эти земли. Это ясно. И давно известно, что ей нравится, когда все получается так, как она хочет. Но, если откровенно... Может быть, для вас это будет неожиданностью...— Он снова сел.

— Но ведь в письмах было...

— Забудьте о письмах, я уже сказал! Не было никаких писем! Я даже конвертов не раскрывал.— Он старался сдерживать себя. Положил ноги — огромные башмаки — на столик.

— Да, да, мы уже поняли, что письма не дошли до вас,— виновато улыбаясь, ответил Перальта.— Но поговорим о сути...

— Подождите. Дойду и до нее.— Каблуком одного ботинка сковырнул с другого кусок грязи, упавший в пепельницу. Пирула насторожила уши.— Тут вот в чем дело... Хотя это может показаться вам глупым...

— Не стесняйтесь. Говорите прямо. Чего там...

— Вот именно, чего там. Дело в том...— Он отколупнул еще кусок грязи.— Вот в чем дело: я думаю, что продать поместье, пожалуй, не соглашусь. Понимаете? Продавать не буду. Но может, есть другое решение. Произвести обмен, например...

Солера мгновенно ухватился:

— Прекрасная мысль! Черт подери, вы — мудрец! Чего другого, а земель у Компании хватает. И в гораздо лучших местах. Посмотрим вместе, дон Федерико. Я уверен, что при желании...

— Я тоже полагаю...— Торопливо закивал улыбающийся Перальта.

— Подождите, прошу прощения,— остановил их Федерико, потирая подбородок.— Я не думал о земле, когда говорил об обмене. Не о земле. Я думал...— продолжал нарочито медленно, как он обычно дразнил Эстебаниту,— о том, что мог бы поменять «Эль Сафиро»... на супругу мистера Брукса,— и быстро взглянул на обоих.— Вот так. И это серьезно, очень серьезно. Может, вы так не думаете— я по лицам вижу,— но мне очень приглянулась его рыжеволосая. Какие массивные бедра! Грандиозный зад! А если мистеру Бруксу нравится моя усадьба, ведь может мне понравиться его жена? Верно?

Дело вкуса.— Он опять сунул руки в карманы брюк и снова вытащил.— Помню, когда я видел их в последний раз — они остались у меня пообедать,— она была в одной кофточке, а под кофточкой — ничего.

Он остановился. Кровь бросилась в голову. Лицо покраснело, пошло пятнами. (Да, да, дед, я слышу тебя!)

— Дон Федерико,— начал Перальта, протирая о лацкан пиджака глаза-рубины змеи своего кольца.— Я полагаю, что нам надо говорить серьезно. Шуткам тут не место.

— Почему? — Он поднял брови.— А мне все это представляется весьма комичным. Не находите? Думаете, мистер Брукс приезжал сюда просто полюбоваться болотными птичками? Что он способен на такое? Нет? Тогда зачем же, а? — вопросы сыпались, как из пулемета.— А она почему была без лифчика и так вихляла бедрами? И чего это он после обеда лег вздремнуть, а ее оставил со мной одну? При такой жарище струйки пота текли у нее между грудями. Почему? Это вам кажется серьезным, да? Никаких шуток, значит?

— Я уже ни черта не понимаю! — воскликнул Солера, расстегивая пуговицу на воротнике.— В конце концов, каждый день продается всякая собственность. Множество. И ничего необычного в этом нет. При чем тут широкие или узкие бедра?

Вошла Хосефина с кувшином сока гуанабаны [1] на подносе, поставила на столик, вопросительно посмотрела в лицо дона Федерико и, испугавшись, поспешно вышла.

— Это я знаю,— сказал он, аккуратно наполняя стаканы.— Знаю, что ежедневно люди продают и покупают много поместий, матрасов, галстуков и прочей ерунды. Все это я знаю. Но знаю также, что вещи продаются лишь тогда, когда хозяин хочет их продать.— Ему удалось, наконец, взять себя в руки, и он говорил уже спокойно — презрительным тоном, словно дело его не касалось.— Давайте представим себе, ну хотя бы вот с вами, сеньор Перальта,— вы, по-моему, человек солидный,— что бы вы мне сказали, если бы я, послав вам дюжину писем, которые вы даже не распечатывали, вдруг явился бы однажды к вам домой... Явился бы и сказал бесцеремонно, что хочу купить вашу кровать, супружеское ложе. Как бы вы отнеслись к этому? Я думаю, что весьма любезно — мне кажется, вы очень любезны,— вы бы мне сказали, что я ошибаюсь и что, возможно, перепутал вас с вашим соседом. А я бы все-таки прошел в спальню, залез на кровать и начал бы подпрыгивать на ней, пробуя пружины. Что бы вы мне сказали? Отвечайте!

Оба молчали.

— Послушайте,— голос сделался хриплым,— а ведь это как раз то, именно то же самое, зачем приезжал сюда мистер Брукс... Поспав после обеда, он отправился вместе с женой вниз по течению. «Посмотреть лагуны,— объяснили они мне,— хотим полюбоваться парящими цаплями». А за первым же поворотом реки высадились на берег и прошли луговиной с задней стороны «Эль Сафиро». С ними был еще один человек, похожий на профессора университета, светловолосый, с усиками,— мне его представили как астронома. Потом выяснилось, что это был агроном и его взяли, чтобы он оценил мои земли. Каково? Мои земли! Вы и тут не видите ничего смешного?

Солера поднялся со стула и стал расхаживать крупными шагами.

— С вами невозможно беседовать,— сказал он, наконец; взял с полки какую-то книгу и, не открыв, поставил на место.— Невозмож-

---

[1] Тропическое фруктовое дерево с кисло-сладкими плодами.

но! Не знаю почему, но некоторые люди так и стараются все усложнить. Нас предупреждали, правда, но я не представлял, что...

— Кто предупреждал? Мистер Брукс или его жена?

— Но поймите, можно вести переговоры по поводу любой сделки,— с видом миротворца начал Перальта.— Любой. И почему вы так расстраиваетесь, что кто-то интересуется вашим поместьем. По-моему, наоборот, это скорее свидетельствует о том...

— Ну ладно, хватит,— прервал Федерико,— не буду расстраиваться. И не буду ничего усложнять. Хочу только кое-что добавить. Могу? — Он подождал согласия Перальты, который зажег сигарету, намереваясь, видимо, выкурить ее как можно меньшим количеством затяжек. Солера все ходил взад и вперед.— Прежде всего желательно, чтобы вы поняли: я не собираюсь продавать «Эль Сафиро». Не хочу! Нет у меня такого желания. И не вижу необходимости. Далее. Если вы мне скажете, что Компания уже скупила все вокруг, стала хозяйкой всех земель на этом берегу и ей не хватает только «Эль Сафиро», чтобы завершить создание большой плантации — грандиозной плантации! — тогда, простите за оригинальность, я вам отвечу, что это меня не интересует. А то в один прекрасный день получится, что мы, костариканцы, должны будем продать Компании реку, или кусок неба, или, я не знаю, чего там еще она захочет. Если же вы попытаетесь доказать, что по моей вине Компании придется в обход моих земель удлинять дороги или кабельные линии и что это обойдется ей очень дорого, то я отвечу вам, как говорил мой дед: свое варево своей ложкой и расхлебывайте. И пусть ваши хозяева радуются, даже благодарят меня за то, что Компания найдет применение миллионам, которых у нее более чем достаточно. И последнее, чего не должен забывать никто, у кого еще осталась хоть капля патриотизма или элементарного приличия,— вот эти четыре долины и пять вулканов пока называются Коста-Рикой. Коста-Рикой, а не «Коста-Рика энд Компани Инкорпорейтед»! Дошло? Ну а теперь надеюсь, что наконец... Или все еще нет? Вы меня поняли? Приятно, что сеньор Солера все-таки покраснел. А то я уж испугался, что он такой бледный...

■

После глупейшей часовой ходьбы по окрестностям, которую Солера про себя называл попыткой возобновить разладившуюся беседу, а оптимист Перальта — просто прогулкой на свежем воздухе, все уселись на деревянных скамейках в бамбуковой роще на берегу реки.

— А что вы думаете насчет предоставления женщинам права голоса? — заговорил Федерико, чтобы положить конец переговорам.— Я, например, за. Следует дать женщинам право голосовать. И даже не на одно, а пять или шесть. Но не давать им говорить.

Перальта расхохотался. Он уже давно с трудом сдерживал смех. А Солера, казалось, целиком отдался наблюдению за песчаными муравьями. Двигаясь, словно миниатюрная похоронная процессия, они тащили на своих спинах какие-то листья в десятки раз больше их собственного тела...

«И так везде, а зачем? — размышлял Федерико.— Какой смысл преодолевать эти трудности, надрываться? Жить в вечном горении, борьбе, отдавая всего себя. Отдавая чему?» Временами жизнь представлялась ему косматой ведьмой. Она то издевательски хохотала, а то оборачивалась лукавой хитрой бестией, костлявая сущность которой была прикрыта дырявым серым свитером.

— Поверьте, я считаю вполне естественным,— вдохновенно разглагольствовал Перальта,— что вы так любите все это. Иначе и быть не может. Я ведь, как приехал, понял, что все фруктовые деревья вокруг посадили вы сами, своими собственными руками... Мой отец тоже был такой. Может, вы его даже знали: Аристидес Перальта. Его звали дон Тиле...

— Тиле?.. Тиле?..

— А почему он должен его знать? — резко перебил Солера, раздавив подошвой ботинка с сотню муравьев, чем вызвал переполох во всей муравьиной колонне.

Перальта опять потер свои рубины о лацкан пиджака.

— Почему? Потому что мой отец был известный скопидом, из тех, из прежних. Родился нищим — голь перекатная,— а умирая, оставил нам усадьбу дай бог каждому! Плохо только, что нас была целая свора братьев. То, что при одном хозяине процветает, при многих разваливается. И все-таки нам было очень жалко потом продавать ее. Очень. Огромный дом, пруд с утками... Сколько воспоминаний. Но, пораскинув мозгами... Особенно трудно было уговорить мать. Женщины всегда руководствуются чувствами... Как вы думаете, дон Федерико?

— Это точно,— согласился Федерико, недовольно разглядывая ботинок Солеры.— Не зря говорят, что они соображают, чем рожают. Но с другой стороны, кому нужны женщины очень умные? Как говорится, пусть и дуры, лишь бы нравились мне.

— Вы, по-моему, дон Федерико, тоже считаете,— в голосе Перальты послышалось волнение,— что сердце надо держать в узде. И заставлять его делать то, что ты приказываешь? Ведь так?

Осторожно! Он опять допустил промах. Надо не спугнуть — пусть пыжится, надувается, как детский воздушный шарик, а поднесешь уголек — он и лопнет!

— Ну, у вас-то оно послушное, подчиняется каждому движению поводьев,— сказал он.— This way, my heart [1], тут пахнет деньгами.

— Вы ошибаетесь, это не так. Если бы я вам рассказал...

— Вы хотите заверить меня, будто ваша левая не знает, что делает правая? Как в Библии?

— Я не то хотел сказать, но если бы вы знали...

Солера не выдержал. Встал и скрылся за стволами бамбука.

— Вы мне, кажется, понравились, сеньор Перальта,— проговорил Федерико, поглаживая голову Пирулы, лизавшей его ботинки.— И если я однажды надумаю продавать имение, то приглашу в качестве посредника человека вроде вас. Вы должны разбираться в разных тонкостях, чтобы получить и четыре и пять процентов...

Это было уже слишком. Лицо толстяка посерело.

— Не утруждайте себя, сеньор. Вы, наверное, уже поняли, что я не люблю скандалов.— Он говорил тихим голосом, задыхаясь от волнения.— Но нет причины бесчестить меня. Я уже и так столько времени терплю от вас оскорбления.

— Вы ошибаетесь, если думаете, что я пользуюсь вашей слабостью, сеньор Перальта,— поторопился сказать Федерико.— Это должно быть ясно. Не потому, что вы слабее... Вот если бы вы были наглецом! Клянусь, я предпочел бы иметь дело именно с таким. Я ведь даже не высказал вам всего.— Он повысил голос, чтобы приближавшийся к ним Солера тоже услышал его.— Я не рассказал вам, например, что, когда в последний раз ездил в Сан-Хосе, мне сообщили, что служащие Компании интересовались в муниципалитете долгами

[1] Сюда поворачивай, мое сердце *(англ.)*.

«Эль Сафиро». А ведь я не утверждаю, что это были вы — вы, вот эти самые двое. Нет, нет. Но зачем я вам это рассказываю? Просто хочется, чтобы вы меня поняли. А говорите — напал на слабого!

Покачиваясь на середине потока, плыл ствол сухого дерева. На нем устроилась неподвижная, словно камень, черепаха, решившая погреться на солнце. Он привстал, чтобы лучше рассмотреть ее. Большая — метров восемьдесять в ширину — река Пакуаре, спокойная, похожая даже цветом на пуму, скрывая свою мощь, играла пирогой Самбы.

Разве такие чудеса имеют цену? Сводить все к несчастным долларам, высчитывать проценты?

— Есть люди, которые не могут понять,— сказал он хриплым голосом, повернувшись к ним спиной.— Любовь к долинам. К этой реке. Хотя одиночество может довести до собачьей тоски, до воя, как Поросячью Старуху, например...

Вдруг черепаха проворно повернула голову и как камень упала в воду. Он посмотрел на небо: стервятник? Нет, летит чересчур высоко. И тут, рассыпавшись искрами, сверкнул звонкий блеск. Поверхность воды вздрогнула от рыбьего косяка, пронесшегося вверх по течению. Забыв обо всем, Федерико наблюдал за стаей и, только потеряв ее из виду, отступил назад, прислонился спиной к стволу бамбука. И еще долго стоял так, очень долго. И молчал. И не думал.

Река тут поворачивала и теперь, казалось, всеми своими водами протекала сквозь его сердце...

■

Хосефина сообщила, что обед готов, и все вернулись в дом, пообедали без аппетита, и едва им подали кофе, как Федерико позвал Самбо, чтобы спросить: если сеньоры выедут отсюда немедленно, успеют они в Монтеверде к поезду на Пуэрто Лимон?

Самбо заставил повторить вопрос, потом поглядел на часы, прикидывая: если выедут теперь же на станцию Монтеверде (деревянная скамейка под навесом, покрытым четырьмя листами цинка, добела раскаленного солнцем), то попадут туда часа за два до поезда. Потом подумал, что эти часы будут ему очень кстати — надо закончить торг с Илюстрисимо насчет грузил. Хотя, с другой стороны, может быть да, может быть нет, а может и perhaps [1]. И вообще, почему он должен знать на память расписание всех поездов, а если и знает, то почему должен рассказывать об этом кому попало. Дон Федерико и сам его помнит наизусть, и если спросил, значит, тут кроется какой-то умысел. Размышляя так, Самбо чесал ногу подошвой другой ноги. Гости между тем нервничали. Наконец, ответил, что да — прибудут как раз вовремя, если, конечно, поторопятся.

— По-моему, вы хотите только одного,— заметил Перальта, когда дон Федерико пошел проводить их до пристани,— хотите убедиться, что мы в самом деле уехали.

Федерико не ответил. Взял свою старую фетровую шляпу, натянул ее пониже на глаза и пошел впереди. Когда Самбо отвязал веревку и запустил мотор, за кормой вскипел пенный водоворот. Перальта со страха рухнул прямо на днище, хотя там было на дюйм воды, а Самбо ехидно хохотнул. И когда Солера попрощался, сложив губы куриной гузкой, а Перальта, схватившись за борт, поднял свою толстую руку с кольцом и помахал ею, и пирога стала удаляться, оставляя за собой усы пены, и все уменьшалась и уменьшалась, пока не стала казаться темной черточкой, а потом — точкой на буром

[1] Возможно *(англ.)*.

хребте реки, Федерико все смотрел, прищурив глаза, и, только потеряв лодку из виду, поднял голову. Высоко-высоко на горизонте, прикрыв плечи облачным жабо, вздымался голубоватый вулкан Турриальба. Такой далекий и неприступный и такой родной, обычный. Суровая, величественная громада, высокомерная глыба базальта. То замкнутый в себе, то угрожающий всем... Федерико долго смотрел на него, пока не заслезились глаза от ослепительно синего неба...

Возвращался он в сопровождении всей своры, заливавшейся лаем. Пока шел через фруктовый сад, тщательно подвел итог всему случившемуся. Конечно, он понимал, что рискует: эти мерзавцы, несомненно, передадут своему хозяину все да еще сдобрят горчичкой и перчиком. Американец, как настоящий гринго, злопамятен и мстителен и не потерпит этого. А Компания сильнее правительства, акционеры — по всему свету. Теперь они, наверно, играют в бридж где-нибудь на Багамских островах или в каком-нибудь Коровник-сити. И обманываться не имеет смысла: он сам объявил им войну и в этой войне может потерять все, вплоть до собственного скальпа, как какой-нибудь индеец из племени команчей. А если бы не объявил, значит, уже превратился в настоящего слюнтяя. Недаром характером он пошел в деда и кулаки у него как лапы тигра — небольшие, но крепкие, и эти ублюдки увидят, что еще не перевелись бойцовые петухи. И, взвесив все «да» и «нет», «за» и «против», «может быть» и «кто знает», спокойно прикинув, какие чувства пробудят у гринго сальный сладкоречивый толстяк и худой наглец, Федерико сказал себе: эта земля моя. Его земля, понимаете? А сволочи получили то, чего заслуживают. И пусть проваливают со своей музыкой куда-нибудь подальше. Чего задумали, сукины дети!

■

Сегодня учительница показала нам ленту Мёбиуса. Вот это здорово. Возьмешь бумажную полоску — лучше от газеты, чтобы была длиннее,— и видишь, что полоска имеет две стороны; подтверждение этому — если муравей захочет поползать по одной стороне, он может сколько угодно делать это, но чтобы попасть на другую, должен обязательно перелезть через кромку. Поэтому и говорят, что полоса имеет две поверхности. А вот лента Мёбиуса получается так. Надо перевернуть один конец полосы, словно собираешься ее закручивать, но делаешь всего один поворот и склеиваешь концы. Тогда бумага будет иметь только одну сторону, и любой, кто хочет, может проверить, если сомневается. Ведя пальцем, будто преследуешь муравья по всей ленте, вдруг убеждаешься в том, что обе поверхности сошлись в одну и не надо пересекать кромку. Кто не знает этого, полагает, что тут какое-то волшебство.

С этих пор я начал думать: а может, и все в жизни так — что-то одно оборачивается другим. Вдруг мне удается найти такую штуку, у которой было бы три стороны, а потом она стала бы иметь четыре (у пирамиды же четыре стороны), и учительница говорит, что если я сумею это изобрести, то стану знаменитым. Правда, она при этом посмеивалась.

Главное — найти что-то с тремя сторонами, но мягкое, чтобы можно было по-всякому изменять. Только, если под рукой нет ничего подходящего, очень трудно вообразить.

И еще я мечтаю, хорошо бы и в жизни было так: щелкнешь пальцами — и все вмиг становится другим. Вот это

со мной и происходит, а не то, что думает папа и из-за чего он повел меня к врачу — сказал, что я стал какой-то чудной. Доктор посоветовал ему не волноваться — это, говорит, «переходный возраст»—и прописал мне микстуру для аппетита и для засыпанья, потому что я дергаюсь во сне. И еще велел, когда сплю, руки держать поверх покрывала. Это уж совсем глупо, ведь, если мне станет холодно и я суну руки под одеяло, все равно никто не увидит. Вчера мне дали большую ложку микстуры — не очень противная. А потом вовсе забыли про нее. И хорошо, мне и не хочется иметь аппетит. Есть без аппетита скучно, но я хочу скучать, потому что, когда скучаешь, остается больше времени, чтобы подумать обо всем.

IV

Эстебанита была на шестом месяце первой беременности, когда Федерико ошеломил ее известием: «Переезжаем в Пуэрто Лимон. Что? Никаких возражений! И как можно быстрее».

Она чуть в обморок не упала.

Молодая, неопытная — накануне чай и кофе перепутала,— она думала, что без матери, без своих семи теток, тем более в чужом портовом городе, где никого не знала, рожать наедине с Федерико — какой это будет для нее стыд. Новость настолько расстроила ее, что даже сон приснился: будто родила она своего первенца где-то на земле под пальмой и огромные крабы пожирают послед.

— Федерико, ты и вправду веришь, что мы сможем привыкнуть?

— А почему бы нет? Если там тоже каждый день рождаются дети и умирают старики, как в любом другом месте, и люди едят рис, фасоль и...

— Но еще говорят, что там дожди льют как из ведра, а потом — акулы и желтая лихорадка? Правда?

— Правда, моя дорогая, все это правда. И еще там живут прокаженные, а от жары у людей мозги плавятся и вытекают через уши. У мусорщика-негра, который ходит с помойным бачком, все лицо в шрамах от какой-то странной болезни. У американцев свой клуб и свой закрытый пляж, куда нас приглашают раз в год — словно милостыню дают на свои праздники. Остальное время смакуют там свое виски. Вкуснейшее. Да. Все это правильно. Но что ты хочешь, если я уже решил.

И друзья отговаривали:

— Как тебе пришла в голову такая нелепость, Федерико? Здесь у тебя адвокатская контора, ты начал делать карьеру. И тесть твой— член Верховного суда...

— Вот поэтому-то. Именно поэтому.

— Старик в конце концов простит тебе похищение дочери — он крутого нрава, но человек неплохой.

— А я не хочу. Ни враждовать с ним дальше, ни помощи от него не хочу.

— И откуда у тебя эта гордость? Такому гордецу трудно разбогатеть.

— Ниоткуда. Она во мне. А на богатство плевать я хотел!

— Но ведь умрешь в бедности. В бедности и в полном забвении.

— Ну и что?

В больнице Пуэрто Лимона родилась Флор де Мария, а полтора года спустя, красный, как лангуст, появился на свет Хосе Энрике. Жизнь шла своим чередом. Годы с тупой методичностью куда-то уходили, уплывали...

В Сан-Хосе они приехали, получив тревожную телеграмму. Дон Игнасио, из-за своего упрямства еще и не видавший внуков, заметив входящего Федерико, который вел за руку Флор де Марию, и Эстебаниту с грудным Хосе Энрике, высморкался в простыню и испустил тяжелый стон, скорее напоминавший мычание. Потом приказал всем выйти из комнаты и оставить его вдвоем с зятем.

— Если бы не вы,— через силу сказал он, когда из комнаты последним, чуть не на буксире, вывели священника,— я бы никогда не выдал замуж свою дочку. Эта дуреха собиралась в монастырь. Разве вы не заметили, как она набожна?

— Есть немного.

— То есть как это, немного? Надо быть слепцом, чтобы не видеть этого. А какие мысли ее одолевают?! Это у нее с материнской стороны.

Семейные секреты, интимные детали — вот что передавал ему умирающий, а не наследство, как думал священник, нервно расхаживавший в соседней комнате и мечтавший о новом органе для церкви. Федерико, сидевший на табурете в ногах больного, видел оттуда лишь глубокие волосатые ноздри тестя.

— Да, это у нее идет от Мехиа,— гнусавил старик.— Все они родом из венесуэльского города Баркисимето. Их прадед сражался под началом Боливара в битве при Карабобо [1]. Потерял там ногу. Но нынешней молодежи нет дела до своих предков. Теперь и вправду верят, что люди произошли от обезьяны.

— Не думайте так, сеньор. Я, по крайней мере, не такой.

— Да? — Дон Игнасио сделал усилие, чтобы держать голову прямо.— А это не ваш ли дед замкнулся от людей и жил в глуши с какой-то метиской?

— Он. Он самый.

— Тогда позвольте сказать вам, потому что я уже вот-вот уйду туда, где увижусь с ним, что за всю мою жизнь не встречал более сумасбродного старика. Постойте! Дайте мне кончить рассказ о Мехиа. А вы разве не знаете, что уже двое из их рода испустили дух в святости?

— Нет, не знал.— Он вспомнил деда и невольно сморщил верхнюю губу.— У меня плохой нюх, сеньор, в духах, запахах я плохо разбираюсь.

— Послушайте, я не о запахах говорю. Это вопрос веры.

— Ну, а эту госпожу я и вовсе давно потерял из виду.

Теперь старику пришлось проглотить пилюлю.

— Так или иначе, я вам сказал, и не забывайте: люди из рода Мехиа умирают в святости.

— Да, сейчас становятся святыми все кому не лень. Развелось святых чуть не батальон. Весьма оригинальное занятие. Что же касается святости Эстебаниты, то отвечу откровенно: до сих пор не замечал. Новая святая? Мечтающая о страстях господних? Нет уж, извините. И позвольте сказать вам прямо — священный экстаз в ее глазах я видел только в постели.

---

[1] Симон Боливар (1783—1830) — национальный герой Венесуэлы, организатор борьбы за освобождение Южной Америки от испанского господства в XIX веке. В битве при Карабобо в 1821 году разгромил испанцев.

Старик резко повернул голову, заскрипев шейными позвонками, и стал двигать челюстями, будто хотел что-то сказать. И не смог. Тогда скрестил руки на груди, впился взглядом в безоблачное небо и, словно прося, чтобы бог ниспослал ему терпение и покорность, начал бормотать нечто, напоминающее «Отче наш».

— Очень сочувствую, поверьте, очень. Вам так не повезло в жизни, дон Игнасио. Ваша единственная дочь унаследовала вывихи рода Мехиа и вышла замуж за внука самого сумасбродного старика, какого вы когда-либо знали. В самом деле не повезло!

Через два дня, которые дон Игнасио упрямо провел в полном молчании, он умер, вдруг прокричав из последних сил: «Да, святая, черт вас всех подери! Богомольная! Хоть этот обормот и не верит!»

На самом деле Эстебанита была иной. Святость требует особой внутренней структуры, устремленности вверх, возвышенности помыслов, ангельских перышек, тщеславного бахвальства личными связями чуть не с самим богом. У нее же не то. Совершенно не то. Правда, чуть-чуть есть: какой-то ген рода Мехиа незаметно в нее забрался и сбивал ее с толку, но все строение ее мышления было основательным, наподобие тех старинных колониальных построек со стенами метровой толщины и широкими открытыми солнцу проходами.

Почему же отец мог так ошибаться в ней?

Наверно, там, в его доме, как часто случается в этих старых домах, где родилось и умерло несколько поколений, были какие-то тайные уголки — заколдованные комнаты, закрытые на засовы и заржавелые замки, куда никто не заглядывал. Возможно. Но как бы то ни было, в Пуэрто Лимоне молодая жена сумела отлично наладить жизнь. В семь утра отправляла в школу детей, умытых и приглаженных. В восемь шла на базар с кухаркой-негритянкой Магнолией — обе с корзинками в руках. Кухонная плита, а не иконостас, торг из-за каждого медяка в разных лавчонках, швейная машинка.

Так проходили годы. Ребятам надо сшить пижамки и рубашечки. Годы уходили и не возвращались. Пришить пуговицы, вымыть уши и коленки. Сны становились все прозрачнее, редкие, как кисея. Все прозрачнее. Федерико переменился, стал совсем другой. И еще год. И еще...

«Мне бы хотелось, чтобы ты купил тот отрез итальянского шелка, который, помнишь, я тебе показывала. Продается вот тут рядом...»

Пусть годы идут. И не возвращаются.

«Сегодня начинают изучать молитвы страстной пятницы. Отец Шонгауэр известил меня. А ты не пойдешь со мной, Федерико? Какой невнимательный. Я знала, что ты так ответишь, но подумала... Ну, не сердись из-за пустяков...»

И уже становится обычным: «Пресвятая дева, я задыхаюсь!» Снова смирение. Опять — кроить штанишки, штопать носки. Пришить пуговицы, вымыть уши. Смахнуть пыль с карнизов. А она поднимается в воздух, плывет и вновь оседает на стол... Смахнешь со стола. А она плывет в воздухе и ложится на карнизы. Ох ты господи!

«Тогда купи мне радиоприемник, все-таки веселее будет».

«С каждым днем все угрюмей. Нет, Аурелия, ничего мне не кажется. И вовсе я не выдумываю, в самом деле так. Пресвятая дева, услышь меня».

И опять смирение.

— Что мне делать, падре?

— На этот раз я велю тебе трижды прочитать молитву, стоя на коленях на зернах маиса.

— Но ведь больно?

— Конечно, больно.

— Может быть, лучше на чечевице — не такая острая.

— Нет, на чечевице нельзя. Христос больше терпел на кресте.

— Да, да, падре, конечно...

— Федерико, посмотри, какую метелку из перьев я купила. Нравится?

— Не знаю. Как-то я никогда не думал, что метелки могут нравиться.

— Но если в этом вся моя жизнь, Федерико. Что же мне делать?

— Да, тогда конечно. Симпатичная метелка.

— Тебе правда нравится?

— Правда. Так же мила, каким может быть, например, штопор.

— Не смейся. Как это — симпатичный штопор?

— А метелка?

— Ладно, Федерико, пусть будет по-твоему.

И еще год проходит. И встает солнце. Гаснут звезды. И надо смести пыль с карнизов...

— Федерико, своди сына в парикмахерскую. Так оброс, что и ушей не видно. И знаешь, я уже дочитала тот роман. Когда ты мне купишь новый? Нет, Жорж Санд хватит. Купи что-нибудь поинтересней.

— Ладно. Я и сам об этом думал, Эстебанита.

«Ой, пресвятая дева, как я страдаю! Нечем дышать».

Еще трижды перебрала четки, стоя на зернах маиса...

«А можно на чечевице?» — «Нет, на чечевице нельзя. Грех».— «Господи, прости меня, только я не буду сегодня убираться. Слышите? Больше не могу!»

— Мамочка, помоги мне. Что такое гипотенуза?

— Не знаю. Придет папа с работы, спроси у него.

— А если и он не знает?

— Он-то знает. Он все знает.

— А кто сильней: папа или грузовик?

— Папа. Конечно, папа. Он даже сильней поезда с двумя паровозами.

— Правда? С двумя? Вот здорово!

— Но посмотри, у тебя опять не хватает пуговиц.

— Это я нечаянно, мама.

И еще год проходит. И не возвращается. И восходит солнце. И гаснут звезды...

— Супруга Федерико — само очарование!

— А я ей завидую. Какого красавца отыскала! Из-за него и она такая — как будто он ее заворожил.

— Да нет, это она прелесть. В доме все делает сама. И на рынок ходит, и всегда чистенькая, всегда все в порядке. Настоящее сокровище.

— А дети? Просто загляденье. Правда, дочка вроде немного того — какая-то чудная.

— Что вы, она восхитительна.

— И правда восхитительна.

А как же наследственность рода Мехиа? Битва при Карабобо? И святой дух? И темные, закрытые на засов чуланы, полные старых сундуков? От этого всего лишь иногда, редкими вечерами на закате солнца — тоска и смутное томленье: хорошо бы уметь летать...

— Понимаешь, в чем дело — у моей жены ум с перекосом,— както вечером Федерико признался Колачо.— Погоди, сейчас объясню. Например, ты разговариваешь с ней по какому-нибудь вопросу и уве-

рен, что она тебя понимает. Потому что вообще-то она, ты же знаешь, женщина разумная, иногда так метко скажет, что просто удивляешься. Но вот продолжаешь с ней говорить и вдруг замечаешь, что ее понесло куда-то в сторону. Вроде у нее в голове что-то выключилось?

— Как утюг?

— Нет. Будто она в мыслях вдруг куда-то полетела. Серьезно, словно оторвалась от земли.

— Нет, Федерико, я думаю, дело не только в этом. Прежде всего вспомни, сколько фамилий значится в ее родословной и за каждой из них тянется целый хвост блаженных. И довольно известных. Какая уж тут логика с таким-то кладбищем за плечами. И не только это. Еще вдобавок этот прусский священник морочит им головы. Ты должен запретить ей так часто ходить в церковь.

— Может, ты и прав. Знаешь, жена как-то рассказывала мне про свою мать, которая была в десять раз набожнее ее. Так вот, она мочилась в постели до самой свадьбы.

— Вот и я говорю.

— Но что же делать?

— Подумай.

— Какая-то чертовщина.

— Действительно чертовщина...

■

Хлынул ливень, и в мгновение ока дворы наполнились всплесками молний, кудахтаньем кур, бегущими с поджатыми хвостами собаками и криками женщин, зовущих детей. Федерико встал, чтобы закрыть окно, и услышал за спиной голос жены:

— Я столько раз обращалась к богу, Федерико, молила его: пусть ты будешь богатый, бедный — все равно, только бы не обманывал меня. Потому что я всегда знала: если есть что-нибудь в мире, чего я не смогла бы перенести, так это твоего обмана. И вот сейчас мне точно известно — ты меня обманываешь, Федерико. И не кричи, пожалуйста, когда отвечаешь, умоляю — не кричи.

— До каких пор,— сказал он, борясь с непослушными створками окна,— ты будешь обращать внимание на всякие небылицы, которые тебе рассказывают.

— Это не небылица, Федерико. И не сплетня. Ты знаешь лучше, чем кто-либо другой.

Дождь хлестал ему в лицо. И он вдруг сказал некстати:

— Белье во дворе мокнет.— Потом повернулся к ней: — Какой бы ты ни была... Ты должна понимать, что при моей профессии врагов у меня более чем достаточно. А люди, кроме того, вообще склонны к злословию — по своей природе. Вот вчера, например, один налоговый чиновник, перепившись, устроил себе тир в баре «Гонконг» и расстрелял из своего револьвера все их китайские фонарики. Можно вообразить, что он там оставил после себя. И сегодня рано утром китаец-хозяин уже ждал меня у дверей конторы. Просил взять на себя защиту его интересов. Теперь представь мое положение: что лучше — ссориться с властями или потерять клиентуру всей Поднебесной Империи. Чтобы выиграть время, я спросил китайца, как это ему пришло в голову развесить такие соблазнительные фонарики. Но, если трудно заметить, как китаец желтеет от злости, зато ясно слышишь щелчки в его голове. Какая-то дьявольская счетная машина. Поэтому едва лишь у него там все загудело, мне пришлось быстрень-

ко обратить все в шутку и сказать, что, конечно, берусь за его дело и что мы будем...

— Это ужасно, Федерико.

— Что?

— Непонимание, отдаление...

Она тяжело вздохнула, а пальцы ее все слабели и слабели, пока не выронили зеркала, которое она держала перед ним во время бритья. Вдребезги...

— Что ужасно? — переспросил он, вздрогнув.

— Все это. Все! Какое отношение имеет то, что я тебе говорила, к пьяным дебошам? Но самое ужасное то, что ты делаешь сейчас!

Стоя на коленях, он собирал осколки. Поднял голову. Лицо казалось растерянным, почти испуганным:

— Что я делаю?

— Неужели не понимаешь, Федерико? Как странно все в жизни. Ведь достаточно, чтобы ты моргнул глазом, и я бы бросилась как сумасшедшая на колени собирать стекла. Да еще переживала бы свою вину.

— Черт подери, ничего не понимаю! Какая тебя муха укусила?

— Никто не кусал, Федерико.

— Тогда тем более не понимаю.

— Если бы хотел, понял.— Она погрозила ему пальцем, помахав рукой у самого носа.— Это не так трудно. Я говорю, что ты меня обманываешь, а ты плетешь нелепую историю о китайских фонариках.

— Но я тебе рассказал ее затем...

— Нет, нет и нет! — Она начала дрожать всем телом — с головы до ног.— И теперь ты должен выслушать меня, понятно? Не знаю, что и как я скажу тебе — меня всю трясет,— только я должна тебе высказать все.

Что-то в ее взгляде, в необычном голосе или в этой дрожи, ставшей более заметной от того, как трепетала оборка в вырезе халата, заставило его с неожиданной покорностью присесть на край ванны— руки, полные осколков зеркала,— и слушать.

— Я не хотела верить,— начала она, хрустнув пальцами,— клянусь, не хотела. Заставляла себя не верить, «не обращать внимания», как ты говоришь, пока не услышала, что болтает Эмилита. Ты ее знаешь, на ней и самой-то пробы ставить негде, а она: «Да брось ты его и пусть попрыгает один. Чтобы научился вести себя порядочно». Все вокруг хотели открыть мне глаза, а я, как дурочка, ничего не замечала. Как-то вечером я пошла на исповедь к отцу Шонгауэру. Он услышал мои всхлипывания и вдруг стал уговаривать меня, напоминая об обязанностях жены и матери, как будто я без того их не знаю назубок. Сказал, что я должна смириться перед всеведением бога. Всеведением, а не всемогуществом! Понимаешь? Он говорил, а я все хотела спросить его, почему он не хочет убедить меня, что все это глупости, беспочвенная ревность, которая приносит людям так много горя. Наоборот, он говорил очень убежденно и будто от себя, но теперь я уверена, что ему все было известно из чужих исповедей. И не смотри на меня так, иначе я не смогу продолжать. От страха я ничего не спросила у него. Во время отпущения грехов — не знаю, почему он так затянул его, ведь никаких грехов у меня не было — я все думала: наверно, так оно и есть, ведь к нему сходятся тайны всех исповедей. У коротышки-то Арайи никто не исповедуется — гнусавый и когда говорит, то брызгается слюной, и все идут к отцу Шонгауэру. Значит, он все знает. Поэтому-то он так и заикался, не решаясь сказать ни да, ни нет, а я ждала как на раскаленных углях.

— Да какие такие секреты знает этот чертов поп? Ведь на самом-то деле ничего нет. Клянусь тебе.— Федерико взмахнул руками и, вспомнив о стеклах, с яростью швырнул их на пол.

— Подожди. Подожди. И не клянись раньше времени, не называй священника чертовым и не сбивай меня своим богохульством.

— Ну тогда говори, в чем дело! В чем?

— Не трещи, как попугай, «в чем, в чем», у меня и так раскалывается голова. Я уже сказала, что, вернувшись домой, пока ждала детей, тысячу раз повторила себе: не надо думать об этом, не надо! Будто все касалось не меня, а кого-то другого. Я понимаю, что надо жить, что обязана жить, жить по-старому. Каждый вечер, погасив свет, я начинала думать о детях. Вдруг слышу — Хосе Энрике стучится в дверь, хочет в уборную, уже устал стучать и вот-вот обмочится у себя в спальне. И это было как возвращение из кошмарного сна, когда ты просыпаешься и говоришь: я совсем обалдела, ведь это всего-навсего сон! Но ты боишься заснуть снова и вот лежишь не смыкая глаз... Вот тогда-то я и решила прибегнуть к твоему совету — не смейся,— который ты дал мне насчет мигрени. Думать о чем-нибудь другом, не обращать внимания. Но не могла. Самое ужасное, что не могла. Я притворялась ночами спящей, на всякий случай — может быть, и вправду засну, а сама все твердила: за что мне досталась такая мука, за что? Наконец, являлся ты, как обычно поздней ночью, бросал ботинки...

— Неправда!

— Бросал! Ты всегда их бросаешь. Сам ты не замечаешь, ты очень невнимательный, Федерико. Но не это главное. Главное, что ты сразу засыпал сном праведника и начинал храпеть, а я... а мое сердце обливалось кровью...

— Почему же ты раньше ничего не говорила?

— Как же я могла сказать? Тогда я только начинала догадываться... Ты знаешь, я не очень умная, но тут связывала все кончики, припоминала мелочи, каждое твое грубое слово, извини, мне так тяжело, твои отговорки, чтобы уйти вечером из дома... И даже... Я тебе никогда не рассказывала, я написала письмо нашему консулу в Иллинойс (потом оказалось, что Коста-Рика там не имеет консула), спрашивала насчет того развода — помнишь? Но я никогда, никогда не решилась бы на развод. Только какая это мука — каждый раз выслушивать от тебя все новые предлоги... Мне ничего не оставалось, как утешать самое себя, что я не такая. Я повторяла это вслух — вот до чего дошла, хотя знала, что так могу довести себя до сумасшествия — мои родители все время боялись за меня... Больше всего мучило то, что я страдаю безо всякой вины! Ведь мне всего тридцать лет, я не старуха, нет ни морщинки, но у меня голова идет кругом, и эта проклятая мигрень. Мне очень хочется быть с тобой, видит бог, как хочется. И ты прав, когда говоришь, что мне не на что жаловаться, хотя ты несправедлив и жесток со мной... Ведь если бы ты говорил правду. Ну положи руку на сердце и скажи. Ну скажи.

— Но, Эстебанита, если все не так, все наоборот?! Если я счастлив и горжусь тобой... А вообще, давай закончим этот наш разговор вечером. Попозже, ночью...

— Нет, ради бога, нет! Только теперь, когда я собралась с силами. Позже я уже не смогу. Я знаю себя... Ты опять пристанешь со своими штучками, ты понимаешь? А я боюсь тебя, Федерико. Ты начинаешь злиться безо всякого повода. Ведь всю мою жизнь я смотрела тебе в глаза, чтобы только угадать, чтобы как-то не рассердить...

— Я знаю, что у меня плохой характер, Эстебанита. В этом все дело. И все это знают.

— Ну да! Ах, какой у меня отвратительный характер, говорила одна дама и ловко выходила из любой переделки...

Он увидел осколки стекла, рассыпанные на полу, вспомнил, что уже собирал их и, ничего не соображая, сжал виски.

— Нет! Не подходи ко мне! Если я сейчас закричу, то, знаю — не остановлюсь. Буду кричать, пока не сойду с ума, пока не умру от безумных криков. Потому что самое плохое еще впереди и бог должен дать мне силы. Это ужасно, слушай, как это стыдно! Боже мой, ведь сам Хосе Энрике, кровинка моя, рассказал мне сегодня о том, что...

Он бросился, чтобы поддержать ее, но было уже поздно. Нить, на которой летал воздушный змей, оборвалась. Эстебанита, приглушенно вскрикнув, повалилась, словно мешок с яблоками, на плитки пола.

■

Сегодня у меня получился один эксперимент. А вышло так: у Флор де Марии был пластилин в тюбиках, и я утащил у нее один — шоколадного цвета. Такой тюбик называется цилиндром, но у него три поверхности. И он мягкий, и потому когда я сплющил его, то осталась только одна поверхность. А это уже доказательство! Я думаю, что если о ленте Мёбиуса печатают в книгах, то напишут наверняка и об этом и назовут цилиндром Хосе Энрике Гарсиа.

Я даже превзошел Мёбиуса, потому что он создал одну поверхность из двух, а я из трех. Значит, я на одну обогнал его.

А вчера я думал о другом. Если все было так, как говорится в Священном писании, тогда на ком женились дети Адама и Евы, ведь у них даже двоюродных сестер не было, а жениться на родных — это смертный грех. Я думал, думал, а когда встретил на улице падре Шонгауэра, спросил его, от кого же имели детей дети Адама и Евы? Он нахмурился, шлепнул меня по затылку и сказал: «От служанкиных дочек, дурачок». Ответ мне не понравился, но больше спросить не у кого.

Нет, правда, а как это было? Интересно бы узнать.

V

Спираль стаи стервятников все туже стягивалась над добычей. Грифы, летавшие на большой высоте, опустились ниже, сжимая свои круги. С трудом сохраняя равновесие, они уже рассаживались парами на ветках гуарума [1].

Остальные сдались. Все остальные. Только он и Эпифанио, насупив брови, упорно держались.

Эпифанио с кучей ребятишек и своей Микаэлой, живущей от родов до родов, словно прыгая с кочки на кочку. Из одиннадцати детей в живых у них осталось пятеро. Ружьишко на веревочке, соломенная хижина да сомнительное владение клочком земли, размером с

[1] Высокое тропическое дерево.

женский платок, присвоенным без разрешения. Никаких границ, никаких прав, кусочек земли, тайно выхваченный из рук Большого Хозяина, который в конце концов, грозно рыча, явится сюда с кучей бумаг, скрепленных штемпелями и печатями, с полными карманами разных декретов. И тем не менее Эпифанио еще мог смеяться и проводить целые вечера, сидя на корточках на берегу реки, за рыбной ловлей. Был он человеком вспыльчивым — у таких паруса ненадежные, легкий ветерок — и все в клочья.

Второй был он, Федерико. Со своим адвокатским дипломом, известной фамилией и четырьмястами гектарами. Все документы в порядке: он бесспорный хозяин огромного пространства по берегу реки — царства роскошных орхидей, усадьбы, рабочего скота и земли, жирной, черной, благодатной, плодородной. И несмотря на это, он уже давно не смеется, почти не вылезает из дому, не ходит вечерами на охоту (только Эпифанио изредка занесет ему половину тепескуинтле [1] или олений окорок). Часами качается в кресле-качалке, раскладывает пасьянсы или просто пытается проглотить тугой комок, словно застрявший у него в горле: вроде бы проглотил, а он опять тут, снова проглотил, но поперхнулся...

— Эпифанио, слушай меня внимательно, нас сжимают кольцом. Компания уже скупила все земли вокруг. А кто не хотел продавать, кончил еще хуже. Слышал, что произошло с хромым Монтьелем?

Разговаривали на заднем дворе, облокотившись о край бака с дождевой водой.

— Да, дон Федерико, бычок-то оказался норовистым.

— И что ты думаешь делать?

— А что может сделать бедняк? Вы хоть законы знаете, друзей влиятельных имеете, а я что?

— Ну, а все-таки, когда придет твой черед?.. Не забывай — у тебя пятеро ребятишек...

— Как о них забудешь, дон Федерико.

Снова помолчали — все у той же бочки.

— Знаешь, что случилось с Монтьелем?

— Говорят, ходит побирается и проклинает всех на свете.

— Точно. Только я думаю, если тебя заставляют вскормить на своей груди койота, пусть потом не жалуются, что он кусается.

Появилась луна. Эпифанио ушел, а он вернулся в свою качалку. Что они там воображают? Будто он подыхает с голоду? Качнул кресло. Еще раз. Он прекрасно понимал, что выход надо искать не здесь — сидя в качалке. Надо ехать в столицу, сражаться там. Но всегда найдутся какие-нибудь предлоги.

Начинаются галлюцинации. Кажется, Эстебанита что-то хочет сказать со своих подушек... Вглядевшись повнимательней, понял, что это не она, а доктор в накрахмаленном халате.

— Поменьше переживаний, дон Федерико. Принимайте все философски. С коронарными сосудами шутки плохи.

Муха устроилась на трефовом тузе и лапками стала чистить голову.

— Где, вы говорите, ощущалась боль?

— Вот тут, доктор, точно вот в этом месте.

Прошелся по комнате и снова сел.

— Конечно, с таким характером, как у вас. Учтите — это был первый звонок. Я уже сказал: с коронарными не шутите!

[1] Животное из отряда грызунов, размером с зайца. Его мясо считается деликатесом.

Эти сосуды представлялись ему цветками, бутон которых может лопнуть в любой, самый неожиданный момент. Нет, страха не было. Было что-то другое. Глубоко внутри, куда никто не может заглянуть.

— Да, доктор, я вас понял.

— Ну что ж, дай вам бог. Сколько вы курите?

— Совсем не курю.

— Выпить иногда можно. Лучше виски. Но самое главное — чувствовать себя счастливым.

От врача вышел, подсчитывая про себя: с электрокардиограммой — сто пятьдесят, за день пропустит человек десять. И кто знает, ошибается он или нет. Кто может отличить эмболию от разрыва сосуда? И кто потом потребует деньги назад?..

До сих пор это никому и никогда не удавалось.

Будьте счастливы! Вот главный совет. Пока медсестра поворачивала его на кушетке, он прочитал диплом в золоченой раме: «Лувенский университет». Потом отыскал в Ларуссе — Louverture, Louvre, Louvaina... Это в Брабанте. Женевьева Брабантская. Старинный университет. Овечьи стада... Заодно прочитал: «Казан»[1], «Человек-волк». И лапы зверя снова оставляли следы на сверкающем саване снегов.

— А ваше поместье далеко отсюда? — спросила сестра.— Боюсь, что там у вас поблизости нет ни одного врача.

— Что вы, сеньорита, в Сикирресе есть.

— А это рядом?

— Не совсем, правда. Несколько часов на лодке, затем на «осломобиле», а потом, если не повезет и упустишь поезд, еще прогулка по шпалам.

Сестра сказала: «Ух-х-х!» — и захлопала длинными приклеенными ресницами.

В аптеке надо было постоять в очереди...

— Одну или две таблеточки под язык. Мед с молоком и еще одну таблетку нитроглицерина под язык.

— Это что же — то самое, из чего делают динамит?

Огромные арабские глаза аптекаря, как у недоразвитого верблюда.

— Самое эффективное и быстродействующее сосудорасширяющее. Кстати, кардиологи весьма довольны, что оно к тому же и не долгодействующее. А то врачи перемерли бы с голода.

Безапелляционен, верблюд! Однако он прав. В каждом деле есть свои углы и своя путаница. Но больше всего ему понравилось словечко «сосудорасширяющее». Склоняя его, он пошел пешком в обход центра города, чтобы не встретить знакомых. Однако уловка не помогла. Двоюродного брата невозможно было не встретить — меломана, спиртомана, мифомана и более прилипчивого, чем клейкая бумага-мухоловка.

— Не могу забыть, какой редкий талант у тебя был.— Он подхватил Федерико под руку.— Да с таким талантом! Я всегда это говорил. Ведь как легко тебе давалась учеба! У меня из всего римского права в голове осталось только: «habeas corpus»[1] и «dominus vobiscum»[2]. Ну как ты?

На окне заметил надпись: «Дантист-хирург». Чтобы отделаться от родственника, он вошел в здание и какое-то время сидел как идиот, делая вид, что листает журнал, в окружении распухших физиономий.

---

[1] «Казан» — роман американского писателя Дж. О. Кэрвуда (1878—1927), популярного в 20-е годы.

[2] «Habeas corpus» *(лат.)* — слова из английского закона 1679 г. о неприкосновенности личности, а «dominus vobiscum» *(лат.)* — церковное обращение: «Господь с вами».

И так тошно, хоть вой! Встать на четвереньки и завыть. Хорошо еще, что в банке не было очереди и его сразу же пропустили к заместителю управляющего. Вот еще одно дельце — как раз, чтобы быть счастливым. На стене картина Поля Кли, а галстук чиновника украшен маленьким золотым орлом.

— Сначала позвольте мне рассказать все, чтобы банку было ясно. Я начал посадку банановых плантаций не из каприза. Это произошло, когда цены на какао резко упали. И не моя вина, что катрачос [1] раньше почуяли выгоду. Кроме того, вы знаете, что в Гондурасе нет социального страхования и пеонам платят гроши.

— Понимаете, какая неприятность, дон Федерико, мы получили доклад... Банк посылал двух агрономов...

— Да, да, я был там, когда они приезжали. Но все было именно так, как я говорю. На эти посадки я истратил весь заем до последней монеты, вы же знаете. А катрачос... Но, в общем, я только прошу немного подождать. Не берите меня за горло. Скоро я начну выплачивать долги постепенно.

Улыбается. Он говорит и говорит, а тот улыбается. Счастливые люди, верно?.. Ты тоже улыбалась, Никояна. Первый раз в жизни со мной такое случилось, просто расходились нервы. А ты улыбалась. Правда, потом сама испугалась и упрашивала меня: не надо больше. А оказывается, это и был коронарно-сосудистый криз. Какая ужасная вещь! Словно водоворот, омут. Или «око циклона»...

— И поймите, я всего лишь заместитель управляющего, а потребовать со всех должников одновременной уплаты решил Совет директоров. Роздано слишком много денег, а строка прихода...

Строка. Встречаются же такие похожие и такие разные слова. Ажурные строчки твоей кофточки, смертью строчит пулемет... Но чего особенного я у них прошу? Разрешить чуть позднее начать выплату долга, и больше ничего. Скольким они уже разрешили это! Через год, например.

А тот все улыбается. Сверкает маленький золотой орел. И сам чиновник, такой элегантный, такой вежливый — beauty parlor dry cleaning supermarket on the rocks [2].

— Хосефина!

— Чего?

— Иди сюда, не заставляй меня кричать. Как же ты хочешь, чтобы у меня получился пасьянс, если одна карта потерялась. Ну-ка загляни под ковер!

Старые штучки!

— Что ты встала как вкопанная? Нагнись, тебе говорят, и поищи.

Она отлично знала, что под ковром карты нет. Наконец нашла — под скатертью.

— Кто ее туда засунул?

— Не я, дон Федерико, клянусь вам.

В ожидании женщина постояла еще немного, оперевшись о стол, но он, не взглянув больше на нее, снова погрузился в пасьянс.

Ведь вот как: какой-то жалкий кусочек картона — и все идет к чертям. Точно так же и в делах: думаешь, все уже вот-вот наладится, а где-то что-то не срабатывает. Сломается зуб в шестеренке или взбесится вдруг ген какого-то прапрадеда — и начинается кавардак. И так вечно. Бывают дни, когда все словно сговаривается, тайно собирает силы и вдруг обрушивается на тебя...

---

[1] Так называют жителей Гондураса.

[2] Шутливый набор английских слов, в данном случае обозначающий нечто, присущее человеку из «общества».

Я тебя ни в чем не упрекаю, Никояна. Но какого черта тебе надо было ехать именно в этот день, а не накануне? Почему ты вошла именно в этот вагон и выбрала как раз то место? Да нет, никаких упреков. Как я могу на тебя сердиться, если твоя единственная вина в том, что твои губы были чуть-чуть приоткрыты.

— Сеньор,— ты слегка повернулась,— не могли бы вы сказать, когда, наконец, будет видно море?

Сказала, а сама все трогала длинную черепаховую сережку. До этого момента все шло хорошо. Скажем точнее — нормально. Но так случилось, что ты села на переднее сиденье, а потом повернулась, чтобы обратиться с вопросом.

Собственно, какого ответа ты от меня хотела? Ведь море-то оттуда вообще не видно, его лишь можно услышать, Никояна. Потому что дорога проходит по равнине без единой возвышенности, а берег в двенадцати милях, но когда ночь тихая и нет ветра, то услышать можно. Оно словно кипит, бурлит. В ту первую ночь я тоже бурлил... Я поцеловал тебя внезапно. Ты встала и сказала, что пойдешь приготовить что-нибудь выпить. Ты убежала на кухню, а я пошел за тобой, но так, чтобы ты меня не слышала. Как у тебя дрожали руки, милая ты моя. Бутылка дергалась, как психопатка, звенела о стаканы. Понятно, через несколько дней твоя застенчивость прошла, и ты включилась на полную силу. Эта взрывная страсть, которую ты внесла в мою жизнь, была каким-то безумием. Все было так необузданно и сумбурно, что я и сейчас еще, как слепой, пытаюсь собрать в памяти обрывки того, что случилось.

Опустился вечер. Умолк птичий гомон, появились первые светлячки.

— Хосефина-а-а!

— Чего?

— Иди сюда. Я уже сказал: когда тебя зовут, не отвечай «чего» из своей кухни. Я зову — значит должна прийти ко мне. Тут и поговорим.

— Я тут и есть. Что вы хотели?

— Слышишь, моторка идет?

— Вроде нет.— Она приставила ладонь к уху.— Так быстро не может быть.

— А по-моему, идет.

Звук становился все громче. Сопровождаемый Пирулой, Федерико заторопился к причалу. Пирога, легко подпрыгивая на волнах, шла вниз по течению. Самбо заглушил мотор, круто развернулся и на четвереньках, ловко, словно белка, вскарабкался на скользкий берег.

■

Учительница сказала, что спичечная коробка называется параллелепипедом, и спросила меня, зачем мне это нужно. Но я ей соврал, сказал, что просто с ребятами поспорили. А то еще присвоит мое открытие... Когда-нибудь на уроках геометрии она скажет школьникам: «Дети, а сейчас перейдем к изучению параллелепипеда Хосе Энрике Гарсиа, который превзошел самого Мёбиуса. Дело в том, что ему удалось превратить фигуру с шестью гранями в другую — с двумя. А после уроков пойдем в парк и я покажу вам его памятник. Раньше Пуэрто Лимон был известен в мире лишь тем, что в нем когда-то переночевал Христофор Колумб, который увез с собой отсюда четырех

индианок и много золота, а еще тем, что здесь останавливался пират Морган. Теперь же наш город знаменит как родина ученого Хосе Энрике Гарсиа...» Мне хочется прославиться, чтобы обрадовать маму, а то сейчас она все время лежит в постели и вздыхает. И чтобы папа не смотрел на меня, как на ящерицу. А то, когда он приезжает из поместья, видит только одно, что у меня на лице прыщи, и очень злится. Я не знаю, что с ним случилось, но это так. Поэтому мне и хочется стать ученым, как Эдисон, который изобрел фонограф, а теперь их уже полно во всем мире.

Еще вот что — я научился кататься на велосипеде. Недавно вечером Тоньо позвал меня на вокзал к приходу поезда, чтобы помочь донести кому-нибудь багаж. И правда, у одной старухи было очень много свертков, и она дала нам по песете. На эти деньги я взял напрокат на полчаса велосипед и за эти полчаса научился. Тоньо мне показал, и все очень здорово! Но самое трудное — останавливаться, потому что тогда как раз и падаешь. Наверно, так всегда в жизни.

VI

— Ну, что там было, как довез их? — Они шли, сопровождаемые Пирулой, через луг.— Я спрашиваю, как доехали? Или у тебя рот не открывается?

— Хорошо. Оставил их там, в Монтеверде.

— Говорили они между собой? Обсуждали что-нибудь?

— Болтали на своем «макарони»[1] — на другом языке, чтобы нельзя было разобрать.

— Может, все-таки что-нибудь понял? Вспомни.

— Тощий спросил меня, с каких пор я работаю в «Эль Сафиро». Я ответил, что не работаю, просто иногда вы берете у меня лодку.

— Зачем же ты так сказал, дурья башка? Ведь они сразу догадаются: значит, свою я продал.

— Мать честная, неужели вы думаете, что они ничего не знают? Надо всем подсмеивались, даже над вашим обедом. Тощий сказал, что фарш был из собачьего мяса, и добавил, что если, мол, Компания не поторопится купить у вас поместье, вы все сожрете, даже попугаев в лесу.

Самбо шел чуть сзади и искоса наблюдал за доном Федерико. А сам хитро щурился. Ресницы у него были такие длинные и густые, что он показывал всем желающим — особенно восхищались девушки — удивительный фокус: положив на ресницы несколько спичек, он моргал глазами, а спички не падали.

— Что еще говорили? Да рассказывай ты, наконец, несчастный! Клещами из тебя слова тянуть, что ли?

— Спрашивали, докуда поднимается вода в половодье. Ну, я сказал, что недавно в потоке утонули два мула, а нам чуть ли не пришлось привязывать свой дом, чтобы его не унесло разливом. Потом спросили,— а сам все косился на Федерико,— сколько пеонов работает у вас сейчас. Я ответил, что человек пятнадцать, а толстый удивился — зачем так много. Пришлось соврать, что вы подрядили бригаду для дренажных работ, потому что собираетесь посеять ипекакуану[2] на двадцати гектарах. «Он и вправду глуп, как осел»,— ска-

[1] Смесь слов из разных языков.

[2] Мелкий кустарник, корни которого используются в медицине.

зал один, а когда я ответил, что до этого еще не дошло, оба расхохотались. Тощий едва не подавился, а толстяк махал своим сомбреро, чтобы не лопнуть от смеха. Так раскачали лодку — чуть мы не перевернулись. Чтобы они замолчали, я свернул в быстрину. Черпнули маленько воды, и толстяку залило брюки. Когда он вытащил из кармана свой бумажник, все у него там расползлось. Причалил я их тоже не к пристани, а повыше — у болота. Толстяк полез на четвереньках, а второй прыгал по кочкам. Чуть не шлепнулся и ноги измазал до колен.

Дошли до дома. Федерико направился внутрь, а Самбо позволил себе роскошь сначала завернуть на кухню напиться воды. Когда возвратился, хозяин поместья сердито ждал его.

— Садись вот здесь, божья сирота, и не поднимайся, пока я не разрешу! И рассказывай все, слышишь?

Самбо взглянул ему в глаза и на этот раз испугался.

— Ну, когда мы проплывали мимо Илюстрисимы,— продолжил он, вперив взгляд в квадраты линолеума,— там их ждал чоло [1] Альписар. Похоже, знали его раньше, потому что разговаривали с ним шепотом, чтобы я не слышал. Интересно, что он им наговорил, потому что после этого они меня спросили, хорошо ли вы обращаетесь с пеонами. Я ответил, что нет, а хорошо относитесь только к собаке, ну, к той, которая улыбается. Они опять загоготали и ржали до тех пор, пока я не рассказал им о вашей драке. Помните, когда вы схватили мачете.

— Ну и как же ты рассказал об этом?

— Все, как было. Что Чапарро украл у вас курицу... До этого он десять лет просидел в тюрьме Сан-Лукас... Ну, тут вы рассердились по-настоящему. А когда вас увидят злым, то каждый в штаны напустит. Поэтому Чапарро сразу же: «Сейчас принесу вашу курицу. И добрый вечер и счастливого вам Нового года».— Самбо опять сбоку взглянул на Федерико — он-то его знал преотлично — и наконец вздохнул спокойно. Самое страшное миновало.

■

Были видны только глазенки и волосы, когда Белармина принесла его под мышкой, полуголого, в рубашонке, едва доходившей до пупка. Голова перевязана грязными тряпками с засохшей кровью. Перед этим она оставила его вечером одного в своем ранчо, а когда вернулась, увидела огромного борова, который сунул рыло в ящик из-под сахара, служивший люлькой. Белармина к тому времени уже пристрастилась к выпивке. После того как ее сожителя укусила змея, вся ее мораль сразу расползлась в клочья. Так говорили люди.

— Ты полагаешь, Белармина, я такой придурок, что буду возиться с этим червяком?

— Будешь. Я принесла его тебе в подарок, а от подарка не отказываются.— Белармина сунула в рот сигарету. Рука у нее дрожала. Потом взглянула на сына.— Тебя называют червяком, ангелочек мой,— сказала шепотом и вытерла его мокрый нос.

— Если подарок, тогда ладно. Только потом не приходи просить его обратно — не отдам,— простился с ней Федерико.

Прошли годы. Червяк вырос, мускулы его окрепли, плечи расправились, и к пятнадцати годам это был уже сильный плотный бычок. Как-то он спросил о своей матери.

---

[1] Метис.

— Если услышишь о ней плохое — не верь,— сказал Федерико.— Твою мать я знал давно, еще в Симарронесе. Она поднималась в четыре утра и готовила еду больше чем на сорок пеонов. Хорошая женщина была. Работящая. Только жизнь у нее не получилась.

— Почему же она меня бросила? Даже имени не дала, ни фамилии.

— А зачем тебе, Самбо?

— Но ведь как же? У всех есть.

Прошли еще годы. Больше к этой теме не возвращались. Самбо так и остался просто Самбо. Читать он не научился — не смог, да и не влекло его это. Но с детства пристрастился к резьбе: дай ему нож и кусок дерева — и в мгновение ока он вырежет броненосца, ящерицу или какое-нибудь другое животное. Позже из этого у него родилось мастерство в постройке пирог. Сперва он делал их для забавы, чтобы пускать по лужам. Потом хромой Монтьель обучил его настоящему ремеслу. И теперь он мастерит их на заказ любых размеров, какие прикажут. Мечтает как-нибудь выдолбить особо большую — из целого ствола кедра.

— А на такой пироге можно доплыть до Кюрасао, дон Федерико?

— На кой черт тебе нужен Кюрасао?

Может быть, у него имелись на этот счет какие-то тайные соображения, но так или иначе, Кюрасао был его мечтой, как для иных Нью-Йорк или Париж...

Наконец, Самбо ушел, и Федерико опять сел в свою качалку. Курре [1] перепрыгнул с гвоздичного дерева на манго. Поодаль безостановочно и глухо ревела река. По стене зигзагом скользнула зеленая ящерица. Очень зеленая с красными, словно рубиновыми, глазами... И вдруг он увидел их совсем близко, как в оптическом прицеле своего ружья. Они жестами умоляли: не стреляй... Это была уже не первая его встреча с адвокатами Компании. И не по его вине. Ему приходилось сталкиваться с ними еще в те добрые времена, когда у него работало сразу по тридцать два пеона. Аккуратно, из недели в неделю. Вплоть до этих вот пор, когда начались, будь они прокляты, его семьдесят семь несчастий. Вдруг упали цены на какао, нагрянули грызуны и термиты. А потом еще дьявольская засуха, длившаяся почти два года. Такая засуха — даже саинос [2] исчезли в округе. Голодные хищники осмелели до того, что ночами выходили из леса и бродили вокруг дома. Однажды в колодце нашли детеныша пумы. Видимо, потянулся к воде, упал и вот плавал кверху лапами. Нелегкие времена — времена испытаний. Многому его научили. Лечить от укусов змей, ругаться с пеонами, распознавать болезни бананов. Заставили постичь премудрости ирригации, борьбы с сорняками и культивации земель, освоить искусство новых посадок. Теперь он знал, что, если вдруг по какой-то причине муравьи оставили свои муравейники и исчезли, надо ждать разлива реки, если след тапира еще сух, значит, не прошло еще и получаса, как зверь был здесь... Только вечером возвращался в хижину, из которой ушел с утренней зарей. Клещи, нарывы, ядовитые личинки под кожей. Каждый день оставлял на нем свою метку: то порез, то укол, то ссадина, то ткнется носом в землю или ветка хлестнет так, что белый свет в глазах меркнет. Однажды, чтобы обуздать расходившиеся нервы, темной, безлунной ночью бросился переплывать реку. И днем-то — безумие, ночью — вдвойне. Тело сводят судороги, в воде мерещатся драконы, стягивает живот, и кажется, что реке не будет конца. А противоположный берег едва угадывается призрачной черной массой и, чем дольше плывешь, будто отступает все дальше. И те-

[1] Тукан.

[2] Животное, похожее на барсука, называется также горным кабаном.

бя охватывает дикий страх — хочется повернуть обратно, но ты уже на середине реки и надо работать и работать руками и не думать больше ни о чем, пока не ткнешься в прибрежную тину или не ударишься коленом о камень. Потом, пошатываясь, выбираешься на берег. И когда, наконец, поймешь, что остался жив, у тебя появляется дурацкое желание издать победный крик или опуститься на колени и целовать землю.

А первый ночной выход на охоту в джунгли! Без проводника — опытного старого пеона, в одиночку! Только ты и двустволка, да небольшой фонарик. Вокруг кромешная тьма, какие-то вздохи, шорохи. И вдруг, отражая свет фонаря,— два сверкающих агата. Олень или пантера? Глаза расставлены широко. Но думать нет времени. Торопливо — а кто-то на бархатных лапах пробегает между твоими ногами — прицеливаешься, нажимаешь на спуск, грохочет выстрел. Подходишь, освещаешь развороченную морду с агонизирующими молящими глазами, а эхо выстрела все еще катится, удаляясь, и сердце бешено стучит в груди.

А теперь вот это...

Хосефина принесла какао. Посмотрев на него, все поняла, накрыла чашку тарелкой. Спросила, будет ли он запускать движок для света. Ответил, что нет — ни к чему. Она-то знала, что уже почти месяц нет горючего, и спрашивала только затем, чтобы он не подумал, что она знает, хотя он наверняка знал, что она знает. Но не надо было подчеркивать этого.

Он продолжал качаться в кресле, вперив взгляд в центр прицела, какао уже дважды остывало, Хосефина входила и выходила на цыпочках, а эти двое жестами все еще умоляли его не стрелять, заклинали ради его собственной жизни не делать такого варварства. Перальта божился, что у него пятеро детей и младшему всего четыре месяца, а сам в глаза не смотрел. Он слушал их, как, бывает, слушаешь шум дождя, а тем временем на небе медленно, постепенно появлялись, выплывали созвездия, спокойные, безразличные, так стройно расставленные, такие невероятно, невообразимо стройные...

■

Пипа рассказал мне все. Сперва я не понял, потому что не знал, что такое любовница. А он объяснил, что это старухи, которых старики находят, когда им надоедят свои старухи. И показал мне ее на улице, когда она проходила мимо комиссариата. Конечно, она нас услышала, потому что обернулась и покраснела. Оказывается, она не уродка и совсем не старуха. Только немножко кривоногая. Не знаю, почему мама не даст ей метлой на улице и не разобьет голову вдребезги. Наверно, потому, что наша мама очень хорошая и не может такого сделать. Она говорит, что всегда думает только об одном. Иногда ее спрашиваешь: «Мама, чем ты занимаешься?» А она говорит: «О вас думаю, мои дорогие детки». Но я не верю, потому что нельзя целый день думать об одном и том же. Хотя ученые, наверно, могут, когда проводят опыты.

И все-таки я считаю: то, что мама сделала,— это уж слишком. Конечно, и лежа на постели тоже все можно видеть и слышать. Она знает все, что происходит в доме, и всем распоряжается... А когда приходит папа, они разговаривают, как гости. Главное, что все уже знают про это и дразнят меня. За это я дал по носу Каналиасу, а он стукнул меня коленкой, и у меня заболел зуб и до сих пор шатается.

Потом я увидел ее еще раз на почте. Шла недалеко от меня, она отвернулась и притворилась, что разглядывает витрину. Пипа говорит, что ее выгонят из Пуэрто Лимона и в конторе, где она работает, ее уже не хотят держать. Когда я проходил мимо, мне очень хотелось дать ей хорошего пинка ногой, потому что это она во всем виновата. Когда я вырасту, ни за что не буду иметь любовниц, потому как из-за них одни неприятности...

VII

— Флор де Мария!

— Что, мама?

— Я же тебе велела снять белье, а то пойдет дождь и оно намокнет. Эта девчонка уморит меня!

— Но я уже сняла.

— Зачем ты так говоришь, если это неправда?

Флор де Мария прерывает свое занятие — она наклеивала фотографии целующихся киноартистов в старую конторскую книгу,— идет во двор снимать белье. Но и во дворе ее настигает голос:

— Не трогай кошку! Я же сказала, что у нее лишай, а он заразный! Надо напомнить отцу, чтобы купил серной мази и натер тебя...

Каким колдовством она пользовалась? Как могла знать или угадывать все, лежа неподвижно в своей кровати, завернутая в одеяла, в полутьме спальни, где постоянно царил неистребимый, приторный запах лекарств?

Только к ночи кончались ежедневные домашние дела Флор де Марии, которой с детских лет пришлось взять на себя все хлопоты по хозяйству. А прежде чем лечь спать, еще нужно перевязать матери язвочку, подать капли, сменить наволочки и в завершение всего с ней помолиться святой троице. Но вот наконец, наконец, наконец-то она одна в своей комнате. Свет погашен, и, укрывшись с головой простынями, девушка читает, пользуясь карманным фонариком.

— Флор де Мария! Уже очень поздно,— доносится голос матери,— гаси свет и спи! Завтра надо будет сменить набивку подушечек в гостиной.

Вездесущая. Ее взгляд проникает всюду, так что самые укромные уголки дома превращаются в ярко освещенную сцену. Словно у нее глаза ночного видения — может, у нее космические, внеземные, глаза, которые видят в темноте? Их зрачки, казалось, находятся сразу везде и все замечают, пронизывают, разгадывают.

Голова утонула в подушках, набитых куриным пером — от шерсти ей жарко, а вата сбивается в комок,— Эстебанита опускает веки, послеобеденная дремота сломила ее. Флор де Мария внимательно следит за дыханием матери и, лишь убедившись, что та заснула, выходит на цыпочках из ее спальни.

Но уже через несколько минут:

— Что ты там делаешь, дочка?

— Ничего, мама. Все, что ты сказала, я уже сделала, а сейчас просто сижу на кровати. Ничего не делаю.

— Не обманывай меня, дочка. Готова поклясться, что ты опять читаешь журналы. Ты еще должна сказать мне, кто их тебе дает.

— Да нет, мамочка, никакие это не журналы, я их уже возвратила.

— Значит, все-таки читаешь? А что?

— Ну вот ту книжечку, которую ты сама мне дала.

— «Цветок персика»?

— Да.

— Неправда. Ее ты уже прочитала. Я знаю, что ты читаешь очень быстро и начала уже давно. Наверно, она у тебя под рукой, но читаешь ты все-таки эти безнравственные журналы...

Флор де Мария прячет журнал под матрас, но все напрасно. Мыльный пузырь лопнул. От бабочки осталось только коричневое пятно.

Как-то под вечер Флор де Мария не выдержала:

— Слушай, мама...

— Что такое?

— Да вот то, что ты,— она смотрела широко раскрытыми сверкающими глазами,— то, что ты все время угадываешь или узнаешь, чем кто занимается.

— Раз ты не делаешь ничего плохого, это не должно тебя волновать,— ответила Эстебанита, не глядя на дочь, занятая припудриванием шеи тальком.

— Нет, правда, мама. Это как-то странно, ты должна поговорить с отцом Шонгауэром.

— Как ты сказала?! — Она в замешательстве подняла голову.

— Я говорю, что такого ни у кого не бывает.

— Что ты болтаешь! Я не состою в сговоре с дьяволом, Флор де Мария. Дай мне воды. Где стакан? У них даже стакана для меня нет! А если я иногда догадываюсь, чем ты занимаешься, то это лишь потому, что я тебя люблю и так беспокоюсь за тебя! Поэтому даже мысли твои знаю. Вот и все.

— Нет, не все,— девочка нервно сжимала пальцы.

— А в чем дело? Что ты плетешь, дерзкая девчонка! И вообще, думай, прежде чем что-то сказать! Ты же знаешь, что с тех пор, как я решилась на эту муку, в городе и так очень много всяких разговоров о нас. И не уходи. Слушай, то, что ты тут наговорила мне, ну вот насчет этого... Ты, наверно, уже обсудила с подругами, что, мол, с мамой происходит что-то странное, и не задумалась ни на минуту, что пойдут новые сплетни. Боже мой!

Это тоже было правдой. Девочка смутилась, угрызения совести жгли ее.

— Я не хотела рассказывать, мама.— Она готова была провалиться сквозь землю.— Я только...

— Ну ладно... Ты бы не приставала с вопросами, если бы знала, как мне это больно. И запомни: любить детей — это не позорно и не странно. Никакого колдовства нет. Одна только любовь. Тебе этого не понять, не представить себе. Вот послушай, вчера, например... Вчера ты мне приснилась. Сядь, а то у меня уже голова кружится от твоего хождения. Мне вы часто снитесь, особенно Хосе Энрике, но на этот раз, наоборот, приснилась ты. Будто спишь в своей розовой рубашке, которую мы тебе подарили в день рождения. И вдруг мне показалось, что я схожу с ума. Потому что ты на моих глазах стала делаться прозрачной. Сначала в тебя струей ворвался воздух и поднимались пузырьки, как в бокале с шампанским, потом ты сделалась как фарфоровая, и наконец — это самое страшное — внутри тебя засветились трещинки, словно в куске льда. И ты просила, чтобы я спасла тебя. А я думала: как же я спасу ее, если сама полумертвая. Хотела было обнять тебя и уже протянула руки, но вдруг испугалась, что от моего тепла ты просто растаешь. И такая тоска смертельная меня охватила, что я проснулась от сильного сердцебиения. Хорошо, что под рукой были капли. Так меня трясло, что не могла даже накапать, просто налила в стакан. Думала, и в самом де-

ле умру тут в одиночестве. А утром Магнолия нашла бы меня уже холодной и с открытыми глазами, и в них застыл ужас... Вот что со мной происходит, Флор де Мария. И больше ничего. Ну скажи сама, что я могу еще делать, кроме как думать о вас? Скажи!

Девочка молчала.

Эстебанита положила пяльцы на колени и ладонями стала разглаживать простыню.

— Конечно, я знаю, знаю,— сказала она,— что все это происходит со мной потому, что я очень беспокоюсь. Да и как мне не беспокоиться, доченька, если ты не имеешь ни малейшего представления о жизни, не знаешь, каковы в самом деле люди, сколько в них зла. Ведь тебе скоро двадцать, а ты еще ни в чем не разбираешься, бедняжка.

— Почему ты так думаешь, мама?

— Мне да не знать! Ты смотришь на жизнь, как я смотрела в пятнадцать лет. А в эти годы жизнь кажется совсем не такой, как на самом деле... Ничего похожего!

— Ты не думаешь, что, говоря это, можешь причинить мне вред? Я считаю, что у человека в таком возрасте должны быть какие-то иллюзии и плохо, если их убивают.

— Почему же плохо?

— Нипочему!.. Может, мне больше повезет, чем... Ой, лучше не заставляй меня говорить! — И она крепко сжала губы.

Девушка давно поняла, что мать ее со странностями, не как все. Боялась думать об этом и постоянно думала... Зачем ее судить? Лучше просто любить. Но и любить мать было нелегко. Может быть, только смотреть на нее, как она полусидит среди вышитых подушек... Необыкновенно гладкая и чистая кожа, голубые, такие прозрачные детские глаза (и такие проницательные, такие пугающие), две морщинки, как тоненькие кавычки, в углах рта, круглый с ямочкой подбородок. И руки, ах, эти подвижные руки, чуть полные и капризные. Может быть, это и есть любовь. Может быть...

Девушка только смотрела на мать. В чем она могла упрекнуть это беспомощное, словно дитя, существо, отчаявшееся и растерянное... Тем не менее рассудок упрямо вновь и вновь возвращал ее к прежним мыслям. Ей было ясно, что мать не такая, как остальные. Не похожа на других женщин Пуэрто Лимона, которые, посудачив о коклюше или любовниках греческой королевы, ложились под бочок к своим мужьям и, послушные божьей воле и законам мира, в котором они родились, расцветали, производили на свет детей и понемногу увядали. Ее мать была не такой. Была не такой или не захотела быть такой? Но разве восстание против законов природы не есть грех Люцифера, за который его изгнали с неба, где до той поры он был первым помощником бога? Разве ангелы не карают гордыню своими огненными мечами? Вот и она платит за свой бунт. И дорого. Все в этой жизни устроено так гармонично, поэтому надо заставить себя молчать, заткнуть рот тряпкой, отрезать язык, зашить губы. Во что бы то ни стало!

Но если бы сказать матери, что все ее поведение — это грех, грех непослушания и гордыни, то она наверняка поклялась бы, что это не так. Стала бы уверять, что это — жертва и самоистязание, подобные обету целомудрия. И все, что она сделала, она сделала, как уже повторяла не раз, из преклонения перед святым таинством Брака. Только из-за этого, и больше ничего другого. И отец Шонгауэр правильно ее понимает. Поэтому так легко отпускает ей грехи и даже обещает, что на небе ее встретят одиннадцать тысяч девственниц и поведут за руку на почетное место к престолу бога...

Нет, Эстебанита не была как все. Дочь боялась думать об этом и постоянно ловила себя на мысли, что все-таки думает. Закрывала глаза, чтобы не видеть так близко, рядом ее хрупкой фигуры среди кучи подушек. Тогда мать представлялась ей (а виденье часто повторялось) бредущей с распущенными волосами по краю пропасти. Сильный ветер слепит ее, а она идет, качаясь, вытянув руки, старается удержаться за что-нибудь, чтобы не унес ветер, идет ощупью, как сомнамбула... А сомнамбул следует оставлять в покое, на них нельзя кричать, с ними нельзя спорить, даже дотронуться до них нельзя. Одного слова, резкого движения достаточно, чтобы...

— Да, мамочка, ты права. Успокойся. Что-то у тебя душно, хочешь, я открою окно?

Эстебанита прижимает кулаки к груди:

— Поклянись мне, Флор де Мария, поклянись сейчас же и от всего сердца, что ты никогда в жизни не скажешь мне больше ничего подобного. И никогда не подумаешь! Правда ведь? Обещаешь мне это?

Дочь хотела ответить, что да, конечно, клянусь. Хотела, но смогла только один раз утвердительно кивнуть головой, потому что все ее слезы разом собрались в какой-то комок в горле, и она уткнулась головой в колени матери. А когда Эстебанита стала нежно гладить ее по волосам —это была ее любимая ласка,— она сказала себе: какая я злая. И подумала: как мало в мире вещей лучше скромной радости иметь мать, около которой можно выплакаться, не сдерживая себя. Распростертая, размазывая слезы по лицу, она плакала навзрыд и все повторяла про себя: «Да, да, моя взбунтовавшаяся принцесса, пусть падет на нас святой огонь; когда мы вместе, он нам не страшен. И не волнуйся, мамочка, я никогда не буду осуждать тебя, теперь я знаю, что осуждать тебя — значит совершить грех более тяжкий, чем твой. Кто я такая, чтобы судить тебя? Жалкий, тщеславный червяк. Обещаю, мамочка, никогда больше. Клянусь тебе, миленький мой люциферик, никогда не буду! Правда, правда, никогда!»

■

С тех пор как мама легла в постель, а папа уехал в поместье, мы с Флор де Марией обедаем одни в столовой. Магнолия приносит нам уже наполненные тарелки, а не как раньше, когда кастрюли ставили на стол и мама нам раскладывала еду. Маме подают обед на подносе. Один раз она сказала, что есть отдельно от нас ей очень скучно, и мы снова начали обедать все вместе у нее в комнате на маленьком столике. Но через неделю она сказала, что вся комната пропахла маслом и ее мутит и лучше, если мы опять будем есть одни в столовой.

А мне в столовой еще больше нравится, потому что если я чего-то не люблю, то не ем. Как, например, ангу[1] из бананов — не знаю, какой дурак это выдумал. Изо всей еды оно самое невкусное. Да еще с морковью. Флор де Мария иногда выдает меня, и тогда мама, если приготовили ангу, требует, чтобы я шел к ней и там все съедал дочиста, чтобы тарелка была как зеркало. А один раз я притворился, что меня тошнит, и стал громко рыгать. Тогда мама сказала, что я поросенок и что меня надо кормить во дворе. Только лучше не думать про это.

[1] Пюре из вареных зеленых бананов с мясным соусом.

А на днях у меня потерялся волчок, и когда я его искал, то зашел в комнату Магнолии, пересмотрел там все, но волчка не нашел. А что гораздо хуже — я увидел фотографию папиной любовницы, она была прилеплена к доске и истыкана булавками. Штук сто, наверно. А две булавки с черными головками были воткнуты прямо в глаза. Конечно, чтобы она ослепла. Потом ночью я никак не мог заснуть, как и в тот раз, когда Магнолия вечером пришла ко мне и сказала на ухо, что у нее по комнате ходят привидения и сам черт, поэтому она боится оставаться одна и попросила идти к ней спать в ее постели. Я ей ответил, что не хочу, а пусть она прочтет «Отче наш», и все пройдет. Тогда она в темноте легла на меня, и я чуть не задохнулся. Я сказал, что если она не слезет, то буду кричать, и она ушла. А сегодня ночью я опять не мог спать. Такое зло берет!

VIII

Так что же это было? Всевидение божественного ока? Или так действовали полутьма спальни, бесконечные мигрени и одеколонные примочки на лоб? Немой упрек в уголках рта, этот сладковатый неуловимый запах, пропитавший все вокруг, который, казалось, потом преследует любого, кто побывал в этом доме? И чем дальше ты уходишь, тем запах сильнее. Или тебя обвиняли этот блуждающий взор, ласковое утро, пяльцы на коленях, пузырьки с лекарствами, выстроившиеся на карнизе, монограммы, вышитые на простынях. А может, это был просто отблеск в зрачках того моря, в котором она надеялась найти объяснение своей неподвижности и своего смятения. Возможно так, возможно и нет. А может быть, просто безрассудство? Истерический хохот пугала, вдруг увидевшего, что стаи попугаев, наполнив зобы, уже улетают с его огорода? Или смутный, неуловимый и неумолкающий отголосок раскаяния в глубине души за принятое ею необычное решение?

Помутневшие от боли, влажные от материнской любви и христианского милосердия, настороженные и все мгновенно схватывающие — такими были ее глаза. Упрекающие. Цепкие и нежные. Федерико предпочел укрыться от них в «Эль Сафиро», в тягостном одиночестве «Эль Сафиро». Сразу же после того невинного разговора за завтраком о какой-то американке в Иллинойсе, которая развелась из-за чтения полицейских романов с мужем, началась целая серия неудач. Но кто из мужчин не обманывал жену? С кем хоть однажды не случалось приключений? И кто еще должен был платить за это столь глупую, обидную, унизительную и нелепую цену?

— Это все равно что потянуть за цепочку в уборной, а на тебя обрушивается весь дом,— сформулировал Колачо. Федерико слушал его, уставившись в полосатый ковер.— Но когда Протагор утверждал, что человек является мерилом всех вещей, он забыл подсказать, чем измеряется сам человек. И вот мы, как идиоты, меряем все вокруг своим метром, не зная его длины — то ли в нем километр, то ли дециметр. Потому-то я тебе и говорю...

— Опять ты со своими философиями. А я тебе снова скажу, старый мудрец, как говорил уже не раз: твоя философия — это кошка одинокой старой девы. Играет ту же самую роль. Утешает, но ни в чем не помогает. Будет время, когда ты поймешь это. Ненавижу кошек. Пусть философствуют другие! Я не из них!

— Вот потому-то — из-за отсутствия у тебя руководящей идеи — ты и вихляешься, как неотцентрованный волчок.

— Пусть так, но я живу.

— А я нет? Что же тогда моя жизнь? Домашняя туфля? Ночной горшок?

— Не знаю. Но я живу в поту, по двенадцати часов жарюсь на солнце, трясусь на муле, могу, если захочу, переплыть Пакуаре или схватить мачете и сразиться с пеоном... Я... Я...

— Кончилась твоя пластинка. И звучала она фальшиво. Нет, Федерико Гарсиа, вот что я скажу: у нас с тобой нет жизни. Знаешь, что с нами происходит? Желаешь знать правду? Дело в том, что мы хотим *иметь* вместо того, чтобы *быть*. Мы радуемся: у меня есть то, есть это, завидуем, если кто-то другой имеет столько же, да еще «кадиллак» в придачу. А зачем? Мы что, заберем все это с собой в могилу? Глупо!

Колачо продолжает объяснять. Но теперь уже напрасно открывает и закрывает рот. Федерико не слушает. Полнеющая фигура аптекаря, спортивная рубашка, разрисованная пальмами, расплывается, уходит вдаль, исчезает. Федерико покачивается в кресле.

«А может, действительно так? Может, Колачо прав? Но прав он или не прав, почему вся эта куча глупостей жены свалилась именно на меня? Забастовка со сжатыми ляжками. Иначе не назовешь. И, будто этого мало, вдобавок ко всему мерзавец Брукс хочет меня заставить продать ему поместье, да, да, последнее и единственное, что у меня есть!»

Раскачивается...

И уже ни о чем не думает, просто качается... Все позади, осталось за многими годами, поездами, ошибками, тучами, грозовыми вспышками ярости.

И из-под груза прошлого голос хрупкий, обиженный, неожиданный, как яичко в голубую крапинку, спрятанное в темном гнезде иволги.

— Мог бы, по крайней мере, предупредить, что приедешь сегодня. Что тебе стоило послать телеграмму?

Он входит спиной вперед, закрывая зонт.

— Знаешь, Эстебанита, ты сама в прошлый раз говорила, что я приезжаю в Пуэрто Лимон раньше, чем доходит телеграмма.

Она идет за ним по коридору.

— Все равно, Федерико, мне было бы приятно. Есть мелочи, которые украшают жизнь. Без них очень трудно.

— Но что ты хочешь, любовь моя? Мы не виноваты в том, что жизнь устроена так, а не иначе. От нас с тобой ничего не зависит. Все так уже было, когда мы родились.

Заметив печаль в ее голубых глазах, он тихонько и ласково провел пальцем по ее обнаженной руке — точеной, гладкой обнаженной руке.

Несколько часов назад, когда поезд проходил через Матину, разразился ливень. Он сидел один на скамейке, читал в «Нэшнл джиогрэфик мэгэзин»[1] статью о Японии, а потом бросился закрывать окно. И тут незнакомка, устроившаяся на переднем сиденье, вдруг повернулась и спросила: «Могли бы вы сказать, сеньор, скоро ли, наконец, покажется море?»

Кто хочешь мог бы так спросить, и ничего особенного в этом вопросе не было, никого он ни к чему не обязывал, тем более если спрашивал человек, впервые ехавший в порт и снедаемый естествен-

[1] Американский географический журнал.

ным желанием поскорее увидеть океан. Может, она действительно никогда его не видела. А ведь всякий знает, с какой силой влечет к себе море. И потом, она ведь только это и спросила. И тем не менее он сразу же почувствовал какую-то опасность... Может быть, в том, как она это сказала, в мелодичной интонации фразы, а может, в губах, оставшихся полуоткрытыми, когда она кончила говорить (верхняя более полная и как бы улыбающаяся), или в ее сером английском костюме, лацканы которого не могли скрыть прекрасного, обещающего бюста. А может быть, в том, как она положила руку с аквамариновым перстнем на пальце на спинку сиденья, когда повернулась к нему... Конечно, теперь можно перебирать все эти мелочи. Но ничего другого не было. Она сказала «море» и оставила губы приоткрытыми. Чуть-чуть, слегка приоткрытыми. Но ведь это может случиться с каждым: спросить что-то и оставить губы полуоткрытыми. Точно так же, как сразу поджать их. Хотя вообще-то маловероятно, чтобы женщина, обратившись с каким-либо вопросом к одинокому незнакомцу, едущему с ней в одном вагоне и читающему «Нэшнл джиогрэфик мэгэзин», потом сразу плотно сжала бы губы. Но факт остается фактом. Она этого не сделала, оставила полуоткрытыми, и между губами — изогнутая подвижная линия, за которой — влажная чувственная тьма. Крохотная пропасть — и кружится голова. И слово «море» прокатилось через эту пропасть звучным и сверкающим ртутным шариком. Звонкая волна, игрушечная. Аквамариновая.

Он вышел из ванны. Эстебанита ждала его в коридоре.

— Хорошо, дорогая, обещаю тебе: завтра же схожу на почту — и ты получишь от меня телеграмму, надушенную, на бланке с цветочками. Вот увидишь.

— Не смейся, Федерико. Не прислал телеграмму, да еще и издевается.

— Я и не думал издеваться.

Потом долго спорили, было это насмешкой или нет, и только после обеда, когда дети уснули, а они прошли в спальню, Эстебанита, стоя у туалетного столика, спросила мужа с робким кокетством, не замечает ли он в ней чего-то необычного.

— А что? Будто бы нет. Может, плохо смотрел...

— Я уже заметила, что ты совсем не смотришь на меня.

— Да в чем дело? По-моему, ничего особенного нет. Обычная, такая же красивая, как всегда.

— Не серди меня. Просто зло берет, что ты такой обманщик. Как же ты можешь заметить, если вовсе и не смотришь на меня?

— Да я тебя знаю наизусть, Эстебанита. Каждый кусочек кожи, каждую морщинку.

— У меня нет морщин!

— Конечно, нет, я хотел сказать — складочку.

— Пожалуйста, не прикидывайся глупеньким. И раз ты уверяешь,— она шагнула к нему, поправляя руками пучок на затылке,— раз ты так говоришь, почему же не замечаешь никакой перемены во мне?

— Ах, вот оно что! — Он обрадовался, что загадки, наконец, кончились.— Это-то я заметил, как только приехал, я думал, ты говоришь о чем-то другом. Тебе очень идет, честное слово. Несколько нарушает однообразие, симметрию.

— Как это нарушает симметрию? Разве получилось неровно?

— Нет, нет, все ровно. Просто я думал, как удачно ты сделала. Сегодня в поезде я читал одну статью о японских садах. Там говорилось, что красота заключается именно в отступлении от симметрии, от симметрии французских парков, например, которые из-за нее

кажутся скучными. И еще в статье утверждалось,— Эстебанита сидела перед зеркалом, вытаскивая шпильки из волос,— что таким образом японцы создают свой тип симметрии. И знаешь, я подумал, а не имеет ли смысла нарушить и эту симметрию — асимметричную... Ты слушаешь меня? Кстати, я всегда говорил, что такая прическа больше подходит к твоему стилю.

(Почему он сегодня так много говорит? Ведь обычно совсем не разговорчив. Иногда и день и два проходит, отвечает только «да» или «нет».)

— Ты снова смеешься надо мной.— Она начала раздеваться и делала это очень медленно, гораздо медленнее, чем обычно. Он, наоборот, уже был в пижаме.

— Почему ты думаешь, что я смеюсь?

— Потому что ты говоришь: «в твоем стиле». Разве у человека бывает стиль? Это моды имеют стиль, церкви...

— И люди тоже, Эстебанита. Как ты этого не понимаешь! Разве ты не замечала людей в стиле «барокко», а других в «романском»? У тебя, например,— «неоклассицизм», и тебе не опровергнуть этого.

— Неоклассицизм? — Она повернулась на скамеечке и вопросительно взглянула в зеркало.

— Вот вся ты тут. Посмотри на свои брови. А руки. Они именно в стиле неоклассицизма. И все остальное тоже. Бедра. Все симметрично.

— Ну, а как же им быть несимметричными? Глупости какие. Если их у меня два, то, естественно, по одному с каждой стороны. А все, чего по одному, находится посредине...— Она не договорила и сразу покраснела.

— Да нет, не только поэтому. Пойми, твои руки неоклассичны, они как две совершенные дорические колонны...

(Почему он столько говорит? Зачем весь этот разговор о вещах, которых он никогда не касался? Он знал многое, но никогда не делился с ней. Потому что он сегодня радостный? А почему радостный?)

— Ладно, но ты все-таки смотрел не очень внимательно, потому что, кроме прически...

— Какие же еще сюрпризы?

— Ну как ты не видишь? — Она тряхнула головой, и волосы водопадом рассыпались по спине.— Ну-ка, скажи, какого цвета они были раньше?

— Каштановые. Всю жизнь каштановые.

— Правильно. А теперь,— притворно рассердилась она,— ведь они не каштановые? Они стали цвета каобы[1]. Разве не заметно? Просто не обращаешь внимания.

— Ну, знаешь, в этой полутьме невозможно различить оттенки. Без света все цвета одинаковые — черные, тебе это известно? — Он протянул руку, включил лампу на своей тумбочке.— Вот теперь ясно. Все совсем иначе. Сразу видно. А потом, я просто не знал, какого цвета каоба...

Она скользнула под простыни, свернулась клубочком в углу и, немного помолчав, спросила:

— Скажи мне одну вещь, Федерико,— а в голосе все еще досада,— ты разрешал Флор де Марии в пятницу на прошлой неделе прийти так поздно?

— Какую пятницу?

— В ту пятницу. Когда у дочери Аурелиты был день рождения.

---

[1] Тропическое дерево с корой красноватого цвета.

— Убей, не помню. А в чем дело? Когда она вернулась?

— В девять.

— Ну, так это не очень поздно.

— Ты так думаешь? Девять, по-твоему, не поздно?

— По-моему, не поздно. (Тут он снова услышал другой голос, короткое слово «море», как хрустальный звоночек.) Ведь они живут совсем рядом.

— Рядом! Даже глупцу ясно, что с девочкой вечером может случиться всякое.

— Но ведь ничего не случилось. И это лучшее доказательство. А потом, я просто не помню, разрешал или нет. (Конечно, все может случиться, если даже и совсем рядом. Всего один вопрос, минутный разговор...)

— У тебя что, память слабеет?

— Стариком становлюсь. А первое, что они теряют, это память. И не поверишь, иногда это к лучшему. Очень тяжело всегда обо всем помнить...

— Я не знаю, к лучшему это или к худшему, но память ты действительно теряешь. Вот забыл прислать телеграмму о своем приезде, хотя я уже сказала, что в общем-то это и не так уж важно. Просто хотелось бы... Было бы очень приятно знать, что, находясь в Сан-Хосе, ты иногда вспоминаешь обо мне. А теперь вижу, что не вспоминал ни разу.

(Да вспоминал я, вспоминал! Аквамарин у нее на пальце был, как твои глаза, Эстебанита. В эту минуту я и вспомнил о тебе.)

— Как же тебе могло быть приятно, если бы телеграмма до сих пор не пришла? Где же логика?

— Какое мне дело до логики!

— А если бы я тебе сейчас сказал, что послал телеграмму и завтра она придет, ты была бы довольна? — Он положил ей на бедро свою руку, которая медленно, словно паук, поползла к животу. Она сняла ее.

— Ладно. С меня достаточно. Меня не интересует ни симметрия, ни логика, мне нет до них никакого дела. Я хочу спать.

Старая игра. Каждый палец знал правила игры, и все они вместе просяще вновь стали пробираться к цели.

— А почему тебя не интересует симметрия? — Вторая ладонь легла ей на грудь.

Она стиснула зубы и ничего не ответила. Он взял ее за плечо, повернул к себе:

— Видишь, твои груди симметричны, ты неоклассична, я тебе уже сказал.

— Иногда ты такой дурачок.

— И это, по-твоему, быть дурачком?

— Так не надо, мне больно! Посмотри, какие они. Вот уже несколько дней, как набухли и болят.

Он поцеловал ее.

— Да не кусайся ты, я же говорю, мне больно! Так не надо!

Вдруг он испуганно сел на кровати.

— Эстебанита, ты не обратила внимания, когда я приехал, у меня была папка, кроме чемодана?

— По-моему, была. Точно не помню. Не уверена.

— Куда я ее положил?

Она тоже села.

— А вот это черное под брюками на стуле, не она?

— Она! — Он облегченно вздохнул.

— И никогда ее не перекладывай. Там очень важные банковские бумаги.

— Ты же знаешь, что я ничего у тебя не трогаю.

Снова легли.

— То-то и плохо, что ты никогда у меня не трогаешь. Кстати, хочешь анекдот?..

Рассказал один — скабрезный и сам рассмеялся. Покосился на жену. Похоже, ничего не поняла. Тогда он спрыгнул с кровати, схватил ее за руки и, резко потянув на себя, сел на скамеечку у трюмо, а она оказалась у него на коленях лицом к нему.

— Не дурачься, Федерико. Мы ведь уже не молоды.

■

И спустя полчаса, когда дождь зазвенел по оцинкованной крыше, Эстебанита все еще стеснялась смотреть ему в глаза.

— Как хорошо, что пошел дождь,— сказал он,— я люблю слушать его шум.

— Тебе правда нравится? — спросила она.

— А как же? Конечно. Или ты думаешь, что растения не страдают от жажды, как и мы?

В небе над поймой Пакуаре больше не поместилось бы ни одной звезды. Ночь была такая ясная, что по краю луга четко прорисовывался кустарник.

Эстебанита стала расплываться в его глазах. Он продолжал покачиваться в кресле.

Так было.

Так началось.

Потому что известно — все когда-то начинается. В какое-то мгновение. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Именно в какую-то секунду, частицу секунды, миг. Есть отрезок времени, который невозможно измерить. Потому что — чуть раньше еще ничего не было, после — уже началось. Иногда такое мгновение случается гораздо раньше, чем мы можем осознать его. Хотя, в сущности, это уже не имеет значения. Не важно, поняли мы это или нет. Все происходит таинственно и скрытно. Как бывает, скажем, с живой клеткой. Никто за ней не следит, никто не обращает внимания, и вдруг она пошла не в ногу, нарушила строй. Одна-единственная в конгломерате миллионов и миллионов клеток, организованных, занятых, послушных биологическим, химическим или физическим законам, выполняющих каждая свою функцию. И вдруг беспорядок. Одна клеточка решает не подчиняться, уйти от своего предназначения, объявить восстание. А когда это свершилось, может пройти много времени, прежде чем появятся первые симптомы, первые видимые признаки. Взбунтовавшаяся клетка тайно совращает другие, и они следуют ее примеру, сначала немногие, а потом все больше и больше — легионы. И вот уже прорваны организованные цепи, образовалось какое-то месиво, каша. И так везде. Иногда такое происходит в голове — думаешь о каком-то деле. Очень важном, которое тебя занимает, беспокоит. И вдруг наперерез нити твоих размышлений идет другая мысль. Словно мерцающий в ночи светлячок. Или — когда закроешь веки — расплывчатый рисунок на сетчатке глаза, смываемый слезой. И опять думаешь о своем, но то, другое, снова возвращается. Притаится где-то в уголке, а попытаешься сосредоточиться, оно снова тут.

На небе сверкала звезда Сириус, нагая, яркая. И ты ей сказал: «Взгляни, Сириус на нас смотрит». Но Никояна взглянула на тебя, как бы измерив расстояние между вами. Ты взял ее за подбородок,

чтобы поцеловать, а сам продолжал размышлять о своем. И тут возникло что-то новое, что-то меньшее, чем мысль, наверно, лишь ощущение того, что она на тебя посмотрела, соизмеряя все. Посмотрела с каким-то сожалением, будто думала о том, что ты и сам должен бы понимать. И вот это тебя сломало. Ты уже не мог продолжать. Что-то началось в тот момент и больше не остановится. Никогда! Позже ты вдруг заметишь, что она очень болтлива, говорит не задумываясь, все, что приходит на язык. Кроме того, у нее всегда была привычка скрипеть зубами, но раньше ты как-то не обращал на это внимания, а тут обратил. Только теперь. Но ведь началось-то уже давно. Давно. Это словно мерцающий хвостик светлячка. Сначала совсем маленький, почти незаметный. Какая-то фраза. Может, даже слог. Ты целовал ее и думал о других вещах, но за ними, в подсознании, словно ящерица с капелькой крови на мордочке, вертелась эта мысль. Так оно и было. Точно так же, как в случае со взбесившейся клеткой, прорвавшей боевую цепь и породившей великую сумятицу. Вдруг начинает расти фиолетовая опухоль, словно огромный баклажан, ненасытная, неумолимая.

А если дело не в этих мелочах, то, скажите мне, в чем? Ведь у каждой женщины по два глаза, ягодицы, более холодные, чем остальные части тела (кстати, занятно, почему?), любой женщине приятно, когда ее обнимают сзади и она чувствует влажными подмышками руки мужчины... И все растирают каплю духов за ушами, крутят бедрами при ходьбе, одна, как лодчонка, бьющаяся на якоре, другая еле-еле, словно робкий олененок. Все вздыхают, закатывают глаза, извиваются, как кошки, стонут или кусаются. И все говорят одно и то же. Все одно и то же.

«Раз как-то я спросил у Колачо, не встречались ли ему женщины с волосками на груди. Тот ответил, что нет, не попадались. А я сказал, что мне повстречалась, что это ты, Никояна. Я наматывал волосы на палец и тихонько дергал, пока у тебя по телу не начинали бегать мурашки. Ты, притворяясь, говорила, что больно, но, разрази меня гром, тебе это нравилось. Не уверяй, пожалуйста, что нет...»

Но это было потом, гораздо позже. А частица другой секунды, начало первого отсчета случилось раньше. Много раньше. Наверно, тогда, когда я увидел твои полуоткрытые губы и в них прожурчало горьковатое, волнистое слово «море». Немного, совсем немножко. Но не зря говорят, что любая река зарождается на листе: капля росы скатывается к его краю, лист наклоняется, капля падает. За ней вторая, третья... С другой стороны, это логично. Фатально. Детерминизм. И что человек может тут поделать, если так устроен мир и уже был таким, когда он в него пришел? Оставила губы приоткрытыми, а руку со сверкающим аквамарином на пальце положила на спинку сиденья. Тогда это и случилось. Клеточка прорвала цепь, и все пошло наперекосяк. Потом были воспоминания, ворошилось, мялось и перекатывалось все, что произошло. Как хлебный мякиш... Уже убрали со стола, и ты сидишь один, задумался, а сам все мнешь и мнешь пальцами этот шарик. Пока он не станет совсем грязным, печального муравьиного цвета... Не надо больше! Так можно заболеть!

Федерико вскинул голову, словно желая вырваться из воспоминаний, как, бывает, напрягая все тело, выбираются из тягучей топи.

Мистер Брукс смотрит на него, засунув большие пальцы рук под поясной ремень из змеиной кожи. Федерико судорожно бьется в трясине, а мистер Брукс улыбается. Семье Фонсека он заплатил по восемьсот за гектар, а с ним, если он будет упрямиться, держаться круто... Но и это не главное. Нет, это не главное! Почему его заставляют продать? Опять пробежала ящерица с окровавленной мордочкой.

Почему? Не быть этому! Never[1]! И пусть убираются к чертовой матери!

— Да брось ты свои глупости, Федерико,— уговаривает его Колачо,— продай, не будь дураком. Получишь, сколько там тебе дают, и займешься чем-нибудь другим.

— Пойми, Николас, дело не в этом. Я давно бы продал, но они хотят меня заставить! Вот чего я не терплю. А кроме того, почему я должен уехать оттуда, если мне там хорошо и спокойно. Если есть желание, иду в лес на охоту или на реку, гоняюсь за цаплями, а то просто так развалюсь в лодке, руки за голову, и смотрю на облака. А здесь? Скажи, ну вот я приеду в Лимон и что буду делать? Думаешь, выдержу? Нет, старик, я уже никуда не гожусь. После того, что выкинула Эстебанита, я чувствую себя как в дерьме. Нет, здесь я не смог бы теперь жить.

— Не думай об этом, все уже давно забыли.

— Черта с два! Эти подонки? Эти слизняки? Когда я иду по улице и вижу их ехидные ухмылочки, еле сдерживаюсь, чтобы не перестрелять их...

— Тогда переезжай с семьей в Сан-Хосе.

— Хорошо бы, но не могу. Я весь в долгах, Колачо. А снять дом в Сан-Хосе — это две тысячи. Открыть контору — еще несколько тысяч... Если бы не твое ангельское терпение насчет выплаты долга, я уже теперь стоял бы в очереди в харчевнях для бедняков. А самое поганое, как говорил один наш общий знакомый, нет хуже ходить в кафтане без медяка в кармане — быть нищим со знатной фамилией. И потом, представь себе: она едет со своим турком в «кадиллаке», а я по тротуару пешком... Да что ты!

— Конечно, кое в чем ты прав.

— Знаешь, что мне сказал Лало в последний раз? Он говорит, что чем лучше мы относимся к женщинам, тем выше они задирают голову. До того, что уже ничего перед собой не видят, пока не споткнутся и не шлепнутся на землю. Я так смеялся. Не веришь?

— Ты знаешь Антолина? Какого? Ну вот который иногда заглядывает ко мне.

— А, да, помню.

— Очень приятный человек и очень справедливый. Ну вот, он ужас как избаловал свою жену — очень ему нравилось потакать всем ее капризам. А ей, видно, все было мало, все не так, и от этого у нее жар скопился внутри, потому что она была насколько красива, настолько и блудлива. Так продолжалось, пока однажды у Антолина не лопнуло терпение и он около церкви отлупил ее зонтиком. Она орала, как пьяный тореро. Но когда подоспела полиция, чтобы арестовать Антолина, что ты думаешь, сделала эта красотка? Набросилась на беднягу полицейского и давай его царапать и ругать. Кончилось тем, что забрали ее. А потом Антолин еще ходил, собирал деньги на штраф, чтобы ее выпустили. Вот и пойми женщин.

Колачо остановил друга, чтобы объяснить какому-то покупателю, что не может продать один антибиотик вместо другого, потому что у некоторых это вызывает аллергию. Отошел и стал медленно расплываться, словно затуманенный облачком рисовой пудры.

Федерико продолжал раскачиваться в кресле, пытаясь разжевать и проглотить неподатливый комок. Глотал, но тот возвращался в горло снова и снова.

Интересно, какую сумму составили бы сейчас тридцать три сребреника Иуды с учетом сложных помесячных процентов? В каком-то

---

[1] Никогда *(англ.)*.

журнале он уже читал, что получается умопомрачительное число. Не хватает нулей. А он должен банку только шестьдесят тысяч колонов [1]. Меньше девяти тысяч долларов. Всего!

Ну и сволочи!

■

Эту историю рассказал папа. Давно, тогда еще к нам ходили гости. Он говорит, что это случилось, когда родился я. Тогда была война и немецкая подводная лодка торпедировала американский грузовой пароход. Он стоял на рейде и ждал очереди. А она его потопила. Торпеда попала в самую середину. Погибло несколько грузчиков, которые работали в трюмах, а гринго ни один не погиб, потому что они все были на берегу и пили пиво. Папа так рассказывал. И я знаю, что он ненавидит гринго. А потом, говорит, через два дня, волнами выбросило на берег одного грузчика-негра. Море содрало с него всю одежду, остались только нейлоновые чулки. Он, бедняга, хотел пронести на берег контрабанду и свернул их в жгут, словно пояс. И когда в Сан-Хосе об этом узнали, все люди вышли на улицы и закидали камнями немецкие магазины. И испанских франкистов тоже. А на галетной фабрике украли сейф. Потом нашли на одной кофейной плантации — наверно, потому что не могли открыть. Я бы подложил динамит — и враз бы! Все это случилось в тот год, когда я родился. Поэтому, наверно, я такой худой и получился и, хотя ем много, никак не поправляюсь. И меня прозвали «глиста».

А если я много бегаю, то у меня подгибаются ноги. Ребята говорят, что я слаб в поджилках. Вот почему все играют в суелу [2], а я не могу. В футбол тоже. Только в «классики», в «классики» у меня здорово получается. Но с тех пор как я поругался с Тоньо, мне больше нравится играть одному или рисовать карты. И чтобы было много чистой бумаги. Я делаю все по правилам — с компасом и линейкой. Сколько всего можно нарисовать! Иногда мама просит, чтобы я побыл с ней. Она тоже, бедная, все время одна и скучает. Но говорить нам не о чем, и она всегда рассказывает одно и то же. Поэтому я поскорей прошу у нее разрешения выйти и иду к себе что-нибудь рисовать. Мама говорит, что ей очень нравилось учиться, но ее отдали в монастырскую школу, а оттуда ее украл папа, когда она была совсем молоденькой, она успела выучить только французский, вышивку и игру на пианино. Она очень любит романы на французском языке, иногда читает очень толстые. Прочтет и снова начинает, потому что уже все перечитала и больше негде взять. Раньше папа привозил ей из Сан-Хосе, а теперь не привозит, мама позавчера даже расплакалась, когда сказала мне, что уже шесть месяцев читает одну и ту же книгу. Как только папа приедет из поместья, поговорю с ним, чтобы опять привозил.

Поэтому ей нравится, когда я с ней сижу и разговариваю, я ей даже иногда про звезды рассказываю. А один раз она меня спросила, не хотел бы я стать водолазом, ког-

[1] Денежная единица Коста-Рики.

[2] Детская игра.

да вырасту. Я ответил: как бы не так, а она говорит, что ей бы хотелось, потому что, наверно, на дне моря жить очень спокойно. Только когда я ей рассказываю о созвездиях, она переделывает их названия, говорит, что некоторые очень противные, и придумывает новые, но мне они не нравятся. У мамы нет научного подхода. Я тоже люблю поболтать о всяких глупостях, но не так много.

IX

Нависла мрачная туча. Мрачная и угрожающая. Вот-вот должен хлынуть ливень, один из тех, что идут такой узкой полосой, словно ее аккуратно отрезали ножом. («Соседка, позволь развесить белье у тебя на дворе, а то у нас дождь».)

Федерико вышел из вокзала на улицу.

— Вас подвезти, дон Федерико? (Откуда шофер меня знает?) Смотрите, сейчас пойдет дождь, промокнете!

— Ничего, пройдусь. Освежусь немного.

Миновав группу таксистов, направился вниз по улице с чемоданом в одной руке и свертком пальмитос [1] в другой. Ему нравилось именно так: приехать в столицу и пройтись пешком по авениде де лас Дамас в своих грязных крагах, в поношенной рубашке защитного цвета, заштопанной и пропитанной потом, в старой фетровой шляпе, с ленточкой, хранящей серые разводы тысячи дождей. Так ему нравилось. Чтобы видели! Эти фитюльки из министерств, паразиты, что тянут соки из государственной казны! Крупным шагом прошел мимо виллы президента. Интересно, дома он? Может, выглядывает из окна? Двоюродный брат. Он любил потолковать с Федерико. Но разговаривали только в четырех стенах, за хранящими молчание шторами. А после того, как его избрали президентом, Федерико лишь однажды решился нанести ему визит.

— Как же ты поймешь, что творится в стране, если будешь торчать здесь, словно крот в норе? Разве ты сможешь хорошо править, сидя за письменным столом? Поедем! Поедем в «Эль Сафиро», хотя бы на несколько дней.

Кузен был, понятно, любезен и внимателен. И, конечно же, поехать не имел никакой возможности.

— Всего на несколько дней, только чтобы взглянуть на это диво, оценить, какое великое будущее у района!

— Очень сожалею, но не могу.

— Кажется, уже пришла пора понять всем в Коста-Рике, что нам нельзя больше жить, сбившись в кучу между Ирасу́ и Поа́с [2]. В этих местах мы уже не умещаемся. А если бы ты мог хоть один раз посмотреть на те просторы!

Часовой у дверей, похоже, узнал его и приветствовал, приложив пальцы к фуражке.

— Приходи, когда захочешь, Федерико,— сказал ему президент на прощание,— мне всегда приятно потолковать с тобой. У тебя собственный взгляд на вещи. И смелость, чтобы видеть их такими, как они есть.

«Жди, амбарная крыса, буду я к тебе заходить, язык трепать понапрасну!»

---

[1] Молодые побеги некоторых видов пальм, употребляемые в пищу.

[2] Крупнейшие вулканы Коста-Рики.

Пальмитос были чертовски тяжелые, шнурок резал пальцы, а ливень приближался. Школьницы в голубых костюмчиках пробежали мимо... Мог бы и зайти, хотя бы под предлогом подарить родственнику немного пальмитос... Но к чему? Зачем строить иллюзии? Ведь теперь даже и думать нечего, чтобы пригласить его в «Эль Сафиро». Лодки и той нет. Если говорить всерьез, сейчас «Эль Сафиро» — всего лишь колодец одиночества и безнадежности. А вот кто действительно пригласит скоро президента в «Эль Сафиро», а заодно и его самого, если он согласится, так это мистер Брукс. Доставит на вертолете. Устроит банкет с черепашьим супом, жарким, а также с негритянским оркестром, привезенным заблаговременно. Сделает все на высшем уровне. Вплоть до официанток в белых передниках.

Он прибавил шагу — дождь гнался по пятам. Зашел в закусочную «Эль Морасан», положил вещи на пол и заказал, как обычно, прохладительный напиток и два бутерброда с анчоусами.

— Слушай, Гарита,— потирая затекшие от веревки пальцы, обратился он к старому официанту, низенькому и лысому,— вот этот стеклянный бак так и стоит с тех пор, когда мы были маленькими?

Широкий, сверкающий, чуть запотевший и источающий прохладу, возвышался огромный прозрачный сосуд с плавающими в нем дольками фруктов и кусками льда. Гарита каждое утро готовил в нем прохладительный напиток из сиропа, добавив рубленых бананов, апельсинов и ананасов.

— Все тот же, дон Федерико. Ни разу, слава богу, не разбивался.

Все тот же. Удивительно! Прошло тридцать лет, а этот проклятый выглядит только что появившимся на свет божий.

— А пальмитос откуда, дон Федерико? — Гарита протер тряпкой сияющую стойку.

— Купил в Тукуррике у одной старухи.

— Хороши! Говорят, их почти не стало.

— И правильно говорят. Старуха рассказывала, что за ними надо забираться в горы — с каждым разом все дальше.

Гарита вздохнул и снова вытер стойку.

Они помнили друг друга с тех времен, когда оба ходили в коротких штанишках и гоняли на велосипедах. А теперь оба уже далеко не молодые. Вот так... И пальмитос почти не стало. В косых глазах Гариты мелькнула грусть, словно блеснули стеклом песочные часы. Целую жизнь он вытирал тряпкой стойку, целую жизнь спал в чулане на раскладушке. Кто бы здесь мог подумать о невероятных событиях, происходивших за границами квартала: в стране, на континенте, в мире? И ко всему, что творилось на Земле, теперь прибавилась еще одна медленная и печальная трагедия в растительном царстве: исчезновение пальмитос.

Официант задумчиво покачал головой и еще раз прошелся тряпкой по сверкающей стойке.

— А правда, дон Федерико,— ведь вы живете в горах и должны знать — тут на днях какие-то негры рассказывали, что в Коста-Рике появились черные пантеры, каких раньше никогда не бывало?

— Абсолютная правда, Гарита. Бегут от Сомосы[1]. Уже добрались и до Пакуаре.

— И говорят, они самые злые из всех хищников, злее бенгальских тигров. Правда? И правда, что они совсем черные-пречерные?

— Да, только глаза у них зеленые. А сами черные и блестят. Отличный мех.

---

[1] Генерал Сомоса — диктатор Никарагуа.

— Вам не приходилось с ними сталкиваться?

— Мне, к счастью, нет, а Эпифанио случалось.

И, словно подчиняясь заклинанию, перед глазами у него на дне стакана появился пеон Эпифанио, работящий, смирный, бессловесный... Однажды к нему прибыл какой-то тип с приказом о выселении. Старший сын сказал, что отца нет, тогда приехавший сел и стал ждать. Он, видите ли, имел строгое указание привезти корешок извещения с собственноручной подписью Эпифанио. Услышав этот разговор, Эпифанио с заряженным дробовиком вылез из своего укрытия. Тип сразу же образумился и удалился, но, предупрежденные им, через несколько дней явились уже четверо вооруженных «койотов» [1]. Федерико видел, как они спускались по реке и как потом возвращались. Везли с собой Эпифанио, скрутили ему руки на спине и бросили на дно лодки, словно куль.

— Вам нехорошо, дон Федерико?

— Да нет, Гарита, ничего. Спасибо.

— Вы начали было рассказывать об одном своем друге, который видел...

— О чем я начал?

— О черных пантерах. Забыли? Будто один ваш друг...

— А, да. Повстречался. Пошел ночью в горы охотиться на оленей и вдруг в нескольких шагах от себя что-то увидел черное. Едва успел вскинуть ружье и выстрелить. Говорит, что, когда стрелял, думал — муравьед. А потом, разглядев мертвую пантеру, испугался. Огромная была, а клыки вот такие! Ну, снял шкуру и подарил ее мне.

Ливень кончился. Федерико расплатился, простился с Гаритой и продолжал свой путь. Направился в САГ[2] и потом всю ночь до утра читал в гостинице доклад о «моко» [3]. Поэтому, когда на следующий день его адвокат объяснял ему хитрости закладных записей, он никак не мог сосредоточиться. Все ему мерещился этот грибок, другие болезнетворные микроорганизмы, погибающие побеги бананов.

— Итак, коллега, пускаем ваше поместье с торгов? Вы готовы к этому?

По-латыни грибок называется pseudomonas solanocearum. Дурацкая привычка ученых ко всему приклеивать свои ярлыки.

— Я досконально изучил ваше дело. Мы не можем проиграть. Доведем цену до ста восьмидесяти тысяч. Не больше. Потому что иначе наш коллега Перальта, старая лиса, сразу же сообразит и не попадется в ловушку.

— А если он не даст сто восемьдесят и уступит ее другому?

— Не бойтесь. Насчет этого будьте спокойны. Я уже вижу, как он вскакивает и кричит во всю мочь: сто восемьдесят тысяч и один колон! И тут мы надеваем шляпы, молча подходим к нему и пожимаем руку.

«Молча», чтобы нас не слышал Эпифанио, которого увезли со скрученными за спиной руками, бросив, словно мешок картошки, на дно лодки. «Молча», потому что стыдно говорить громко... Как-то раз «захватчик чужих земель» Эпифанио сказал ему: «Вы, дон Федерико, хоть друзей имеете, влияние, а я что?» — «Правильно, Эпифанио,— ответил он,— но подожди немного и увидишь, как вместе мы еще дадим им жару!»

Адвокат расписывал ему все в радужных тонах, тихонько звучала музыка, но он чувствовал себя как затравленный собаками заяц: ку-

---

[1] Полицейские.

[2] Государственная агротехническая служба.

[3] Вирус, поражающий банановые плантации.

да ни взглянешь — всюду Эпифанио и коричневые пятна чумы на листьях банана.

В среду он снова обедал в «Эль Морасане». Там были тамали[1] и сырники из козьего творога.

— Нет, Гарита, не только самки, есть пантеры и самцы.

— А самец как же называется: пантер?

— Да нет же. Ну как есть, например, пумы и самки и самцы, а все равно — пума. Или ты думаешь, что они гермафродиты? — Оба расхохотались.— Представляю себе, как леопард забирается на пантеру, а она его, тщеславного, кастрирует одним укусом: не лезь куда не надо!

— Такие они кровожадные?

— Да, Гарита, очень.

За неделю всю плантацию словно огнем опалит. Этот коварный грибок, дремлющий в скрытой форме на корнях диких растений, может сохраняться там десятилетиями, если находится в тени, но как только вырубают вокруг крупные деревья и он попадает на солнце, сразу же начинает бешено развиваться. Такой взрыв — будто насыпали пороху и поднесли спичку...

— ...Хотя обычно животные из семейства кошачьих не нападают на человека, Гарита. Только уж если очень голодны...

— А как узнать, голодная она или нет?

— Лучше всего сначала выстрелить, а потом выяснить.

Гарита снова засмеялся, еще раз провел тряпкой по стойке.

— И последний вопрос, дон Федерико. Извините, я, наверно, замучил вас своим любопытством,— сказал он, подавая кофе.— Этот ваш друг, который, вы говорили, подарил вам шкуру пантеры... Она выделана?

— Выдублена отлично. И очень красивая...

— Правда? — Он вздохнул.— Я думаю, у вас столько красивых и редких вещей, дон Федерико, что эту шкуру вы, наверно, свернули и бросили куда-нибудь в угол... Понимаете...— Он смущенно комкал в руках бумажную салфетку, пока не сделал из нее шарик.

— Куда гнешь, Гарита, что ты хочешь сказать?

— Да нет, я так. Я говорю, что, может быть, она вам уж не так и нравится, и если бы вы не запросили очень дорого...

Так. Уже известно? И даже этот торгаш знает, что он, Федерико, на грани разорения и уже начал распродавать все?

Знает, а?

■

Поезд резко тронулся с места. Федерико стоял на задней площадке. Второй рывок заставил его схватиться за поручень. Какой-то толстяк, опоздавший на минуту и теперь с глупым лицом наблюдавший за тем, как удаляется поезд, показался ему похожим на Перальту. «Сто восемьдесят тысяч и один колон!..» — единственно, что должен сказать этот жулик. А если не скажет? Если поместье отберут по суду? Ему будет нелегко. Еще бы! Особенно теперь, когда в кармане рубашки позвякивает флакончик с таблетками.

Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Город скрылся за высокими деревьями. Федерико вошел в вагон и развалился на сиденье из плетеной соломы. Что-то зашуршало в кармане.

Конечно, он не послал ее и даже не отважился спросить, сколько будет стоить телеграмма на двух листах. Надел очки: «...жизнь — это

[1] Пирог из кукурузной муки с мясом и специями.

бесконечная борьба, Эстебанита. Сейчас я, как боец, сбросивший доспехи и присевший на камень у края дороги...» Глупо. Смешно. И хорошо, что не послал. Высунул руку в окно и позволил ветру унести обрывки. Проехали Лос-Йосес, Курридабат, Картаго...

«Не забывай об этих землях, парень.— Последнее, что сказал ему дед перед смертью.— Поместье Тиларан ты будешь помнить, я уверен, потому что знаешь его. А эти земли, которые я тебе оставляю вдоль реки Пакуаре, легко и забыть. Но запомни! Если когда-нибудь почувствуешь себя загнанным зверем и все у тебя пойдет в жизни кувырком, приезжай сюда и не вылезай больше. Слышишь? А не сделаешь как говорю, мои кости разыщут тебя и накажут!..»

Лабиринт, творение пьяного Дедала[1]. Два зеркала, поставленные одно против другого...

— Дело в том, дон Федерико, что это невозможно. Директорат решил взыскать со всех дебиторов одновременно...

Словно дальтоник, распутывающий сразу сотню разноцветных мотков шерсти. Бедолага! А ведь сколько людей живет так же. Будто сыплешь песок себе в жилы или пытаешься укусить собственный локоть...

— Федерико, милый, ты бы не хотел прожить жизнь по-другому?

— Конечно, хотел, Никояна. Но это было так давно, что теперь, к счастью, уже и не помню, кем хотел стать.

— Не будь бякой, расскажи.

— Да не знаю, клянусь, что не помню.

— Нет, расскажи! Мне должен рассказать!

— Видишь ли, у меня в детстве не было никого, кто бы мог давать советы. Я поступил на юридический и сам не заметил, как провел годы учебы. Все было вроде развлечения.

— Ты, наверно, был очень красивый.

— Нет. Худой и с огромными усами.

— А теперь?

— Что теперь?

— Кем тебе хотелось бы стать теперь?

— Кем хотелось бы? Впрочем, позавчера, когда я читал интервью одного писателя, мне вдруг пришло в голову, что хорошо бы стать крокодилом. И жить где-нибудь в заливе Пакуаре.

— Крокодилом! Фу, как противно!

— А я люблю их. И люблю большие реки. Глубокие, как человеческие души. Снаружи видна лишь пена да блики, а внизу, в глубине,— темны, как грехи. Кроме того, только им доступна вечность. Они вроде бы протекают, но никогда не кончают течь. Они старше нашего мира и каждую минуту юны, словно новорожденные. И крокодилы знают это...

— Какая скучища!

— Тогда оставим меня. Лучше ты расскажи, кем бы ты хотела быть.

— Я с детства мечтала стать киноактрисой, все уверяли, что у меня фотогеничное лицо. И я всегда воображала себя в самых страшных ролях. Например, меня украли краснокожие. А один раз придумала... что в меня влюбился орангутанг...

Федерико выглянул в окно и на минуту отвлекся от ее слов, наблюдая за тем, как с безумными криками носятся голодные чайки. Когда обернулся, обнаженная Никояна снова лежала на простыне, белой, словно разъяренная пена прибоя.

---

[1] Мифологический персонаж, которому приписывается создание лабиринта на древнем Крите.

— А теперь, кем бы ты хотела быть, орангутангша?

— Мне неудобно...

— Почему? Нет, раз уж начала, говори.

— Морячкой!

— Ты — морячка?

— А вот да! В черной бескозырке и на ленте: «Никояна» золотыми буквами, как ты мне говорил.

— И много матросов на борту?

— Да, и чтобы много матросов.

— А я?

— Ты.— Она пощекотала его ухо кончиком языка.— Ты был бы капитаном.

— Конечно, это солидный пост. И на моих рогах они натягивали бы паруса?

Захохотав, она сорвалась с кровати, он, прыгая через стулья, бросился за ней. Догнал, повалил на пол и стал шлепать по голым ягодицам. Пока не стали красными, огненно-горячими.

— Ну что, хорошо быть морячкой?

А сам смеялся.

— Ничего необычного. Просто у нее чуть больше нормы выражен инстинкт сохранения рода,— сказал Колачо.— Жесткокрылые, например...

— Иди ты к черту! Какие жесткокрылые, какие жареные обезьяны? Просто к тому времени она уже была знакома с турком! А еще через год оставила меня с носом. И, заметь, сама предложила прекратить связь.

— Все ясно. Значит, у другого нос был более впечатляющим, чем у тебя. А ты, наивный, все принимал за чистую любовь. Вспомни, кстати, она никогда не просила тебя хоть раз пройтись с ней под ручку по городу, взглянуть на витрины магазинов? «Только один разок, милый, чтобы люди могли на нас посмотреть». А на самом деле для того, чтобы скомпрометировать, замарать тебя навсегда. Я их прекрасно знаю. А тебе стоило бы быть побольше философом. Правда, трудно стать философом в этой стране, где единственный, уже имеющийся, зарабатывает на жизнь в маленькой лавчонке... Ухо чешется? Ну почеши, почеши... Я изучал Гераклита в промежутках между чтением рецептов, и подчас этот эфесский старец должен был дожидаться, пока я отпущу эвкалиптовые лепешки.

Он был прав. Федерико понимал, что проиграл жизнь. Все пошло к чертям. Потерпевшая крушение Эстебанита грезит в своем бронзовом саркофаге среди бушующего моря кошмаров. Вянет юность Флор де Марии. Хосе Энрике — блаженный. Никояна нежится на своем турецком диване среди множества подушечек. А неумолимая, всепожирающая Компания крепко схватила его за горло. И душит, не дает вздохнуть. Наняв сотни пеонов, она лишила его рабочей силы, скупила мачете во всех магазинах и лавочках страны, и теперь нигде не найдешь ни одного, даже ржавого. Огромная плантация гринго растекается все шире, окружая «Эль Сафиро» настоящим морем банановых посадок. На реке завывают моторами бесчисленные лодки, пугая по отмелям крокодилов. Уже тянут канат для парома. Вертолеты переполошили попугаев в лесах. Все кипит в этой неистовой деятельности. Управляющие. Телетайпы. Приказчики. Рыжая жена мистера Брукса скачет на гнедой кобыле. Шесть огромных бараков с двухэтажными нарами для пеонов. А с другой стороны — банки, холодно-вежливые, невозмутимые. А между этими двумя стенами — он. Зажат намертво. Не сумев продать урожай, просрочил первый взнос в счет погашения долга. Хлопотал, умолял, обещал выплатить за отсрочку шестимесяч-

ную надбавку к ссудному проценту. «Поверьте, мы очень сожалеем, нам было бы приятно помочь вам, но не можем». Он предлагал вторично заложить свой дом в Пуэрто Лимоне. «Не ставьте нас в трудное положение, дон Федерико, мы действительно ничего не можем сделать». Но даже банковские пресс-папье знали, что пять из семи членов директората получали надбавку к жалованью от Компании. Прямые депозиты on the Bahamas Branch of the Chase National Bank. Nobody will ever know [1]. «Это правда, мистер Брукс? Nobody [2]? Ах, как прекрасно! Большое вам спасибо!»

Купил пачку печенья и бутылку кока-колы. Легкий обед. Пережевывая, снова погрузился в статью сельскохозяйственного журнала: «К несчастью, речь идет о новом типе организма — возбудителе «моко», который делает более уязвимым сорт «гвинейский квадратный» (Musa Acuminata), в результате чего бактерия размножается гораздо быстрее. Ни «бордоская жидкость», ни другие фунгициды не имеют никакого бактерицидного эффекта против этого вида...» Выбросил в окно обертку от печенья.

— Дело не только в этом, Федерико,— уверял его адвокат.— Дело еще в том, что на свете существует Фидель. Он им мерещится даже в тарелке с супом и пугает до поноса. И поскольку Коста-Рика — лакомый кусок, где иностранным инвеститорам даются невероятные привилегии, европейцы бросились сюда, как коршуны. Правда, они запоздали, янки уже все прибрали к рукам, но все равно отталкивают друг друга локтями.

— Нет, нет, минуточку. Их очень пугает «моко». Вот послушай, я прочитаю: «...представьте себе, насколько велика опасность, которую может вызвать заболевание бананов, если по причинам, не зависящим от решений и действий министерства сельского хозяйства, «моко» прорвет естественные барьеры и охватит провинцию Лимон...» Понимаешь?

— Что ты хочешь этим сказать?

— Значит, они считают, что сейчас в Лимоне нет «моко».

— Ну и что?

— Но я-то знаю, что есть.

— Откуда?

— Сам видел. Своими глазами. Я в этом разбираюсь. Он существует в состоянии эндемии [3] на диких растениях в сельве. И в «Эль Сафиро», на участке девственной сельвы, есть. Понятно?

— Нет, не понятно. Клянусь, не понимаю тебя.

— Впрочем, неважно. Оставим этот разговор. Я завел его только для того, чтобы ты не болтал глупостей.

— А я настаиваю на своем: не «моко» и не «сигатока» [4] прогнали из Эквадора голландцев и немцев, они убежали из-за партизан. Слышишь? Значит, у нас земли, подходящие для бананов, будут расти в цене, я в этом уверен.

— Это ясно. Непонятно другое: почему я должен их продавать, даже если бы цены не росли, а падали. Почему? Ведь меня защищает конституция. И хотя «Эль Сафиро» окружено их землями, они должны выпустить меня. Обязаны!

И внутренне грустно улыбнулся напыщенному тону этих слов, словно увидел в зеркале свое бесполезное мужество.

---

[1] В Багамском филиале «Чейз нэшнл бэнк». И никто никогда об этом не узнает *(англ.)*.

[2] Никто *(англ.)*.

[3] Присущее данной местности заболевание.

[4] Болезни банановых деревьев.

— А деньги кончаются, коллега? — Будто прочитал его мысли.— Вот дьявольщина. Тогда действительно плохо. Потому что, учти, против тебя применят все виды оружия, и законные и запрещенные. А о конституции забудь, потому что и эта старуха уже легла в их постель.— Он встал, подошел к пианино и стал наигрывать вальс.— Как, ты сказал, называется эта тварь? — спросил под звуки Штрауса.

— Pseudomonas solanocearum.

— Отвратное название. И почему это надо придумывать такие ужасные имена!

Вальс продолжал кружиться в своих кринолинах...

— И с того раза, когда ты их выпер из поместья, они больше не обращались с новыми предложениями? — Он говорил громко, продолжая свои пианиссимо и фортиссимо, не связанные со словами.

— Нет. Они пошли обходными путями. Добрались даже до президента — ты знаешь, он мой двоюродный брат. Заставили его послать мне письмецо с намеком. Я ответил ему телеграммой: «Сообщите, вы еще костариканец или нет?» Потому что это возмутительно! Понятно, понемногу я свыкаюсь с мыслью, что рано или поздно дело кончится продажей. А что мне остается делать? Но это было еще тогда, когда они только начинали свою грязную игру.

■

Весь день и всю ночь переплывали туда и обратно реку на пироге Самбо, до бортов загружая ее бананами. Неплохой урожай. Не менее трехсот связок было уложено на платформе, когда издалека донесся гудок локомотива, прорезавший звонкий воздух. Наверно, шел из Сикирреса.

Федерико, тяжело ступая, нервно ходил по платформе. Наконец, волоча огромный шлейф черного дыма, прибыл поезд. Федерико и Эпифанио бросились ему навстречу, однако приемщики тут же сказали, что очень сожалеют о такой неприятности, просят извинить их, но поезд уже полностью загружен бананами Компании. Поэтому более пятидесяти связок принять у них не смогут, а остальные, может быть, в четверг на следующей неделе.

Пеоны, до того стоявшие мелкими группами, сгрудились толпой вокруг них, глядя на Федерико.

— Как же так, в ближайший четверг? — Он говорил сквозь зубы.— Разве вы не понимаете, что за неделю все это сгниет?

— Мы очень, очень сожалеем. Но — приказ!

— Чей?

— Приказ... Приказ...— Как заигранная пластинка.

Солнце печет нещадно. И словно кто-то прямо над ухом Федерико колотит в огромную медную кастрюлю. Он кричит. Три приемщика странно уменьшаются у него на глазах, сжимаются, кажутся черными мутными точками среди больших зеленых кругов и оранжевых спиралей.

Он вырвал мачете у Эпифанио и угрожающе двинулся на них.

— Пусти меня! А сам не суйся!

Приемщики притихли.

— Скажите, чей приказ?!

Молчат.

— Тебе говорят, Эпифанио, не держи меня!

Подходит ближе и ближе. Звон в ушах все оглушительней. Голова раскалывается, и внутри беснуются тысячи чертей. Приемщики пятятся пока не упираются в кучу банановых связок. Но молчат, даже прижатые к стенке, не хотят ответить, хотя глаза чуть не выскакивают

из орбит. Он прыгает перед ними, как рассерженный кот, и вдруг разражается бурным потоком непристойных ругательств:

— Думаете, так добьетесь от хозяина милостей?! Ублюдки! Верите ему?

Пеоны молчат, смотрят на него. Самбо с мачете наготове. Эпифанио все еще держит Федерико.

— Отпустишь ты меня, наконец?

И тут один из приемщиков выхватил пистолет.

Отлично! Выстрел. Он прыгнул в сторону.

Пеоны бросились врассыпную.

Еще один выстрел! И, словно пущенный из катапульты, Федерико подскочил к приемщику, молниеносный удар мачете плашмя по запястью. Пистолет кувыркнулся в воздухе. Еще мгновение — и мачете, уже острием, у горла негодяя. Тот замер. Удар кулаком в живот сгибает его пополам. Коленом в лицо, приемщик валится наземь. Второй на карачках лезет через связки бананов. Третий стоит ни жив ни мертв.

Полный мужчина в комбинезоне — кочегар — прыжком соскакивает с паровоза:

— Не делайте глупостей! Оставьте их, дон. Потом они примут у вас бананы как свежие. Они не виноваты! Не сердитесь на них.

Эпифанио и Самбо тоже уговаривают:

— Уже все прошло. Не стоит.

Он позволил оттащить себя. Приемщики убежали.

Позади, перешептываясь, идут пеоны. Только один негр все стоит и хохочет: «Ха-ха-ха! О, мистер, как славно. Damn god[1], как хорошо!»

■

Адвокат оборвал вальс и возвратился к столу.

— Я смотрю, Федерико, дело принимает плохой оборот. Где-то ты действовал не лучшим образом. Я так говорю, потому что достаточно знаю тебя. Где-то что-то не так.

— Да. Видимо, Согласен. Но если все же они выиграют, слышишь, если выиграют, клянусь тебе, я буду доволен, как никогда в жизни! Больше пока ничего не скажу, но уж если что сделаю, так сделаю. Как безумный, который сам себя ест с голоду. Понятно?

— Не очень. Но в конечном счете... Только прошу, будь осторожен. Семь раз отмерь. Сумасбродные старики, вроде нас, не вызывают симпатии...

— Пусть будет сумасбродство. Что ж, называйте как угодно, но ты еще вспомнишь наш разговор, когда прочитаешь об этом в газетах...

■

У нас дома становится все беднее и беднее. Когда ты еще маленький, то не знаешь, что все вещи сколько-то стоят, а когда подрастешь, начинаешь понимать. Сначала перестали покупать сливочное масло. Потом сказали сиделке, которая ухаживала за мамой, чтобы больше не приходила, потому что Флор де Мария уже сама все научилась делать. А это так неприятно, что я даже смотреть не мог, как она делает, и убегал. Бедная мама, язва у нее на спине такая страшная, и Флор де Мария иногда даже обрезает гнилое мясо ножницами. Сестра должна была бросить учебу, чтобы вести хо-

[1] Черт побери *(англ.)*.

зяйство, поэтому у нее остались чистые тетрадки, и мне сказали, чтобы я их взял. Но она уже разукрасила обложки переводными картинками с кошечками и прочей ерундой, которые нравятся девчонкам, а я терпеть не могу, потому что все будут смеяться надо мной. И папа сказал, что я прав и что надо купить новые.

А недавно мама позвала меня к себе и велела сесть, потому что хочет поговорить со мной серьезно. Она сказала, что я уже большой и лучше, если буду знать, что у папы трудное экономическое положение (когда она это говорила, у нее сморщилось лицо, и я думал, что она вот-вот расплачется, но, к счастью, не заплакала). Только я думаю, что, если кто-то раньше имел все, что хотел, а потом у него становилось все меньше и меньше, то это ужасно. Это даже хуже, чем если всегда быть бедным. Может, это не верно, но мне так кажется. А потом, мы уж не совсем бедные-пребедные, только все в доме как-то сразу, словно по сговору, стало биться и ломаться. За один день сломались два стула в столовой. У одного провалилось сиденье, а у другого отскочила ножка. И кукушка в часах тоже сломалась. Теперь только хрипит, а дверца не открывается как следует. Но хуже всего случилось с цветочной вазой в гостиной: вдруг вечером «трах»! Мама услышала и сказала, чтобы мы пошли посмотрели, что там произошло. А ваза, к которой никто не притрагивался, и даже дверь была закрыта, треснула сверху донизу. Она не упала, а просто раскололась. Она была очень красивая, с рисунком: охотники трубят в рога и собаки бегут за оленем. Чудно как-то, правда?

По счастливому случаю сейчас к нам в школу пришел новенький, его зовут Тобиас, и он еще худее меня, хотя на год старше, и ему тоже не нравится играть в футбол. Мы с ним ходим пешком даже до самой Пиуты[1], ловим крабов или просто так гуляем. В понедельник один негритенок, который лазает на кокосовые пальмы за песету, дал нам пояс и научил нас забираться на пальмы. Только мы залезли на самую маленькую, потому что оба боялись. А негритенок ничего не боялся, и голова у него не кружилась.

Вчера снова ходили. Тоби предложил искупаться в заливчике между скалами. Я сперва не хотел, а он сказал: ничего, нас никто не увидит. И мы купались нагишом очень долго, а потом легли на песок загорать. Тоби все время прикрывает глаза рукой — они у него светлые и поэтому слезятся на солнце. Он спрашивал меня про это... Ему все время хочется говорить про это, а мне не нравятся такие разговоры. Я не такой. Когда мы возвращались, нам попалась одна девчонка и он показал: «Смотри, какие у нее сиськи». И правда, они колыхались у нее во все стороны. А когда она проходила рядом, Тоби сказал, что, если она пойдет купаться с нами, он даст ей колон. Только она испугалась и убежала.

А другой мой друг — Пипа. Но у него все время потеют руки, он, наверно, туберкулезный. Я точно не знаю, но так мне кажется. Самое плохое, что Пипа говорит, будто Тоби глупее, чем курица ночью. И поэтому я должен дружить только с Пипой, а то они друг друга не любят. Вчера Пипа

[1] Пригород Пуэрто Лимона.

подарил мне две индонезийские марки. Я приклеил их в альбом. С кораблями. Он собирает с бабочками, а я — с кораблями. Но и мне как-то не попадаются с бабочками такие, чтобы у него не было, а то я подарил бы ему.

X

В отдельном кабинете ресторана не так резко пахло дымом, зато здесь господствовали другие запахи — жареной рыбы и прогорклого кокосового масла, которым натирали полы. И оркестр там, к счастью, не так гремел, потому что усердие негра-тромбониста не выдержали бы никакие барабанные перепонки.

Поскольку Колачо пригласил его на ужин к китайцу Алтуло, то сначала зашли в аптеку, чтобы забрать «навар» — так аптекарь называл дневную выручку. Однако несокрушимое здоровье жителей Пуэрто Лимона в этот день было отвратительно хорошим: несколько таблеток аспирина, фруктовый сироп и лейкопластырь в кредит. Банк, как всегда бывает в таких случаях, уже закрылся. Пришлось тайком идти в контору Федерико и брать из хранившейся там «заначки».

— «Ой, хозяйка, ты уста-анешь!» — тянул матрос-эквадорец, отставший от своего парохода. А за столиком в кабине напротив какая-то пара целовалась так смачно, будто решила обменяться гландами,— любуйся сколько хочешь, только не мешай.

Когда они совсем собрались выйти из дома аптекаря, сеньора Менча уронила на тротуар клубок шерсти. Он выскочил из подола и запрыгал по балкону.

— Осторожнее, не порви нитку! — возбужденно кричал Колачо.

А сейчас через окошечко он увидел кусок лилового неба, электрический провод, провисший под тяжестью трепещущей стаи ласточек. Вечер решительно обречен на то, чтобы утопить его в вине.

— У меня тоже на душе кошки скребут,— поддакнул меланхолично настроенному другу Федерико. А это уже было опасно, потому что из них двоих обычно именно он нажимал на тормоза. Колачо, как всегда, был неуправляем.

— Дон Алтуло,— позвали они китайца, обутого в войлочные тапочки и пахнущего сен-сеном.— Дон Алтуло,— повторил аптекарь, хватая того за рукав,— почему это, когда свербит в носу, отдается в заду?

Все та же шутка, повторенная тысячи раз. Но дон Алтуло, впитавший в себя мстительные тысячелетия Поднебесной империи, особенно теперь, когда у нее есть даже своя бомба — пожалуйста, если нравится, шутите над «китайчатами»,— не ответив, удалился с достоинством отставного мандарина и вернулся с двумя банками голландского пива, салатом из креветок, потом принес еще две тарелки закуски и, по просьбе Федерико, бутылку виски «Олд Парр».

Большая пьянка началась, черт побери!

Мулатка, посадив на колени сутенера, который чуть ли не с головой залез в вырез ее платья, равнодушно постукивала ногой в ритм джаза и грызла жареные орешки. Помещение уже заполнилось народом, и несколько пар танцевали между столиками.

Часы на рынке пробили одиннадцать. Федерико все порывался выйти в туалет, а Колачо разговорился с какой-то негритянкой, сидевшей неподалеку,— она ела рис с кокосом, запивая ромом,— и уже взял ее за руку, но Федерико сказал ему о подозрительных лиловых пятнах на ее коже. Эквадорец продолжал всхлипывать — во всем виновата

марихуана, поэтому он пришел в порт, когда на горизонте виднелся лишь дымок его корабля. Парочка в соседней кабине стыдливо задернула занавеску, и было очень смешно подходить и открывать ее, чтобы всем было видно, что там происходит, хотя самой паре уже ни до кого не было дела. Зал, конечно, раскалывался от хохота. И каждый раз ударник в оркестре выдавал такую оглушительную дробь на барабане, которая в провинциальных цирках предшествует главным номерам программы. Наконец, один из негров не выдержал, что-то громко прокричал, вылез на сцену и начал отплясывать какой-то сольный танец. Дон Алтуло, подвижный, вездесущий, неожидаемый и необходимый именно там, где находится,— местный представитель гоминдана, он же сверхсекретный вице-президент маоистского клуба,— заслышав отвратительно меланхолическую скрипку, способную повергнуть в грусть всю клиентуру (что отразится на выручке), поднял бровь, оркестр смешался, и серенада Шуберта умерла, погребенная в какофонии современного танца. Рядом кто-то доказывал, что у китаянок все не так, как у белых женщин, а поперек; тут же спорили, украл ли дон Леон свинью или нет, а какой-то упившийся в лоск старичок кричал: «Да здравствую я!» — все вокруг икало, хрюкало, визжало. Тогда Федерико, уже переливший в себя полбутылки, поднялся, повалив стул, и начал убеждать присутствующих, что все они — педерасты. Колачо, придя к заключению, что атмосфера неблагоприятна для подобных заявлений, вытолкал его из бара, не дожидаясь скандала. На улице атаковал морской бриз. Их стошнило, потом они бежали несколько метров, подпирая друг друга, радуясь каждому глотку свежего воздуха под этим звездным сводом. Но главное заключалось в том, чтобы не упасть, приходилось держаться за стены. Потом, распевая во все горло срывающимися голосами, заливаясь смехом от одного вида друг друга, стали зигзагами удаляться от центра. Внутри недремно работали тренированные навигационные приборы, которые вели их по этиловому броду, среди фосфоресцирующих кальмаров, не давая спотыкаться о тени столбов, освещенных начищенной до медного блеска луной. Наконец, добрались до цели. Колачо решительно начал карабкаться первым — ловкий, как мешок с картошкой,— по шаткой лестнице с прогнившими ступеньками. Идиот проектировщик соорудил свою архитектурную жемчужину из старых мачт, собранных на побережье, и высоких, сомнительной прочности подпорок. Зато сверху вид был отменный: пляж Сьенегита, два парохода, ожидающих своей очереди, питомник крокодилов — кожа уготована на бумажники туристам,— плантации марихуаны и море!

Их встретили очень ласковые Сорока и Ангельская Грудь, да еще одна в платье в голубой горошек, и еще две made in Panama[1].

— Иди ко мне, мое сердце. Опусти монету в роколу[2]. Или сначала хочешь поесть фасолевого супа, чтобы подкрепиться?

— Ты, случаем, не из Сифилиландии? Ах, из Чирики́, очень приятно... А вот тот не Ньято Сото?

— Он.

— Иди сюда, мулаточка, сколько лет не виделись! Может, сдвинем столы?

Вратарь команды Пуэрто Лимона обмывал голы, пропущенные в матче с футболистами соседнего города.

— Что выпьем?

С вратарем сидел какой-то приземистый тип в жилете.

---

[1] Сделано в Панаме *(англ.)*. Имеется в виду, что в зоне Панамского канала, арендованной США,— множество публичных домов.

[2] Музыкальный автомат

— Нет, дурачок, это контрабандист. Не бойся. Только об этом молчок!

Контрабандист знал массу веселых историй, и все хохотали, будто работали сдельно.

— Еще бутылку! На этот раз заказываю я!

Так продолжалось, пока толстяк не взглянул на часы и не сказал, что ему пора на работу. Все вышли на балкон проводить его и пожелать «бесплатной удачи».

Потом Ньято Сото, чтобы согреться, уговорил трех девиц показать пластическую картинку. Они изображали купанье одалисок, правда, от них слишком пахло потом. Под конец уже никто ничего не соображал, все хватали кто кого мог. Вдруг футболист издал дичайший вопль, громче тарзаньего. Спектакль пришлось немедленно прекратить. Слабак!

Федерико повел было Сороку танцевать танго, но тут же заскучал и, оттолкнув ее, потому что нахалка сразу прилипла к нему, вышел на веранду. Луна скрылась, ночь разверзлась, будто пасть каймана. Облокотившись, он с волнением смотрел в бесконечность, неисчерпаемость, всемогущество. Брюхо вселенной. Необъятный разлив густой черной нефти, в которой плавали огромные куски материи: мусор, только что народившиеся киты и гигантские катастрофы. Колоссальный, оглушительный круговорот, бурный и монотонный. Беспрерывные, неустанные схватки. Царь творения стоял задумавшись, глядя на все это. Царь, упавший с развалившегося трона. И огни кораблей сверкали, точно бриллианты его былой короны.

Кружилась голова. Там, в темноте, лангусты выползали из своих нор, чтобы в грохоте миниатюрного боя отважно противостоять идущей на приступ пене. Все было хорошо, только перила шатались вместе со всей постройкой, источенной термитами. Он вернулся в салон. Колачо, держа в руках метелку из перьев, дирижировал оркестром: «Трам-пам-тра-ра-рам!» Федерико повел танцевать Ангельскую Грудь. Груди у нее действительно были ангельски упругие, как теннисные мячи.

Но в этот миг в заведение ворвались молокососы с «Рильвекструума», или «Сморгасборда», или черт знает, какое там название дала их кораблю породившая его паскудная верфь, ворвались с хриплыми криками и такой поспешностью, словно готовы были совокупиться хоть с замочной скважиной. Ловко, как обезьяны, взобрались по шаткой лестнице и ввалились толпой, с наивными улыбочками белокурых нордических детей, просящих прощения. Недоноски.

Колачо энергично призывал девочек не покидать его, но на аптекаря никто больше не обращал внимания. Со зла он бросился на музыкальную машину, чем привел в бешенство Ньято Соту. А Федерико было не до драки, ему только хотелось услышать рядом горячее дыхание этой проклятой дьявольской Никояны. Кто приказал сунуться туда, куда тебя не звали, ядовитая муравьиха, изломавшая всю жизнь? И Эстебанита! Как она не может понять, что иногда мужчина не имеет права сдерживать себя, потому что на него тогда будут смотреть как на сопляка. Не может ссылаться на то, что дома его ждет жена и суп из свежих овощей, а потому — извините и прощайте. Ведь тогда за его спиной будет вечно раздаваться обжигающий, как едучая кислота, смешок: «Что вы, my darling[1], как вы могли подумать!» Так всегда было и так должно было быть. И поди тут пойми, почему он вдруг подставил ножку первому из начавших танцевать матросов. И почему самый рыжий из них с наколотой на груди жирафой, обмакнув бороду в пив-

[1] Мой дорогой *(англ.)*.

ную пену и поставив стакан себе на макушку, пошел танцевать с Сорокой. Почему?

Вскоре шестеро девиц уже танцевали с шестью викингами. Их же было только трое. К тому же скандинавы все такие здоровые (тут уж ничего не поделаешь). Седьмой остался без пары и хотел пригласить на танец Колачо. У того от бешенства на шее вздулись жилы, как у испанского быка. Он побагровел, схватил бутылку и, отбив о стол горлышко, крикнул «брысь!» как кошке, но вызвал этим лишь гомерический смех. Проклятые матросы пели и плясали в свое удовольствие, а когда проходили мимо них, дружески повторяли «брысь!», издеваясь над их гневом и неудовлетворенными желаниями, что еще больше бесило Колачо.

Единственно, в чем ошибались норвежцы, которые на самом деле были шведами, это в недооценке реакции невзрачного, наполовину лысого толстяка аптекаря. Поэтому они не заметили, как он, держась за спинки стульев, с большим достоинством прошел во внутренние комнаты пошептаться с Графиней Замка, лежавшей с гриппом, замышляя заговор. Оттуда явился фокусник со щепоткой рвотного корня — ипекакуаны, которая благодаря своему горьковатому вкусу отлично смешивалась с пивом. Тут не было ничего нового — таким способом проститутки и раньше пополняли свои коллекции пфеннигами, гульденами, кронами и долларами, а на следующий день еще и развлекались, подсматривая в щелочку за полусонными моряками, которые, отплевываясь на ходу, гуськом торопились в порт, чтобы попасть на свое отплывающее судно.

Колачо вернулся в салон. Одно веко у него весело дергалось. Развел лекарство, и иноземные захватчики начали валиться наземь. Похоже, правда, он несколько переборщил с дозой, потому что гости что-то очень быстро стали падать со стульев прямо головой об пол. Ньято с девицами поднимали их по одному за руки и за ноги, раскачивали: «Раз, два три и...!» — сбрасывали через перила веранды, как чучела, набитые опилками. И каждый раз едва слышался глухой удар — нечто среднее между всплеском и раскатом грома,— словно кто-то большой деревянной ложкой шлепнул по желе, взлетало громкое «ура», приветствовавшее благополучное приземление викинга на влажный песок пляжа. Все шло отлично. И так продолжалось бы здоровое веселье, если бы не один из шведов — сто килограммов мало приятных мускулов,— выпивший смесь позже остальных потому, что задержался в уборной. («Всегда найдется кто-нибудь с поносом и замарает все дело»,— меланхолически заключил на следующий день Колачо.) Он успел в последний момент догадаться, что не все вокруг шло нормально. Образцовый, как по учебнику, удар коленкой в пах превратил Колачо в визжащий волчок, катающийся по земле. Ньято досталось медвежье объятие и несколько тычков головой о потолок. Потом удар локтем в спину Сороки — и ее лифчик с искусственными грудями, словно бабочка, порхнул через салон. Поскольку и после этого у викинга еще оставались силы — хотя напиток уже начал действовать,— он одной рукой приподнял Колачо с пола, а другой под треск аптекаревых хрящей нанес ему пять ударов по лицу, отчего оно внезапно стало синефиолетовым, как баклажан. Хорошо еще, что после этого швед, наконец, свалился тоже и под «раз, два...» плюхнулся на мокрый песок рядом со своими приятелями.

— Кто же виноват? — настойчиво спрашивал на следующий день Колачо, лежа в гамаке с ледяным пузырем в паху и примочками арники на обоих глазах.

Рано утром люди с судна разыскали шведов и выместили свою злобу на шаткой лестнице. Вырвали ее с корнем и разнесли в щепки.

В результате, как сказал Колачо, проститутки оказались отрезанными от божьего света на весь святой день — воскресенье.

— Ты, кто же еще? — обвинил он Федерико.— Я лежал себе, как ангел, дремал после обеда, когда ты пришел, сунул в руку стакан с виски и, взвалив на меня свою греческую трагедию, апеллировал к моему неизменному чувству дружбы. Все остальное — просто следствие.

— Но как тебя дернуло угрожать стольким здоровенным морякам разбитой бутылкой? Просто чудо, что мы еще можем вспоминать об этом.

Особенно бесила обоих ехидная улыбка сеньоры Менчи — похоже, она уже все знала. А Колачо еще злился от того, что из-за боли не мог посмеяться всласть.

Федерико закончил ночь в гостиной на софе и теперь ломал голову над тем, как будет объясняться с женой — надо ли рассказывать все как было или не говорить ничего; какого дьявола он должен перед кем-то отчитываться, если вся жизнь вообще — сплошное свинство, каждому известно, как дважды два — четыре. К тому же свод законов не возбраняет любому гражданину одну приличную пьянку в год.

Промычала корабельная сирена. Уж не «Сморгасборд» ли? Протяжный, заунывный звук. И, словно по сигналу парохода, упали первые капли дождя. Донья Менча ушла в комнату, таща прижатое к заду кресло, опустила штору, и тут ливень хлынул во всю свою неистовую силу. С балкона Федерико видел, как пробежал дон Алтуло, прикрывая голову газетой, и старик Каналиас со своим зонтиком, доставлявшим ему одни лишь хлопоты, поскольку дождь хлестал со всех сторон, просеменил, подгоняемый ветром и молниями. Гроза подобралась исподтишка, и первая молния ударила прямо в громоотвод на таможне и заскрежетала, разрывая оцинкованную крышу, словно разъяренный тигр. Какая-то китаяночка испуганно смотрела на небо из дверей таверны «Белая лошадь». Все живое онемело от страха, забилось под крыши, потому что пересечь сейчас улицу, даже в четыре прыжка,— значило бы вымокнуть до нитки.

Снова заревела сирена парохода, и Федерико подумал, что мельчайшие подробности их вчерашней попойки непременно станут известны жителям всего города, застывшего в слоновой болезни. Обыватели уже раздели их догола и со смаком перемывают им косточки. Дошло, может быть, и до Эстебаниты, правда, в этом он был не уверен. А вот Никояна наверняка все знает. И она не потерпит такого. Будьте покойны! Наверно, уже забралась на шкаф и ждет, чтобы броситься с него, вцепиться острыми как бритва ногтями.

Китаянка заметила его, хотя и сделала вид, что нет. Дождь как из ведра. Сточные трубы захлебывались. Молнии сверкали, сопровождаемые таким грохотом, что ломило зубы. Он стоял на балконе — пусть ливень промочит его до нитки. Вода струилась по лицу, и вот тогда-то он и решил: пару месяцев на упорядочение всех дел здесь, а потом, вместо того чтобы держать жулика-управляющего, который готов обглодать его до костей, самому переехать жить в поместье. Там он будет спать спокойно, без ахов, вздохов и вечных упреков своей горькой половины, без булавочных уколов от каких-то неизвестных людей. Кроме того, банки как раз начали выдавать ссуды тем, кто хотел начать новые посадки бананов. К тому же он — двоюродный брат президента, а голландцы платят по доллару сорок за ящик. Надо только все рассчитать. Никарагуанцы скупают на перепродажу колоссальное количество бананов. И Никояну он уговорит. Поставит в ранчо кондиционер, в свободное время поможет ей заниматься английским, купит

породистого мула с красивой сбруей, лодку с подвесным мотором, чтобы по воскресеньям ездить на пляжи Лас Лагунас дель Гортугеро. И там рядышком голышом — а вокруг ни души — лежать у самой воды, там, где умирают волны! Прелесть! Он изложил свой план Колачо.

— Кажется, опухоль еще более вздувается,— сказал тот.— Принеси еще льда... Ну, прежде всего, я не вижу у тебя земледельческого призвания,— заметил аптекарь в то время, как Федерико наполнял льдом пузырь.— Если точно известно, что управляющий ворует, смени его. С другой стороны, я не думаю, что твоя птичка захочет терпеть. Одно дело известный адвокат, другое — искусанный насекомыми, пропахший потом фермер. Вытри лужи на полу, а то пятна остаются.

— А я все-таки думаю, что она поедет со мной.

— Попробуй. Но учти, что в этом случае возврата нет и твою жену больше уже не поднять с кровати никаким подъемным краном. И если через сколько-то лет ты захочешь вернуться, то найдешь полную калеку. Помню один такой же случай. У женщины отсохли ноги...

— А мне кажется, ты неправ. Если я совсем исчезну... Понимаешь, Эстебаните хочется, чтобы я все время смотрел на нее, слушал ее стоны и вздохи — такую форму мести она придумала, а если меня не будет поблизости... Магнолия говорит, что, когда меня нет дома, она не жалуется.

— А я полагаю, что все гораздо сложнее. У нее не просто вспышка ревности. Брось ерундить и задумайся на минутку о несчастных женах. Тебе кажется, что им очень приятно целый день вертеться в домашних хлопотах, а переделав к вечеру все, ждать, не появится ли у мужа желание. «Блюди чистоту,— говорит им священник при венчании,— и беспрекословно следуй за мужем своим повсюду. А если будет тяжело, приди ко мне, исповедайся и увидишь, как бог утешит тебя». И это единственная отдушина. Одни так и терпят всю жизнь, другие начинают мстить... Подотри же пол, козел несчастный, сказано тебе! И включи вентилятор, может быть, от ветерка... Ох и болят же, так их расперетак!

Известный адвокат! Если бы кто знал, какой жалкой представлялась ему его профессия. Продолжая думать об этом, вышел на балкон. Он уже сыт ею по горло. Для наиболее важных экономических дел Компания держала собственных адвокатов, а его занесли в список «Б» (так по секрету сообщила Эстебаните жена управляющего). Поэтому ему поручали лишь пустяковые нотариальные дела, чтобы не озлобить окончательно... Что касается жены, то кто тут прав? Колачо или в конечном счете ее отец, дон Игнасио? Действительно, что видят ее голубые глаза, когда кажутся устремленными в какую-то далекую неведомую страну и она сидит, чуть склонив голову, словно ожидая чего-то? Все время чего-то ожидая... Ей говорят, но она не слышит, продолжает смотреть отрешенным долгим взглядом. Иногда она совершенно сбивает его с толку своими точными предчувствиями (как, например, в тот раз, когда ей приснилось, будто кто-то собирается подложить кусок железа на рельс, чтобы пустить под откос дрезину. Благодаря этому они спаслись) или трогает до глубины души своей любовью к детям — любит их как корова или как львица, охраняющая свое потомство с нежностью, молниями ощетинившейся во все стороны, и настороженностью, которой всюду мерещатся клыки и когти. И можно ли надеяться, что когда-нибудь он сумеет ее понять по-настоящему? Как постигнуть, что действительно таится в глубине сердца, в изгибах души человека, с которым ты провел тысячи дней и ночей, с которым уже столько лет завтракаешь, целуешься, разговариваешь? Что у него там внутри? Кто знает? Кто может узнать? Ведь если бы догадаться или хотя бы интуитивно почувствовать, то можно было бы как-то пла-

нировать поведение, исходя из здравого смысла. А если нет? Это так же, как если бы, играя в шахматы, твой противник вдруг сделал ход по диагонали не слоном, а пустил бы птичку-колибри. What's the matter, my dear, the laws are others [1]. И совсем уж нелепо, если эта колибри запросто съест твоего короля, а потом уставится на тебя, моргая невинными детскими глазками. Что ты с ней сделаешь?

Проехал драндулет семьи Уманья, веером разбрызгивая воду из-под колес. Китаянка набралась, наконец, смелости, и ее подвижные ягодицы резво засновали над лужами. Федерико вернулся в комнату. Колачо, казалось, дремал. Какой он весь кругленький. Уши как сухие листья, прилипшие к черепу, толстые щеки, двойной подбородок. Откормленный поросенок. Каждые шесть месяцев приходится делать кровопускание — врачи сказали, что кровь у него очень густая. «Она у меня как ежевичное желе»,— говорит он. И высокое давление. Больно на него смотреть сейчас: фиолетовые кровоподтеки под глазами, а на веках — примочки из арники, да еще пузырь со льдом в паху...

— У меня в одном легком разыскали кисту,— сказал как-то Колачо.

— Что такое киста? По-научному?

— Словом «по-научному» хочешь скрыть свое невежество? Так вот что это такое: если ты выкуриваешь сорок сигарет в день и так тридцать лет подряд и еще не имеешь кисты, то тебе пора встревожиться. Ибо это может означать, что у тебя не все в порядке, понял?

— И ты теперь бросишь курить?

— Зачем же, если она уже все равно есть?

Пошарил в холодильнике. Остатки еды: обгрызенный кусок сыра, чашка с какой-то подозрительной бурдой... Прямо из горлышка осушил бутылку пива. Еще сильней почувствовал голод.

— Спишь?

— Конечно, сплю, особенно когда ты хлопаешь холодильником, скотина.

— А ведь ты мне так и не ответил: как думаешь, может, правда послать все к чертовой матери и основательно осесть на плантации?

— Не знаю. Все зависит...

— От чего?

— От того, какого ответа ты ждешь. Ты никогда не был человеком, которому нравится, когда ему говорят правду.

— Не ври. Именно правду я и хочу от тебя услышать. Честно: мое решение правильное?

— Никакой логики. Ученики Аристотеля выгнали бы тебя пинками из Академии. Gnothi seautón, говорим мы, знающие греческий, или nosce te ipsum [2], как приходится говорить несчастным, знающим лишь латынь.

— Брось паясничать, надоело.

— Тем хуже для тебя,— он зажег новую сигарету,— ладно, давай серьезно. Сколько, ты полагаешь, крадет у тебя управляющий?

— Думаешь, это главная причина?

— А ты думаешь иначе?

Поскольку Федерико смотрел куда-то в пустоту, аптекарь использовал момент, чтобы снять пушинку с живота, подуть на нее и проследить за ее полетом.

— Смотри,— продолжал он, потеряв пушинку из виду.— Три причины стоят за твоим решением. Эта твоя. Но учти, что грудки —

---

[1] В том и дело, мой дорогой, законы другие *(англ.)*.

[2] Познай себя *(греч. и лат.)*.

птицы перелетные, не в счет. Второе — то, что тебе устроила Эстебанита, и смешное положение, в котором ты оказался. Но если бы ты решил ласково поговорить с ней, а потом применить немного мужской силы — изнасиловать ее, извини меня — я уверен, что она выбросила бы белый флаг. И поскольку за эту неделю ты думал об этом несколько раз, но так ничего и не сделал, тебе остается третий предлог — воровство управляющего. За несколько лет ты промотал половину наследства деда, а потом совершил ослиную глупость, заставив Эстебаниту добровольно переписать на тебя ту часть, которая ей досталась от отца. И все это пошло на пользу лишь твоим родственникам — один из них пропойца, а другой — эх, не лучше. Великолепный идиотизм! Но этого ты, конечно, в расчет не принимаешь. А вот что кто-то начал у тебя по мелочам воровать, тебе кажется совершенно невыносимым. Ты слушаешь меня?

— Слушаю, только я пересяду, потому что это кресло вот-вот развалится.

— Там мне тебя не будет видно.

— Но я тебя слышу, продолжай.

— Хорошо, так я продолжу в том же духе. Мы, как начинающие проститутки, зачастую ищем себе оправдания в фальшивых мудрствованиях. На самом же деле в основе всего одна тайная пружинка — деньги. Чистоган! Money [1]. Понимаешь? Я не буду уверять тебя, что стал марксистом, хотя братья Маркс[2] мне по вкусу. Но надо признать, что бородатый старец перевернул весь наш мирок, который был таким аккуратным и стройным, когда мы родились. Вспомни, ведь мы — люди свободных профессий, так же как агрономы, инженеры, юристы или ветеринары. И когда нам вручали дипломы, мы верили, что целиком отдадимся нашей работе, будем вершить великие дела, самые важные, самые значительные. А что вышло? С течением времени, сами того не замечая, мы превратились в лакеев! Да, старина, именно так — в лакеев! Одной ступенькой повыше дворецких, модисток, педикюрш и других слуг, которыми владеют, движут и управляют деньги. Мы превратились в подонков. («Именно в подонков»,— повторил за ним Федерико.) Ты можешь позволить себе,— продолжал Колачо, удовлетворенный согласием друга,— казаться подонком лишь наполовину, потому что ты — и адвокат и землевладелец. А вокруг тебя, словно в миниатюрной планетарной системе, крутится множество других подонков, мелких подончиков. Один из них — твой управляющий. И вот тот факт, что этот стопроцентный подонок крадет у тебя — полуподонка, не дает тебе покоя. Унижает. Выводит из себя. Так или не так? И мне наплевать, что я наступаю на твои мозоли. Дружба не в том, чтобы вертеть хвостами друг перед другом... Есть у меня один знакомый, окончивший архитектурный факультет в Чили. Так вот, он вернулся сюда с грандиозными планами, готовый с ходу броситься на строительство рациональных городских комплексов, разработать перспективный проект застройки Сан-Хосе с зелеными зонами, кольцевыми магистралями и так далее. Не более чем через год он уже завоевал себе здесь репутацию шального. Смирился и скромненько начал строить коттеджи в Лос Йосесе. «Потому что бедняки не платят архитекторам,— пояснил он мне.— Они из четырех кольев и восьми пустых коробок сами себе строят дома. Единственные клиенты архитектора, будь он хоть семи пядей во лбу,— это люди с деньгами. А я-то мечтал! — жаловался бедняга.— Но все оказалось гораздо хуже самого плохого. Ты

[1] Деньги *(англ.)*.

[2] Речь идет о трио популярных американских киноартистов, исполнителях комических ролей.

вынашиваешь великие планы, а к тебе приходит старуха — жена какого-нибудь владельца кофейных плантаций или банкира — и заставляет переделать фасад дома или устроить в комнате фальшивый камин. Такой, знаешь, с красненькими бумажками и вентилятором, чтобы их раздувало ветром и делало похожим на пламя. Это у нас-то, в тропиках! И приходится соглашаться. Больше того — еще поздравлять старую каргу с блестящей идеей. Вдобавок ко всему скрепляешь ее мазню своей подписью. И на тысячелетия останется свидетельство твоего унижения и глупости». Он, этот архитектор, дошел до нищеты, копил деньги, думал даже вернуться в Чили. Ты слушаешь или нет? Меня злит, что приходится говорить, не видя твоего лица.

— Конечно, слушаю. Что мне остается? Подожди минутку, пойду выпью еще бутылку пива.

— А мне?

— Больше нет.

— У меня там припрятана бутылка виски. Возьми на кухне. В хлебной корзинке.

— Там прячешь?

— Да. Плесни немножко. И три кубика льда. Без воды.

— Льда тоже больше нет.

— Ладно, возьму из пузыря. Но ты перебиваешь меня, я забыл, на чем остановился. Так вот, я говорил о деньгах. Нам уже за сорок, а с возрастом жадность растет и все больше калечит нас. Начинаем задумываться о старости, я не говорю о болезнях, хотя быть старым и бедным — это самая большая мерзость изо всех, когда-либо придуманных для человека. А для тебя и того хуже — у тебя дети, ты из-за них распускаешь слюни. Я, по крайней мере, холостяк, и если однажды мне станет невмоготу, тут же, под рукой, в аптеке — десятки решений. К тому же каждый умирает той смертью, которая ему уготована...

Федерико задрал штанину — блоха укусила.

— Слушай, Николас...

— Что? Подумал о смерти и уже зовешь меня Николасом, а не Колачо. Будто эпитафию мне готовишь... Хочешь, я сам сочиню. Например:

Жил аптекарь здесь когда-то,
Был пьянчуга он завзятый.
И однажды, видно в шутку,—
А шутить он был мастак —
Вдруг влюбился в проститутку
По прозванию Киста.

— Не пойдет.

— Почему?

— Поэтически слабо.

— Ты слишком многого хочешь. Я же не поэт. Но мы говорили о смерти. Вот как умер мой отец. Он был в коматозном состоянии, и я дежурил в больнице один на клеенчатом диване. Было уже около трех ночи. Ему ввели зонд в мочевой пузырь, и я смотрел, как в утку капля за каплей вытекала моча. Словно загипнотизированный. Это продолжалось уже десять суток, и мы все ходили, как лунатики. Вдруг я заметил, что капать стало реже, еще реже... И подумал: значит, умирает. Или, хуже того — уже умер. Может быть, в тот раз, когда страшно захрипел. А капли еще падали по инерции. Так ясно я себе это представил, что даже не поднялся с дивана и не стал звать дежурную сестру. Потом упала последняя капля, запоздалая. И тут я заснул, словно меня стукнули палкой по затылку. Не поверишь? Спал как убитый. А знаешь, как я любил отца? Я так его любил! Снилось мне, что я стою, сложив ладони лодочкой, и туда падают золотые крупинки. Одна за другой. Очень много. И я был очень доволен и смеялся...— Он допил

виски.— Вот почему я тебе говорю,— заключил он назидательным тоном и еще более хриплым голосом,— что, хотя такое золото никому не нужно, все равно оно капает. Сочится сквозь поры. Через уши лезет. Поэтому и говорю — подумай об этом...

В комнате царила тишина.

— Федерико! — Он повернулся и взглянул сквозь сетку гамака. Бутылка пива и стакан стояли на полу. Федерико ушел.

■

Чтобы я мог поступить в университет, меня отправили в Сан-Хосе к дяде Эдуардо и тете Пепите, маминой сестре. Дядя Эдуардо — пьяница, а тетя Пепита злее укуса. У них нет детей, поэтому она целый день ругает меня, я думаю — просто для забавы. Даже курить не разрешает, говорит, что загрязняю воздух. И еще она общается с духами, каждый вторник ходит на сеансы спиритизма. Я очень просил ее взять с собой как-нибудь и меня, но она не захотела.

Папа платит им за меня, и, надо сказать, они не жадные, даже наоборот. Поэтому и еда здесь лучше, чем была дома. Тетка все время делает пирожные с кокосовыми орехами, потому что знает, как они мне нравятся. Купила мне лекарства для укрепления здоровья. Говорит, что в моем возрасте, да при таких нагрузках в учебе, я могу совсем ослабнуть.

А вчера дядя пришел выпивши, позвал меня в другую комнату и запер дверь. Сказал, что у нас должен быть мужской разговор. И серьезный. По сексуальным вопросам. Спросил, знаю ли что-нибудь об этом. Я все знаю, но только было очень неудобно — мы сидели друг против друга, и у него косили глаза от вина,— поэтому ответил, что лишь слышал кое-что. Тогда он сказал, что его обязанность просветить меня, и стал говорить о птичках, о кроликах, о пестиках и тычинках. А хуже всего, что он все время делал неприличные жесты. Тогда я ему сказал, что один раз видел друг на дружке двух черепах и их панцири образовали большой шар. Они качались на волнах очень долго, потому что вообще делают все очень медленно, и сами почти не двигались. Дяде это очень понравилось, он хлопал себя руками по коленкам и спрашивал, каких еще животных я так видел. Ну, я ответил, что видел свиней и обезьян. Потом в школе мы склеивали мух и так пускали летать. Он спросил, не видел ли я крокодилов. Сперва я хотел соврать, сказать, что видел, но побоялся, что он меня подловит и спросит как, а я был не очень уверен. Потому что даже не могу представить себе крокодилиху кверху брюхом. Я сказал, что крокодилы просто откладывают яйца.

Дядя долго говорил, что не стоит ходить к «этим бесстыдницам», спросил, думаю ли я о таких вопросах, и закончил, сказав, что если у меня действительно есть потребность, то он знает одну очень приличную девушку из нуждающейся семьи, которой он иногда помогает.

Я решил не рассказывать о Сарите и быть поосторожнее, а ему ответил, что если быть откровенным, то меня не очень волнует эта проблема и я думаю воздерживаться, пока не женюсь. Похоже, мой ответ разочаровал его, потому что больше он никогда к этой теме не возвращался.

XI

Устала спина. Она поправила подушки и села в кровати. Краснодеревщик сделал все даже лучше, чем она могла себе вообразить. Очень старательный и знающий попался мастер. Три положения спинки. Вращающаяся полочка для письма. Поднос для обеда и столик для рукоделия. Ночные тумбочки с обеих сторон, в каждой множество ящичков. И кроме того, в угловом шкафчике — шкатулка, ее сейф, запирающийся сложным и хитроумным механизмом, секрет которого она ревниво оберегает ото всех. Все сработано добротно и удобно. Теперь у нее под рукой все необходимое, и можно никого не утруждать: предметы туалета, батарея пузырьков с лекарствами, книги (Эмилия недавно дала ей три толстых тома «Тысячи и одной ночи» без купюр, и она буквально зачитывается ими), коробочка с картами и фишками, альбом семейных фотографий, чудесная итальянская швейная коробка из плетеной соломы — в ней все всегда на своем месте. Тут же и книжечка, куда она записывает расходы, бинокль (ей очень нравилось раньше всех узнавать названия прибывающих кораблей: «Флор де Мария, беги скорее вниз, позвони в порт, скажи, что пришел «Счастливчик», и пусть проверят, потому что раньше я не видела корабля с таким названием») и масса других мелочей, с помощью которых она, словно человек, строящий небоскреб из спичек, организовывала свое время и свою жизнь.

Приведя все в порядок, открыла свою секретную шкатулку. Там она хранила самые дорогие вещи: кусочек святого креста, который ей привезла Эмилия прямо из Иерусалима, старые письма Федерико (тех времен, когда он ухаживал за ней) и предмет особо ревнивой заботы — тайна души и интимный друг — «Дневник» ее жизни.

Это был подарок Хосе Энрике после первого его заработка — он приезжал домой на каникулы и нашел здесь какое-то занятие. «Дневник» этот очень ей нравился. Он казался ей роскошным, милым, приятным даже на ощупь — тетрадь в красном сафьяновом переплете с замочком и золотым ключиком. Настоящее сокровище! И вот туда-то она стала заносить сначала заметки о всяких пустяковых событиях своей жизни, а потом — красиво выведенными буквами, со штриховкой и завитушками, как ее учили в монастыре, свои «размышления».

Насчет «размышлений» — это была весьма удачная идея. Они очень ее успокаивали и развлекали. Конечно, писать их было не просто. Это был долгий и тяжелый труд, порой даже мучительный. Сначала надо было именно думать, а это было совсем не то, что сидеть просто так, когда голова пустая, как небо, по которому сами по себе изредка проплывают птицы или облака. Нет, совсем не так, думать очень, очень трудно! А еще труднее, если хочешь сосредоточиться. Это процесс, обратный горению. «Все равно что собрать дым,— объяснила она как-то Аурелите,— а потом огонь и дым запрятать обратно в полено, откуда они вышли. Понимаешь?» Разве может быть что-нибудь более трудное и более прекрасное?

Готовое «размышление» надо отшлифовать, и это тоже нелегкая задача. Ведь существует страшно много синонимов, столько способов, чтобы сказать одно и то же. А слова порой так неуловимы! Она обычно прибегала к помощи словаря, чтобы разнообразить лексику, и старалась употребить новые, доселе неизвестные ей слова: «пропорционально», «имманентный», «изменчивость» — там, где их можно вставить. А сколько раз приходится убеждаться, что твои же собственные слова выражают совсем не то, что хочется. Вот почему и не удивительно, что иногда она затрачивала больше недели на подбор, полировку и расстановку слов одного лишь «размышления».

Но зато какое гордое удовлетворение испытываешь, когда, наконец, все определено и отточено. И вот этот «Дневник» тут, перед ней, с тысячью своих граней, отливающих всеми цветами радуги, меняющий тональность в зависимости от ее настроений. «То же самое, Аурелия, происходит с александритом. Знаешь, есть такой полудрагоценный камень: утром он, говорят, голубоватый, днем пурпурный, а на закате лиловый».

Опускается вечер. Стекла ее приоткрытого окна золотятся рыжими бликами. Это час меланхолии, час грустного восторга. В это время все чувства обострены, и она слышит разные звуки и шорохи, которые раньше прошли бы мимо ее внимания. Миниатюрные заботы термитов, тяжелое дыхание замученных хозяйством соседок, шепот морской пены, сплетничающей с ракушками и галькой. И легкий шум шагов, стук маленьких лапок насекомых или каких-то микроскопических существ, обитателей других миров, которые в этот час заката посещают Землю.

Заткнула уши. Нельзя привыкнуть к одиночеству. Может, она и смирилась бы, если бы оставалась надежда, что однажды колдовство кончится, что Федерико вернется и она снова услышит его твердые шаги в коридоре, что дети опять будут маленькими, вернутся их ссоры, прыжки, шалости...

Ничего. Ничего такого не случится. Не может. Ее жизнь — как подвал, куда сваливают всякий мусор. Вокруг только тучи, только густой туман нескончаемой ночи, полный миражей. И страха.

Одиночество рождает болезненное желание — словно из земли пробивается нежная трепещущая травинка — подняться на цыпочки, высунуться из-за этой длинной проклятой ограды из обожженного кирпича и посмотреть: а что же там, по другую сторону. Она представляет, как встает на большую коробку из-под сахара или опрокинутый ящик, чтобы дотянуться до края. Но за стеной — всегда одно и то же: большой луг, покрытый высокой сочной фиолетовой травой. И хотя в воздухе ни ветерка, трава вдруг начинает слегка шевелиться, как бывает, когда через луг, извиваясь, ползет змея. Потом сквозь этот странный пейзаж рывками проплывает разведенная из Иллинойса в белом халате. Как в кадрах замедленной съемки. И начинается ужас. Кто-то, спрятавшись за стеной, вдруг бросает в нее комки земли. Ей хочется крикнуть, но схваченное спазмой горло не слушается. И она падает на землю, не хватает воздуха, и нет сил, чтобы убежать. А за кирпичной стеной, совсем рядом, все еще слышится тяжелое дыхание кого-то, спрятавшегося там...

— Кто там ходит? — громко спрашивает она.

Ждет, напрягая все внутренние силы, чтобы распознать этот новый звук — раньше она никогда его не слышала,— который, кажется, доносится из дальних комнат, где теперь никого не было.

— Это вы, папа? — и трепетно ждет, почти уверенная, что сейчас же услышит голос дона Игнасио.— Это вы? Если вы, ответьте мне.

Ответа нет, и порыв смятения охватывает ее трепещущее сознание. Чувствуя себя в западне, она начинает переполняться гневом, ненавистью к окружающим ее обычным вещам: люстре, синим прожилкам на своей собственной руке, обоям... А сердце стучит все громче и громче: «Одна! Одна! Одна!» Она пытается думать о чем-нибудь другом, чтобы успокоиться, но разве есть у нее еще что-то, о чем думать? Надежды? Нет, они тоже враги ее покоя, их она должна избегать. Единственное терпимое одиночество — это то, которое идет изнутри, оно позволяет ей сосредоточиться на «размышлениях». Но только не такое, не такое, как теперь! Боже мой!

Понемногу ненависть проходит, сменяясь чувством острой жалости к себе и какими-то судорожными позывами к слезам. Но не так, как если бы росло желание поплакать. Просто где-то в глубине души хочется, чтобы кто-нибудь поплакал о ней. Или умереть, умереть, и чтобы кто-нибудь, а еще лучше если не один, а несколько человек сразу будут ее оплакивать.

— Да, папа, это единственное, чего я хочу. Вы знаете, я бы не стала вас обманывать: это единственное, чего я хочу. И если это вы там ходите, ответьте мне, скажите что-нибудь.

Но в дальних комнатах тихо, и у нее зарождается сомнение: уж не Филадельфо ли? Очень возможно. Было бы очень мило с его стороны. Эмилита рассказала, что накануне консилиум врачей вынес ему приговор: остались какие-то часы. И может быть, несчастный Филадельфо решил зайти к ней проститься. Бедный, бедный Фефо! Она всегда была уверена, что только Филадельфо мог бы принять на себя тяжесть ее страданий. Они виделись не очень часто, но каждый раз, когда он приходил, сопровождая Аурелию, в его глазах — он был близорук и обычно смотрел поверх очков — она находила глубокое сочувствие и понимание.

Взглянула на часы: пять минут седьмого. Четверг. Шесть часов и пять минут. Она должна запомнить день и час. Прикрыла лицо простыней.

— Скажи мне, Фефо, только правду: это очень страшно? Действительно так страшно? Может быть, люди боятся этого просто потому, что не знают? Боятся, что можно задохнуться, потому что никто никогда не объяснял, сколько времени проходит, пока за тобой явятся ангелы и унесут на небо. И это время, пусть даже самое короткое, должно быть невыносимым — ты лежишь под землей. Вот почему, Фефо, если ты уже прошел через это и теперь находишься здесь, в дальних комнатах, скажи мне, не будь неблагодарным, скажи, действительно это ужасно? Потому что я слабая и нет у меня ни капельки смелости, и если правда это так страшно, то я бы не смогла. Нет, не смогла бы...

Вся сжавшись от ужаса, она высунула голову из-под простыни, чтобы послушать, усиливается или затихает напугавший ее звук. Нет, ничего. Обычный шум: стучат лапки насекомых, термиты, рокот прибоя...

Сосед внизу, только что вернувшийся с работы, вошел в ванну и, стоя под душем, пронзительным голосом стал фальшиво напевать «Небесную Аиду». И голос этот был такой живой и такой сильный, трели такие жизнерадостные, а фальцет такой смешной, что импровизированный концерт вымел из ее сознания все другие незначащие звуки, словно мусор. Какие уж тут призраки! Слушая его, она даже улыбнулась. И подумала, что человек всегда не так одинок, как ему кажется. Потом быстро, пока не кончилось пение, вытащила и раскрыла свой «Дневник», выбрала наудачу одно из «размышлений» и прочитала вслух:

«Благодаря тому, что наша кровь алая («пурпурная» и «красная» были зачеркнуты), нам нравится зеленоватый цвет океана — ведь в контрастах, так же как и в самой жизни, есть что-то таинственное, чарующее и манящее нас».

Это было одно из самых любимых «размышлений», из фаворитов. Она могла читать и перечитывать его сто и больше раз, и всегда оно ласкало ей слух. Но на этот раз сознание словно споткнулось. Что-то было не так. Торопливо поднесла «Дневник» к настольной лампе и внимательно перечитала снова:

«Благодаря тому, что наша кровь алая и горячая...»

Почему же, почему в первый раз она пропустила слово «горячая»?

Боже мой, почему?

■

Флор де Мария закончила дневные дела.

— Теперь я могу выйти, мама? Я сделала все.

— Что ты называешь «все»?

— Все, что ты мне велела.

— И куда, ты сказала, вы собираетесь идти?

— Разве ты не слышала?

— Может быть, и слышала, но тебе ничего не стоит и повторить.

Флор де Мария медленно, по слогам произносит:

— Мы пойдем в кино. В кино с Виктором Хулио и его сестрой.

— Сестра тоже идет?

— Да, она тоже идет.

— Кстати, мне очень хотелось бы познакомиться с ней. Это та девушка, у которой нет жениха, ты, кажется, так говорила?

— Да, у которой нет жениха.

— Может быть, он у нее есть, просто ты не знаешь?

— Нет, я знаю. Они поссорились. Уже давно.

— Странно, что нет жениха.

— Не вижу ничего странного. У многих его нет. Здесь, в Лимоне, это не редкость. Но не могли бы мы поговорить об этом в другой раз? Уже без десяти семь.

Эстебанита словно не слышит:

— Потому что в этом возрасте следует иметь жениха. А то еще немного — и совсем отстанешь от поезда.

— Если так, то я тоже отстану, да?

— Что за глупости.— Эстебанита нахмурила брови.— Ты намного моложе. Разве можно сравнивать? Потому что, когда мы приехали в Лимон, эта девочка уже ходила в школу. А где, ты говоришь, она работает?

— В комиссариате, в бухгалтерии.

— И что-нибудь смыслит в этом?

Флор де Мария снова взглянула на часы.

— Не знаю. Наверно, смыслит.

— Тогда это еще более странно. Ведь там работает столько холостяков. Так она тоже идет сегодня с вами?

— Да, мама.

— Это точно?

— Совершенно точно. Если ты не веришь, я попрошу их после кино проводить меня до дома.

— А что? Неплохая мысль. Заодно я смогу познакомиться с ними. Потому что его я тоже, можно сказать, не знаю. Однажды, по-моему, познакомилась с его матерью — молодой женщиной, у нее целый выводок детей, насколько мне помнится... А ему-то хоть нравится его работа?

— Нет. Но я не говорила, что его сестре не нравится.

— Только что сказала, что не нравится, потому что там она не может найти жениха. Тебя совершенно не поймешь.

— Я этого не говорила. Я вообще сказала, что в Лимоне любой девушке непросто найти жениха. Это совсем другое дело. Потому что все парни уезжают в университет или на работу в Сан-Хосе и здесь никого не остается. А кто остался, все такие задаваки. Но, может быть, мы отложим разговор — уже семь!

— Ну вот, вечно у вас спешка. Еще не должно быть семи. А вопрос важный. Скажи мне сначала, почему ему не нравится его здешняя работа?

— Потому что в Сан-Хосе предложили другую, лучшую.

— Ох! — тоскливо сжалось сердце.— Так что он собирается уехать отсюда? И вы уже разговаривали с ним об этом?

— Нет еще.

— Правда? Или разговаривали и ты просто не хочешь мне сказать?

— Чего я не хочу сказать?

— Не знаю чего, тебе виднее. Кстати, а зачем ты вздумала пригласить их после кино сюда? Уж не для того ли, чтобы официально ввести его в наш дом?

— Что значит — официально?

— Не притворяйся глупенькой.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь, мама.

— Ты еще скажешь, что тебе совсем не нравится этот юноша.

— Я этого не сказала. Просто слово «официально» звучит так смешно и старомодно.

— Значит, то, что я говорю, смешно? И я сама смешная? Можно обхохотаться?

— Этого я тоже не говорила.

— Но ты только что сказала, что я отсталая, старомодная.

— Ради бога, мама, ради всего, что тебе дорого! Кино уже, наверно, началось! Они могут подумать, что ты меня не отпустила, и пойдут одни. Уж лучше считай, что я тебе вообще ничего не сказала.

«Считать, что она ничего не сказала. Если бы так легко можно было зачеркнуть все. Считать, что все уже кончилось, как кошмарный сон. Да, Флор де Мария очень изменилась. Раньше не была такой резкой. Была более послушной. Может, теперь она смотрит на меня как на жалкую инвалидку, которая висит у нее на шее? Или влюбилась? Потому что любовь в ее годы слепа и эгоистична, это каждому известно. А если дочь выйдет замуж и уедет жить в Сан-Хосе, неужели бросит мать совсем одну?»

Эстебанита сделала усилие и подняла голову:

— Конечно же, дочка, поторапливайся. И знаешь, лучше не приводи их сюда после кино. Я сегодня что-то плохо себя чувствую и не смогу поговорить с ними. Только, прежде чем уйти, поправь мне подушку. («А кто потом будет мне их поправлять?») И выброси из пепельницы. Сигары у падре Шонгауэра так неприятно пахнут. У тебя деньги есть?

— А зачем?

— Как зачем, а на билет?

— Так ведь я уже сказала, что меня пригласил Виктор Хулио.

— Ну ладно, один раз можно. Но не разрешай ему платить за тебя все время.

— Сейчас чаще бывает по-другому: платит любой из двоих. У кого сегодня есть деньги.

— Любой из двоих! Ведь так говорят, если двое постоянно встречаются. А ты мне об этом ничего не сказала.

— Начнем снова, мама?

— Нет, нет. Я уже сказала, беги скорее. А запоздаешь, сама будешь виновата. Только подойди ко мне, я перекрещу тебя...

Прислушалась к шагам дочери, спускавшейся по лестнице, к торопливому стуку каблуков по тротуару. Они быстро удалялись. Удалялись.

Ушла. Ушла от нее? Оставила ее одну. Эстебанита откинулась на подушки и прикрыла веки. Все тело было пропитано тоской, живой, нестерпимой... «Хорошо бы вдруг превратиться в цветок, в бегонию, скажем. Стояла бы в глиняном горшке у окна на солнце, каждый день тебя поливали бы». Возможно, когда она решилась слечь в кровать, то полагала, что так и будет. Надеялась. Но этого не случилось. Тело ее постепенно парализовалось, но рассудок оставался ясным. Память хранила прошлое как живое, будто сегодняшнее. «Помнишь, Федерико? — Она помнила каждую минуту, каждую деталь.— Тогда в исповедальне... Вот смешно-то! Ты своими неуклюжими пальцами пытался расстегнуть мне лифчик и запутался в нем, а я потеряла сознание. Разве не смешно? А потом в ранчо ты зажег свечку и, прежде чем лечь в постель, стал по углам гонять скорпионов. И знаешь, я никогда тебе этого не рассказывала — ты ходил по комнате голый, и я прикрыла глаза ладонями, чтобы не видеть тебя, но все равно подсматривала в щелочку между пальцами и видела твою тень на стене. Какой ужас! Главное, все у тебя такое непропорциональное! И такое прекрасное. Помню, как-то утром во время медового месяца, я проснулась раньше тебя. Солнце уже взошло, и его лучи падали прямо на кровать. Тогда я тихонько, чтобы ты не проснулся, сняла простыню и раскрыла тебя. Волосы у тебя на теле, такие черные, в солнечных лучах отливали золотом. И ты был словно греческий бог. Только из тех богов-сатиров, которые скрывались под видом быков или лебедей. Ты оказался недобрым богом, Федерико... Помню, когда ты трогал меня, с кончиков твоих пальцев будто стекал огонь, у меня начинало звенеть в ушах, а тебе было все равно, хотя я и молила тебя: не надо, я боюсь, что умру, если ты будешь продолжать и дальше, я правда умру».

Она вспоминает, как вытаскивали автомобиль, который Федерико сбросил в овраг. Пригнали бессчетное количество волов, а автомобиль смяло в гармошку. Когда вытащили, Федерико подарил его священнику, чтобы тот купил для церкви новый колокол, потому что прежний был надтреснутый и плохо звучал. «Ты был как безумный, Федерико. Как безумный. И я знаю: то, что я сделала теперь, доставило тебе много боли, знаю! Но я должна была так поступить. Я несколько раз пыталась тебе объяснить. В ту ночь до меня донесся глас божий: «Если вы разведетесь, как эта сумасшедшая американка из Иллинойса, знайте, католичке я такого не прощу» [1]. И голос так ясно прозвучал. Доносился будто сквозь раскаты грома и был очень недовольным... Не думай, что это капризы мои, не думай, потому что отец Шонгауэр потом сказал мне: для божьего могущества нет ничего невозможного, и что это пустяк по сравнению с другими вещами, которые он может сделать. Например, наслал же он огненный дождь на Соморру, и все небо при этом полыхало. И может быть, может быть, говоря между нами... Но я опять начну о твоих отвратительных гулянках в компании с этим порочным до мозга костей Колачо. И хотя говорят, что врагов надо прощать, пусть он умрет в смертном грехе и без исповеди, чтобы отправиться прямиком в ад. Потому что в чистилище я не хотела бы встретиться с ним, пусть и мимоходом. Видишь? А потому что было слишком, уж слишком много, Федерико. А к той женщине, наоборот, вся моя огромная ненависть с годами прошла. Говорят, что она хорошая мать, что у нее двое детей от того турка, который построил ей дом и даже велел отвести мальчиков в католическую церковь на первое причастие. Может быть, она и сама уже раскаялась. Да простит ее господь. Даже этого ей желаю. Потому что все так

[1] Согласно канонам католической церкви, брак нерасторжим.

запутано в жизни, Федерико. Зная тебя очень хорошо, я вообще прихожу к мысли, что она даже не была и виновата. Дело в том, что ты человек невыносимо настойчивый, так что в действительности вся вина лежит на тебе, только на тебе. А знаешь, что меня на самом деле беспокоит в последнее время? По-моему, у тебя не все хорошо со здоровьем. Ты мне не говорил, но я знаю, мне достаточно взглянуть на тебя. Недавно меня будто что-то кольнуло в сердце, когда я услышала твои шаги по тротуару. Это уже была не твоя манера ходить, к какой я привыкла. Готова биться об заклад, что ты шел опустив голову. И меня это особенно угнетает. Потому что, если Флор де Мария выйдет замуж и переедет жить в Сан-Хосе, мне будет очень тяжело, я буду проливать горькие слезы, но это я вынесу. А случись что-нибудь с тобой! Нет, даже думать не могу! Вот что меня очень печалит. Очень. Поэтому, если ты и вправду чувствуешь себя очень плохо, зачем нам продолжать нашу ссору? Разве это уже не глупость, раз мы оба так сильно больны. Флор де Мария скоро обзаведется семьей, и Хосе Энрике тоже уже вышел на дорогу. Пусть живут своей жизнью, а мы возьмем пузыречек «валиума» [1] — он очень успокаивает,— обнимемся и будем ждать. Когда ты рядом со мной, я совсем перестану бояться, совсем. Поэтому обдумай хорошенько и ответь мне. Подумай. И умрем, Федерико?.. Хочешь?..»

■

В последний раз, когда я ездил на каникулы в Лимон, я встретился с папой, который как раз в этот день вернулся из поместья. Он сильно переменился, уже не сердится так, почти ничего не говорит и очень похудел. Ходит в рубашке с расстегнутым воротом, и на шее видно много морщин.

Он сказал мне, что хотел бы поговорить со мной, и мы сели на скамейке в парке. Это было в первый раз в жизни, когда мы разговаривали по-серьезному, и мне очень понравилось. Если у меня когда-нибудь будут дети, я не сделаю такой же ошибки, как он. Надо, чтобы дети знали и понимали все, что происходит в доме. Все. Я думаю — это лучшее средство объединить семью. Иначе она расклеится.

В тот вечер папа мне сказал, что у него сейчас трудное положение. Так и сказал. Ему очень хотелось бы оставить нам что-нибудь, по крайней мере, чтобы мы, его дети, могли жить без особенных трудностей. Но бывают в жизни случаи, когда выше всего надо ставить честь. Потому что без чести (голос его в этот момент даже захрипел) не стоит жить. Тогда же он сказал, что гринго из Компании — последние проститутки. На меня очень подействовало его ругательство, потому что раньше папа никогда при нас не ругался. Когда он рассказал о всех их махинациях, я решил, что он совершенно прав, и от злости у меня даже выступили слезы. Я смотрел на его руки — на них от солнца выступили веснушки — и хотел сказать ему столько всего доброго, но у меня что-то произошло с горлом, как бывает, когда долго молчишь — будто комок застревает. А вот с друзьями могу разговаривать целыми часами о всяких пустяках — и ничего.

И еще он сказал, что думает о каком-то шаге, решающем для него и для нас, и хотя пока не может мне объяснить, что это за шаг, все равно просит меня ни с кем об этом не

[1] Снотворное.

разговаривать. Он спросил, согласен ли я с ним. И положил мне руку на плечо. Я сказал, чтобы он делал так, как находит нужным, и не обращал на меня внимания, и не рассказывал мне, что он делает, потому что я все равно буду считать его правым.

Тогда он взял меня за волосы и покачал мою голову. Потом мы оба сразу замолчали и, не глядя больше друг на друга, вернулись домой.

Похоже, что положение и правда очень скверное. Может быть, если я правильно понял, мне не удастся продолжать учебу. Ну и что?! Мне нравится учиться, но если вдруг будет нельзя — значит, нельзя. К счастью, отец моего приятеля Маноло хорошо разбирается в телевизорах и нас тоже учит. Если не смогу больше ходить в университет, этим буду сам зарабатывать на жизнь. Дело очень интересное, и доход неплохой.

К тому же я знаю, что светилом в науке не стану. Надо быть дураком, чтобы не понимать этого. Мне очень трудно сосредоточиваться. И Маноло прав, когда говорит, что у меня отсутствует абстрактное мышление. Наверно, поэтому мне так нравилась геометрия — я до сих пор помню, как меня заинтересовала лента Мёбиуса.

А Сарите я тоже сказал, что у меня должно произойти кое-что серьезное. Она спросила, почему я так говорю, и я ответил, что вычитал в гороскопе. Специально сказал ей, чтобы знала. Не то у нас с ней тоже все развалится.

XII

Оставил кресло-качалку и перешел в комнату. Улегся прямо в одежде на одеяло. Какая-то звезда мерцала в окне. Одна звезда — это всегда грустно. Он чуть вывернул фитиль лампы и в углу под потолком увидел бабочку колипаво. Скверная примета... Конечно, правильно говаривал дед, необходимо иметь врагов или придумывать их — они вдохновляют. Но не всякие. Ты идешь навстречу врагу, тащишь на плече мешок химер, а он потихоньку продырявливает мешок, и все твои химеры высыпаются по дороге. Какое же тут вдохновение? И главное, спина болит.

— Да, доктор, так нехорошо кольнуло. Вот тут под грудиной.

— Как будто сдавило?

— Нет, посильнее,— спокойно объяснил он,— будто крюком подцепили за ребра.

— Черт побери, мой милый, вы же на ногах перенесли инфаркт.

— А так не должно быть?

— Что значит не должно, раз уж было. Однако, надо сказать — это не самое рекомендуемое.

Пару таблеток. Быстро пару таблеток под язык, потому что колипаво уже совсем близко. Плывет-кружит по бескрайнему морю. Самая большая, последняя, темно-зеленая, та, которая унесет все. Голоса не подает — бережет для последней минуты, чтобы броситься на тебя со всей неудержимой яростью, когда ее меньше всего ждут.

Открыл пузырек, достал таблетку. Может быть, хватит одной? Потом пристукнул колипаво журналом, швырнул журнал на кресло, он раскрылся на странице с фотографиями японских садов. Помнишь, Никояна, тот день в поезде?

Один из садов — усыпанная крупным песком, окруженная стенкой площадка, а на ней пятнадцать валунов, маленьких и больших. Больше ничего. Пустынно. Как в голове дурака. Надпись гласила, что в каком бы месте площадки ни встать, всегда насчитаешь четырнадцать камней, хотя всего их пятнадцать. Как это сделано? И тот камень, который есть и которого нет, что он такое? Чем он является, почему невидим?.. Там другое мышление, другие его проявления, другой мир...

Самбо приволок с рыбалки гуапоте, Хосефина поджарила его с зелеными бананами и юккой, но пересолила. Принесла еще. Он один съел рыбину почти целиком. Потом Самбо рассказал, что гуапоте предназначался Хосефине на день рождения. Федерико пожалел, что так получилось, и стал искать, что бы ей подарить, но ничего не нашел. Тогда, не раздумывая долго, подарил маленький пистолет с перламутровой рукояткой, который берег для Флор де Марии, когда она вырастет большая и приедет сюда отдыхать. Черта с два! Этого уже не будет. Она никогда не приедет!

Взглянул на коричневое пятно, оставшееся на потолке от колипаво. Все, умирая, что-то оставляют после себя, даже бабочки. И каждый умирает по-своему. Старые корабли выбрасываются на какой-нибудь берег, зарастают ракушками, и волны лижут им бока. А он? Будет стариться в кресле возле Эстебаниты, укрывшись пледом и перечитывая старые газеты?

— К тебе кто-нибудь приходил сегодня, дорогая?

— Да,— все тот же хрупкий голос, мерцающие ресницы.

— Ну, о священнике я догадался раньше, чем вошел в дом. От самого угла улицы чувствуется запах этих ужасных сигар, которые он курит. А еще кто-нибудь был?

— Больше никого. После обеда я задремала, но меня мучал ужасный кошмар.

— Кошмары всегда ужасные.

— Но не так. А на этот раз было по-настоящему жутко. Будто поднялись по лестнице какие-то сеньоры в черном и начали все здесь упаковывать. Матрас на моей постели скатали вместе со мной, завязали в узел и бросили в море. И он стал плавать. Хорошо еще, что сразу не утонул. Оттуда я видела, как с крыши нашего дома сорвали листы железа, стропила стояли, будто скелет дохлой коровы. А матрас намок и начал тонуть, я кричала, звала на помощь. Так страшно! Намного страшнее, чем я рассказываю. Чудной сон, правда?

— Может, это у тебя от страха намок матрас, Эстебанита,— пошутил он и улыбнулся, а сам продолжал думать о тягостном предчувствии жены, и озноб пробежал у него по спине.

Увидев у нее на плече, на халате, перо из подушки, поднялся, чтобы снять.

— Гляди-ка, из твоих крылышек выпадают перья.— Но и этим не мог развеселить жену, заставить ее улыбнуться. Тогда сказал:— Эстебанита, ты помнишь усадьбу, где мы провели наш медовый месяц?

— Как же не помнить! — покраснев, она опустила глаза.

— Ну так вот, старик недавно умер, а жена еще раньше, и у них остались две дочери. Когда я ездил в Сан-Хосе, то встретил одну из них. Узнала меня и рассказала, что они хотят продать свой дом. Даже и не помышляют жить одни в такой глуши.

— Правда? — Глаза Эстебаниты заблестели.

Правда! Колипаво уже кружила по бескрайности океана. Накатывалась волна, самая большая, самая предательская. Черно-зеленая беспощадная волна...

— Заходила Аурелита, она была у Филадельфо.

— Да? Мне говорили, что он последние часы доживает.

— Бедняжка! — Эстебанита ногтем разглаживала шов на простыне.— Какая бесконечная агония. На одном морфии. Позавчера мне показалось, что он заходил проститься со мной, но я ошиблась. Говорят, он без сознания. Уже почти две недели.

— Он никогда не был мне симпатичен. Хотя однажды и выручил меня.

— А как мало он с тебя взял — всего четыре процента.

Оба помолчали.

— Рак,— сказала и перекрестилась,— говорят, начался с простаты, а теперь охватил уже все.

— Да,— ответил он.— Воспаление сосудной кассы и запор банковского счета.

— Федерико! Надо иметь хоть немного жалости к людям. Ауделита рассказывала, что он попросил прислать священника и отрекся от масонства.

— Да уж из твоего бедного Фефо какой масон! Один раз пришел в ложу, а как только ему предложили уплатить взнос, больше носа не показывал.

И опять молчание, долгое, густое, как вазелин.

— Лучше расскажи мне о девушках, что жили в той хижине.

— Хижина? Она была из пальмовых ветвей, помнишь? А сколько в ней сидело скорпионов!

— Говорят, что такие дома безопасны при землетрясениях. А помнишь, как нас поили парным молоком? Потом ты велел мне лечь на траву и выдоил струйку молока прямо мне в рот. Я чуть не захлебнулась. Даже в глаза попало...

Неожиданный лай собак, а через минуту стук в окно заглушили голос Эстебаниты, он превратился в шепот из такой далекой дали, что, казалось, вот-вот исчезнет совсем, как дымок парохода, заглатываемого горизонтом.

— Дон Федерико, я привез вам письмо.— Это был Самбо.— Может быть, что-нибудь срочное, потому я и приехал.

Федерико поднялся открыть дверь.

— Спасибо, Самбо. Ты был в Сикирресе?

— Да, но вы не стесняйтесь, дон Федерико, читайте, я вижу, что терпенья нет.

— Спасибо.

Самбо ушел. Он вывернул фитиль в лампе и надел очки. Когда раскрывал письмо, дрожали пальцы. Писала Флор де Мария!

«Я долго ждала, когда ты приедешь, хотела рассказать все сама, но тебя нет уже больше месяца. Мама об этом уже знает, но я хочу, чтобы ты узнал от меня. А если письмо получится очень длинное, то начало прочти сегодня, а остальное завтра. Мне стыдно, но ты — человек, которого я люблю больше всех на свете. А у меня вот что случилось, дорогой папочка: в воскресенье Виктор Хулио предложил мне выйти за него замуж и хочет, чтобы я быстрее ответила, потому что ему обещают хорошую работу в Сан-Хосе, а я знаю, что не могу оставить маму одну. Но Виктор Хулио говорит, что ни от кого нельзя требовать такой большой жертвы. Я ему объяснила, что нервная болезнь — болезнь, как и всякая другая, а он ответил, что тогда маму надо передать под наблюдение психиатра и нанять сиделку, и ему очень хотелось бы поехать в «Эль Сафиро», поговорить с тобой самому. Его отец — ты, наверно, с ним знаком — работает кассиром на литейном заводе, у него много младших братишек и сестренок, потому что отец овдовел и снова женился на очень молодой женщине, которая родила

еще пятерых детей. Она очень хорошая и любит меня, дома все делает сама, сама шьет одежду ребятишкам и даже стрижет их. Она и меня научила обращаться с машинкой, и теперь я ей помогаю стричь детей...»

Мотор пироги Самбо звучал все глуше. Федерико вытащил из флакона еще одну таблетку.

«...Виктору Хулио представилась такая замечательная возможность с работой, и он говорит, что венчание должно быть до Нового года, а я предложила, чтобы помочь его родителям, забрать с собой в Сан-Хосе его самую младшую сестренку — чудесную девчушку, которая очень привязалась ко мне. Вчера она одна убежала из дома и поднялась наверх по лестнице, а когда мама ее увидела, то девочка уже вошла в квартиру и сказала, что ищет Фию — так она называет меня, и мама очень удивилась.

Я тебе рассказываю безо всякого порядка, но это потому, что такие мелочи иногда важнее крупных событий. Я так думаю. И еще думаю, что ты нехорошо поступаешь, столько времени не приезжая к нам. Маме очень плохо. Сейчас ей даже трудно вести связный разговор, а иногда она говорит такие вещи, что у меня мурашки пробегают по коже. А дома у Виктора Хулио я вижу, что, несмотря на трудности, все у них всегда довольны, в комнатах чистота, от матери пахнет духами, вся семья обедает вместе. Просто приятно смотреть, с каким аппетитом они едят, даже если один рис с фасолью. Поэтому я уверена, что деньги не главное в жизни. К счастью, и Виктор Хулио думает так же, как и я.

И еще знай, что здесь, в Лимоне, очень много разговоров о том, что Компания думала купить у нас «Эль Сафиро», а ты будто закапризничал и не захотел продавать. Сперва я удивилась, но, поразмыслив, решила, что ты прав, особенно когда вспомнила, с каким воодушевлением ты рассказывал о борьбе с муравьями, пожиравшими какао-бобы. Когда я была маленькая и глупая и видела, как ты травил их ядом, мне было очень жалко муравьишек, но теперь я все вижу по-другому. Я представляю, как должен человек любить то, во что вложил столько труда. И правильно, что ты не хочешь продавать «Эль Сафиро» лишь из-за того, что кому-то захотелось заставить тебя продать. Я пишу об этом потому, что на днях не помню уж кто сказал, будто деньги, которые ты бы получил, можно положить под проценты и спокойно прожить на это остаток жизни. А Виктор Хулио ответил, что нет ничего более жалкого, чем жить ростовщиком, собирая проценты. И еще он сказал, что пора кому-нибудь в нашей стране надеть мужские брюки и сказать этим гринго — «нет!». Пусть они узнают, что здесь еще остались достойные люди. А где он работает, его уже начинают подозревать, но он ведет себя осторожно, хотя все время старается бороться против всяких негодяев.

Я не знаю, дорогой мой, предорогой папочка, что ты будешь думать, читая это письмо, потому что, наверно, еще смотришь на меня как на маленькую девочку, а я вот пишу о таких вещах. Сначала, конечно, чуть-чуть рассердишься и удивишься, а может, рассмеешься. Лучше бы рассмеялся, потому что это означало бы, что ты не потерял присутствия духа».

Он вытер глаза и прошел на кухню напиться. Вернувшись, почувствовал такой озноб, что вынужден был крепко сжать челюсти, чтобы не стучать зубами.

«...Мой милый папочка,— продолжал он читать,— прошу тебя, прежде чем ответить, подумай немножко, не торопись, потому что решается вопрос на всю мою жизнь. Правда ведь? И больше я не буду тебе надоедать.

Питайся хорошо, скажи, чтобы тебе давали молоко и яйца, потому что, когда я видела тебя в последний раз, ты был очень худой, и старайся не волноваться. Твоя дорогая дочь, которая тебя так любит.

Постскриптум. Виктору Хулио предлагают работу на одной шведской фирме, которая собирается строить огромный завод, и ему сказали, что потом его пошлют в Швецию на специализацию. Он будет работать там техником-механиком на заводах Northern, и я тоже смогу поехать с ним. А в Швеции, наверно, очень хорошо, ведь там столько снега. Вы тоже смогли бы поехать с нами. Там наверняка есть хорошие врачи, которым можно показать маму.

Еще одна приписка, извини меня. Донья Аурелита принесла маме книгу, где написано, как можно узнать судьбу по картам, и теперь, кроме этого, мама почти ничем не занимается. Позавчера я спала и проснулась от ее крика, потому что ей вышли одни пики, а они означают приближение какого-то несчастья. Так она сказала и была очень взволнована, даже вся дрожала. Чтобы успокоить ее, я ответила, что один бог может знать что-то наперед, и даже он не все знает, потому что, если бы знал, когда кто-нибудь собирается согрешить, то не позволил бы, а иначе он сам будет виноват. Но мама сказала, чтобы я не вмешивалась, потому что не разбираюсь в этих делах. Потом пришлось давать ей снотворные капли.

И еще одно. Позавчера она послала меня в аптеку, а там мне сказали, что у дона Колачо очень плохо со здоровьем. Этот сеньор мне совсем не нравится, но я знаю, что он твой большой друг, и сообщаю об этом потому, что, конечно, ты напишешь ему и спросишь, как у него идут дела. Хорошо, если бы все было не так уж плохо, ведь правда?

И еще одна новость: про китайцев. Ты знаешь, что они всю жизнь экономят на всем, чтобы, когда умрут, их пепел в коробочках отправляли на землю их предков и там хоронили. И каждый год в Лимон приходил корабль, который забирал эти коробочки за очень большую плату, потому что везти их нужно очень далеко. А потом родственникам умерших привозили подписанные документы с китайскими печатями. Но вот недавно выяснилось, что капитан корабля — говорят, перуанец,— как только выходил в открытое море, выбрасывал все эти коробочки в воду и отправлялся возить грузы по портам Южной Америки. А когда заходил в Кальяо [1], где живет много китайцев, подделывал с ними подписи и печати. И никто теперь не знает, то ли ужасаться, то ли смеяться над такими дурачками, которые тратили на все это такие деньги.

И еще рассказывают, что Перальту, главного адвоката Компании, запутал его помощник, отнял у него место и обвинил не знаю в каких там обманных делах. Этот бедняга вынужден был продать даже свой дом, чтобы уплатить долги и не попасть под суд, у него помутился рассудок, и он даже пытался покончить с собой, но у него так дрожал пистолет, что пуля попала не в сердце, а в плечо, и теперь рука не сгибается. Хотя ты его и не любишь, все равно жалко, что у него сразу случилось столько неприятностей, правда?

И последнее. Я пишу обо всем потому, что, может быть, до тебя не доходят такие новости. Акосты усыновили канадского ребенка. Они там были больше полугода, говорят, что подбирали, а другие утверждают, что делали искусственное осеменение. И так как ребенок получился белокурый, а сам Акоста совсем черный, то они говорят, что его усыновили. Но самое плохое, что все болтают об этом, и когда бедняга подрастет, то не будет знать, от кого он родился, мо-

[1] Порт близ г. Лимы, столицы Перу.

жет, его папа — стеклянный пузырек из холодильника? Чудно, правда? Я даже и представить себе не могу.

Папочка, я сбегала умылась, чтобы продолжать письмо, а то очень хотелось спать, и все перечитала. Может быть, то, что я рассказывала о Викторе Хулио, для тебя большая неожиданность. Поэтому хочу написать о нем еще немного, чтобы ты себе его лучше представлял. Он очень хороший, относится ко мне с большим уважением, но не тихоня, а даже, наоборот, забияка. На днях мы шли вместе с ним по улице, и какой-то тип из подвыпившей компании сказал что-то насчет моей внешности. Виктору это не понравилось, он повернулся и так ударил нахала, что даже сбил с ног, а все остальные не сдвинулись с места. Я очень испугалась, представляешь? Но со мной он очень обходительный. Говорит, это потому, что у меня нет старших братьев, а отец далеко и теперь он обязан оберегать меня. Он высокий — 182 сантиметра, а вес 190 фунтов, очень сильный и на днях проплыл до самой Увиты, вот ужас! Рядом с ним шла лодка, на случай если нападет акула. Говорят, что никто за последние двадцать лет так далеко не плавал. Волосы у него курчавые и очень красивые зубы, а про меня говорит, что я похожа на одну итальянскую актрису. А глаза у него такие черные, что даже голова кружится. Он бакалавр, потом заочно закончил двухгодичные курсы и все время что-то изобретает по механике. Шведы познакомились с ним, когда один раз приехали в наш город на автомашине и она у них сломалась. Никто не мог исправить, а он за десять минут все сделал и не захотел брать деньги. Ему двадцать пять лет, он говорит по-английски и умеет бегло читать технические книги на немецком — выучил сам со словарем. Весь заработок приносит домой, себе оставляет только на книги, потому что не пьет и не курит. Он говорит, что купил для меня кольцо с бриллиантом, но не хочет дарить, пока ты обо всем не узнаешь, потому что тебе может показаться неприличным, если мне сделают такой подарок без твоего разрешения. Он его купил еще к моему дню рождения, когда мне исполнилось двадцать лет, а вы и не вспомнили. Но не важно, папочка, я не придаю этому никакого значения, потому что знаю, как много забот тебя одолевает в последнее время...

Они люди очень простые, бабушка до сих пор живет в деревне, в маленькой хижине, где родился Виктор. Ей больше шестидесяти лет, а она еще ездит верхом. А дедушка был большой бездельник и намного старше ее. Когда она заканчивала все дневные дела, он уже спал. Тогда она сильно толкала его локтем и говорила: «Ну-ка проснись, Анаклето, давай хоть поговорим». И первое, что мы сделаем, когда поженимся, поедем навестить его бабушку и, может быть, там проведем медовый месяц.

А сейчас, папочка, начинается самое страшное для меня. Я знаю, что ты дашь согласие на мою свадьбу, но я хочу подумать о том, что бы я стала делать, если бы ты ответил отказом. Я помню, что мой дедушка Игнасио тоже возражал, а ты украл маму. Извини меня, но говорят, что дети тигра... Так что ты не можешь жаловаться. Наоборот, должен радоваться, что дочь все делает по-твоему.

И еще — теперь уже совсем, совсем последнее. Мне рассказывали, что у Хосе Энрике есть невеста. Она старше его на пять лет, и мне очень хотелось бы увидеть его, чтобы посмеяться над ним. А еще говорят, что он отпустил усы.

Письмо получилось такое путаное, что надо бы его переписать набело, но не важно. Ты и так поймешь, что у меня творится в душе и какая я счастливая. Ты знаешь, что все эти годы я никогда не жаловалась. Мои ровесницы ходили на танцы, а я даже не умею танцевать. Теперь же я думаю, что это не важно — я и без этого получила

первый приз, потому что такого парня, как Виктор Хулио, больше не может существовать на свете. И я целыми днями думаю о нем, и мне хочется прыгать от радости, когда я вспоминаю, что мы скоро поженимся, если ты, конечно, дашь разрешение. Твоя дочка еще раз целует тебя, она очень тебя любит и ждет, чтобы ты ей поскорей ответил. Хорошо, папочка?

Флор де Мария»

■

Сарита написала стихотворение и посвятила его мне. А еще она украла у своей тетки ключ от загородного домика, мы удрали из университета и поехали туда на мотоцикле Сариты. Ей очень нравится ездить со скоростью сто километров в час. Я сидел сзади и крепко держался за ручку. Только она требует, чтобы я в это время обнимал ее, а мне страшно, что мы столкнемся с кем-нибудь. И я совсем не могу заниматься, учеба не идет в голову. На днях тетка спросила, отчего это у меня синие круги под глазами, и пригрозила попросить дядю побеседовать со мной. Но я знаю, что после того раза он больше не захочет никаких бесед. Просто не знаю, что и будет. А Сарита успокаивает, говорит, чтобы я ни о чем не думал, что ничего не будет — она принимает таблетки, которые недавно изобрели. Но все равно я не знаю, что мне делать. А на днях я очень испугался — тетка чуть не нашла этот мой дневник. Сарита, понятно, мне нравится, только я думаю, что другие не такие, потому что это ужасно, она никогда не устает. И еще я боюсь, что когда-нибудь нас застанут врасплох, а Сарита говорит: не бойся, потому что твоя тетка такая же, она сама еще недавно встречалась с каким-то типом из панамского посольства, поэтому и не пикнет.

Стихотворение, которое Сарита мне подарила, кое-где ничего, а в других местах совсем непонятное. Но она говорит — ерунда, вся современная поэзия такая. Советует почитать Вальехо [1], у него тоже много непонятного.

Сейчас начинаются экзамены, и я ей сказал, что какое-то время не будем ездить за город, чтобы хоть немножко позаниматься, иначе у меня пропадет год. А у нее, когда я это говорил, из глаз чуть искры не летели, так она разозлилась и даже хотела отлупить меня. Пришлось и мне разозлиться, чтобы она успокоилась.

Но что же все-таки делать? Хорошо еще, что скоро каникулы и я уеду в Пуэрто Лимон. Только бы и ей не вздумалось поехать туда...

XIII

За несколько часов до его приезда в банке побывали адвокаты Компании, рассказал Мачо Ортис из филиала, настаивали, чтобы ему не давали отсрочки по платежам. Он пошел в «Ипотечный кредит». То же самое.

— Нет, дон Федерико, и с распродажей бананов в розницу у вас ничего не выйдет. Кое-кто уже пробовал — не получилось.

— Так чего же вы хотите?! Чтобы меня угробил этот бык?

Они люди любезные, воспитанные. В галстуках — булавки с дра-

[1] Сесар Вальехо (1893—1938) — известный перуанский поэт.

роценностями. Каждого у дверей ждал автомобиль, самое меньшее семь метров в длину.

— А если я выиграю по лотерее?

— Боже мой, какой вы наивный. Компания уже скупила все билеты на несколько тиражей вперед.

— Или вдруг найду индейский могильник с драгоценностями...

— Вы же знаете, что все они давно разграблены.

— Не скажите, немало еще и осталось. Мы с Самбо нашли около пятнадцати нетронутых могил.

— Право, дон Федерико, вы словно ребенок. Слишком верите в законность и никак не хотите понять, кому служит эта вертихвостка. Не удивляйтесь, если однажды найдете свою лодку на дне реки с огромной пробоиной в днище.

— Да эту сволочь, которая занимается такими вещами, я бы...

— А как вы узнаете, кто именно?

Он сбросил простыню.

— Не продам, подонки! Слышите, не продам!

В последний раз, когда он был у Фефо, обратил внимание на худобу и землистый цвет лица.

— Фефито, я заплачу тебе четыре процента. Не годовых — месячных, ты не пожалеешь.

Тот покачал беззубой головой (зубы плавали в стакане с розоватой жидкостью на тумбочке) и взглянул на Федерико из глубины своей желтушной меланхолии.

— Не могу, Федерико. Нет денег.

— Не рассказывай сказки. Говори прямо, сколько хочешь? Десять?

— Нет, правда, все роздал, а люди не возвращают долгов.

— Фефито, я тебя знаю больше двадцати лет. Хочешь, под вторую ипотеку? Только для того, чтобы не дать этим мерзавцам сделать по-своему.

Ростовщик снял шлепанцы и стал чесать ступню.

— Мне бы очень хотелось помочь тебе, правда, Федерико, но я уже объяснил. Кроме того, ты даже представить не можешь, сколько я потратил на лечение. А тут вдруг еще муниципалитет объявил, что моя собственность на один из земельных участков незаконна. Вот опять придется ухлопать кучу денег...

— Ты снова не о том. Какого черта?! Не понимаешь, что ли? Вспомни на всякий случай притчу насчет верблюда и игольного ушка...

— Глупости. Не думай, что я так скоро умру.

— Я и не думаю. Но объясни, в чем дело? Тебе уже сказано: десять процентов.

— Как ты не можешь понять — у меня действительно нет денег.

— Чего же ты хочешь: быть самым богатым человеком на кладбище?

— Я уже просил тебя без глупостей. Не шути так со мной.

— Но ведь раньше-то ты выручал меня.

— Конечно, когда мог, а теперь не могу. Я же сказал: люди не возвращают долгов. Кормят обещаниями, и только...

Убедить его не было возможности. Когда прощался, показалось, что держит в руке куриную лапу. Стало жалко больного, и он похлопал его по плечу. Потом уже от дверей:

— Ну ладно, Фефо, желаю поправиться. Потому что молиться на девятый день после твоих похорон я не пойду, и не надейся. Даже силой не затащат.

Фефо снова снял туфлю, чтобы почесать ногу, а сам смотрел на него испуганно.

— Ты, наверно, никогда не переменишься, Федерико.

— Никогда, да простит меня бог.

Через месяц он вынужден был согласиться на продажу. Внутри все переворачивалось. Сводило с ума собственное бессилие. И не к кому обратиться за помощью. Не на кого опереться Друзья, как это бывает в жизни и в танцах, повернулись к нему спиной. Все, кроме Колачо. Но теперь аптекарь тратил свои сбережения на лечение...

Когда он рассказал о своем решении Самбо, тот спрятал глаза. И Федерико вдобавок пришлось еще утешать парня. Хосефина в своей комнате беззвучно проплакала всю ночь.

В отеле Сан-Хосе он попросил позвонить от своего имени мистеру Бруксу и договориться о встрече. Ответили, что по этому вопросу следует обращаться не к нему, а в правовое управление. Принял его Солера — худой. Выглядел очень элегантно: костюм из легкой английской ткани, жемчужина в галстуке.

Федерико сел в огромное кресло черной кожи, засунув руки в карманы, чтобы было не видно, как дрожат.

— Значит, вы говорите, сеньор Гарсиа...

— Да,— ответил тихо,— я уже все решил и принимаю ваше предложение.

— Какое предложение?

— Насчет продажи «Эль Сафиро».

— Может быть, вы имеете в виду то дело, о котором мы говорили шесть месяцев назад?

— Не помню точно, когда это было, но о нем.

— Извините, пожалуйста, дон Федерико,— он поправил узел галстука.— Но с тех пор столько воды утекло. То наше предложение вы похоронили.

— Не понимаю...

— Компания вынуждена была прокладывать свои линии в обход ваших земель. Это стоило огромных денег. Вы даже представить себе не можете, во что это обошлось. Кстати, мы не придали значения вашему достойному сожаления поступку с приемщиками бананов.— А сам все моргал, моргал больше, чем обычно. И избегал его взгляда.— Кроме того, мистеру Бруксу известно, что в Пуэрто Лимоне вы на каждом углу говорили о нем все, что приходило в голову. А вы знаете, что, если мистера Брукса вдруг укусит блоха, он становится очень строптивым.

— Может быть, не будем заниматься ловлей блох, потому что если говорить о них, то у меня тоже есть несколько экземпляров в запасе.

— Против нас? Но что мы вам сделали, дон Федерико? Ведь даже ваш кузен — президент страны — советовал вам продать поместье. Сколько писем мы вам написали, а вы не соизволили даже распечатать их. Черт подери! И если иногда вагоны, уже загруженные, проходили мимо вас и не могли забрать ваш урожай... Так же бывает. И в этом нет ничего необычного, вы же сами прекрасно знаете. Банановая плантация — дело вообще весьма рискованное. Иногда достаточно разлива реки или какой-нибудь заразы... Да мало ли чего еще!

— Да, все это я знаю. Но единственно, зачем я сейчас пришел, это договориться.— Он вынул руки из карманов, но, заметив, что пальцы дрожат больше прежнего, сжал их.

— Договориться? Договориться за несколько минут о том, что вы безо всякой причины затянули более чем на полгода.

— Просто время летит так быстро. Однако короче: Компанию еще интересует эта покупка?

— Затрудняюсь сказать. Это зависит не от меня. Я должен сначала поговорить с мистером Бруксом.

— Но ведь до последнего времени Компания делала все, чтобы принудить меня к этому.

— Зачем вы так говорите?

— Бог мой, но вы же действительно делали все! Даже на банки оказали нажим. А сколько всяких грязных приемов было с вашей стороны?!

— Вот видите? Вы видите, как с вами трудно разговаривать? Я понимаю, такой уж у вас характер, поэтому и не обращаю внимания. Но вам стоило бы воздерживаться от подобных обвинений.

Он сделал отчаянное усилие, чтобы совладать с собой. В висках уже застучали молотки.

— Хорошо. Я ничего не сказал.— Он сжал голову пальцами.— Вернемся к существу дела. Повторяю: я пришел к вам потому, что решил продать «Эль Сафиро».

— Это действительно так?

— Разве вы не слышите?

— В таком случае... я думаю, мистеру Бруксу нужно будет изучить этот вопрос. Он что-то говорил мне не так давно... кстати, посмотрите вот это предложение,— передал листок,— нам предлагают триста гектаров за половинную цену по сравнению с той, которую мы давали вам. Вы сами погубили это дело...

— Что вы хотите сказать?

— Я полагаю — правда, это мое сугубо личное мнение,— что Компания еще заинтересована в приобретении, но уже по иной цене, не как раньше.

— А как же ваше прежнее предложение?

— Я ведь сказал, что с тех пор прошло более полугода. И только ваша вина в том, что сделка не состоялась.

Подумал, что надо бы принять таблетку, да не захотел делать этого у него на глазах.

— Если хотите,— продолжал Солера, все еще моргая, но теперь уже глядя прямо на него,— оставьте мне свой телефон или адрес в Сан-Хосе. Потому что в Сикиррес, вы же знаете, письма доходят очень плохо Я поговорю с мистером Бруксом.

— Лучше я сам зайду к вам. Когда? — Он встал.

— Та-ак, сегодня у нас пятница,— оставаясь на месте, начал листать календарь Солера.— Что вы скажете насчет среды?

— На следующей неделе?

— Да, если вас устраивает.

Что-то горячее поднималось от желудка вверх, и он вынужден был схватиться за спинку кресла, потому что чувствовал, как его начало пошатывать. Он видел сейчас только жемчужину, словно комочек блестящей слизи, капнувшей из носа тощего Солеры на его галстук. Взглянул на тяжелое бронзовое пресс-папье, и Солера, будто прочитав его мысли, отодвинул его. Огонь от желудка подошел к самому горлу. Надо было сказать еще что-то, но он не мог. Да и зачем? Зачем, если все уже яснее ясного. И нет никакого самообмана. Они такие. Перекрыли все выходы, не оставив ни одного. Ничего. Так рушится мир. Остается только месть.

■

Голос жены послышался совсем ясно, так ясно, будто она говорила тут же из-за перегородки:

— Подойди-ка посмотри, Федерико. Это для сыночка Роксаны,

твоего крестника. Хотя, разве ты будешь смотреть, ты ведь никогда не интересовался разными слюнявчиками и распашонками.

— А случаем не для нашей внучки?

— Что ты выдумываешь!

— Действительно глупо. Ты извини меня, если я тебя ненадолго оставлю одну. Хотел заглянуть в больницу, навестить Колачо.

Она поморщилась.

— Он очень плох. Слыхала?

— Слыхала.

Посмотрели друг другу в глаза, и обоим показалось, что они видели один другого впервые в жизни. Он вышел не прощаясь и пешком направился по молу. Море было неспокойное, и паруса на горизонте плясали на волнах. Чудесный день, ни единого облачка. По дороге встретился с капитаном порта. Белый китель, морская фуражка, золоченые пуговицы. Служба у него, должно быть, великолепная, не пыльная и без особых забот. Завидуя в душе капитану, пошел дальше. В больнице сестра проводила до палаты и оставила их одних.

— Ну что, бедолага?! Новые шутки? Или думаешь навсегда прописаться здесь?

Похудевший, несколько дней небритый, в полосатой пижаме, Колачо казался маленьким, будто ссохшимся. Ответил грустной улыбкой, потом сделал какую-то странную гримасу, словно губы у него прилипли к зубам.

— Mors ultima ratio...[1] Федерико,— произнес он шепотом,— как выражаемся мы, знающие латынь.

— Так что все-таки у тебя? Говорят разное.

— Разное и есть. Не беспокойся, от пустяков не умру.

— Не дурачься. Сейчас столько всяких лекарств, что умирает только тот, кто сам хочет. Ручаюсь, что ты еще всех нас похоронишь.

— Нет, я знаю. Но не распускай нюни и не пытайся утешать меня. Я все равно обману их, Федерико. Вот увидишь. У меня отобрали даже ножницы для ногтей, но погодите, не я буду, если не проведу их.— Он наклонился, чтобы сплюнуть в баночку густую, как резина, слюну.— С тобой никогда не было, чтобы молоденькая сиделка поднимала тебя белыми, как лилия, руками и словно ребенку говорила «пис-пис»? Поверь, это хуже всего. Подойди поближе. Еще, еще, а то я устаю говорить. Сядь вот тут в ногах на кровать. Не важно. Дело в том, что я хочу сделать завещание.

В окно было видно, как вдалеке какие-то блондинки в шортах играют в теннис. Небо становилось все более голубым, беспечным, далеким.

— Слушай меня. Или лучше записывай. Бумага есть? Тогда возьми вот тот конверт от рентгеновских снимков. Большой, места хватит. А завтра перепишешь набело и принесешь мне подписать.— Он провел рукой по лицу, словно стирая ненужные мысли.— Аптека. Пусть продадут все, а выручку поделят так: две трети Кларите, кассирше, и одну — мальчишке. Да пусть поторопятся с этим. Душеприказчиком будешь ты.

— Других родственников у тебя нет?

— Есть какие-то многоюродные братья, но они не в счет. Помещение продашь китайцам. Его купят мгновенно — помещение угловое. А китайцы в этих делах люди цепкие.

— Согласен, я их хорошо знаю.

— Еще бы, они были твоими клиентами. Но слушай, то, что я тебе скажу сейчас,— самое важное. Когда получишь деньги с китайцев, ра-

[1] Смерть — последний довод *(лат.)*.

зыщи Бертильду. Бертильду Солано Варгас, запиши хорошенько фамилию. У нее от меня сын. Да, да, никогда тебе не рассказывал. И никому никогда не говорил. Несколько лет тому назад они жили в Турриальбе. Потом я потерял их из виду. Разыщи и, когда найдешь, отдашь им двоим все. Если она вышла за кого-нибудь замуж, тогда часть, предназначенную сыну, вложишь в ценные бумаги до его совершеннолетия, а она пусть получает проценты. Но сами деньги его — Николаса Солано Солано, так он зарегистрирован. Его зовут Николас, как меня.

— А сколько лет ему теперь?

— Понимаешь, точно не могу тебе сказать. По моим расчетам должно быть около тринадцати.— Колачо высморкался в простыню.— И еще вот что, последнее: пусть меня бросят в море. Насыплют в гроб камней и спустят в море. Чтобы никаких червей!

В лампе кончался керосин, и она начала коптить. Козодой стукнулся о сетку окна.

— ...Деметрио, как зовут твою жену?

Ника[1] тогда мотнул головой и не ответил. А вот теперь Федерико разобрали сомнения.

Все так странно. Есть люди, которые тебя ненавидят, а ты с ними и не знаком, другие же, наоборот, хотят тебе помочь, да не знают, кто ты, где тебя искать.

Ему рассказывали, что Деметрио, который жил в горах Сьерпе, приехал туда с женщиной лет тридцати, которую как раз звали Бертильдой. Детей при них, правда, не было. Но ведь сын мог и умереть или еще что-нибудь случилось. Однако из Халобы, наиболее близкой деревушки, пройти туда было невозможно, потому что на пути лежали огромные болота. Интересно, зачем Деметрио нужно было забираться в такую глушь?

■

— Сегодня я хочу поговорить с тобой серьезно, мой песик,— сказала Никояна при последнем свидании.— Дело в том, что вы слишком нравитесь мне, сеньор.— «Очень» — куда бы ни шло, но «слишком» — это уже чересчур.

— Так чего ты от меня хочешь?

— Все кругом уже знают о нас,— сказала, отодвигая тарелку с отбивной,— а мы все продолжаем встречаться вот так, тайком... Мне бы очень хотелось сходить с тобой хоть раз в кино или просто так пройтись по улицам посмотреть витрины.

Играет под наивность! И так было все с самого начала. «Сеньор,— она повернулась на переднем сиденье,— не могли бы вы сказать, когда, наконец, будет видно море?» — сказала и оставила губы полуоткрытыми, а слово «море» сверкнуло как шарик ртути...

— Пойми, Никояна, нельзя этого делать.

— Нет можно! Если ты действительно меня любишь, то можно.

Он посмотрел на нее долгим взглядом.

— Какие у тебя красивые зубы.

— Зубы? При чем тут зубы, мы говорим совсем о другом.

— Нет, все о том же. С такими ровными, такими белыми зубами... Говорят, при переселении душ...

— Юлишь? Ты просто трус. До смерти боишься, что скажут люди. Вот ты какой!

— А знаешь, ты, пожалуй, права. Я боюсь. Боюсь пантер. Всяких.

[1] Никарагуанец.

И всегда очень боялся. Поэтому ухожу. Расплатись по счету. Да нет, сиди, чего уж там. И благословят тебя не боги Олимпа.

— ...Я нашел Деметрио пьяным, дон Федерико,— примчался к нему однажды Самбо.

— И что он сказал?

— Говорит, что нелегко уберечь курицу, когда вокруг рыскает сто лисиц. Похоже, что другой ника — Фурибундо — даже туда добрался за ними. Деметрио предупредил его: «Если еще раз увижу тебя, на куски порежу». Говорит, что так ему сказал. А сам, если ночью слышал крик индюка, думал, что кто-то подает сигнал его жене, что они так условились. Потом Фурибундо нашли с распоротым животом и перерезанным горлом. Плыл вниз по реке.

— А имя-то жены спросил?

— Побоялся. Он так подозрительно смотрел, что у меня слова застряли в горле.

«Месть — как клубничное варенье, Никояна. Его не едят большими ложками. Понемногу...» А помнишь, как тебе нравилось давать ей всякие красивые прозвища? Раз ты назвал ее маленькой принцессой. «А почему маленькая?» — спросила она. «Как в стихотворении, а потом, это и вправду так... «А принцесса грустна,— начал ты декламировать, сморщив губы, словно сосал лимон.— Что случилось с принцессой? Лишь тяжелые вздохи из малиновых уст...»

Расплатившись в ресторане, она, еще в слезах, бросилась за тобой, но ты спрятался за какую-то машину, и она не заметила тебя, а ты смотрел, как она удалялась, оглядываясь по сторонам. Никояна, скажи мне, что ты сейчас делаешь? Два ребенка от турка? От меня бы ты могла иметь детей получше... Намного лучше. Или нет?

Простыни обжигают тело. Бессонница. И резиновый комок в горле. Лампа давно погасла. Быстро поднялся с кровати. Надел шлепанцы и на ощупь, держась в темноте за стену, пересек прихожую, спустился по задней лестнице во двор, отшвырнул ногой рыскочившего откуда-то с гоготанием гуся и, удерживая равновесие, через гряды прошел к сараю, где хранилась упряжь. После некоторого колебания открыл дверь. В лицо ударил знакомый резкий запах влажной соломы и источенного термитами дерева. Посреди сарая развязал пояс пижамных брюк, сбросил их с ног и на цыпочках пошел дальше.

Горячее тело — клубок неразборчивого бормотанья — отодвинулось к краю раскладушки, он осторожно юркнул под старую простыню и с печальной решительностью прижался к паре маленьких тугих ягодиц.

— Тише! — Хосефина проснулась.— Еще когда вы закричали во сне — звали свою жену, я знала, что придете. Но все прошло, успокойтесь, просто это вам сон такой неприятный приснился, не бойтесь, ничего не будет.

Влажными губами она осторожно прикоснулась к его телу — в губы он не разрешал себя целовать: к плечу, животу, волосатым ногам. И ему был приятен запах дешевого вазелина, исходивший от ее жестких волос, запах свежего сонного пота.

Так было заведено. Это был обычный, всегда повторявшийся ритуал его ночных визитов, во время которых он не говорил ни слова, а она, осторожно двигаясь на своей узенькой раскладушке, чтобы не упасть, наэлектризовывалась, как морской скат. Хриплый стон вырывался будто из ее живота, все тело сотрясали конвульсии, и ею овладевало неудержимое желание проглотить его целиком. Но делать этого нельзя. Господи помилуй, страх-то какой! Потом, вытянувшись возле него, все еще подрагивая помимо своей воли упругими, как свежий каучук, ягодицами, она замирала, осторожно положив руку ему

на грудь, перебирая волосы и ощущая в глубине его сердце, надорванное, гулко стучащее.

Подняла простыню, расправила, накрыла обнаженные тела и, не зная, о чем думать, продолжала лежать, с нетерпением ожидая, когда придут какие-нибудь мысли, не такие печальные, как до этого. Он уснул, а она сторожила его сон, чтобы разбудить прежде, чем рассветет, чем с крыши упадут первые капли прохладной утренней росы, прежде, чем запоют ранние птицы и яркое солнце развеет это колдовство, которое — никто не знает — было или только пригрезилось. А потом они встретятся в привычной обстановке, повариха и хозяин: «Сегодня на завтрак приготовь овсяную кашу». В меру учтивая и любопытная, она опять будет обращаться к нему «дон», когда он выйдет, побрившись, из ванной, пахнущий лавандой, с рассеянным и властным взглядом. В эти утренние часы он пройдет мимо нее, словно мимо тени или даже чего-то еще менее значительного — намека на тень, воспоминания о тени, чтобы все снова встало на свои места, согласно иерархии, будто между ними никогда ничего не было.

Но это завтра. Теперь же ветер все сильнее свищет в щелях сарая.

— Успокоились немного? Когда я услыхала, как вы закричали, то сказала себе: сегодня придет, вот сейчас, сейчас же. Только вы что-то очень задержались. Поэтому я и заснула. Вы ведь не рассердились, правда?

— Хосефина,— сказал он хриплым голосом.

Это было впервые, чтобы он разговаривал с ней в постели. У нее застучало в висках.

— Что, моя жизнь? Ой, простите, я сказала «моя жизнь». Это с перепугу.

— Не пугайся. Тебе нечего бояться. Понимаешь, нам надо поговорить.

— Понимаю.

— Ты знаешь, что дела тут идут плохо?

— По хозяйству?

— Брось, ты ведь не дурочка.

— Нет, наверно...

— Не наверно, а все идет к чертовой матери.

— Зачем вы так говорите? Не так уж плохо.

— Если бы действительно было не так! Все летит к черту под хвост. В дерьмо!

— Но почему? Вы такой умный.

— Это не имеет значения. Я говорю о тебе. Что делать с тобой?

— Я... что со мной? Не надо, дон Федерико. Обо мне не беспокойтесь.

— Ну как же не беспокоиться. Давай подумаем. Только здесь неудобно, тесно. Пойдем.

Он взял ее за руку и в потемках повел в свою комнату. Она моргала глазами, пугаясь все больше.

— Подождите, я заправлю лампу. Или вы хотите разговаривать так, в потемках?

— Оставь все так и отвечай. Только правду. Взять тебя поварихой в свой дом в Пуэрто Лимоне я не могу, понимаешь? Так что же с тобой делать?

У нее начали дрожать губы.

— Отвечай. У тебя в Абангаресе, кажется, жила мать?..

— Жила, только она уехала с моей сестрой в Гондурас, потому что зять служит там полицейским. Они ей предложили, и мама согласилась.

— А-а.

— Уехала. Месяца два тому назад. А может, больше, потому что ее письмо очень долго шло.

Он задумался. Заря начинала просачиваться в комнату.

— Ладно. Пойдем примем душ. Освежимся.

Снова встал и потянул ее за собой. Вошли в ванную комнату. Она остановилась в дверях, прикрываясь руками,— свет утра снова оголил ее.

— Проходи, что же ты остановилась как вкопанная.

Оба встали рядом под душем, намылились. Он чуть отодвинул ее, всю в пене, чтобы рассмотреть.

— Ты красивая! Никогда тебя такой не видел. Очень хороша.

Она обняла его за талию и сжала руки изо всех сил, так, что невольно всхлипнула. Поняв, что слабеет, отпустила его и бросилась бежать и долго прыгала, голая, через луг, сопровождаемая лаем удивленных собак.

Федерико вышел из ванной, принял снотворное и проспал весь день и следующую ночь.

■

— Я знаю. Прочитал и все уточнил. Причина — бактерия, организм, патогенный и для многих других растений, у которых вызывает быстрое увядание листьев. Причиняет колоссальный ущерб.

— Правильно. Все знаешь. Но что ты этим выигрываешь?

— Подождите! Подождите и увидите. Я себя знаю. Знаю, на что способен. Когда дед оставил мне эти земли, я даже не представлял, что это за чудо. И думаете, я позволю им проглотить поместье, как очищенное манго?

Вернулся в отель — дешевенькую гостиницу с железными кроватями и пестрыми покрывалами, метрах в двухстах на запад от здания почты. Позвонил врачу:

— Да, да, это я был у вас несколько месяцев назад. Спасибо, но давайте расскажу по порядку. Я обратился с просьбой в банк, с последней просьбой об отсрочке платежей. Только что узнал: отказали. И поскольку вы мне рекомендовали быть счастливым и ничего не принимать близко к сердцу, я вышел оттуда похохатывая.

— Сеньор Гарсиа, лучше бы нам спокойно поговорить здесь у меня. Кроме того, мне бы хотелось еще раз осмотреть вас.

Понятно. Еще раз осмотреть. «Еще сто пятьдесят»,— подумал он.

— Лучше давайте по телефону. Единственно, что я хотел бы спросить, доктор, если однажды кто-нибудь воткнет мне в зад палку от швабры, я тоже должен буду, смеясь, разгуливать по городу?.. Подождите. Не сердитесь, доктор, вам это вредно. И не кладите трубку. Не кладите!..

— Есть такой грибок, Хосефина. Не важно, что ты не все понимаешь. В затененных местах он не размножается, ясно? Остается там долгое время, сидит себе преспокойно в анабиозе, как говорят ученые. Но сруби вокруг деревья, дай простор свету, отними у этого грибка тень, оставь его на солнце — и тогда увидишь!

Она сделала вид, что поняла.

— Придет день и увидишь...

Когда ходили в Чикеру, заметили на листьях некоторых диких растений темные пятна.

— Эпифанио, что это такое?

— Мы тут называем это «моко», дон Федерико.

Когда он хотел срубить ветку, Эпифанио в ужасе остановил его:

— Только не мачете, дон Федерико. Не прикасайтесь. Потом надо будет очень долго его дезинфицировать.

— Так он заразный?

— Говорят, очень.

Эпифанио нашел палку и раздвинул ветви. Там все было словно опалено огнем.

■

И снова, с другого края воспоминаний, донесся голос Эстебаниты, будто пробившийся из тумана стенаний:

— Ты меня слышишь, Федерико?

— Я же сказал, что слышу.

— Слушай внимательно. Мы сделаем это спокойно, без ненужного шума. Ляжем рядом навеки, так, чтобы только я могла на тебя смотреть... Только я могла бы прикасаться к тебе. Тебе будет не скучно со мной, Федерико?

— Ну что ты, конечно, нет.

— Мы бы разговаривали, вспоминали бы столько хорошего. Ведь правда? А помнишь, кто это придумал насчет спичек, чтобы мы подавали знаки друг другу через окно? Ведь я, правда?

— Столько лет прошло, Эстебанита. Я уже не помню. Извини.

— И ты действительно хочешь?

— Чего?

— Ну вот как я предлагаю.

— Дай-ка подумать. Не хочется снова огорчать тебя, но если быть откровенным, то не очень заманчиво.

— Федерико, ты опять дразнишь меня!

— При чем тут дразнишь. Просто надо немного подождать. Такие вопросы не решают с ходу... Слушай, а тебя не радует, что ты уже можешь немножко ходить?

— Не очень. Дело в том, что у меня онемела душа. Будто замерла. И поэтому единственно, чего мне хочется,— это отдохнуть. А отдыхать я могу только возле тебя.

— Странно, Эстебанита,— сказал он после долгого раздумья,— ведь я так плохо поступил с тобой, а ты все равно любишь меня как прежде.

— Может быть, для тебя и странно, потому что ты ведь всегда любил меня не очень крепко. Да, Федерико, согласись, как говорят, чуть-чуть. Наверно, поэтому. И не обманывай, не говори, что души во мне не чаешь. Всю жизнь — чуть-чуть. Чуть-чуть...

Открыл глаза. Голос Эстебаниты погас, словно пламя свечи под ветром. Рассветало. Из кухни доносился звон посуды вперемежку с болтовней Хосефины и Самбо. Он прикинул: проспал двадцать часов!

■

Ну заварилась каша! Поскольку тетка все время торчит в церкви, выполняя свои духовные упражнения, мы с Саритой приехали к нам домой. Но старая кочерыжка забыла молитвенник и вернулась. Увидев у ворот мотоцикл, обошла дом, прокралась на цыпочках через заднюю дверь, ну и накрыла нас в постели. Вот зараза! Хорошо еще, что мы были под одеялом, потому что Сарита немного простужена. Но все равно тетка орала как недорезанная и сказала, что сей-

час же упадет в обморок. А тут еще Сарита подлила масла в огонь — крикнула, что лучше бы тетка приволокла мужа из пивной, чем шляться по церквам. Тогда старуха набросилась на нас с метелкой из перьев, а сама все вопила: «Свиньи, грязные свиньи и обманщики!» Я прикрывал тылы, чтобы Сарита успела одеться, а когда услышал, что она уже заводит мотоцикл, выпрыгнул в окно и вскочил на заднее сиденье. По дороге чуть не попали в аварию — летели будто чумовые. Потом пошли в кино, но Сарита весь сеанс не давала мне спокойно смотреть. У меня в кармане лежало недочитанное письмо от Флор де Марии, поэтому я соврал, что разболелась голова. Сариту я оставил у подъезда и пошел домой, поджилки у меня так и дрожали. По дороге при свете фонаря дочитал письмо. Сестра писала, что ждет ребенка, уверена, что родится мальчик, и просила меня быть крестным. Вот здорово — буду иметь крестника! Да здравствует жизнь! Домой пришел очень поздно, прокрался тихонько в свою комнату и улегся спать. Только не знаю, что будет завтра. К счастью, в понедельник начинаются каникулы.

XIV

Однажды с ним такое уже было. «Games with Cards», un pocket book. Poker and all that[1]. Выбрал самый трудный пасьянс, который, согласно статистике, выходил один раз из тридцати семи попыток. Когда счет перевалил за сорок, а пасьянс не получался, он, чтобы сорвать зло, выскочил на луг. Поставил в тридцати шагах жестянку из-под молочного порошка с грудным ребенком на этикетке и начал стрелять с пояса. Всадил пять пуль. То же самое произошло и в тот раз, когда приезжали адвокаты Компании. Толстозадый бедняга Перальта так испугался, что даже зажмурился. Все это было. Иногда кому-то удается и меньше чем с тридцати семи попыток. Другому — нет. В его группе в Институте права было тридцать семь человек: тридцать шесть вышли в люди, стали членами клуба «Уньон», адвокатами иностранных компаний или профессорами университета. И только он один — угрюмый зверь,— только он не вышел.

Или не так?

Смотря какой меркой мерить людей.

После двадцатичасового сна проснулся голодный, как волк. Проглотил полное блюдо курятины и шесть черепашьих яиц — накануне принес в подарок сын Эпифанио, которого мать прислала спросить, не слышно ли что-нибудь о муже. Нет, он не слышал, не поинтересовался, как следовало бы. Знал только, что Эпифанио получил два года и один день тюрьмы за нападение на представителя власти.

Мальчишка присел в кухне на скамейку.

— Ты третий у Эпифанио?

— Да, сеньор.

— Старшая у вас девочка, потом хромой, а за ним ты?

— Да, сеньор.

Сын Колачо должен быть примерно в таком же возрасте.

Может, усыновить?.. Двое свидетелей — и все в порядке. Куда там, лучше и не думать. Совершеннейшая глупость!

— На, передай матери вот это,— дал мальчишке денег,— и ска-

[1] Карманный справочник «Карточные игры». Покер и все о нем *(англ.)*.

жи, пусть не беспокоится: когда поеду в Сан-Хосе, посмотрю дело отца.

И о судьбе Тома надо бы подумать. Он — словно старое дерево, перевитое лианами, обросшее лишайниками, свисающими белыми бородами. Привезли его сюда в начале века рабом на строительство железной дороги. До сих пор говорит на своем английско-ямайском языке, а на ногах все еще заметны рубцы от кандалов. Однажды он взбунтовался, сбежал, много-много лет скрывался где-то, потом объявился тут на Пакуаре. Никто его ни о чем не спрашивал. И он ничего не рассказывал. Говорили, что все эти годы — двадцать или тридцать лет — прожил в Таламанке у индейцев. Другие же утверждали, что, наоборот, жил один, забравшись далеко в горы. Точно знали лишь, что однажды он появился здесь, построил домишко, посадил юкку, ньяме, калалу[1] и другие овощи. Молился своим богам и потихоньку старился. Не говорил ни с кем, ни к кому не нанимался на работу. «Let me alone, mista»[2].

Когда Федерико впервые приехал в «Эль Сафиро», Том уже жил тут. Значит, теперь надо думать и о нем. Скоро американские бульдозеры сровняют с землей его хижину.

Лодкой Том управлял мастерски. Прямой, как доска, в латаной-перелатаной рубашке, вымоченной в тысячах дождей, в каких-то немыслимых ботинках. С нижней отвислой черно-красной губы ниточкой спадает слюна. Он сидит гордо, словно врос в скамейку. Важный. Молчаливый.

Когда прибыли на мысок между лагуной и морем, Тому показали лодку, которую Федерико решил купить для него.

— Luk[3],— сказал ему Самбо,— это из дерева, а не из камыша, как yurs[4].

— Oh, yeah[5],— ответил Том.

И это было все, что он сказал.

На обратном пути Самбо упорно уверял, что покупка Тому понравилась, но Федерико продолжал сомневаться. За лодку отдали двух мулов, движок для электрогенератора и старые часы с кукушкой.

Во время этой поездки по реке Федерико подмечал все: небольшую черепаху, гревшуюся на камне, белую цаплю, невесомую в прозрачном небе, где сияло одинокое облако, похожее на спелый кочан, прислушивался к страшным звукам, доносившимся из самой глубины сельвы, и не мог оторвать взгляда от мутной реки — этой медленной, могучей и вечной вены планеты. Понимая, что в последний раз плывет по Пакуаре — об этом все говорило с жестокой очевидностью,— он как бы медленно покрывал саваном свое сказочное царство.

На следующий день заперся в своей комнате, не захотел ни завтракать, ни обедать. Только около двенадцати впустил к себе Самбо, чтобы дать указания, а в девять вечера голод выгнал его самого из заточения. Съел все, что нашел: тарелку кукурузных хлопьев, два куска жареной юкки,— и опять вернулся к себе.

— Хосефина, зайди! — позвал он.— Садись. И крепись. Не хнычь, я еще даже не сказал, зачем позвал тебя.

Она вытерла глаза кончиком передника.

— Я тут подумал... Ты пойдешь работать в одну семью, к моему старому другу в Сан-Хосе. Детей нет. Согласна? — Хосефина механически кивнула головой.— Вот и хорошо. А теперь иди, я хочу спать.

---

[1] Тропические клубневые и бобовые растения.

[2] Оставьте меня в покое, мистер *(искаж. англ.)*

[3] Посмотрите *(искаж. англ.)*.

[4] Ваша *(искаж. англ.)*.

[5] О, да *(искаж. англ.)*.

На рассвете Хосефина дважды подходила на цыпочках к его комнате и, приложив ухо к двери, слушала. Доносилось только тяжелое глубокое дыхание.

В эту же самую ночь Эстебанита закончила, наконец, отработку одного из последних своих «размышлений», и, когда прочитала его неведомо в который раз, сердце беспокойно подпрыгнуло. Отдавало чем-то еретическим. Перечитала еще: сомнений не оставалось. Словно от стольких чтений растворился сахар облатки, и теперь чувствовалась горечь самой пилюли, острый привкус греха.

Но что же теперь делать? Уничтожить «Дневник»? Вырвать страницу? Или исповедаться, с надеждой, что и этот грех ей простится? А может быть, просто поставить внизу подпись какого-нибудь выдуманного автора и все сохранить в секрете? Боже мой, что делать?

Еще раз боязливо надела очки и прочитала «размышление» вслух:

«Религия — постель для уставшего и сандалии для странника. Но если бы измученный и босой не имели религии, разве они не искали бы, чем заменить это ложе и сандалии? И разве это не заставило бы их действовать и творить дела, еще более угодные богу!»

Прозрение! Теперь она видела ясно! «Действовать!» Вот оно проклятое слово — от него еретический дух. Действие — это непокорность! Люцифер! Задыхаясь, сдавила горло руками.

— Прости меня, господи, прости в твоем бесконечном божеском милосердии! — с гневом и ожесточением вычеркнула греховное слово. Так, чтобы никто никогда не мог разобрать, что там, под этим черным пятном.— Каюсь, каюсь, каюсь!— Затем наклонилась и подождала, пока успокоится пульс, чтобы потом немедленно заняться поисками нужного синонима. И какое бесконечное облегчение почувствовала, когда нашла: «стремиться» — вот оно! Ослабевшей рукой вписала слово, убрала дневник на место, положила поудобнее подушки и наедине со своей верой, свободная ото всяких угрызений, устремила блуждающий взгляд на поверхность океана, и вечная игра света в волнах — сверкающая паутина лучей, магическая и неуловимая,— успокоила и умиротворила ее. Она заснула.

■

Федерико встал на заре. Мужественный. Властный. Приказы Хосефине. Приказы Самбо. Упаковывать вещи. Заворачивать в старые газеты, увязывать в коробки. Книги — в стопки по десять штук. Стягивать покрепче. Посуду. Ложки, вилки. Постельное белье.

Напоследок оставил тома Права, «Тестут» — полный свод законов и декретов.

— Понимаешь, Хосефина? Нет? И к лучшему. Но это не основание для того, чтобы стоять и тупо пялить на меня глаза! И ты, Самбо, учти: упустишь что-нибудь — душу вытряхну, знаешь меня!

После завтрака присел в бамбуковой рощице около реки. Хосефина и Самбо остались в кухне.

— Если не трудно, еще чашечку кофе.

Она подала и продолжала мыть посуду.

— Сколько тебе лет, Хосефа?

— А в чем дело? Чего это тебе в голову пришло? И не называй меня Хосефой, ушастый Самбо, ты же знаешь, что мне это не нравится.

— Ладно, Тинита[1]. Так нравится? А не отвечаешь потому, что, наверно, чувствуешь себя старухой.

---

[1] Ласкательное от Хосефины.

— Ага.

— Что думаешь дальше делать?

— Когда?

— Не притворяйся. Я ведь замечал, что ты была здесь очень довольной.— Он хитро прикрыл свои длиннющие загнутые ресницы. Она все еще возилась с посудой.— Старику будет не хватать Пакуаре. Позавчера я его застал на берегу: стоял на коленях, будто молился. Я потихоньку ушел, чтобы он не видел.

Она поглядела в окно и вздохнула так глубоко, что грудь поднялась волной. Самбо вытащил смятую пачку и закурил сигарету.

— Научи меня курить,— попросила она, садясь рядом.

— Нет, опасно. Один порок влечет за собой другие. Тем более теперь, когда старик уезжает.

— Брось. Он уже мне сказал.

— Что сказал?

— Устроит в семью своих друзей в Сан-Хосе.

Самбо посмотрел на нее с удивлением.

— Так не хочешь дать сигарету?

Он протянул ей свою:

— Соси и втягивай в себя глубоко. Еще глубже!

От кашля у нее выступили слезы. Помолчали, погрузившись в свои мысли.

— Где тебе делали эту коронку? — спросил он, пальцем подняв ей губу, чтобы лучше видеть зубы.

— Когда я была еще маленькая. Отец был жив.

— Золотая?

— Конечно, а то какая же?

— Здорово блестит.

— Ага...

— Блестит и очень тебе идет.

— Теперь говорят, делать из золота — пустая трата денег. Делают из фарфора, почти не отличишь от настоящих.

— И дураки. А в Сикирресе один зубной врач скупает золото, которое крадут из могил... Для коронок. Я тоже раз продал несколько вещиц.

Она сморщила нос.

— Ну и что. Его же сперва плавят.

— Все равно, оно же с мертвецов.

— А ты вот не слышала, по радио передавали об одном старике со старухой. Оба такие аккуратные и работали на кладбище, за могилами ухаживали, украшали цветами. А ночью украдкой возвращались и выдергивали у мертвецов зубы. Дома у них, говорят, нашли два фунта чистого золота.

— Ужас. А почему же они его не продали?

Он задумался, а она вдруг:

— А дон Федерико не сказал, кто первый уедет отсюда, ты или он?

— Конечно, я. А тебе зачем знать? — спросил и внимательно, не мигая, посмотрел на нее. Женщина отвела взгляд.

— Ладно, давай работать,— сказала она, вставая.— Он велел, чтобы ты захватил седла. У меня еще тоже куча дел.

Возвратившись, Федерико приказал оставить его одного, хотел сам закончить упаковку. Объяснил, что отвлечется, если руки будут заняты.

— Может, вам лучше немножко отдохнуть?— предложил Самбо.

— Нет. Так надо. Врач сказал, что нагрузки мне полезны.

Хосефина и Самбо разошлись каждый в свою сторону, а Федерико

остался наедине со своими мыслями, с резиновым комком в горле. Пытался проглотить его, но комок возвращался снова и снова...

■

— Ты, Федерико? Благословенны глаза, видящие тебя!

— Я тоже подумал, что не мешало бы нам повидаться. Что-то ты похудел?

— Мочевой пузырь. Возраст, теперь это у нас у всех. Кстати, я как раз садился ужинать. Давай вместе...

— А дочки?

— У них уже пора воздыханий. Каждая со своим «хуже-не-сыщешь». Будем ужинать одни.

— Хотелось бы посмотреть на них. Слышал о Колачо?

— Еще бы. Очень жалко. Присаживайся где удобнее.

— Ты знаешь, к нему привели священника, и вдруг из палаты донесся хохот на весь коридор. Оба смеялись.

— Не может быть!.. Правда, приговоренный человек — отчаянный. А как ты? Говорят, что наконец продаешь?

— Кто говорит?

— Не помню, так где-то слышал. Положи себе чиле[1]. Кстати, чего я не понимаю и давно хотел тебя спросить: почему ты не выставлял свою кандидатуру в депутаты от Пуэрто Лимона? В вашей провинции более подходящего человека не сыскать.

— Нет. От политики я подальше.

Пережевывали воспоминание о старой дружбе. В Сан-Хосе это был его единственный настоящий друг, товарищ еще по колледжу. С ним было спокойно и легко.

— Говорят, у гринго там огромное хозяйство, даже с посадочной площадкой для вертолетов.

— Да. Вчера, кстати, предложили подвезти меня на своем вертолете. Я отказался. Приехал поездом, как всегда.

— У тебя с ними никогда не ладилось.

— Всю жизнь.

— Понимаю. У меня тоже. Они как дети. Жестокие и жадные. Но когда поднимется буря, от их хромированных дворцов с неоновым светом не останется камня на камне. Трумэн со своим пианино напоминает мне Нерона с цитрой. Ну ладно, о себе-то, наконец, расскажи.

И Федерико рассказал...

— По-моему, эта мысль пришла мне в тот день,— закончил он,— когда я увидел Эпифанио на дне лодки с закрученными назад руками... А может быть... — теперь он сам засомневался и стал размышлять вслух:— Может быть, когда в последний раз видел Поросячью Старуху.

— Это еще что за старуха такая?

— Вдова одного арагонца, приехавшего когда-то по контракту техником на строительство Тихоокеанской железной дороги. С ним там поступили по-хамски, он бросил все и уехал со своей женой жить на островок на Пакуаре. Взяли с собой свинью с боровом и пару собак.

— Тебе рис с молоком или ананас?

— Немножко кофе, больше ничего. Ну вот. Так они и жили: резали изредка поросят и ловили рыбу. Как-то он сказал мне: «Я живу здесь как последняя скотина, зато никогда не вижу ни одной сутаны. Кроме того, поскольку такая жизнь не приносит дохода, никто мне не завидует и ничего не хочет у меня отнять».

— Кажется, я эту историю слышал.

[1] Жгучий зеленый перец.

— Когда он умер, старуха схоронила его, а сверху завалила камнями, чтобы не сожрали свиньи. Потому что их и собак развелось там тьма, да и одичали совсем.

— Ну и старуха!

— Теперь она уже здорово сдала. Зубов нет. И говорить разучилась. В последний раз мы даже причалить к острову не могли — боялись, что нас тут же растерзают кабаны или собаки. Старуха вышла из дверей своей хижины, когда услышала мотор, и махнула нам на прощанье рукой. Что-то сказала, но это уже была не речь. И улыбнулась беззубым ртом.

— Оставим, однако, фольклор, вернемся к твоим сумасшедшим планам. Ты подумал о всех возможных последствиях?

— Это бесполезно. Вопрос имеет столько «но» и «при этом», что, если раздумывать, ничего не сделаешь.

— Но ты согласен, по крайней мере, что серьезно рискуешь?

— Знаю. И знаю, что боязнь риска является причиной нерешительности, а мама Нерешительность с папой Расчетом рождают Трусость.

— Значит, это твое последнее слово?

— Да. Извини, но это мое последнее слово...

■

...Закончил упаковку книг и вернулся в свое кресло.

Теперь все готово.

Все в порядке.

На следующее утро, едва проснувшись, церемонно уведомил Хосефину и Самбо, что приглашает их на прощальный ужин. Из сока грейпфрута, рома, сахара и щепотки ванилина приготовил аперитив. Попросил Самбо купить пальмитос, заплатив сколько запросят, а Хосефину — испечь пирог с пальмитос и рисом, сварить суп из черной фасоли и приготовить еще кое-какие местные блюда. Сам поймал гусака и, присев у заднего крыльца—Хосефина держала гусака за лапы,— отрубил ему мачете голову. Лапы и кусок мяса послал жене Эпифанио (во время своей последней поездки в Сан-Хосе он обжаловал решение суда насчет его приговора). Из писчей бумаги сделал салфетки, аккуратно сложил их и вставил в стаканы. Центр стола украсил большим букетом — «королевский скипетр»[1] в окружении гвоздик — в кувшине с водой. Не забыл и о музыке: пластинки с мазурками Шопена, «Танец часов», Агустин Лара[2] и Карлос Гардель — все под рукой.

Около пяти приказал Самбо помыться — почище, с мылом, а Хосефине — подать все сразу на стол, чтобы поесть за один присест: он не хотел видеть, как она будет поминутно вставать и бегать на кухню. В шесть хлопнул в ладоши, приглашая их в комнату. Сам не садился до тех пор, пока не сели гости. Завел пластинку, налил аперитив и поднял бокал:

— С вашего позволения, я произнесу тост...

Хосефина, опустив глаза, ковыряла под ногтями. У Самбо лицо сделалось как морда у лошади, увидевшей проходящий поезд.

— ...Вы были моей семьей — да, да, семьей — все эти годы. Накладывай себе еды, Хосефина, а то остынет. — Он откашлялся. — Но все кончилось. Пошло прахом. Это закон жизни, даже в Библии сказано: сгниют плевелы, дабы проросло зерно. Но дело в том, что очень больно быть плевелом... Я не о вас, вы еще молоды. Это я, как

[1] Крупный тропический цветок.

[2] Мексиканский композитор.

старый пес, грызу обглоданные кости. Вот почему я так расстроен, собирая вещи в дальнюю дорогу. В дорогу, а сам не знаю, куда и зачем.— Взгляд его потерялся в пустоте, он вынужден был опереться кулаками о стол.— Но поскольку я не выступаю с докладом, а всего лишь с тостом... И пусть Хосефина не хлюпает носом, иначе испортит нам весь вечер. Здесь все должны быть довольными — мы на ужине, а не на поминках. И Самбо... Хотя, впрочем, пусть смеется, если ему смешно. Все мы немного взволнованы — так и должно быть. Давайте выпьем за то, чтобы вы были счастливы. Пусть Самбо доплывет на своей лодке до Кюрасао, а...

Он замолчал, сел, выпил, снова наполнил стакан и снова выпил.

Не глядя друг на друга, начали есть.

— Очень крепкий, но приятный, — сказала Хосефина, сделав второй глоток.

— Так вы хотите, чтобы я уехал на Кюрасао?

— Езжай в Кюрасао, Самбо. В Томбукту[1]. Или в Варшаву. Слышал мазурки? Страна такой музыки должна быть прекрасной. Не то, что здесь у нас, где никто не поет песен, а все только бродят одурело по улицам и насвистывают себе под нос... Да. Поезжай, поживи несколько лет, может быть даже много лет, в других местах. Но потом возвращайся. Это да. Надо вернуться. Всегда надо возвращаться.

— Слышали, что случилось у Илюстрисимо? — спросил Самбо, мало чего понявший из последних слов Федерико. — Он отправил старшую дочку в монастырскую школу в Сан-Чепе, а на прошлой неделе она вернулась беременной. Отец лупил ее чуть ли не поленом, но она так и не сказала, кто виновник.

— Что же они теперь будут делать?—спросила Хосефина, прижав руку к груди.

— Мать-то уже успокоилась, а старик Секундино, злой, как крапива, винит во всем монахинь — недосмотрели. Говорит, что сам поедет в Сан-Чепе и перепортит им всех тамошних послушниц.

— Брехня,— бросил Федерико.— Старый пузан ни на что не способен.

— Э-э, не скажите. Кто его знает, — возразил Самбо и хитро прищурился. — Этот негодяй только притворяется вялым, как грудь монашки.

У Хосефины после второго бокала на щеках расцвели гвоздики. Самбо засучил рукава, лицо заблестело от пота.

— Вы помните того адвоката,— сказал Федерико, беря еще кусок пирога и наливая вино, — ну того, толстого, у которого перстень с рубинами? Так вот: стрелялся. Нет, не умер. А получилось так. Продавалась земля, интересовавшая Компанию, пустошь в Сарапикуи. И вот он ее потихонечку у владельца перекупил на подставное лицо. Но черта всегда выдает хвост.

— А казался неплохим человеком,— откликнулась Хосефина.— Правда, немножко приторный.

И снова наплыло красное марево. Прикрыл глаза, но сияние не исчезало. «Да, дед, помню. Если я этого не сделаю, значит, я стал слюнтяем...»

— Что ты сказал, Самбо? Извини, не расслышал.

Парень ерзал на стуле, путался в словах.

— Да говори ты толком. Видно же, что-то на языке вертится. Рассказывай.

— Ох, дон Федерико, не могу начать.

---

[1] Город в нынешней Республике Мали на реке Нигер.

— Я знаю, в чем дело, — хихикнула Хосефина. — Он уже давно вырезает на деревьях одно имя.

— Правда? Прекрасно, Самбо! Прекрасно! Значит, пришло время. — Он налил всем и потребовал, чтобы выпили до дна.

— Мне и так жарко, — отказалась Хосефина, — трогаю свою кожу и не чувствую.

— Тогда останови пластинку, эта заупокойная тоску нагоняет. Ну так рассказывай, Самбо. Правда?

Самбо кивнул головой.

— Но сначала скажи, ты — девственник?

— Что вы, дон Федерико! Как чудно говорите. Я же ведь мужчина.

Федерико расхохотался.

— Не будь глупым, мужчины ведь тоже бывают девственниками. Это значит, что они еще не знали женщин.

Самбо опустил глаза.

— Тогда, наверно, может быть...

— Как это, может быть?

— Ну один раз мы ездили в Сикиррес, только были такие пьяные, что я ничего не помню. Проснулся утром на насыпи, и голова очень болела...

— Видишь ли, Самбо, ты вырезаешь чье-то имя... Это очень естественно, что мужчине понравилась какая-то девушка...

Самбо слушал с болезненным вниманием. Хосефина никак не могла пристроить свои локти.

— ...Но и нравиться может по-разному. Если тебя влечет к ней чувственно...

— Как это — чувственно?

— Ну вот, например, видишь, как она идет, и руки у тебя сами вылезают из карманов и хотят обнять ее. Или закроешь глаза и видишь, как она раздевается, медленно так... и все в твоем воображении.

— По-моему, так.

— Только так?

— Не, не только.

— Тогда уже другое дело. Если ты думаешь о ней как об изображениях в церкви — одно лицо, а под одеждой — железный каркас... — Федерико встал. — Мне что-то нехорошо. Не надо было пить... Извини, Хосефина. И большое вам спасибо обоим за то, что приняли приглашение. — Он пожал Хосефине руку. — Пирог был очень вкусен. Но все кончилось. Сколько я ни перекладывал карты, пасьянс не получается. Не выходит. И виной всему — властительница сердец. Вы ее еще не знаете — страшная вещь. Она, словно ящерица, пробралась вот сюда, вовнутрь. И ползает там, ползает. Вижу ее: мордочка сытая, самодовольная, а кончик языка быстрый, как белка. Но вот, кажется, прошло... Я не слюнтяй и не буду плакать, хотя и пьян. Но, признаюсь вам, если поплакать, стало бы легче. Да останови ты проигрыватель, кому сказал!

Допил вино, оставшееся в бокале Хосефины.

— Колачо умер... Теперь, наверно, болтает по-латыни со святым Петром. Мне его очень не хватает. Дочка вышла замуж, а я, как нищий, смог ей подарить всего лишь фаянсовую безделушку. Бедняжка моя. Но больше всего думаю об Эстебаните. Какое горе я ей принес! Ничем не смогу загладить. И никогда. Поэтому, Самбо, отправляйся в своей лодке на Кюрасао, доплыви до Филиппин, обогни земной

---

[1] Тропическое плодовое дерево.

шар! Только возвращайся. Возвращаться надо всегда... В Кебрадильясе есть небольшая хижина, вокруг — гуайавы[1], коровы пасутся. Рядом холм, который надо бы засадить соснами и ясенями. Не для нас — растут они медленно, но сгодятся, может быть, нашим внукам.

Вдруг вспышка гнева исказила лицо страшной гримасой. Он схватил скатерть за углы и рывком сбросил все на пол: тарелки, бокалы, кастрюли, остатки еды.

— Какие же сволочи! За что они меня так? Какая грязная и подлая игра!

Хосефина дрожала. Лампа погасла. Федерико с силой стукнул по столу, скрипнул зубами.

— Но кое-что еще у нас осталось, Самбо! Завтра будет наш день. Слышишь, завтра!— Он произнес букву «р» так, словно хотел раздробить ее. — А теперь помоги мне, потому что я больше не могу его видеть...

Пошатываясь, пересек комнату, поднял свое старое кресло и стал бить его о стену. Бил до тех пор, пока не превратил в груду палок и мешковины. Тогда вроде бы несколько успокоился. Провел рукой по волосам.

— Извините,— голосом, полным горечи,— извините. Я хотел, чтобы вы здесь приятно провели время, а видите, как получилось.

Продолжая извиняться, ушел в свою комнату и так хлопнул дверью, что задрожал дом.

Осталась тишина, только тишина, словно внутри огромного шара из сине-фиолетового стекла, наполненного прозрачной ватой.

■

Самбо соорудил хижину возле небольшой гуайавы — ее решили рубить последней. И тогда, после того как будут повалены два хавильо, сейба и гуасимо [1], солнечные лучи обрушатся сюда, словно поток слепящей лавы.

Они пойдут вдвоем. Так решил Федерико с самого начала. И не только потому, что механическая пила, которую он купил в последнюю поездку в Сан-Хосе, требовала для работы двух человек. Главное — он хотел сам быть на месте в этот момент. Именно в этот момент.

— Собак возьмем?

— Не надо, дон Федерико, только испортят нам все дело.

Пирулу взяли, в ней были уверены. Она поблагодарила их за такое признание своей неживой улыбкой.

Перед этим Самбо два дня провел в сельве, прокладывая просеку, заготавливая продовольствие, сооружая хижину.

Хосефине сказали, что пойдут обыскивать древние индейские могильники, где наверняка найдут много золота. Отправились рано утром. По мере того как продвигались вперед, сельва вокруг становилась все гуще, пока, наконец, их совсем не поглотил ее замкнутый мир — влажный мир непроницаемо зеленых зарослей.

А потом три бесконечных дня среди звуков сельвы, сорокаградусной жары, в тучах москитов с их огненными укусами, среди диких голубей, экскременты которых оставляют на коже красные, нестерпимо жгущие пятна. Ручьи пота застилали глаза, стекали по рукояткам пилы, прислоненной к пню, когда рядом под печальные стоны раздираемых лиан и плющей огромные деревья склонялись, разрывая собственные сухожилия, и, покачавшись несколько мгно-

[1] Тропические деревья.

вений, сдерживаемые своими густыми кронами, наконец падали со страшным грохотом, сломленные, побежденные. С приходом ночи устраивались спать на крыше в брезентовых мешках, чтобы уберечься от змей. Кругом тьма, густая, как рвота, и крики, карканье, вздохи да лай недремлющей собаки. А утром, перекусив на скорую руку, снова, не думая ни о чем, сдерживая бешеные сгустки ненависти и стиснув зубы, — управлять звоном пилы. Обливать голову гнилой болотной водой и опять с дьявольским упорством, не думая ни о чем, пилить, пилить, пилить, а после крика Самбо: «Пошло!», когда огромное дерево начинает валиться, прыжком падать на топкую землю и оттуда смотреть, как оно клонится, надорванное, побежденное. Так славно побежденное, так безвозвратно сломленное! И если надо — грызть железо, глотать огонь, потому что, раз в тебе хотят пробудить ненависть... «Слушай меня внимательно, Самбо, если хотят пробудить в тебе ненависть, она в конце концов проснется!»

И вот последнее дерево. Когда оно упало, вверху засияло фарфорово чистое небо прозрачной синевы с одним-единственным белым облачком, чуть розоватым по краям. Было около полудня, и солнце, наше отечески доброе солнце плеснуло всю свою огненную необузданную силу на открытую поляну между поверженными деревьями и растеклось, животворное и пагубное, по клочку девственной земли, тысячелетиями копившей миллиметр за миллиметром жирный перегной, почти черный, зловонный и плодородный.

Федерико уронил пилу на землю. В возбуждении прошел к центру поляны, снял рубаху и долго стоял в жидкой грязи с глазу на глаз со светящимся диском солнца. Беззвучно шевелил губами. Самбо смотрел на него, ничего не понимая. Вдруг завыла Пирула. А он все стоял, не отворачивая лица от неба, но теперь уже плотно зажмурив глаза, зная, что, искупая грех, которого за ним не было, он совершил преступление против природы, частицей которой был он сам. Он понимал, что сделать то, что сделал, было все равно как если бы своими ногтями самому себе разорвать живот, знал, что будет наказан за это, что грядет день и поток раскаленного железа испепелит его. Но, если бы он этого не сделал... «Слушай меня, Эстебанита, если бы я этого не сделал, я должен был бы застрелиться. Потому что без уважения к себе, моя дорогая жертва, горькая ты моя любовь, не стоит жить!»

А в сельве, по краям поляны, молодые, нежные, тянулись к свету ростки диких бананов. Они казались удивленными и радостными от этого обилия света, от такого тепла и под легким ветерком весело шелестели светлыми непорочно зелеными листьями. И больными. Потому что вокруг их корней, пробужденный солнцем, начал бурно развиваться невидимый грибок.

■

Он встретил меня на станции и был очень ласковый. Но потом, за обедом, почти все время молчал. Флор де Мария и Виктор Хулио пытались разговорить его, но он только давал односложные ответы.

Позже сестра рассказала, что она уже раньше знала обо всем — вокруг только об этом и идут разговоры, но, к счастью, никто ничего не может доказать. Все говорят, что это непредвиденная случайность, в результате которой не только разорился он сам, но и нанес американцам убытки, не знаю во сколько там миллионов долларов, потому что

какими только средствами они не пытались дезинфицировать свои плантации! Часть земель собираются даже затопить в надежде избавиться от заразы, но, наверно, и это не поможет.

Свояк мне понравился. Говорит немного и видно, что, прежде чем сказать, думает. И еще он обещал научить меня плавать «кролем», чтобы я смог сопровождать его, когда он снова поплывет до Увиты. Потом мне позволили потрогать живот Флор де Марии, чтобы услышать, как стучит мой будущий крестник. Наверняка будет футболистом, потому что колотится будь здоров!

И еще я долго разговаривал с мамой. Иногда она кажется совсем подавленной, но один раз оживилась — это когда рассказывала, что отец вроде бы сообщил ей, что, возможно, наскребет денег на покупку какого-то небольшого поместья. Она говорит, что там они проводили медовый месяц и там были коровы и куры. Еще сказала, что даст мне какие-то драгоценности, оставшиеся от бабушки. Я должен буду повезти их в Сан-Хосе к ювелиру, у которого дед и бабка были постоянными клиентами,— может, согласится купить. А потом она все их перепишет на меня.

После обеда папа вдруг попросил меня сходить с ним в Серрито, где ему нужно было закончить какие-то юридические дела. Когда мы прошли рынок и начались бедные кварталы, разные люди, которые, конечно, никак не могли быть его друзьями — вроде сапожников или грузчиков,— оглядывались и даже здоровались с ним. Первым поздоровался один негр, огромный такой, в майке. Мы проходили мимо, и он сказал: «God bless you, mista»[1].

Я посмотрел на папу, глаза у него были сощурены. Вроде бы он даже был доволен.

---

[1] Благослови вас бог, мистер *(искаж англ.)*.

Молодые поэты Великобритании

С английского

Д. М. ТОМАС

Слепой шахтер из Боталлака

В Боталлаке
говорят, что небо — тонет во мраке,
но еще мрачней, еще черней
земля, и бедность на ней,
и горе.
Но земля не так черна, как море.
А скала под морем — вовсе черна,
и черней ее — только смерть одна
и шахта, которая вниз и вперед
на милю к западу вглубь ведет.
И родит, и растит, и хоронит она
всех, кого кормит ее глубина.
Один из шахтеров ослеп — ему
сойти пришлось изо тьмы во тьму.
Расспроси о том, что черно в Боталлаке,
услышишь: — Слепой человек во мраке.
Он слышит, как трещина кровлю затронет,
он мельничный жернов, который не тонет.
Ему светло, когда всем темно,
он смело идет под морское дно,
из обвала он первым выйдет назад,

он слышит — над клетью трется канат,
он чует в породе любую руду,
он чует средь ясного неба беду,
он слышит — кораблик летит на скалы,
он слышит — соседи спешат устало,
он слышит — их топот по шахте рокочет,
он слышит — в глотках море клокочет,
он слышит ужас, как слышат стон.
Он слышит тех, кто за борт сметен.
Он слышит, как бьются шахтеров сердца,
но голодны дети — борись до конца!
Он помнит тропинку домой, среди скал.
Он чует задолго до срока обвал.
Он слышит пустоты в породе свода.
Он слышит, как их закрывает порода.
Он слышит ключ, заскрипевший случайно.
Глубоко в камне лежит его тайна.
Он слышит — в шкафу сухари захрустели,
он слышит шахту, лежа в постели,
он помнит в шахте любое место.
Шахта вздыхает, как свежее тесто.
Горные духи породу колышут
и стучат: «Уходи!» — но он не слышит.
Он слышит, как рвется канат над клетью.
Он молится: чтобы не умерли дети,
пускай руда не кончается в штреке,—
пускай работы хватит навеки.
Возле Сен-Джаста, вблизи и вдали,
этот рассказ начертан — в пыли,
на солнце и на морской волне.
Глыба, рухнувшая в тишине,—
это закон темноты и зла.
Шахта и смерть, волна и скала,
земная персть и небесный простор —
и под всем под этим — слепой шахтер.

Перевод Е. ВИТКОВСКОГО

ДУГЛАС ДАНН

Отъезд с Терри-стрит

Наняли колымагу и грузят на нее всякую рухлядь:
чашки, миски, стулья, матрасы,
зачитанные книжки про шпионов. Два подростка
в застиранных американских рубашках

выносят вещи сестры. Муж сестры
торжественно выкатывает коляску с младенцем,
донимавшим соседей своим криком,
и — ничего себе! — машинку для стрижки травы.
На Терри-стрит нет травы. Черви
лунными ночами шевелятся в трещинах асфальта.
Желаю ему всего хорошего. Желаю ему травы.

В цветочной лавке

Такая внешность, и дураку ясно, от бога.
Никакой косметики. И нейлон ей ни к чему.

Я угадываю под ее свитером
упругую свободу голых грудей.

Я знаю, как осень холодит ее ноги под юбкой
и как стиральный порошок ест ей руки.

Часто ли она плачет? Чаще ли,
чем режет лук?

Муж бьет ее. Об этом судачат
старухи на скамейке. Она прошла, не обернувшись.

Она купила темную розу — ту, самую темную,
что я проглядел,— и заткнула за грошовый пояс.

Сутулящиеся

Чужие жизни — от них не открутишься, не отвернешься.
Их не спрячешь, как очки, в футляр.
Угрюмые банкиры, зябко сутулящиеся
на задних сиденьях длинных автомобилей,
щепетильные ученые, выдумавшие,
наряду с прочим, какой-то птичий язык,
чтобы не называть вещи своими именами,
дети с недетскими тайнами,
толстяк, в одиночестве пирующий
за лучшим столиком китайского ресторана,
тяжело закашлявшаяся женщина, которую
тянет за руку худосочный малыш,—
и незримая арка смерти над ними.
Что их утешает? Кто их подбадривает?
Я наклонился зашнуровать башмак — а они тут как тут:
загадочные, безымянные, безликие,
в чью душу мне не заглянуть, чьих страхов не разделить,
чьи тревоги меня абсолютно не волнуют.

Перевод В. ТОПОРОВА

ШЕЙМАС ХИНИ

Полночь

Толпы наемных войск —
Кости
Выбелил дождь —
Вытоптали Ирландию,

Выбили волчий род.
Вскоре горластая свора
Выгнала последнего волка
Под пули хозяина-квакера

На вересковой равнине
Килдэра. Кровь волкодава
Хранится в жилах дворняжек,
Леса сохраняются в бочках.

Нынешней ночью дождик
Каплет на мертвые сучья,
Орошает мох и лишайник,
Серебрит обнаженья гранита,

А в логовах и старых берлогах
Взбухает густеющей жижей.
По заросшим звериным тропам
Трусит вороватой побежкой

Хищная пузатая мелочь.
Ни жаркого дыханья, ни хаканья,
Ни воя ночами. Мой
Язык прирастает к нёбу.

Кузница

Я вижу только дверь во тьму — и все.
Снаружи — сломанные, ржавые поковки,
Внутри — стальное пенье наковальни
Под молотом, да взвеерь юрких искр,
Да хищное шипение подковы
В бадье с водою. Наковальня — в глубине:
Единорог с прямоугольной головой,
Недвижный жертвенник, где старый мастер
Сгорает, оживая в новых формах
И грохоте. Порой, шагнувши к двери,—
Огромный, с волосатыми ноздрями,—
Он смотрит на машины, вспоминая
Чеканный стук подков, потом, вздохнув,
Уходит в тень — преображать железо.

Спокойной ночи

Щеколда откинута — и узкий луч
Разрезает невидимый двор.
Они минуют золотой коридор
И тихо уходят в ночь.

Лужу, булыжник, ступени и дверь
Освещает искусственный день.
Но она возвращается — и тихая темь
Стирает замерший двор.

Любовники

Осколки солнца — волны, в жажде ласк,
Бегут сюда от берега Америк
И, вплёскиваясь сквозь ограду скал,

Льнут к Арану [1]... Иль это Аран сам,
Раскинув руки скал, приник ревниво
К покорным, обессиленным волнам?..

Так чем очерчен мир? Вода и твердь
Сшибаются, верша его. А море,
Дробясь о сушу, разрушает смерть.

Перевод А. КИСТЯКОВСКОГО

[1] Остров у западных берегов Ирландии, окруженный барьерными рифами.

БРАЙЕН ПЭТТЕН

Признание маленького Джонни

Сегодня утром

по глупости и малолетству своему
я автомат заряженный стащил,
припрятанный отцом еще с войны,
и расстрелял своих врагов-мальчишек.
С тех пор я прячусь и нейду домой.

Сегодня утром

меня по городу разыскивать взялись
с ищейками отряды полисменов.
Они запомнили мои приметы
и спрашивают всех: «Вы не видали
мальчонку с настоящим автоматом?
Ему семь лет,
он любит Мики-Мауса и сказку
про доброго медведя.
Вы, может быть, его видали?»

Сегодня утром

я в этот двор, чужой и незнакомый,
забился, и сижу, и все твержу себе:
«Что ты наделал, что же ты наделал!»
И думаю, куда же мне податься,
но не могу пошевелиться даже,
ищейки скоро выследят меня —
я бросил там бумажку от конфеты.

Перевод Я. БЕРЛИНА

Мистер Джонс устраивается на новом месте

Гляди-ка ты, Джонсы, Джонсы явились в рай!
Построили дом,
проложили дороги,
заказали несколько яхт для райского сада,
поставили два гаража
и церковь с пластмассовым пастором.
— Скоро кончится срок аренды? — я спросил их с надеждой зыбкой.
— Мы за все уплатили наличными,— отвечают они с улыбкой.

Дорожная песня

Мне все равно, по крайней мере сегодня,
где может окончиться этот путь.
Только поля под этим дождем неспешным
и песня дороги сейчас заполняют меня.

Все остальное: тело ее, прижатое
к подушкам немыслимой белизны,
печаль, сожаления, мелкие неудачи —
все это напрочь я оторвал от себя.

Мне безразлично, где я могу очутиться.
Мимо бегут одинаковые города —
и каждый уносит все глубже в вечернюю темень
горести, взятые мною в путь.

Голос какой-то поет и поет во мне
песню, когда-то связавшую нас воедино.
Теперь уж она ничего не значит.
Можно другую песню запеть.

Только моя неуклюжая тень
скользит в никуда по длинным дорогам.
На них городишки — как узелки.
Их постепенно глотает сумрак.

Разговор с лесом

Этим вечером, углубившись в тебя,
когда ты раскинул шатер
над тихим промокшим зверьем,
я увидел сквозь редкие ветки
начало предместья и
напуганных ливнем
серых зайцев, бегущих вприпрыжку по дальнему полю.
Я был совершенно один,
и не было мыслей — разве о том лишь,
что мой след заливает вода.
И, очищена этим безлюдьем, любовь
плыла на свободе. Тогда я услышал,
как со мной разговаривал лес.

Лучше будет ему поверить

(НЕБЫЛИЦА)

Обнаружив у «Вулворта» старую лошадь-качалку,
он пытался ее покормить, но ничего не вышло.
Тогда он погладил ее и завел разговор
про лес, где она родилась, и про те чердаки, где она побывала.
А потом попытался ее унести.

Но сыщик от «Вулворта»
вызвал директора «Вулворта»,
а директор позвал полисмена.
Полисмен же наутро прибыл в суд, чтобы дать показанья:
— Обвиняемый вел себя странно в момент задержанья.
Вот его заявленье: «Считаю, что лошадь-качалка достойна вниманья»!
Мы считаем его ненормальным, для этого есть основанья.
— Все понятно! — ответил судья и приказал:
— Доказательство кражи — лошадь-качалку — внести в судебный зал!
— Сэр,— ответил директор,— боюсь, что ей удалось убежать и скрыться.
Доказательство: след от ее копытца
на черепе нашего детектива.
— Все понятно,— промолвил судья боязливо,
услышав близкое ржание
в коридоре судебного здания.

Перевод И. ЛЕВИДОВОЙ

Б. МАК-СУИНИ

Под впечатлением пожара, превратившего в пепелище здание Армии спасения в Ньюкасле

Они курили подмокшие уцелевшие
сигареты и вздыхали по утраченным вещам,
люди под ярлыком: Без Постоянного Жилья.

Сушились матрасы на утреннем солнце,
с оград и могильных плит свисали одеяла,
вода вперемешку с пеплом стекала под груду камней.

Медник, чье имя останется неизвестным,
оплакивал гаечный ключ, точильный камень и ножницы,
инструмент, сгинувший под 30 тоннами обломков.

Вода по ступенькам бывшей столовой —
и негде выпить чашечку чаю.

Еще дотлевали оконные рамы,
люди топтались вокруг, на одних

чужая одежда не по размеру, другие кутаются
в одеяла или промокшие макинтоши.
Мы смотрели на почерневшее бревно — и казалось,
что перед нами обуглившийся труп, а позже
мы узнали: это был почерневший труп,
поразительно похожий на обуглившееся дерево.

Перевод Г. СИМАНОВИЧА

ГЛИН ХЬЮЗ

Снег

Снег повалил на нас нежданно
со скованных морозами болот;
в кусты позабивалась птичья мелочь,
грачи на запад стаями ушли,
откуда солнце багровело холодно
сквозь узловатые сплетения ветвей
деревьев замерших, сберегших на себе
лишь гнезда старые да мертвую листву.
Из-за полей к нам долетали внятно
людские голоса, и что-то там алело —
охотничьи камзолы, может быть.
В недвижности движенье предвкушалось.
И вдруг по кронам пробежала дрожь,
как бы предсмертная, и ржавая калитка
с табличкой «Частное владенье» простонала,
как птица, угодившая в силки,
и резкий ветер складками наморщил
слоновью кожу темных стылых вод,
взмахнув своей колючею дубинкой,
он ледяную тень повсюду разостлал,
заставив детскую ручонку ухватиться
покрепче за меня. И тут же стих.
В твердеющей грязи — четыре следа.
И на нетронутом снегу. Следы мои
и сына. Он замолк и съежился
от холода, как будто от угрозы
чего-то непонятного ему,
чего и я хотел бы сам не знать.
Когда мы шли домой, под лунным светом
на кладбище поблескивали плиты,
и травы мерзлые искрились, и стеклянно
сияли серые замерзшие цветы.

Ветер

Под нервными порывами его
к земле прижались робко куропатки,
усталые продрогшие крестьяне
садятся потеснее к огоньку,
прислушиваясь к шуму облаков,
бегущих сквозь расщепы длинных труб
на крышах. Овцам не укрыться от него,
полям не спрятаться нигде,
а он весь день лютует да лютует,
воображению подобно проникая
под платье людям и в карьеров щели
зарядами настырного дождя,
который успокоиться не может,
пока в глухие стены не упрется,
и, многоглазо каплями сверкая,
в болотном торфе камни обнажает,
изрезанные ветром, будто кнехты
с намотанным на них причальным тросом.
Репей колючий он сгоняет в кучи,
пустой железной банкой громыхает.
И хоть подчас земную шкуру взрежет
лохмотьями случайный солнца луч,
на мир упорно нагоняет ветер
летучую задумчивую хмурь.

■ ■ ■

Полоска тающего снега
на планке поперек окна
членит простор земли, изрезанный
незаживающими шрамами карьеров,
куда беззвучные грузовики ныряют,
где так светло, как вечером в селенье,
хотя там никаких селений нет,
а чуть поодаль ястребы, сороки
и мыши полевые промышляют,
и городок раскинулся на склоне,
где над одним пустым, холодным домом
другой, еще унылей, громоздится.
Там, наверху,
остывший пепел на печных решетках
давно промок, и крыши прохудились,
как старые фуфайки.
Седая плесень на стенах
под светом изумрудами сверкает,
и одинокий, слабенький дымок
струится, в воздухе промозглом растекаясь.

Перевод Я. БЕРЛИНА

■

ЭМИЛ МАНОВ

Сын директора

РОМАН

Перевод с болгарского АЛЕКСЕЯ СОБКОВИЧА

8

Бывают дни, когда мне не хочется ничего делать. Даже читать. И я либо валяюсь в постели и играю с Пухом, либо выхожу из дому и брожу по улицам, просто так, без всякой цели. Остановлюсь где-нибудь на углу и смотрю, как движутся люди, машины, затем иду дальше. Брожу как во сне, и время течет мимо, не касаясь меня.

Сегодня именно такой день. Сейчас шесть часов вечера, что я буду делать до двенадцати, не знаю. Сижу возле столика перед окном и не могу себя заставить пальцем пошевельнуть. Даже сигарета не доставляет никакого удовольствия. Я неторопливо гашу ее в пепельнице, неторопливо думаю — и все больше о неприятных вещах. Противное это занятие — все время думать о неприятном, но стоит мне завестись, и уже не могу остановиться. Вот опять вспомнил про того Пирата, что был у Тани, и давай перебирать в памяти всякие досадные случаи; в конце концов прихожу к заключению, что жизнь моя — сплошное невезение.

Но почему я такой невезучий? Почему именно со мной случился этот скандал в школе, после которого до сих пор все идет кувырком? Почему во время солдатской службы все у меня не клеилось, как я ни старался, и в конце концов даже у старшины Караиванова опустились руки? Почему мне изменила Таня? Почему, в отличие от других, мне все дается с таким трудом, дорогой ценой или вообще не дается? Почему, почему, почему... И почему я без конца задаю себе вопросы, на которые не в состоянии ответить?

Просто человек не нашел себя, сказал бы дед. А вот Корешок будет твердить, что я веду себя не по-мужски. Ну ладно, не нашел я себя, но почему? Смешно...

Нет, лучше лягу да посплю. Только не спится мне—вот в чем беда. А чего это я без конца копаюсь в мрачных мыслях? Взять хотя бы папашу Апостола, ему ведь тоже не везет в жизни. И дяде Атанасу, хотя он уверен в обратном. И доктору Еневу. Однако люди живут, ни на что не жалуются и делают свое дело. Делают не хуже других.

Эта мысль несколько успокаивает меня, и я возвращаюсь в сегодняшний день, к папаше Апостолу.

Сегодня, после обеда, мы с Корешком пошли проведать его. Принесли ему большой арбуз, но не застали дома. Хозяин, старик пенсио-

---

Окончание. Начало см. в № 1.

нер, который возился во дворе с мотыгой, сказал, что тот ушел в аптеку за лекарствами. Доктор разрешил ему выходить только во двор, а он ни в какую, мне, мол, лучше знать, здоров я или нет, и отправился в аптеку.

— Я сам хотел пойти, но он настоял на своем, занимайся, говорит, своей грядкой... Вы заходите, ребята, подождите его.

Хозяин, плюгавенький человечек со слезящимися глазами за стеклами очков в проволочной оправе, без конца вытирал то нос, то губы большим голубым платком с цветочками. На грядке росли крохотные огурчики в пупырышках. Чтобы их прогревало солнце, он отстранял зеленые листья и притрагивался к маленьким плодам, как к новорожденным котятам, осторожно и нежно.

Теми же масштабами отличалась и его хибарка — приземистая, с небольшими искривленными оконцами, снаружи побеленная. В открытую дверь на нас пахнуло застоявшимся воздухом и одинокой старостью. Под ногами скрипели прогнившие половицы. Комнатушка папаши Апостола напоминала своими размерами Зоркину, только казалась более пустой и убогой. Кровать, столик, покрытый синим картоном, два грубо сколоченных стула цвета яичного желтка. На полу — обветшалые лоскутные дорожки. На столе — маленький радиоприемник, пузырьки с лекарствами, кусочек брынзы на клочке бумаги и буханка хлеба. Пол, как видно, не подметался, по углам и на потолке висела паутина.

Положив арбуз на стол, Корешок посмотрел вокруг и тихо выругался.

— Сколько старик платит за эту комнату? — спросил он у хозяина.

— А, десять левов, только для видимости,— с усмешкой ответил хозяин.— Мне с ним веселей, присматриваем друг за другом. Иначе на что мы теперь годны? — Он громко высморкался в платок и горестно вздохнул: — Старость не радость... Хибару эту скоро снесут. Поселят нас с Апостолом в новом доме, если будем живы...

Он потоптался вокруг нас, щелкнул раз-другой по арбузу, взглянул на него поверх очков.

— Зрелый, а вот сладкий ли он... Мы с Апостолом давно знакомы, на фабрике вместе работали перед войной. Я матрицы готовил, а он лупил молотом... Это он в последние годы так сдал. У него был дом у Хаджи Димитра, получше моего, с обстановкой. Но, когда сын, закончив учение, женился, Апостол все продал, не хотел, чтобы тот шел к жене с пустыми руками... Да и зачем он, дом с мебелью, таким, как мы? На том свете обойдемся. Для молодых это нужней.

Он засмеялся хитрым смешком, как будто ловко обманул кого-то, и поплелся к своей грядке. Корешок покосился в мою сторону и что-то буркнул себе под нос.

— Ты о чем?

— Не знал, что у папаши Апостола есть сын.

— Есть. Инженером на заводе в Шумене работает.

Корешок снова что-то выдал в сердцах, после чего вышел из комнаты и тут же вернулся с веником в руке. Он подмел пол, снял паутину, даже одеяло поправил на кровати. Потом мы вышли во двор. Сели на скамейку покурить, а бедный старичок рыхлил грядку и рассказывал нам, как он когда-то построил эту хатенку на захваченной у городской общины земле. Построил с помощью друзей, таких же бездомных, как он. За одну ночь соорудили стены и крышу, главное с крышей надо было успеть, а не то приезжали пожарники и разрушали незаконные постройки. Тут, в этих местах, с пожарными и полицией велись настоящие сражения. Но он сумел за ночь поднять чере-

пицу, а на другой день к обеду все было готово. Да и рабочие депутаты в те времена заступались за бедняков, бывало, такой шум поднимут в Народном собрании, что властям деваться некуда.

— Так-то, ребята, зубами приходилось вырывать свое из рук богачей. Они с одной стороны, а мы с другой — чья возьмет... Бедняку, ему все нипочем, из любого положения найдет выход. А? — Он подмигнул нам и снова засмеялся своим хитрым смешком.

Мы прождали более часа, а папаши Апостола все не было. Хозяин сказал, что у старика есть приятель за мостом — может, он к нему заглянул. Мы собрались уходить, хозяин проводил нас до ворот.

— Обидно,— сказал старик,— Апостол очень расстроится. Все про вас да про свой вокзал толкует, как будто пуповиной связан с этим вокзалом. Приходите еще.

— Передайте ему привет от Корешка и Пешо.

— Передам.— Старик вытащил большие карманные часы с потемневшей крышкой.— Подумать только, пять часов. Пойду разыскивать его, не застрял ли где-нибудь в пути.

Мы долго молча трясемся в трамвае. Прислонившись головой к стеклу, Корешок уставился глазами на улицу и время от времени с ожесточением трет свой длинный нос — явный признак того, что он очень злой. На площади Бабушки Недели он кивает мне на прощанье и собирается сесть на «единицу», идущую в сторону Ивана Вазова, но поворачивает обратно.

— Я тут кое-что соображаю... Слушай, папаша Апостол переписывается со своим сыном?

— Говорит, что переписывается. А что?

— Давай-ка и мы напишем ему письмецо, этому сыну, а? Пару горячих слов... Ты образованнее меня, мог бы сочинить?

— Могу. Только адреса не знаю.

— Спроси у старика, на каком он заводе работает, этот...— Корешок закончил крепким словцом и вздохнул:— Мне что-то совсем неохота идти домой... Может, нам завалиться куда-нибудь и смочить горло?

Но я не испытывал такой потребности. Стоит начать, и я надерусь до чертиков, а мне это ни к чему. Не помогает. Что за удовольствие. Куда приятней поразмыслить над чем-нибудь или почитать что-нибудь стоящее.

Корешок все же сел на «единицу», а я вернулся домой и заперся в своей комнате.

Надо поскорее добраться до вокзала. Улицы опустели, идет дождь, не особенно сильный, но от этого не легче; трамваи и троллейбусы давно стоят в парках. Неплохо бы поймать такси, но они попадаются очень редко и все заняты — разъезжаются по домам последние гуляки. Ничего не поделаешь, придется совершить трехкилометровый бросок.

Когда мне уходить на работу, дома все спят, даже разбудить меня некому. А в этот раз я забыл завести будильник и вот проспал. Сейчас половина третьего. Помшеф Ненов, должно быть, уже совсем извелся. Работы невпроворот, а Шеф в отпуску, и папаша Апостол болеет. У Студента летняя сессия. Остались только Шатала с Корешком, так что ничего удивительного, если Ненов, забыв о своих почках, бросает кипы.

Подняв воротник куртки, пускаюсь бежать. В кармане шуршит газета, в которую завернута еда. Пока я намазывал маслом хлеб и нарезал колбасу, на кухне появился дед в пижаме, с сигаретами в ру-

ке. Он присел на корточки у электрической плитки и закурил. Прежде здесь стояла обычная кухонная плита, и он любил сидеть ночью на корточках у открытой дверки: жар согревал ему лицо, и он выдыхал в печку табачный дым до тех пор, пока не начинало клонить ко сну. У него это вошло в привычку. Когда страдал бессонницей, он приходил на кухню, закуривал и погружался в свои мысли.

Дед обрадовался, увидев меня:

— Ты все еще здесь?

То, что я опаздываю на работу, его нисколько не волнует, хотя другой раз в подобном случае он стал бы читать нравоучение. Дед начал рассказывать о том, как сегодня случайно встретился со своим старым приятелем, с которым вместе находились в концлагере Эникёй, о том, каким он был в ту пору и каким стал сейчас, и что они друг другу наговорили. Приятель был брюзга, брюзгою и остался: наплодилось, дескать, много подонков, карьеристов, приспособленцев — что думали, а что вышло. И все в таком духе.

— Как будто ему выдали подписку, что все будет именно так, как думалось,— сердито заметил дед.— Жизнь она есть жизнь, всякие люди рождаются, говорю ему, не одни только ангелы. Нет, говорит, ты мне ответь, ежели ты марксист, почему плодятся подонки... Стареем мы, Петьо, вот в чем беда. Все нам не так, на урода все неугода. Так он мне разбередил душу, что до сих пор не могу уснуть.

Мне стало смешно. У деда с его приятелями, как он часто повторяет, своя волынка. Мне не раз приходилось слышать, как они разговаривают на скамейке в городском саду — все об идеях толкуют, и такие страсти разгораются между ними, как будто от них зависит, чему быть и чему не быть.

Я вижу, деда не переслушаешь, и скорее бежать. Он был весьма разочарован.

— Чего зря пороть горячку, все равно опоздал. Пятью — десятью минутами больше... Извинишься там, пустишься в самокритику,— продолжал с усмешкой дед.

Волынка — дедово словечко. Когда он его произносит, у меня такое чувство, что ему и грустно, и смешно в одно и то же время и больше всего он смеется над самим собой. Чудной старик.

Дождь прошел полосой. За площадью Ленина уже сухо. Слева огромная статуя Ленина, рука вождя обращена к Партийному дому и городским кварталам, вся его фигура устремлена вперед. Над городом низко спустились тучи, и освещение придает им красноватый оттенок. Душно. Сняв куртку, я иду быстрее, и мои шаги глухо отдаются в темных окнах зданий. Словно в каком-нибудь фильме, где одинокий путник шагает в ночи, не подозревая, что́ его ждет впереди. Молчаливые витрины бросают на мостовую световые дорожки, бегущие к противоположному тротуару, маленькие тупиковые улочки ограждены полумраком, и я пересекаю их, пересчитывая в уме: одна, две, три... Но им нет конца.

Первый, кого я вижу у туннеля перед экспедицией,— папаша Апостол. Я останавливаюсь от неожиданности, мне как-то не по себе, даже сердце забилось в груди, а он вместе с Шаталой безостановочно бросает тяжести в плетеный кузов электрокара. Я не верю своим глазам, ведь сегодня его хозяин сказал, что доктор разрешил ему прогулку только по двору. Заметив меня, папаша Апостол выпрямляет спину и, усмехаясь, вытирает лоб и усы.

— Ну, здравствуй, Пешо. Арбуз оказался что надо! Красный как кровь, премного благодарен.

Я жму его руку, широкую и костлявую. Пальцы искривлены, не

могут прижаться друг к другу, суставы от тяжкой работы и артрита сделались уродливыми.

— Ты про арбуз брось,— говорю ему.— Пришел-то зачем?

— Надоело валяться,— смеется он.— Думаешь легко лежать пластом после того, как ты всю жизнь ишачил?

От него попахивает ракией и чем-то кислым. И не лицо у него, а одни скулы; глаза светлее, чем обычно, в них играют веселые искорки. Прежде он никогда не пил перед работой.

— Папаша, слишком рано ты приложился. Тебе же запрещено.

— Верно, запрещено, но я самую малость, перед тем как уйти из дому. Для бодрости. Ты почему опоздал?

— Проспал.

— Ненов ходит сам не свой,— усмехается папаша Апостол.— Остались Корешок и Шатала, и у него душа ушла в пятки. Плакали наши премиальные, говорит, могут еще и зарплату скостить.

— Вчера хвалился, будто подоспела его очередь получать «запорожца»,— говорит Шатала.— Пришлось в кассе взаимопомощи брать. Ты, папаша, ступай к нашим женщинам, передохни немного.

— Рано еще.

В туннель врывается Корешок на втором электрокаре. До сих пор мы работали с ним вдвоем. Он направляет машину в мою сторону, я шарахаюсь к стене, но ему все же удается меня задеть. Спрыгнув, он тут же закуривает.

— Я сказал, что ты тоже заболел. Где тебя носило?

Объясняю, где меня носило, он чешет в затылке и глядит насупившись. Потом обращается к папаше Апостолу:

— Давай-ка теперь топай домой.

— Ну вот,— возражает папаша Апостол.— Раз уж я пришел, побуду до конца смены. Ничего со мной не случится.

Ничего с ним не случится, но уже сейчас по лицу его и шее струится пот, ворот хлопчатобумажной куртки хоть выжимай. И на спине темные мокрые пятна. Только, раз уж он задумал остаться, убеждать его бесполезно. Зная это, Корешок кивает в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Шатала с папашей Апостолом уезжают с полным электрокаром, а я взбегаю наверх. В конторке застаю Ненова — заполняет билет спортлото. За опоздание меня не упрекает, но торопится спрятать билет.

— А, хорошо, что ты пришел.

— Начальство,— говорю,— папаша Апостол очень плох, отправь его домой, пускай ложится в постель.

— А по-моему, он поправился.

— Где там поправился. Скажи ему, пускай уходит.

— Ну, ладно, велика важность...

Я бегу вниз, и мы с Корешком начинаем грузить. В эту ночь мы узнаем, почем фунт лиха. Швыряем вороха газет как очумелые, электрокары со свистом носятся по перрону; поглотив груз, поезда отбывают один за другим, а мы снова и снова летим к экспедиции, даже покурить некогда. Корешок и тот выбился из сил и что-то бубнит с досадой. Сказал Ненов папаше Апостолу, нет ли, но старик не ушел, и мы оставляем его в экспедиции — все чуть-чуть передохнет между двумя электрокарами. На рассвете Зорка принесла ему бутылку лимонада, и он время от времени смачивает губы. Еле держится на ногах, но кажется веселым, шутит:

— Ну-ка, давайте, бычки! Крепитесь, задохлики!

— Ты хоть помолчи, дедусь,— подает голос Корешок.— Только свекрови нам тут не хватало...

— Как погляжу, какие вы копуши...

Уже утро. Остается загрузить последний поезд, варненский скорый, мы с Корешком закуриваем, и я медленно веду пустой электрокар между снующими по перрону пассажирами. Навстречу мчат Шатала с Неновым, который, как видно, пришел помочь под конец. В туннеле перед экспедицией на двух кипах газет сидит, опершись о стенку, папаша Апостол. Голова запрокинута назад, под свисающими желтоватыми усами зияет раскрытый рот. Старик весь как-то наклонился в сторону, пальцы правой руки упираются в пол. Спит.

Мы с Корешком начинаем грузить. Это последняя куча, нам хочется все это вместить в два кузова, чтобы больше не возвращаться. Всячески стараемся не разбудить папашу Апостола, но под конец приходим в растерянность — остались две кипы, на которых он сидит. Корешок осторожно трогает его за плечо:

— Папашенька, вставай. Потом будешь спать, дома...

Вместо того чтобы проснуться, папаша Апостол сползает странным образом со своего импровизированного сиденья, наклоняется еще больше и плюхается лицом прямо на бетонный пол. Мы бросаемся поднимать его, он виснет на наших руках, глаза помутнели.

— Пешо, что с ним такое? — испуганно спрашивает Корешок и все еще силится закрепить старика на кипах газет.— Беги вызывай «скорую помощь».

В туннель на пустом электрокаре въезжает Шатала. И Ненов с ним.

— Что такое, ребята?

— Вот что,— обрывает его Корешок.— Доктор нужен. Звони в Пироговку.

Ненов тоже испугался, даже больше нас. Он прямо-таки остолбенел, глаза навыкате, губы дрожат. Сорвавшись, наконец, с места, бежит в конторку.

Вокруг нас уже толпятся женщины из экспедиции, служащие вокзала, какой-то посторонний.

Мы укладываем папашу Апостола лицом кверху на большие листы оберточной бумаги. Лицо у него без единой кровинки. Есть что-то печальное и страшное в этом лице с широко раскрытым ртом и закатившимися глазами. Стоящие вокруг женщины охают и тихо шушукаются под свирепым взглядом Корешка. Мужчины молча переглядываются.

— Пешо, давай попробуем искусственное дыхание,— неуверенно предлагает Корешок.— Надо же что-то делать...

— Его нельзя трогать.

Это-то мне хорошо известно — при больном сердце человеку нужен покой. Зорка приподымает голову папаши Апостола, и я засовываю под нее его куртку и кепку. Потом опускаюсь на колени и, взяв его левую руку, пытаюсь нащупать пульс, но безуспешно. У меня дрожат руки, сердце колотится так, что я не могу понять, мой пульс бьется под пальцами или его. Пульса нет... Затаив дыхание, снова ощупываю его запястье, силясь обнаружить ток крови, биение жизни в этой крупной темно-желтой руке, изувеченной еще в молодости, с синеватым обрубком вместо мизинца. С моего лба скатывается капля пота. Пульса нет... Хотя есть! Есть! Слабый, затихающий, еле ощутимый пульс — но есть, я не ошибаюсь!

— Есть! — слышу свой собственный голос и вскакиваю на ноги.

Прибегает запыхавшийся Ненов:

— Позвонил в Пироговку. Сейчас приедут.

— Приедут! — сердито звучит чей-то мужской голос.— А почему не позвать нашего врача?

Это Василев, секретарь парткома. Кареглазый мужчина с черной

щетиной на голове, всегда хорошо одетый и при галстуке. Не могу точно сказать, кем он работает, но знаю, что он секретарь парткома. В экспедицию редко наведывается, но вот зашел.

— Что с Апостолом?

— Припадок, товарищ Василев,— объясняет Ненов, застегивая пиджак. Он растерянно смотрит на Василева.— Чем-то болен...

— Раз человек болен, зачем разрешаете ему работать?

— Кто мог предположить, товарищ Василев. Я хотел освободить его от работы, но он ни в какую...

Ненов разводит руками, как человек, который сделал все, что мог. Василев молча вынимает из кармана пачку «Родоп» и закуривает.

Из привокзального медпункта прибегает врач в сопровождении Корешка. В ту же минуту прибывает и врач «скорой помощи» с санитарами и носилками. Наш уже склонился со стетоскопом над папашей Апостолом. Все мы стоим в оцепенении, даже шепота не слышно. Только снаружи доносится шум с перрона и тяжелый грохот локомотива.

— Кома,— говорит наш врач и выпрямляется.

Он еще что-то сообщает по-латыни врачу «скорой помощи», и тот подает знак двум санитарам. Они кладут больного на носилки, поднимают их и удаляются осторожно, мелкими шажками. Как будто несут динамит.

Мы с Корешком выбегаем следом за санитарами, но они уже заталкивают носилки в машину «скорой помощи». Дверки захлопываются.

— Так-то,— тихо говорит Корешок.— Отдал концы наш старик.

Нет. Папаша Апостол живуч, так просто он не отдаст концы.

Десять — пятнадцать минут спустя толпимся в крохотной конторке на втором этаже — трое из бригады, Зорка и пожилая женщина из экспедиции, а Ненов набирает номер телефона. У него страшно усталый вид, лицо вытянулось, галстук сполз набок. Но он продолжает вращать диск телефона, и мы слышим сердитый голос дежурной сестры, которая предлагает ему позвонить в обед. Он тоже выходит из себя. Кричит сестре, что это ее обязанность — давать справки о больных, а не вертеть задом и что, если ей лень сходить узнать, он будет звонить главному врачу. До того раскричался в трубку, никогда я не видел его таким. И Ненов начинает мне нравиться. Корешок и тот одобрительно кивает, глядя на него. В конторке так накурено, что не продохнуть.

Наконец, в половине одиннадцатого, сестра сообщает из Пироговской больницы, что папаша Апостол пришел в сознание. Мы вздыхаем с облегчением. Ненов, кажется, счастливее всех. Он поправляет галстук, причесывается и смотрит на нас с победоносной улыбкой, будто это он спас папашу Апостола. Ничего, пускай. Вовсе он не такой эгоист, как может показаться, и я уже жалею, что так плохо о нем думал. Кто из нас без недостатков?

9

Вчера вечером зашел к нам в гости дядя Атанас. И очень кстати, потому что настроение в доме было ниже нуля. С утра пришло письмо от Димы, из которого следовало, что она в этот раз не приедет на каникулы, так как ей хочется получше подготовить свою дипломную работу, и прибудет домой на недельку-две лишь к Новому году. Вернувшись с работы и прочитав письмо, отец помрачнел и тут же включил телевизор — так он всегда поступает, когда не хочет ни с кем

разговаривать. Он с Димой так же хорошо понимают друг друга, как мы с мамой. Мама тоже расстроилась и ушла на кухню готовить ужин. Я сразу почувствовал себя лишним и стал ломать голову над тем, куда бы мне податься, прежде чем позовут к столу, но тут нагрянул дядя Атанас.

Он всегда появляется очень кстати. Есть такая категория людей — когда бы ни пришли они, всегда кстати. Мне думается, что если бы дядя Атанас отправился в гости к далай-ламе или к американскому президенту, он и там был бы весьма кстати, и никто бы не посетовал на его присутствие. В этот раз он приволок четыре бутылки пльзеньского пива, гарусов и других рыбных деликатесов (опять удружил приятель, работающий в соответствующем магазине) и, еще не успев переступить порог, заявил, что ему не терпится угостить нас. Отец с усмешкой спросил, было ли когда-нибудь по-другому, а мама задержала на нем пристальный взгляд.

— Не иначе надумали пожениться с Киной?

Дядя пожал плечами, шевельнул мясистым носом и молча вытащил из кармашка золотую «Омегу». Крышка часов отскочила, прозвучали первые такты арии тореадора, исполняемой на хрустальных колокольчиках.

— Дядя Атанас, как же вам удалось их найти?

— Петьо,— сказал дядя Атанас,— могу дать тебе один совет: если хочешь что-то найти, не ищи, само найдется.

— Ну ладно, а все-таки? — говорит отец.

Дядя Атанас попросил у мамы консервный нож и, открывая банку с гарусами, пояснил:

— В тот раз я палец о палец не ударил. Только сказал одному из ребят, что потерял часы. Мои часы в общежитии знают все до одного...

— Еще бы не знать,— засмеялся отец.

— Добавил еще, что это память о покойной жене, больше ничего... Да! А сегодня возвращаюсь после обеда к себе, чтобы подремать немножко, как велит Магомет своим правоверным. Гляжу, что-то блестит на тумбочке. Вот те на!

— Дядя, все это звучит...

— Может, и звучит, но факт остается фактом. Вот они.— Он снова вынул часы, повертел их у меня перед носом и спрятал.— Говорил же я вам, что у меня не ребята, а золото. Хорошо, что не взял грех на душу и не заявил в милицию.

Сели ужинать. Дядя Атанас подливал всем пива и развивал какую-то сложную и довольно путаную психологическую теорию, которая, похоже, только что пришла ему на ум. Мама подкладывала на его тарелку одну котлету за другой, и он, увлеченный своим философствованием, машинально все их поглощал. Опомнился только на шестой или на седьмой:

— Ленка, ты решила меня погубить... Есть еще?

Мама изъявила готовность поставить сковороду на плиту, но он воспротивился:

— Не надо! Ты пойми, я ем, чтобы жить, а не наоборот. Во всяком случае, нынче ночью в буфет не полезу.

В коридоре зазвонил телефон, и отец вышел из комнаты. Поначалу он говорил тихо, потом стал повышать голос, и мы невольно прислушались:

— Нет. Тебе хорошо известно, что оцинкованной проволоки у нас на заводе не делают... Не доставляем, она нам ни к чему... Да... Не могу сказать, где найти... В некоторых артелях производят такие сетки... Нет, не могу тебе помочь.

Отец с треском повесил трубку и вернулся за стол красный как рак. Одним духом он выпил остаток пива. В такие моменты только мама осмеливается говорить, и она спросила у него, кто звонил.

— Миленков из объединения,— сердито ответил отец.— Дали ему старого железа на ограду виллы, а теперь подавай проволоку этому кретину...

— Ты дал ему железа?

Мне бы лучше промолчать, но вопрос сам слетел с языка. Я помнил, как презрительно отец ответил мне весной, когда я поинтересовался, дадут ли они ему железа, этому Миленкову: «А ты как считаешь?» Сейчас к нижней губе отца прилип листочек петрушки из салата, и мне ужасно хотелось протянуть руку и смахнуть этот листочек. Так хотелось, что я отвернулся, чтобы не глядеть на него.

— Дал,— сказал отец, и голос его прозвучал неожиданно кротко.— Цонков настоял. Как говорится, в интересах дела.

— Кто он такой, этот Цонков? — спросил дядя Атанас.

— Мой главный инженер.

— А, помню,— сказал дядя Атанас.— Однажды застал его тут. Производит впечатление... Послушав его, я уже тогда подумал, что он метит на твое место.

— Ты так думаешь?

— Черт бы его побрал,— сказал дядя Атанас.— Деловой человек. Я их узнаю, деловых людей, по голосу, по жесту. У твоего главного инженера большое будущее.

— Надо полагать,— ответил отец.— Очень способный малый. Я настаивал, чтобы его назначили вопреки тому, что он слишком молод. Мы должны готовить смену.— Отец помолчал какое-то время.— Выпьем еще малость? Лена, в холодильнике есть бутылка белого.

Я ни разу не взглянул на него, пока длился этот диалог, но был вполне уверен, что он говорит с усмешкой. И именно поэтому старался на него не глядеть. Под предлогом, что мне надо поспать перед работой, я встал и ушел к себе. Еще долго были слышны разговоры и смех. Громче других звучал голос отца.

Но не это мешало мне уснуть. Голоса людей обычно мне не мешают. Просто думал об отце, об этом «А ты как считаешь?», о его убогом детстве, о петле, которая висела у него над головой, когда он был схвачен полицией. Тогда он не уступил, кончилось тем, что ему дали пять лет тюрьмы, и даже переписываться он мог с дедом, сидевшим в лагере Эникёй. Дед и поныне хранит его письма и как-то раз показывал их мне. Умные, веселые. В них речь шла только о домашних делах, иначе бы они никогда не дошли до адресата, но нетрудно было догадаться, что там, где говорилось о здоровье бабушки и брата, имелось в виду совсем другое, нечто более важное. Читая их, я диву дивался, как можно было сохранять такую бодрость, находясь в тюрьме.

Лежа на спине, я слушал доносившийся из кухни голос отца и сравнивал его с голосом тех писем. Без особого повода. Я вполне сознавал, что случись такое не с отцом, а с кем-нибудь другим, мне, как говорится, было бы наплевать: старое железо, за которое, кстати сказать, человек заплатил, чтобы устроить ограду на своей вилле... Иные дела именно так и делаются, как выразился инженер Цонков. Но ведь отец когда-то писал те письма, заочно инженерию изучил за счет недосыпания и собственного здоровья, только его железный организм позволил ему выдержать такую нагрузку. И потом, совсем недавно, не кто иной, а именно он сказал, презрительно выпятив нижнюю губу: «А ты как считаешь?»... Теперь отец хохочет там, на кухне, наверно, над чудачествами дяди Атанаса или, может быть, инженера Миленкова с его дачной оградой, а я укрылся с головой, чтобы не слышать

этого хохота... Опять меня посетила моя болезнь — когда я не в состоянии слышать ни людского смеха, ни даже шепота...

Я отбросил одеяло. Пух испуганно мяукнул и спрыгнул на пол. Встав, я распахнул окно, чтобы меня продуло ветром. Ночь была теплая и безветренная. В противоположном доме в окне на уровне моего, за опущенными занавесками танцевали сгибающиеся тени. Они то исчезали, то вырисовывались более отчетливо. В сущности, весь дом был освещен, еще не было и одиннадцати, и я стоял и всматривался в каждое окно. Ночной город всегда изумлял меня своей пестротой: зеленые, красные, синие, желтые, оранжевые, фиолетовые, серебристые, золотые окна, каких днем никогда не увидишь. Но лишь в том окне, на уровне моего, были видны танцующие тени.

И хорошо люди делают, что танцуют. Потом будут пить коньяк или вино, нежно ласкать друг другу руки, пойдут в соседнюю комнату. Очень хорошо делают... Даже если кому-нибудь придет в голову выброситься в окно...

Наверно, я был пьян. От чего? От двух стаканов пива? Это рассуждение отрезвило меня, и я сказал себе, что, по существу, в той истории со старым железом нет ничего особенного. И если бы железо отпустил кто-то другой, а не мой отец с его презрительной, с убийственно презрительной нижней губой, я уже давно безмятежно спал бы, как младенец. Почему я принимаю все это так близко к сердцу?

Может быть, потому, что и со мной случилось нечто подобное? Определенно. Только тогда я был еще слишком мал, чтобы рассмеяться и снова сесть за парту. Слишком мал — еще только в десятом учился или достаточно взрослый — уже был в десятом классе, во всяком случае, воспринял случившееся трагичнее, чем оно того заслуживало. Не хотелось поднимать с пола сигарету в школьной уборной, а поднял... В сущности, это было вполне естественно. Ставрев выполнял свой долг, на его месте любой учитель поступил бы, наверно, точно так же, но в тот момент меня словно подменили и я забыл, каким был прежде. Может быть, ничего во мне не изменилось, только я не припоминаю, чтобы раньше меня мучил страх оттого, что я ненароком споткнусь, или меня кто-нибудь внезапно огреет дубиной. Это чувство у меня появилось именно тогда, а не позднее, когда я ходил с повязкой на глазу после злосчастной стружки.

Все началось с того, что я поднял с пола в школьной уборной грязную, уже намокшую сигарету. Мы курили втроем у писсуара, выпуская дым в открытое окно. Один наш дружок стоял у входа на страже. Но, как видно, отвлекся, потому что Ставрев, учитель физики, вошел совсем неожиданно. Двое других ребят успели выскользнуть, а я заметил учителя слишком поздно, когда он, подбоченясь, уже смотрел на меня в упор. Я не испугался, только было стыдно и унизительно, и бросил сигарету на пол. Он смотрел спокойно еще какое-то время, потом сказал с тем же спокойным видом: «Подними сигарету». Я не пошевельнулся. «Подними сигарету»,— повторил Ставрев, не повышая голоса. У меня потемнело в глазах. Мне казалось, что я сейчас упаду, или ударю его, или закричу. Если бы он сделал хоть какое-то движение или повысил голос, что-нибудь да случилось бы... Но он стоял руки в боки и только смотрел на меня. Я нагнулся и поднял сигарету. Тогда Ставрев взял меня двумя пальцами за рукав куртки, выше локтя,— двумя пальцами, как берут грязную тряпку,— и повел. И я пошел. Теперь он мог вести меня куда угодно. Я шел по коридору с мокрой сигаретой между пальцами. Нес ее осторожно, не зажимая, чтобы она не распалась в моей руке. Боялся, чтобы из нее не высыпался табак на сверкающий пол школьного коридора, а Ставрев по-прежнему держал меня двумя пальцами за рукав и так привел в класс. В наш класс.

Я никого не видел из товарищей, смотрел себе под ноги. Ставрев подтолкнул меня, чтобы я встал на возвышение, к черной доске, шагнул ко мне и поднял все теми же двумя пальцами мою руку, в которой была сигарета: «Ученики, перед вами ваш товарищ Клисуров. Поглядите на него хорошенько». Он отошел в сторону... Я бросился на улицу.

Какой сейчас была бы моя жизнь, не случись этой истории? Этой глупой, нелепой истории!

Самое смешное заключалось в том, что тогда я еще не курил. Закурил просто так, шутя, ради удовольствия нарушить запрет. Мокрая, грязная сигарета, которую я поднял с пола, была моей первой сигаретой.

Так как двоих нас не пускают, Корешок уступает мне, а сам остается ждать во дворе. Нам впервые разрешили навестить папашу Апостола.

В небольшой палате двое больных. Папаша Апостол полулежит. Голова потонула в высокой подушке, руки, высунувшиеся из рукавов синей больничной пижамы, покоятся на одеяле. Одни только кисти, широкие и желтые, а выше их как будто ничего нет. Лицо совсем стаяло, свисающие усы да глаза, голубые ясные глаза папаши Апостола, которые улыбаются мне навстречу. Из-под одеяла выступает нога — щиколотки не видать, вся ступня распухла и похожа на желтую дыню.

У него уже сидит посетитель, молодой мужчина в красивом сером костюме. На коленях держит аккуратно сложенный плащ и фетровую шляпу. Мужчина сидит у изголовья больного ссутулившись, хотя сам он рослый и сильный; когда я здороваюсь с больным за руку, он внимательно следит за мной прищуренными глазами.

— Пешо, познакомьтесь. Это Траян,— говорит папаша Апостол.

Говорит тихо, как всегда, только с одышкой и время от времени жмурится. Мужчина, чуть привстав со стула, подает мне руку:

— Веселинов.

Я сразу догадался, что это сын. Положив кулек с грушами на белую тумбочку, присаживаюсь на белую деревянную табуретку. Сын неловко молчит, шевелит плечами и хмурится — в этом движении есть что-то от папаши Апостола. И в глазах — светло-голубых и сосредоточенных, со слегка воспаленными веками, как будто от недосыпания.

— Заканчивайте свой разговор,— говорю я, вставая с табуретки.— Я могу и на улице подождать.

— Оставайся, у нас секретов нет,— говорит папаша Апостол и поднимает руку.

Сын, явно недовольный, вертит в руках шляпу. Я отхожу к окну и смотрю в сад, где сидят больные со своими посетителями. По аллеям снуют врачи и сестры в белых халатах. Но все мое внимание — в палате. Может быть, потому, что там сидит сын папаши Апостола, сын, которого он не видел четыре года. Молчание давит на мои плечи так, что я физически ощущаю его тяжесть. Мне все же надо было выйти.

— Вот так, папа,— произносит сын,— ты поправляйся. Через месячишко я снова приеду, теперь у меня будут частые командировки в Софию.

— Когда ты приедешь?

— Думаю, месяца через полтора. Тут должно состояться одно совещание... Как встанешь на ноги, я возьму тебя в Шумен, поживешь немного в провинции.

— Что об этом толковать,— говорит папаша Апостол.— Ты обо мне не беспокойся.

— Приедешь к нам. Теперь есть где тебя устроить, мы с Катей купили новую квартиру.

— Что ж, хорошо. Поздравляю вас. Передавай привет Катеньке и малого поцелуй за меня. Привези его, когда выберешься в следующий раз... А?

— Ладно. Ты не тревожься, лечись.

— Привези его к дедушке. Сколько ему теперь?

— Я же тебе сказал, исполнилось пять. Большой уже, бесенок. Крепыш такой, все у него выше нормы.

— Смотри не забудь привезти его.

— Ладно, ладно...

Стульчик под сыном скрипит, и я оборачиваюсь. Перед тем как уйти, он склоняется над отцом и кладет руку на его лоб. В другой держит плащ и шляпу.

— Температуры у тебя нет,— говорит сын.— Поправишься.

— Известное дело... Ты не беспокойся, я крепкий как буйвол. Так, говоришь, месяца через полтора?

— Да. До свидания, папа.

Какое-то время он вертит в руках свою шляпу, как будто не решается уходить. Высокий, лицо смуглое, энергичное, щеки румяные. Лицо человека, который много трудится и любит поесть. Плечи и шея у него как у борца. Он еще раз наклоняется, хватает за руку папашу Апостола, бросает взгляд в мою сторону и, кивнув, уходит.

Я сажусь на его место. Папаша Апостол прикрыл глаза, дышит тяжело. В груди его что-то хрипит и клокочет, как худой насос. На другой койке, возле двери, больной протяжно стонет и снова утихает. Лица его не видно, оно обращено к стене. Только пальцы руки, откинутой за спину, приходят в движение и тут же замирают.

Папаша Апостол открывает глаза:

— Ну вот, добро пожаловать, Пешо. Притомился маленько... А ты как? Как там наши шалопаи?

Рассказываю ему про шалопаев: Корешок ждет во дворе. Вдвоем нас не пустили. Шеф вернулся из отпуска и в воскресенье придет его навестить, на место Студента взяли новенького, паренька из Горны Богров, Ненов получил уже «запорожца» и чувствует себя на седьмом небе, Шатала хочет жениться...

— Шатала? Жениться? — Папаша Апостол смеется своим глухим смешком и хлопает рукой по одеялу.— Нет, ты правду говоришь?

— Честное слово. Вчера ходил с девчонкой покупать свадебные причиндалы.

— Вот так Шатала, в голову не придет...— У старика признаки удушья, он тихо и бессильно откашливается. Лицо его становится лиловым.— И... и когда же свадьба?

Я прошу его не разговаривать, раз ему трудно. Мне долго задерживаться не следует.

— Побудь еще.— Он кладет руку мне на колено.— Дни и ночи с этим вот приятелем... Душа болит.

— Что с человеком?

— Селезенку у него оттяпали. Пропил бедняга селезенку,— улыбается папаша Апостол.— А может, и рак, кто его знает... Молчит, не ворочается, только охает время от времени. Наверно, наша с ним песенка спета.

— Ты выглядишь хорошо, поправишься,— вставляю я.— Зря вышел на работу, не закончив лечения.

— Зря. Ну как тут усидеть дома, ежели ты способен ходить?

И потом, пришел человек ко мне, умоляет. Так, мол, и так, Шефа нет, работать некому, положение безвыходное, выручай...

— Кто к тебе приходил?

— Ненов. Принес бутылку сливовой. Глазам своим не поверил. Ведь это же скряга, каких свет не видывал,— усмехается папаша Апостол.— И сам лизнул малость...

— Ненов?!

— Он, кто же... Слышь, приподними меня чуток, чтоб я мог повернуться на правую сторону, а то мне сводит спину.

Взяв больного под мышки, я приподнимаю его, помогая лечь удобнее. Он ужасно тяжелый, несмотря на то, что остались только кожа да кости, и я ощущаю страшную тяжесть в себе самом. Плюхаюсь на табуретку, словно меня кто-то хватил дубиной по голове. Ненов!.. Вот почему он так перетрусил, когда со стариком случился приступ.

— Мерзавец он,— бросаю я, и у меня перехватывает горло.— Ведь я же знал, что он мерзавец.

— Не говори так.— Папаша Апостол неодобрительно хмурится.— Человек как человек, печется о службе. Я сам виноват. Поддался на уговоры. Но как выпил, мне, понимаешь, сразу полегчало, я почувствовал в себе силу.

— Хорошенькое дело!

— Пройдет. Врачиха сказала, что через месяц меня выпишут. Только велит мне махнуть рукой на всякую работу, пришло время отдыхать. Не беда, Пешо. Буду обходиться пенсией, сын пришлет какой-нибудь лев...

— Поладили вы с ним?

— Ага... Да мы и не вздорили. Он у меня неплохой, снохе я чем-то не угодил... Как приехал в Софию, сам ко мне пришел. Уж как он меня нашел, ума не приложу, не знал, где работаю, где живу.

Папаша Апостол смотрит на меня, и его ясные глаза светятся радостью. А я молчу. Пускай думает, что сын сам к нему пришел. Раз тот и словом не обмолвился о нашем письме, мы с Корешком тоже будем молчать. Так лучше.

Папаша Апостол опять кашляет — долго и немощно, не хватает воздуха в легких. Лицо его краснеет. Я встаю, чтобы позвать сестру, но он, продолжая кашлять, машет мне рукой — не надо. Постепенно старик приходит в себя.

— Видать, плохи мои дела, Пешо.

— Поправишься. Раз врачиха сказала, что через месяц выпишут...

— Ага, когда-нибудь да выпишут.— Он шутливо подмигивает мне.— С твоим тезкой столкуемся на небе, говорят, будто он тоже любит виноградную... Чего мне бояться? Я не убивал, не грабил, чужим горбом не жил. Нечего мне бояться на том свете.

— Не знал я, что ты такой набожный,— замечаю с усмешкой.

— А, набожный. Ты видал когда-нибудь набожного голодранца? Но дело не в том... Я хочу сказать, что те, кто много имел и верховодил, пуще нашего боятся смерти. Они такой скулеж поднимут — не желаю, мол, умирать, мне так сладко живется, кому теперь достанется мое добро, кто станет заправлять всем... А таким, как мы, терять нечего. С нас взятки гладки, и жалеть нам не о чем. Я говорил хозяину на днях, говорил ему... Видал, что творится, худая память...

Он замолкает. Глаза его смотрят задумчиво, словно он жаждет припомнить, что говорил хозяину, но веки медленно опускаются. Желтоватые веки с синими и лиловыми прожилками. Устал папаша Апостол, ему бы надо поспать. Ему надо много спать, чтобы превозмочь эту усталость; я не могу оторвать глаз от его век.

В дверь заглядывает пожилая сестра, которая меня впустила. Она

хмурит брови и кивком дает понять, что пора уходить. Я встаю и склоняюсь над больным.

— До свидания, папаша Апостол.

— А!— очнулся он.— Ты уходишь? До свидания, Пешо. Ребятам нашим... большой привет передавай. Как очухаюсь, непременно приду к вам.

В коридоре сестра начинает меня отчитывать:

— Нельзя у него долго засиживаться. Разве я вам не говорила?

— Вы правы, виноват... Можно видеть лечащего врача?

— Можно. Доктор Спирова, она сегодня дежурит.

И сестра показывает мне на белую дверь. Стучусь. Доктор сидит за новеньким письменным столом и заполняет какие-то карточки. На ее лоб упала прядка черных волос. Она щупленькая и еще совсем молодая. Может быть, поэтому у нее такой серьезный вид. Что мне угодно? Я интересуюсь состоянием здоровья папаши Апостола. Кто я ему? Никто. В одной бригаде работали. Лицо врача делается мягче.

— Что вам сказать... Шансов мало.

— Так он плох?

Судя по ее лицу, по глазам, которые меня обшаривают с холодным вниманием, вопрос лишний.

— Я вам сказала... Полная декомпенсация, если вам известно, что это значит. Сердце у него как тыква. Да и возраст... Но, само собою понятно, не все еще определилось, всякое бывает... Завтра консилиум, может, тогда я смогу вам ответить более точно.

— Вы разрешите позвонить вам?

— Разумеется. Спросите доктора Спирову.

— Благодарю вас.

— А жалко,— говорит она, и ее худенькое лицо становится совсем обычным, не докторским.— Симпатичный старик. Никогда не жалуется, не капризничает. Сердечники обычно впадают в панику, а этот нас успокаивает. Все у него хорошо...

Добрая улыбка неожиданно преображает эту женщину, делает ее удивительно привлекательной. Я киваю. Еще бы, станет папаша Апостол капризничать. Эта умная женщина плохо знает людей, иначе не стала бы удивляться.

Поблагодарив ее еще раз, я ухожу. В саду меня встречает Корешок.

— Ну?

Ему достаточно моего взгляда, слова не нужны. Он дает мне сигарету и идет рядом, держа руки в карманах. Мы направляемся к трамвайной остановке.

— Куда пойдем? — спрашивает Корешок.

— В кафе у театра. Я обещал Кириллу встретиться с ним там.

На этот раз Корешок не противится. А по существу мне все равно, куда пойти, в это кафе или в другое. Главное, чтоб можно было выпить да побыть в таком месте, где достаточно шумно и где говорят о других вещах, более веселых, чем жизнь папаши Апостола. Он много трудился и много пил, поэтому сердце у него как тыква. Большущее, размякшее от ударов сердце. Усталое, едва пульсирующее...

Мы садимся в трамвай и едем в центр. Сойдем у Палаты Правосудия, а оттуда — пешком до кафе. Корешок опустил голову, ковыряет мозоли на руках. И на моих есть мозоли, я тоже начинаю их ковырять. И на руках папаши Апостола есть — застарелые, грубые мозоли, железные шарики, обтянутые твердой желтой кожей. Ножом руби, не разрубишь.

— Корешок, я видел сына папаши Апостола. Он был там.

— Ну?

— Ничего. Зашел проведать отца.

Корешок плюет под ноги. Какой-то гражданин в берете уставился на него возмущенным взглядом. Я мысленно советую гражданину не делать замечания. И он не делает, поворачивается к нам спиной.

— Пешо, мы выходим,— говорит Корешок и толкает меня к выходу.

Конечная остановка. Мы идем по улице Позитано, мимо Палаты Правосудия, и ее тень рождает у меня мысль, что иные дела, к сожалению, неподсудны. Иначе сына папаши Апостола следовало бы притащить сюда и осудить на пять лет принудительных работ на вокзале, чтобы он узнал, что означает быть грузчиком, и еще на пять — жизни в хибаре того хозяина, в полном одиночестве в жалкой клетушке... Догадайся Корешок, о чем я сейчас думаю, он бы, наверно, захохотал.

Сын папаши Апостола не дает мне покоя. Малый у него — заправский бесенок, все у него выше нормы. Возможно, но у него самого — ниже нормы. И у жены его. Вдали от них умирает старый человек. Умирает медленной смертью, пьет, обреченный на полное одиночество, и, чтобы находиться среди людей, ворочает двухпудовые тюки. Они не надышатся на свое дитятко и, уложив его в кроватку, жрут капусту со свининой и предаются любовным утехам, а тем временем старый человек сует в карман бутылку из-под лимонада с виноградной ракией, чтобы скоротать еще одну ночь среди людей. Все накапливалась боль в его душе, в его старческой душе, в предчувствии неизбежного, а папаша Апостол заботился о моем вывихнутом пальце, о Шатале, которому так хотелось иметь зажигалку... Им-то что, они в это время возвращались из театра. Как-никак люди образованные, культурные, радуются, когда на сцене во всех отношениях торжествует добро. Когда папаша Апостол выпивал из лимонадной бутылки последнюю каплю, они нежились в постели, и во сне им мерещился жареный поросенок. Или очередная рационализация, которая обеспечит им еще одно прекрасное лето близ Варны.

— Корешок, дай сигарету.

Он протягивает мне коробку «Арды»:

— Что с тобой?

Как ему объяснить, что со мной? Просто зол как собака. Никогда прежде не был так зол — даже после побега из школы. Только какая от этого польза. Бередить душу по поводу того, что ты не в силах исправить, все равно что сидеть на берегу и бросать камушки в воду. Плюх — и нет камушка. Вода смыкается над ним и утихает, будто ничего не было...

Корешок кладет руку мне на плечо, и мы шагаем в ногу, по-солдатски, только я совсем не чувствую себя солдатом.

Мы с Корешком садимся у окна, потому что снаружи все занято. Кафе гудит, как мотор на малых оборотах. Между столиками с ленивым достоинством плавают официантки, барменка за стойкой бесстрастно манипулирует разноцветными бутылками, повсюду дымятся чашечки кофе и сигареты. Обычная обстановка — знакомая и успокаивающая.

Я заказываю коньяк и кока-колу, Корешок — анисовку, после чего глазеем в окно: прохожие, разомлевшие от жары, красное здание театра с мифическими фигурами на треугольном фронтоне, часть белого здания Министерства обороны по ту сторону площади. Над раскаленной брусчаткой воздух золотистый и тихий. Мне хочется отки-

нуться на спинку и немного подремать, но табуретка без спинки; я тру глаза и оглядываюсь по сторонам. Кирилл и его компания отсутствуют.

За соседним столом сидят трое — черный, каштановый и русоватый. Шевелюры до плеч, рубашки навыпуск ярких расцветок с короткими рукавами, часы на блестящих браслетах. Вид у всех троих крайне растрепанный, не допускает и мысли о форменной одежде, а вот выражение лиц одно и то же: несколько досадливое, чуть-чуть насмешливое, как будто все в этом мире сущий пустяк. И голоса у них похожие: небрежно грубые, свободные от всяких забот, кроме заботы о том, чтобы оставаться небрежно грубыми. Каштановый что-то рассказывает о девушке, которая — как это ни смешно! — вздумала ему противиться, двое других то и дело бросают реплики,— что, мол, за невидаль, хватит нам заливать!— из которых следует, что с ними ничего подобного случиться не может; потом речь пошла о ком-то, кто устроился на радио, и теперь ему сам черт не брат; затем — об асах «Золотого Орфея» и о том, у какой певицы больше шансов стать победительницей конкурса. Исчерпавшись, они замолкают. Тем временем два женских голоса обсуждают у меня за спиной кинофильм «Козий рог», где показывают два половых акта — только всамделишных, честное слово, такое стоит посмотреть еще раз; а вчера вечером в ресторане «Берлин» какой-то пьяный, дурак дураком, вздумал раздеться до пояса, но официанты тут же выставили его на улицу; это что, вот начальничек наш удивил всех и вся, у него, как видно, шуры-муры с этой коротконогой из бухгалтерии, и что он в ней нашел, в этой уродине, хоть бы парик догадалась купить, а то укладывает свои жиденькие волосы мелкой волной, ха-ха-ха... И так далее.

Бросаю взгляд на часы — уже пять. Если в течение десяти минут Кирилл не придет, значит, с ним что-то стряслось. Обычно в пять часов он уже тут как тут.

— Не понимаю, что ты находишь интересного в этом кафе,— говорит Корешок.— Давай-ка допьем, что осталось, и пойдем. Мать снова расхворалась.

— Что с ней?

— Откуда я знаю? Веки и ноги отекли. Завтра повезу ее в поликлинику на исследование.

Допив содержимое рюмок, мы собираемся уходить, но тут появляется Кирилл. Не с Невяной, а с тем бородачом, с Даракчиевым. Кирилл аккуратно причесан и элегантен, как всегда — в белой рубашке, выглаженных брюках и в легких бежевых туфлях. За ним бодро вышагивает Даракчиев в синих выцветших джинсах, красной тенниске; в его черных глазах поблескивает смешок. Что ее связывает, эту пару?

Они усаживаются за наш столик. Знакомлю Корешка с Даракчиевым. Кирилл протягивает ноги, зевает, у него вид человека, уставшего от жизни. Двадцатитрехлетний старик с белым гладким лицом и темными бакенбардами, скучающе оценивающий публику.

— Почему ты один? — спрашиваю у него.

— Разве он один? — отвечает вместо него Даракчиев.— А я что, не человек?

— Я имею в виду Невяну.

— Мы поссорились с Невяной,— говорит Кирилл.

— Редкий проблеск ума у его милости,— комментирует Даракчиев, пряча усмешку в своих арабских усах.— Что может быть глупее повсюду таскаться с женщиной... Кики, у меня все горит внутри. Жара, ошалеть можно.

— Догадываюсь,— бросает Кирилл и машет рукой официантке.

— Я давно знаю, что ты умница. Нам платить не придется,

Кики угощает,— обращается Даракчиев ко мне с Корешком.— По случаю его вступления в фалангу бессмертных.

— Не болтай глупостей,— говорит Кирилл.

— Кики, в наше время скромность — порок... Вчера вышли его стихи,— поясняет Даракчиев.

— Это хорошо,— говорю я.— Поздравляю, Кирчо.

— Ладно, я угощаю,— смеется Кирилл.— Что вы будете пить со своим другом?

— Мы уже пили, угостишь в другой раз.

— Я тоже не хочу,— говорит Корешок.

— А я хочу. Мне виноградной евксиноградской,— поясняет Даракчиев,— если нет, согласен и на простую, только гони двойную порцию.

— Ты же пьешь анисовку,— говорит Кирилл.

— Разнообразие спасет мир,— усмехается Даракчиев.— Менять напитки то же, что менять женщин. Это вносит какую-то свежесть и снова будит у нас жажду.

Корешок смотрит на него с уважением, такие типы ему еще не попадались, но когда выяснилось, что Кирилл писатель, почувствовал себя стесненным.

Официантка приносит в бокале виноградную — привычки Даракчиева ей знакомы. Пропустив большой глоток, он на время замолкает в полной неподвижности, будто вслушивается в самого себя.

— Та-а-ак... Теперь можно и поговорить.— Он делает еще глоток.— Один крупный ученый сказал, что алкоголь — идеальная пища для поддержания духа.

— Кто он, этот крупный ученый? — усмехается Кирилл.

— Не могу вспомнить его имя, но, кажется, его зовут Даракчиев,— изрекает Даракчиев и первым смеется.— Друзья, вы почему не пьете? Не жалейте Кики, поэты народ богатый. Душевно, как утверждают некоторые... Кики, все же интересно, сколько ты получил за вдохновение?

— А другое тебя сейчас не интересует?

— Интересует. Я же сказал, что читал их, твои стихи, ничего, получается. Только...

— Что только?

— Ты не станешь обижаться, верно? Стихи хорошие. Мужественные, патриотические... Но мне кажется, ты перехлестываешь.

— Не понимаю. В каком смысле перехлестываю?

— По части любви к родине.

— Дарак, если говоришь серьезно, говори, пока не напился.

— К чему твое «пока»? Я всегда пьян... Я должен открыть тебе один психологический секрет.— Он наклоняется к Кириллу и хватает его за плечо, будто в самом деле что-то хочет сказать ему по секрету.— Когда женщина сверх всякой меры клянется мне в любви и без конца твердит, как она меня обожает, как умирает по мне и все такое прочее, у меня невольно возникают некоторые сомнения. Другое дело, если эта дама при каком-нибудь столкновении с... тяжелым грузовиком, к примеру, набрасывается на шофера, который на меня наехал, и начинает его колотить. Вот тогда я ей поверю.

— Понимаю,— говорит Кирилл и отстраняет плечо.— Ладно, мои стихи не произвели на тебя впечатления. Но имей в виду, что за такие аллегории ты можешь получить по морде.

— Вот уже и рассердился... Значит, ты лирик,— подмигивает мне Даракчиев и снова наклоняется к Кириллу.— Ну-ка, стукни, мне этого так не хватает, милый мой. Страсть как хочется, чтоб меня кто-нибудь стукнул, хотя бы в амфибрахий, и чтоб потом самому стукнуть

кого-нибудь, пусть в анапест, все будет какое-то оживление... Один скажет, что ведем себя неприлично, другой начнет аплодировать. А мы с тобой будем утешать себя тем, что за нашей дракой не кроется расчет и корысть, просто каждый защищает свою правоту...

— Постой, ты о каком расчете и корысти толкуешь?

Кирилл неожиданно отодвигает табурет и встает на ноги. Его рука пробегает по пуговицам рубашки.

— Кики, успокойся... Ты меня не понял.— Даракчиев растерялся, да и мы с Корешком тоже.— Я вовсе не хотел сказать...

— Я тебя отлично понял... Петьо, прости меня, я вас покину.— У него дрожит подбородок, он сует руку в карман рубашки и бросает перед Даракчиевым пятилевовую бумажку.— Расплатишься за ракию. А если еще раз придешь ко мне домой, я тебя выгоню.

И идет к выходу.

— Кики, погоди,— кричит Даракчиев ему вслед.— Кики!

Он поднимается со своего стульчика, чтобы его догнать, но, поколебавшись, остается на месте. Достает из кармана деревянный мундштук с двумя колечками на конце и долго всовывает в него сигарету.

Мы с Корешком сидим как в воду опущенные. Я ничего не могу понять и не знаю, как поступить. Встать и уйти было бы глупо, мне Даракчиев ничего плохого не сделал. И обида Кирилла мне непонятна, у этого и в самом деле не было никаких задних мыслей. Остаться — но мне это казалось нечестным по отношению к Кириллу. Глупая история.

— А, ничего.— Даракчиев смотрит на нас с виноватой усмешкой.— Перебьется. Если не дурак, это пойдет ему на пользу.

— Извини, дружище,— говорит Корешок,— но я не могу понять, что происходит.

— А происходит то, что наш поэт нахлебался воды, прежде чем залезть в море... Потому и Невяна его бросила.— Это уж относится ко мне.— Сперва она его наставляла, каким способом выбиться в люди, когда же он последовал ее совету, убедилась, что у него ничего нет за душой... А если бы вы знали, как мне за него обидно. До чего талантливый, черт, ему и без этого ничего не стоило пробиться.

Даракчиев допивает ракию, заглядывает на донышко бокала и хлопает им по столику. В этом человеке есть что-то такое, что и привлекает и отталкивает одновременно. Больно много говорит и все с какой-то злобой, но если б он стал доказывать, что любит родину, пусть на словах, я бы ему поверил. А Кирилла мне жаль.

— Мадам, счет,— обращается Даракчиев к официантке и пододвигает деньги на край столика.

Плачу и я. Даракчиев прячет сдачу с пяти левов себе в карман и смотрит на меня.

— Я вас не обидел? Знаю, что вы с Кики друзья...

— Ничего,— говорю.— Мне только кажется, что вы хватили через край.

— А я всегда так делаю. Как жиганет что-нибудь такое, у меня сразу отказывают тормоза. И все потому, что не люблю преуспевающих. Было у меня два друга, и с обоими разругался, это уже третий... И дело тут не в зависти, пускай преуспевают. Только когда это дается слишком легко, не выстрадано, в глубине обязательно обнаружишь червоточинку.

Ракия сделала свое дело, глаза у него блестят как стеклянные.

Мы с Корешком уходим. Даракчиев колеблется какое-то время, потом машет рукой и смеется.

— Я, пожалуй, не стану отчаливать, прикончу Кириллову пятерку.

И уже смотрит по сторонам, должно быть, ищет новую компанию.

Нам с Корешком по пути. Солнце в предвечернюю пору светит мягко, тени уже пересекли мостовую. Народу мало — курортный сезон несколько опустошил городские улицы. Корешок тихонько насвистывает какой-то марш. Тихонько и фальшиво.

— Меня просто мутит от их разговоров.— Он слегка запрокидывает голову и шумно вдыхает воздух.— Тары-бары, тары-бары, тары-бары... Эти твои дружки служили в солдатах?

— Кирилл — нет, а насчет другого не знаю.

Корешок кивает с усмешкой.

— Твой Кирилл охоч бегать на небольшие расстояния. А я уважаю марафонцев. Вот где настоящий бег. Или сердце разорвется, или ты у финиша... А эти? Пижоны! Только тем и занимаются, что переливают из пустого в порожнее.

Я не участвую в разговоре, Кирилл мне друг и заниматься пересудами не годится, но мне все же кажется, что он стал другим, пока я служил в армии. Да и компания его странновата... Толкуют о книгах, о грандиозных вещах, а у меня такое чувство, что они еле на ногах держатся,— такого щелкни, он и лапки кверху.

Мы идем по Витошской вдогонку за заходящим солнцем, и я с ожесточением втягиваю в себя сигаретный дым. Неспокойно у меня на душе, что-то все время донимает. Не разговоры завсегдатаев кафе, нет, что-то другое, более важное, но что именно, толком не пойму.

— Пешо, живы будем, не помрем,— толкает меня Корешок.— Чего размечтался?

— Голова у меня болит, Может статься, я сегодня не выйду на работу.

— И не выходи, раз плохо себя чувствуешь. Шеф на месте, обойдемся без тебя как-нибудь. А Ненов в отпуску, где-то разъезжает на новеньком «запорожце». Больничный лист никто не станет спрашивать.

— Ненов? Корешок, ты понимаешь...

— Что?

Я замолкаю. Вот кто не дает мне покоя — Ненов, папаша Апостол. Эта история с бутылкой... Но Корешку об этом говорить не стоит. И Зорке тоже. Иначе скандала не миновать. Корешок и без того терпеть не может помшефа.

— Так что же, Пешо?

— Забыл,— говорю.— Ерунда.

Корешок смотрит на меня сочувственно.

— Ты не выходи, отоспись эту ночь.

Пока ужинаю дома, все время вижу лицо Ненова. Разноцветные глаза, реденькие белесые брови, лицо, вечно озабоченное здоровьем и службой. Надо бы все-таки кому-нибудь рассказать про эту историю, поговорить с мамой. Отец, слава богу, задержался на заводе, дед еще не вернулся домой.

— Бедолага ваш Апостол,— заключает мама.— Но этот другой, как его... Ты зря его осуждаешь. Со всяким может случиться, кто мог предвидеть... А если он и вправду думал о работе, о службе? Его тоже, наверно, совесть мучит...

В данный момент меня меньше всего интересует совесть Ненова, но не вижу смысла возражать и ухожу к себе в комнату. Чего стоит его совесть, если она не заговорила вовремя? Да и сам Ненов не такая уж сложная натура. Верно, он испугался, когда с папашей Апостолом

случился приступ, и в Пироговскую больницу звонил как полоумный, справлялся, жив ли старик, но откуда знать, совесть заговорила в человеке или он дрожал за собственную шкуру? И как можно после этого сесть в новенький «запорожец» и укатить в дальние края любоваться красотами природы? Папаша Апостол не прав, и мама не права: почему нельзя осуждать человека, если ты видишь, что он переступил границу дозволенного...

Я хожу, почти бегаю взад-вперед по комнате — семь шагов туда, столько же обратно,— и вопросы множатся в моей голове, как огни праздничного фейерверка. Я не раз наблюдал их с Витоши. Сперва в небо взлетают рои красных, белых и зеленых звезд, а потом доносится глухой гул орудий.

Глупое сравнение. Никакого гула и никаких фейерверков нет. Только разноцветье окон в доме напротив, а над ним — темное спокойное небо, на котором не видно ни звезд, ни луны. И воздух тепленький и неподвижный, как вода в болоте. Пух пользуется моим замешательством, чтобы потереться о мои ноги, тонко мяукая; отстранив его легким пинком, я продолжаю разгоревшийся спор. Такая у меня идиотская привычка — спорить с отсутствующими людьми.

В сущности, я никогда не знаю, с кем спорю. Даже сейчас. Одно мне хорошо известно — мой оппонент весьма нахальный и насмешливый тип, который, вместо того чтоб говорить, постоянно корчит насмешливые рожи и ходит за мною по пятам. У него нет лица, обычно я таким его и представляю — без лица, без формы, нечто розово-белолиловое плавно и несокрушимо передвигается в пространстве, мимоходом ловит тебя своими щупальцами, посмеиваясь над твоими яростными мыслями. Щупальца и насмешливая рожа, от которых нет спасения. И чем больше ты злишься, тем мягче и беспощадней он тебя прижимает...

Мучительно болит голова, я наверняка простудился. Надо что-нибудь принять и полежать в постели. Идти на работу или нет?

Проглотив аспирин и седалгин — я всегда храню эти лекарства на тумбочке у кровати, чтоб были под рукой,— ложусь и раскрываю книгу. Никуда я не пойду. Эту книгу написал немецкий писатель. Западногерманский юноша моего возраста воровал картины и очутился в исправительном лагере. Воровал картины не для продажи, а для того, чтобы их спрятать и спасти от огня. Комплекс. Отец парня в свое время был гитлеровским полицаем, обычным сельским полицаем, который всегда сознавал свой «долг перед великим рейхом» и методично сжигал картины схваченного гитлеровцами и преданного анафеме художника, а мальчишке страшно нравились эти картины. Потом, когда Гитлера уже не было, папочка продолжал жечь картины художника, потому что приказ еще не был отменен, а он был «человеком долга»... И вот юношу запирают, обрекают на одиночество за то, что на уроке немецкого языка не написал сочинения на заданную тему — о долге. Он его пишет сейчас, но не на одной, не на двух страницах, теперь ему потребуется много бумаги. Пишет сочинение на заданную тему — о долге, только совсем иначе, не так, как мыслит директор исправительного лагеря... Ай да парень! Он душевнобольной или судьи выдают его за душевнобольного? А по-моему, он вполне в своем уме. До чего же он мне по душе, этот парень. Что же будет дальше?

Отложив книгу в сторону, я встаю. Надо одеться, пройтись на свежем воздухе, а потом прямо на вокзал. Улицы сейчас тихие, ходи спокойно и думай о чем хочешь, да и чтения хватит надолго. Хорошую книгу я люблю читать понемногу, проглотить ее в один присест — что за удовольствие. С другой стороны, нечестно, если мои товарищи еще и из-за меня будут надрываться.

А интересное занятие нашел для себя тот юноша — как-то он будет спасать картины в дальнейшем? И как с ним поступят «люди долга»?

Вдруг, ни с того ни с сего, как говорит дед, мне приходит в голову, что Ненов тоже «человек долга»... Глупости! Он чистейший болгарин. Немцев у нас не бывает, разве что на побережье Черного моря, в курортный сезон. Просто эта книга меня ужасно растормошила. Даже кажется, что я нагнал себе температуру.

10

— А почему бы тебе не заглянуть к нам на завод? — спросил меня на днях отец.— За три года мы многое реконструировали. Внедрили новые механизмы. Может, тебе будет интересно?

— Загляну как-нибудь.

— Если хочешь, я пришлю за тобой машину.

— Нет, я и так приеду.

Несколько дней я проболел после того, как навестил папашу Апостола, как-то ухитрился простудиться в разгар лета, и похудел еще больше. Но едва ли именно это обстоятельство побудило отца предложить мне свою машину.

Я и сам не прочь был побывать на заводе. Как бы то ни было, проработал там целый год перед тем, как уйти в армию. Завод стал для меня вторым домом, и позднее я часто видел себя в токарном цеху, особенно вечерами, прежде чем заснуть на солдатской койке. Видел маленький цех, примыкающий к большому монтажному, квадратные окна из армированного стекла, давно некрашеный токарный станок, свой станок, который умел свистеть на все лады, видел даже метелку, которой подметал стружки и мусор в конце смены... Мне хотелось побывать на заводе, но смущал характер отца: известно, что он не предпринимает никаких действий, не обдумав их заранее, и я боялся, что он снова начнет уговаривать меня вернуться на завод. А туда я как раз не могу вернуться — может быть, именно потому, что он там директором. А может, в силу того, что у меня сохранилось одно неприятное воспоминание: в свое время я очутился на заводе точно так же, как за месяц до этого очутился в классе в сопровождении учителя Ставрева...

И все же то, что влекло меня на завод, пересиливало неприятное воспоминание. Уйдя вчера утром с вокзала, я сел в трамвай и поехал. Сошел на предпоследней остановке. До завода оставалось еще триста — четыреста метров, но дорога была солидно заасфальтирована, а тротуары по сторонам вымощены плиткой. И портал оказался новым. Прежде здесь были старые деревянные ворота, покоившиеся на двух бетонных столбах, а теперь возвышается красивая арка, выкрашенная в белый цвет, достаточно высокая, чтобы мог проехать транспорт; рядом с широкими двухстворчатыми воротами были ворота поменьше, через которые проходили рабочие. Металлические буквы на арке составляли название завода и профсоюзный призыв. Вахтер в проходной тоже был новый — довольно пожилой, с бесстрастным и важным лицом; спросив, куда я иду, и открыв мой паспорт, он поглядел на меня уже более кротко:

— Ты, часом, не родственник директора? Проходи. Он только что был у вагранок.

Одернув полы своей блузы, как в армии, получив увольнительную, одергивал френч, я зашагал по широкой мощеной аллее, разглядывая заводские корпуса. Цеха были те же, только теперь их выкрасили

в светло-голубой цвет, а в глубине двора возвышались пепельно-серые стены недостроенного корпуса. Высокий кран поднимал на крышу здания большой кровельный блок, и я остановился, чтобы поглядеть, как рабочие в рукавицах перемещали бетонную плиту. Кран завертелся в поисках нового груза.

Литейный цех тоже находился в глубине двора, у самой ограды. Дверь дохнула мне в лицо жаром, мощные вентиляторы по сторонам встретили воем. Вагранок по-прежнему было три. Из средней лилась огненная лава, едкий дым ударил мне в нос, и я на мгновение закрыл глаза, чтобы защитить их от ослепляющей струи. Огнеупорный ковш поплыл в воздухе в другой конец цеха и наклонился над формой. Из него полился укрощенный металл.

Литейщик запер железным прутом вагранку, и тогда я заметил отца. Он был в синих очках, закрывавших половину лица, но я узнал его по кепке и по могучей шее, которая всегда держала его голову немного запрокинутой назад. Он вглядывался в вагранку и о чем-то говорил с литейщиком, силясь перекричать гул вентиляторов и удары молотов, очищавших формы от нагара. Литейщик кивнул и тоже стал пристально вглядываться в тело вагранки.

Когда они закончили разговор и отец, сняв очки, стал раскачивать их в руке, я подошел поближе.

— А, Петьо,— сказал он, расстегивая синюю рабочую блузу.— Иди помогать. Мы тут с мастером рассуждаем, как нам ее ремонтировать, не прекращая работы. Прикидываем и так и эдак — куда ни кинь, все клин. А сейчас у нас такая горячая пора...

Он со вздохом взглянул на мастера, и тот ответил белозубой улыбкой из-под широкополой шляпы, закрывавшей сзади его шею. Такое начало меня успокоило. Отец говорил со мной так, будто я бывал тут каждый день и без труда мог дать ему совет. Усмехнувшись, он повел меня к выходу.

Отец был необычайно приветлив, даже складка между бровями разгладилась. На дворе он остановился, жадно вдохнул воздух, перевел взгляд на строящийся цех и снял кепку. На его лбу блестели капельки пота. Он их смахнул тыльной стороной ладони, но от нее остался черный след. Его крупное лицо как бы светилось изнутри.

— Расширяемся,— кивнул он в сторону новостройки.— Через год завод будет неузнаваем. Возведем еще один цех, по производству деталей, переоборудуем монтажный. Кроме кранов будем производить опоры электропередач. Только бы по части кредитов кошка дорогу не перебежала.

Он обнял меня и потащил дальше. Заглянул мне в лицо:

— Ты, наверно, проголодался? Потерпи немного, перекусим в кабинете.

Таким кротким и любезным я давно его не видел, и это меня насторожило. Когда отец не в меру добр, надо быть начеку. Но, сняв руку с моих плеч, он уже шагал широко, задумчиво прищурив глаза. Будто забыл обо мне.

Мы вошли в монтажный цех. Меня оглушили удары по железу. Под склонившимися шлемами вспыхивали голубые огни сварки. Сварщики всегда напоминают мне рыцарей из кинофильмов; когда они закрывают шлемом лицо, мне кажется, они готовы ринуться на врага. Только вместо копья в их руке зажата короткая загнутая трубка, из которой с шумом вырывается голубой огонь.

Из фанерной кабинки выскочил начальник цеха, плешивый, маленького роста, со счетной линейкой в руке, но отец махнул ему рукой — сиди, мол, там, занимайся своим делом,— и тот, усмехнувшись, пожал плечами. Отец каждое утро обходит цеха, на ходу выслуши-

вает доклады, дает необходимые указания. Здесь все называют его в шутку «пешеходом».

Мы шли вдоль двух длинных стрел будущих кранов, и отец на минуту остановился, чтобы поинтересоваться качеством сварки. Сварщик открыл лицо, а отец наклонился и стал разглядывать шов, потом кивнул, хлопнул сварщика по плечу и, не говоря ни слова, направился к выходу. Я следовал за ним, словно ассистент.

Когда мы повернули к токарному цеху, у меня заколотилось сердце. Я знал, что мы туда зайдем, и все же заволновался. Отец, показалось мне, украдкой стрельнул в меня глазами.

С первого же взгляда я заметил здесь то, чего прежде не было: два тяжелых токарных стана, совсем новеньких, на которых были установлены огромные стальные валы для обработки. Это, наверно, о них толковал инженер Цонков. Все остальное было привычным, и не было нужды смотреть под ноги, когда я проходил между машинами: знал, где надо обойти, где выше поднять ногу, чтобы не споткнуться. И сразу увидел два знакомых лица — Стояна и Мастодонта.

— Подожди меня,— сказал отец и на сей раз пошел к начальнику цеха, который кивал ему издалека.

Мне вдруг захотелось незаметно ускользнуть отсюда. Я почувствовал себя чужим и лишним. В других цехах, незнакомых мне, я был вполне спокоен, но здесь я работал целый год, и теперь мною овладело чувство, когда-то испытанное в казарме. Однажды вечером мы с Корешком совершили самовольную отлучку, отправились в город на именины к одной девчонке; это случилось после разрыва с Таней. Когда же мы вернулись под утро, я вдруг раскис. До того меня загрызла совесть, будто я совершил кражу и не мог вернуть украденного. Несколько дней не покидало меня это чувство, и я страшно усердствовал в несении службы.

На моем станке работал Стоян, веснушчатый рыжеволосый симпатяга. Сейчас он устанавливал новый резец. Пустив станок и вытерев замасленными концами руки, он увидел меня и заулыбался до ушей. Прежде, когда я здесь работал, он единственный держался со мной непринужденно и по-дружески.

Я подошел к нему, мы пожали друг другу руки. К нам тут же присоединился Мастодонт, начал расспрашивать, когда закончилась моя армейская служба и чем я занимаюсь теперь, затем, тяжело покачиваясь, вернулся к станку. Потому его и прозвали Мастодонтом — за его вес и исполинский рост. Из старых рабочих в цеху остались только эти двое, все остальные были новички.

— Возвращаешься к нам?— спросил Стоян.— Вернешься, уступлю тебе его. Старенький он уже, но поет, поет.

Он говорил о станке так, будто это птичка. Сейчас он делал нарезку болта,— тонкое дело, для этого надо иметь наметанный глаз и хороший резец, но прежде всего глаз, потому что без него самый лучший резец ничего не стоит. В то время и у меня глаз был наметан — до того, как в него попала стружка, из-за которой пришлось идти к доктору Еневу. Я тоже любил слушать, как поет токарный станок...

Тогда этот станок меня спас. Я пришел сюда без всякого желания. Привел отец, и я покорился, как покорился учителю физики Ставреву, но мне было тяжело, даже жить не хотелось. И станок меня спас. Если б я не стоял возле него по восемь часов в день и не думал все это время только о куске железа, которому требовалось придать новую форму, кто знает, что бы со мной было. Потому что, после того, как я сбежал из школы, я и домой не хотел возвращаться. Дождался Кирилла возле его дома, пообедал вместе с ним, потом сказал ему, что не намерен больше учиться. Он назвал меня балдой, стал убеждать,

чтобы я не делал глупостей, но когда увидел, что я собрался уходить, замолчал. Он отвез меня в Лозенец, к своему двоюродному брату, художнику, и там я оставался больше недели. Художник жил холостяком, у него было небольшое ателье. Он рисовал невообразимые вещи: обнаженные оранжевые тела убитых людей, скорчившиеся, с широко раскрытыми ртами, с глазами навыкате, с растопыренными пальцами, как бы жаждущими во что-то вцепиться; черного всадника, скачущего с полыхающим факелом в откинутой назад руке, позади него — бескрайний пожар, чье пламя лижет небеса; темно-синий лес с деревьями, похожими на чудовища. Самой жуткой казалась мне картина ночного города, наблюдаемого сверху: на темно-синем, почти черном фоне — одни только желтые квадраты окон. Вроде бы ничего особенного, но если вглядеться пристальнее, можно было заметить, что огни и мрак образуют в центре полотна нечто вроде большого черного креста или человека с запрокинутой назад головой и с руками, бессильно разметанными по сторонам. Среди таких картин страшно было оставаться. Однажды я сказал художнику, что прежде никогда ничего подобного не видел. Он усмехнулся и ответил, что эти картины хранит для себя, что занимается опытами, а для выставок рисует другое.

Спал я в ателье на диванчике. Днем ходил по заводам, хотел устроиться токарем. Никакого свидетельства у меня не было, но мастер, к которому мы, школьники, ходили на практику, говорил, что запросто дал бы мне пятый разряд, по труду я был первым в классе. Вот почему я и надеялся поступить на работу. Однако всюду на меня смотрели как на мальчишку, даже не хотели проверить, чего я стою, а к тому мастеру я не отваживался пойти — было стыдно. Жил впроголодь. Вечером находил в ателье хлеб, иногда художник оставлял еще что-нибудь, завернутое в бумагу, своих денег у меня не было, а у Кирилла брать не соглашался. Однажды перекидал уголь в подвал и получил за это два лева. Потом мне пришло в голову пойти на площадь Благоева, где люди нанимали носильщиков, но этим промыслом там безраздельно владели цыгане, они сообразили что к чему и тотчас прогнали меня. Так длилось до тех пор, пока как-то вечером, на восьмой или девятый день, в ателье не пришел мой отец. Тут, конечно, сыграло свою роль предательство Кирилла, но я даже не рассердился на него, потому что перед моим отцом устоять нелегко. Отец ничего говорить не стал, только велел одеться и по пути к дому тоже молчал. Когда мы, наконец, пришли, мама плакала у себя в комнате; отец увел меня на кухню. Я сел на стул и тоже заплакал — от злости, оттого, что меня обнаружили, а может, еще и при мысли о маме: за все эти дни я ни разу о ней не подумал... Нет, в школу я не вернусь, ответил отцу. Хорошо, сказал он, это можно понять, мы тебя переведем в другую школу. Но мне не хотелось и в другую, ничего не хотелось. Я думал, что, если со мною снова случится что-нибудь такое, я повешусь, и устоял перед натиском. Отец помолчал, поглядел в мою сторону и обозвал меня оболтусом. А через несколько дней потащил на завод. С этим я примирился, но с тем, что я «оболтус», примириться не мог. С тех пор мы с отцом как чужие...

— Когда тебя ждать? — спросил меня Стоян.

— Посмотрю, пока не знаю.

— Приходи,— сказал он приветливо.— Опять будем ходить на матчи. Болеть за ЦСК!

Мы рассмеялись, и я пошел, у выхода меня ждал отец. Другие рабочие посматривали на меня с любопытством — что это, мол, за птица расхаживает по заводу в сопровождении директора,— и я твердо решил, что сюда возвращаться не буду. Я махнул рукой Стояну. Его рыжая голова светилась как фонарь в другом конце цеха.

— Видел новые токарные станки? — спросил отец, пока мы шли к административному зданию.

— Видел.

— Отличные машины. Советская автоматика.

Я предпочитал работать на небольшом револьверном станке, где все зависит главным образом от твоих рук и от того, насколько у тебя наметан глаз, но ничего не сказал в ответ. Опасался затронуть тему: «Чем ты намерен заняться в дальнейшем?»

В директорском кабинете было тихо — удары, свист, звон металла доходили сюда с улицы приглушенными. Отец задержался в комнатушке секретарши, которая о чем-то спрашивала его. Мне было слышно, как он сказал, чтобы она принесла кофе и бутерброды из буфета. Потом вошел тяжелой походкой в кабинет, подтолкнул меня к столу для совещаний, а сам опустился на свое место за темным письменным столом внушительных размеров. Частично задернутые шторы на окнах пропускали зеленый успокаивающий свет.

Двумя растопыренными пальцами отец потер глаза и вынул серебряный портсигар с кремлевской башней на крышке.

— Кури.

Я взял сигарету и поднес ему огня. Мне вдруг показалось, что отец постарел, и это каким-то образом сближало нас. Лицо у него было усталое, в складках у рта и под глазами залегли тени. Всегда буйные и густые волосы будто слежались и слиплись. Дым окутывал его фигуру. Глядя на отца, я вдруг понял, как много лет прошло с тех пор, когда я был для него Петенькой и когда он уводил меня в выходные дни в лес, к Дианабаду, где мы играли в догонялки среди деревьев... Он отодвинул в сторону отчет и поднял брови:

— Ну, Петьо?

В глазах его тоже был вопрос, но я только пожал плечами и усмехнулся. Вошла секретарша с пластмассовым подносом в руках, на котором принесла две чашки кофе и гору бутербродов. Девушка поставила поднос на зеленое сукно. Отец обошел свой стол и сел напротив меня.

— Принимайся за работу. Вот с ветчиной, с брынзой, с маслинами...

Проглотив бутерброд, я залпом выпил кофе. Отец ограничился одним кофе и снова закурил сигарету. Тяжелые брови закрывали его глаза, когда он склонился над кофейной чашкой.

— У тебя усталый вид,— сказал я.— Может, взять отпуск да отдохнуть?

Он посмотрел на меня с удивлением.

— Да, самое время... Ты прав, устал я. Только не работа меня утомляет. Скорее нерешенные вопросы, суета, неразбериха.

Он смотрел мне в глаза. Ясно, я тоже был одним из этих нерешенных вопросов.

— И, кстати, не крупные вопросы, а мелкие, те, на которые мы сами должны найти ответ.— Он сделал еще две-три затяжки и бросил окурок в пепельницу.— А сам ты не собираешься в отпуск?

— Собираюсь.

— Можешь поехать в наш дом отдыха, в Варну, или в горы.

— Нет, я здесь его проведу.

— Что тебе здесь делать?

— Не знаю. Буду читать, ходить на Витошу...

Он окинул меня взглядом и как-то примирительно улыбнулся.

— Не могу тебя понять... Нет, не бойся, я не стану тебя ни в чем убеждать, но я тебя не понимаю. Ради чего ты живешь, а? Видишь ли, в чем дело, человек так устроен — он всегда должен иметь перед со-

бой какую-то цель. Он живет ради кого-то, к чему-то стремится. Человеку жить так, как живут птицы, нельзя...— И неожиданно спросил: — У тебя есть девушка?

— Как тебе сказать...

— Нечего стесняться, ты уже мужчина. Я спрашиваю, потому что однажды видел, как ты выходил из кино с какой-то девушкой. Девушка красивая, ничего не скажешь... Уж не собираешься ли жениться?

Тон его был игривый и доброжелательный, и я почувствовал, что, если скажу «да», он наверняка обрадуется. Говорят, что порой женитьба исправляет непутевых.

— Мне осталось только жениться,— сказал я.

— А почему бы и нет, что тебе мешает?

Отец прищурил глаза, и в них блеснула веселая хитринка. Он надеялся услышать больше, вызывал меня на откровенность.

— Пока ничего определенного. По крайней мере, в данный момент.

Это «по крайней мере» должно было смягчить мой ответ. Отец хлопнул рукой по столу, как, наверно, делал на заседаниях, и встал.

— Ла-а-адно... А теперь ступай, потому что меня ждут дела. Если хочешь, загляни к Цонкову, он в соседней комнате.

Он проводил меня к выходу и сам закрыл за мною дверь. Этот разговор мог окончательно сбить меня с толку. У меня не было никакого желания заглянуть к Цонкову. Очутившись во дворе, я постоял немного, чтобы перевести дух. В окнах монтажного цеха вспыхивали голубые молнии электросварки. Визжали и грохотали машины. От литейного веяло дымом и раскаленным железом.

Завод изрыгал свои шумы и запахи, а у меня было как-то сухо и горько во рту. Не от бутербродов.

Двигаясь к трамвайной остановке, я спросил себя: зачем я понадобился отцу? Только затем, чтобы вместе закусить? Мне казалось, что я понимаю его хитрость,— он умен, но и я не так уж глуп. И все-таки он умнее меня, потому что, признаться по правде, мне захотелось вернуться обратно и еще немного походить по заводу.

Только походить.

Не знаю, что меня побудило заглянуть в больницу к доктору Еневу. О нем я вспомнил в трамвае, когда возвращался с завода. У меня, верно, была мысль попросить его поинтересоваться папашей Апостолом, помочь, если это в его силах, но это не единственная причина. Просто захотелось повидаться с ним. Я человек импульсивный, то есть был импульсивным до того, как бросил школу. Потом стал более уравновешенным. Но и сейчас со мной случается такое, что я, отправившись в кино, могу очутиться у Зорки. Или, пройдя мимо кинотеатра, бесцельно скитаюсь по улицам.

Сестра в регистратуре сказала мне, что у доктора Енева сегодня нет операций и он, видимо, у себя в кабинете. Лень ей было позвонить. Пока я поднимался на второй этаж, я успел уже пожалеть о том, что пошел сюда. Возможно, сейчас доктор Енев занят по горло и ему совсем не до меня. Но я не вернулся. Не хотелось выглядеть смешным в собственных глазах, весь день потом не находить себе места.

Енев не был занят. Когда я вошел, он стоял у открытого окна, курил и глядел на улицу — высокий, сутулый, в белом коротком халате с тесемками, завязанными у затылка. Его темный сухой профиль казался графическим силуэтом на фоне голубого неба, когда он втяги-

вал дым сигареты, щеки проваливались. Я не уверен, слышал ли он мой стук в дверь.

— Вот это сюрприз,— сказал он, увидев меня.— Я как раз собирался зайти сегодня к вам. Садись.

Он пожал мне руку и указал на единственное здесь мягкое кресло. В кабинете стоял небольшой письменный стол, стеклянный шкафчик с инструментами и кушетка для осмотра больных с лежащим на ней куском клеенки. Енев присел на край стола.

— Дядя Максим, извини за беспокойство...

— Давай без церемоний,— прервал меня улыбающийся доктор.— Как себя чувствуешь? Какой-нибудь вывих? Чирей на шее? Боли под лопаткой?

— Ничего у меня не болит.

— Так-таки ничего? — Он посмотрел на меня своими карими глазами и подал пачку «Родоп».— Закуривай. Дрянные сигареты, но я к ним привык. С фильтром терпеть не могу. Это я говорю как курильщик, а не как врач... Каким же ветром тебя ко мне занесло?

Я коротко рассказал про папашу Апостола. Не дослушав до конца, он поднял телефонную трубку.

— Как фамилия лечащего врача?

— Спирова.

— Спирова? Отлично. Я с нею хорошо знаком, это дочь моего коллеги из Третьей градской.

Он набрал номер Пироговской больницы. Доктора Спировой не оказалось на месте. Сказали, что она будет с минуты на минуту. Я собрался уходить.

— Постой, постой. Ты ведь не спешишь? Послушаем, что нам скажет Спирова.— Он снова усадил меня в кресло, а сам сел на кушетку.— Ты с работы?

— Ходил на завод, к отцу.

— Пойдешь к нему работать?

— Нет.

— А!.. Как себя чувствует отец?

— Хорошо.

— Хорошо. Слово, которое ничего не означает. А у тебя как дела?

— Не жалуюсь.

— А если я скажу, что у тебя не все так уж хорошо, ты мне поверишь?

Его карие глаза вонзились в меня как иголки. Он знал всю подноготную нашей семьи.

— Я, правда, немного поболел в последнее время. Простудился, наверно, но все уже прошло.

— Ты давай не хитри. Тебе не мешает знать, как я зол на тебя.

— Чем я так провинился перед тобой, дядя Максим?

— Не передо мной! Ты провинился перед самим собой... Послушай, до каких пор ты будешь корчить из себя разобиженную даму?

Я нахмурился.

— Не понимаю, о чем речь.

— Ты прекрасно понимаешь, о чем речь. Не смотри на меня так. Раз уж я дядя Максим, то имею право прочитать тебе мораль... Жизнь, мой мальчик, это тебе не парикмахерская, где приводят в порядок смятые прически, по крайней мере это должно быть тебе ясно.

— Я это давно уяснил,— бормочу в ответ.

— Нет, пока еще не уяснил. Иначе сам сумел бы причесаться и плюнул бы с подобающей яростью на кое-какие вещи... Если бы все падали на спину от первого же удара, мир состоял бы из двух мил-

лиардов бабок, которые без конца шмыгают носом и ждут своих похорон.

На мою голову градом сыпались подобные сентенции, и слова доктора Енева звучали то язвительно, то насмешливо. Я улыбнулся.

— Ладно, до меня дошло.

— Что до тебя дошло? Что пора перестать ишачить? Швыряешь тюки на вокзале и воображаешь, что это геройство? Ждешь, чтобы кто-нибудь пришел извиняться перед тобой и указал тебе светлый путь? Дождешься... Впрочем, я не пастор и не стану тебе внушать, что добро всесильно и что честному человеку остается только снять шапку и переступить порог рая. У каждого из нас свои университеты, и крайне важно, что получается в конечном итоге: человек или мокрая курица... Ты что предпочитаешь?

В приоткрытой двери показала длинные ресницы молоденькая сестра.

— Доктор Енев, доктор Василев хочет посоветоваться с вами относительно девушки из третьей палаты.

— Ладно. Пускай подождет.

Дверь без шума закрылась. Енев посмотрел в мою сторону и улыбнулся.

— Извини, что я вмешиваюсь в твои дела, хотя ты меня об этом не просил. Но я не выношу одного — пассивности. Больной, который не сопротивляется болезни, умирает. Здоровый, но безвольный человек всю жизнь попадает под колеса, и его таланты и способности, доставшиеся ему от господа бога,— кошке под хвост. Кто от этого выигрывает? Наглая, дерзкая, тупая посредственность. Гроша ломаного не стоит добродетель, не способная за себя постоять.

— Дядя Максим, что, по-твоему, я должен делать?

— Откуда я знаю? Во всяком случае, не то, что делаешь сейчас... Не стану скрывать, мы с отцом говорили о тебе. И я считаю, что он прав. Дело даже не в том, будешь ты продолжать учиться или нет, гораздо важнее решить, какой должна быть твоя жизнь уже сейчас, во что ты поверишь.

— А сам ты во что веришь, дядя Максим?

— Прежде всего в свою работу. И еще в то, что жизнь нам дается не для того, чтобы над нею глумиться. Я, конечно, не склонен говорить с захлебом о человеческом племени, мне оно достаточно знакомо... Но все же человек — самая интересная шутка природы, и если он бессмысленно транжирит себя, это просто безобразие. Ты не согласен?

— На днях расстаюсь с бригадой,— говорю в ответ.

Эти слова сорвались у меня с языка сами собой. После того как я навестил папашу Апостола, я не раз приходил к мысли, что настало время махнуть рукой на экспедицию, но к определенному решению не пришел, а тут вдруг сболтнул такое при докторе Еневе. Мне даже сделалось не по себе — еще подумает, что я взбалмошный мальчишка, которому достаточно устроить выволочку, чтобы он тут же образумился.

— А потом?

Темные скептические глаза его смотрели на меня с любопытством, и мне еще больше стало не по себе.

— Насчет потом не знаю. Только очень прошу тебя, не говори пока отцу. Я сам ему скажу.

— Врачебная тайна гарантируется,— засмеялся Енев.— Дай-ка мне твою руку.

Я подал ему руку. Он принялся рассматривать мою ладонь, словно собираясь предсказывать мне будущее.

— Из тебя вышел бы неплохой хирург... А? Только за психику

твою не могу ручаться... Понимаешь, нынче молодежь бежит от хирургии, предпочитает другие специальности.

— Почему?

— Да потому, что ищет легкой жизни; хирургия тяжелая профессия... Давай-ка еще раз позвоним Спировой.

На этот раз ответила она сама. В трубке ясно звучал ее голос. Медицинских терминов я не понял, но состояние папаши Апостола улучшается, ему разрешено вставать на полчаса утром и после обеда, не покидая своей палаты.

— Искра, ты не стала бы возражать, если б я завтра зашел к нему?.. Нет? Благодарю... А если я после этого загляну и к лечащему врачу? — Он вдруг заговорил невероятно нежным голосом.—А где же ты будешь?.. Жалко... Куда, в театр? Ты решила сделать меня культурнее?.. Хорошо... Нет, вечером я свободен... А разве я когда-нибудь был неточен?.. Вот какие вы, женщины, помните только наши пороки... Тогда до свидания.

Он подержал трубку еще какое-то время, прежде чем положить ее на место, как бы ожидая, что доктор Спирова, или, как оказалось, просто Искра, снова заговорит с ним.

— Ну, Петьо, ты сам все слышал, что надо. И даже то, что не надо.— Енев с улыбкой вздохнул и развел руками.— Ты небось подумал: «Этот дядя Максим в его-то годы...» Что ж, человек никогда не знает, что его ждет и где ему уготована ловушка... А завтра я переговорю с их начальством. Там у них есть прекрасный специалист, посмотрим, что можно придумать. Ты навещаешь больного?

— В четверг пойду к нему.— Я встал. Енев взял меня за плечи и по-дружески встряхнул.

— Как в таких случаях говорит твой дед, а? Ни шагу назад!.. Чао.

На улице меня поджидали солнце и легкий ветерок, от которого сладко вздыхали деревья в саду напротив. Я был рад за папашу Апостола. И за дядю Максима. Пытался представить себе его в роли супруга или отца какого-нибудь ревуна... Забавная история. Расскажи маме, ни за что не поверит...

11

Я взял отпуск на десять дней. Шеф было нахмурился — еще не проработал полагающихся одиннадцати месяцев, но я настоял, сказав при этом, что прошу отпуск за свой счет. Работа меня очень истощила, и дело тут не столько в физическом напряжении, сколько в недосыпании. Кроме того, вернулся из отпуска Ненов, а я видеть его не мог. Ни его, ни его новенького «запорожца». Теперь он постоянно разъезжал на своей машине, ставил ее на открытой площадке возле электрокаров и ежечасно выходил, присматривал за нею, как за больным ребенком. Видеть его не мог. Даже ноги меня не слушались, когда я вечером отправлялся на вокзал.

Из-за него мы повздорили с Корешком. В последний день перед отпуском. Я не удержался и рассказал ему, как Ненов ходил вызывать на работу папашу Апостола, как поил его ракией, и Корешок пришел в ярость. Почему я до сих пор молчал, почему не поднял этот вопрос перед Шефом, перед парткомом. Он даже кинулся было искать секретаря парткома, но я его удержал. Я много об этом думал. Все обдумал заранее и решил, что теперь уже поздно поднимать скандал, смысла не имеет. Кто может доказать, что так оно и было, если Ненов станет отрицать? Все делалось с глазу на глаз, к тому же никому в голову не придет беспокоить сейчас папашу Апостола вся-

ками расспросами. Нас ждут одни неприятности. Корешок не пошел в партком, немного подумав, он плюнул под ноги и сказал:

— Печешься о собственном спокойствии, да? Не ожидал от тебя.

Я тоже разозлился и заявил ему, что не его это дело и что нечего меня учить. Потом пожалел об этом, но он уже ушел. Во мне заговорила гордость, и я не стал его искать. Раз он не нуждается во мне, обойдусь без него. Велика важность. Я не меньше болею за папашу Апостола, чем он, и не намерен выслушивать его поучения.

А третьего дня, как раз в середине отпуска, со мной случилась еще одна авария. Если и дальше будет такое невезение с людьми, мне не остается ничего другого, как забрать в охапку свои манатки, устроить шалаш на вершине Кома или Элтепе и общаться только с ветром да орлами. И почему мне так не везет, леший его возьми? Ни с друзьями, ни с девушками. Особенно с девушками...

А случилось вот что. Мы с Пухом все время валялись в кровати, состязаясь, кто кого перележит, и я до одурения читал «Праздные мысли лентяя» Джером Джерома, а после обеда взял рюкзак, сунул в него краюху хлеба, кусок луканки, блокнот и сел в автобус, идущий на Панчерево. Прошел по плотине на противоположную сторону озера, где на лесистых склонах ютятся виллы, поплавал в холодной воде, пока не почувствовал озноба, позагорал. Народу в это рабочее время не было. Только наверху, со стороны вилл, слышались мужские голоса и удары мотыги о каменистую почву — какой-то частник копал траншею под фундамент или разбивал грядки под помидоры,— и я целых два часа рисовал: озеро, скалы над шоссе по ту сторону озера, облака. Думал о всякой всячине, и мне было хорошо и спокойно. Часами мог я делать зарисовки или ничего не делать, поскольку, как видно, предрасположен к лености, однако самое чарующее одиночество в конце концов надоедает. Я еще раз нырнул в озеро и, не успев как следует обсохнуть, натянул брюки и рубашку. Солнце опустилось уже довольно низко, ударов мотыги больше не было слышно. Закинув на плечо рюкзак, я закурил и пошел по тропинке, которая тянулась между акациями у самой воды, потом вышел на дорогу, идущую по плотине. С одной стороны было спокойное озеро, две байдарки соревновались вдали, от весел взлетали серебряные брызги, с другой — с ревом катили тяжелые пенящиеся потоки воды, словно просачиваясь сквозь зубцы гигантской гребенки. Мое внимание снова привлекли байдарки. Посмеиваясь, я говорил про себя, что настоящие гребцы не поднимают в воздух столько воды, но зрелище было красивое. Во вспышках серебряных брызг то и дело оживала радуга. Потом я нагнулся, чтобы застегнуть ремешок сандалии, а когда выпрямился, увидел Таню.

Она была еще далеко, но я узнал ее. Она шла от шоссе по плотине, спиной к солнцу, размахивая голыми руками, в легком пестром платье, слишком коротком, чтобы спрятать ее бедра от игривого ветерка. Шла танцующей походкой — верть направо, верть налево — и меня как будто не замечала. Танцевала, прикрыв глаза и время от времени кружилась, как делают дети, играя в бабочек. Волосы ее разлетались и, укрощенные, падали на плечи. Очень смуглая, обращенная спиной к солнцу, она казалась черной, как негритянка, и ужасно красивой. Я так и обомлел, увидев ее.

— Петьо, неужели это ты? Что ты тут ищешь?

— Купался.

Пробормотал еще что-то, не помню, что именно, а она рассматривала меня улыбающимися глазами и приводила в порядок волосы. Родинка на ее подбородке сковывала мой язык. Таня, как видно, почувствовала, какой эффект произвело на меня ее появление, жен-

щина всегда чувствует такие вещи, и великодушно протянула мне руку:

— Ты знаешь, сегодня утром я думала о тебе.

— Да ну!

— Честное слово. Встретила в самолете Коле из нашего класса, помнишь его? Он сидел на предпоследней парте и все время стрелял нам в затылок бумажными шариками... Наговорились с ним вволю, перебрали всех наших мальчиков и девочек.

— Ты из Варны возвращаешься?

— Из Варны. Приехала к обеду домой, наших никого нет. Вот и отправилась их разыскивать.

— Сюда?

— А куда ж еще? Раз их нет дома, значит, они здесь, на вилле... Что за ветерок, а? Пойдем посидим немножко, а то я запарилась в автобусе.

Я забыл, что у них вилла в Панчереве, и об архитекторе с пятачком на темени забыл. Глядел на нее и чувствовал себя щеночком, готовым бежать за своей хозяйкой.

Мы сели на теплые камни лицом к озеру. Байдарки медленно возвращались к исходной позиции. Мускулы гребцов, сверкая на солнце, то напрягались, то расслаблялись в усталом спортивном ритме. От Тани веяло запахом женского тела и резеды. Я помнил этот запах со школьных лет, и всякий раз, когда ощущал его, у меня перехватывало дыхание, я как бы давился, и от этого мне становилось так хорошо.

— Петьо, я до сих пор не извинилась перед тобой. Могу воспользоваться случаем?

— Да оставь,— сказал я.— Ты не виновата. Мы тогда оба с тем дружком были пьяны. Только он выпил больше, потому и вел себя нахальнее.

— Я не о том. Я имею в виду... нашу школьную дружбу. Тогда я поступила нечестно.

Мое сердце отпрянуло, как мяч от стенки. Все очарование мгновения вдруг исчезло. К чему бы это? Зачем она завела речь о том, что давным-давно забыто? Чего она, в сущности, хочет — чтоб я расплакался от умиления и благословил ее?

— Детская история, Таня... Погляди-ка лучше, как те двое будут стартовать.

— Не валяй дурака, прошу тебя. Я говорю вполне искренне. Понимаю, что поступила скверно. Надо было хотя бы написать тебе, объяснить, но случилось так...

Я больше не смотрел на нее. Я следил за байдарками, которые разрезали водную гладь и оставляли позади себя светлые паруса.

— Держу пари, что этот, в синей майке, придет первым,— сказал я.

— Ты не хочешь меня простить, да?

Она положила руку мне на плечо, и я не мог не взглянуть в ее сторону. Горящие карие глаза смотрели на меня с мольбой, и лицо было так близко, что я чуть не поцеловал ее. И был уверен, что она не оттолкнет. Но она напомнила мне о прошлом, о лжи, которая когда-то унизила нас обоих.

— Извини меня, я должен идти,— сказал я.— У меня встреча.

Она освободила мое плечо. Я, конечно, вел себя как последний дурак, но иначе поступить не мог — старая обида застряла в моем горле, как рыбья кость.

— К той девушке спешишь на свидание, что была тогда у нас?

— Да.

Она стала закуривать, белая как полотно. Пощечина сделала свое

дело. Никакого свидания с Зоркой у меня не было, мы вообще редко виделись в последнее время, и мне было все равно что сказать, только бы покрепче ее задеть. Но она уже овладела собой. Выпустила дым сквозь сложенные трубочкой губы и усмехнулась одним только уголком рта.

— Ну что ж, не стану тебя задерживать. Ты женишься на этой Зорке?

— Да.

— Тебе бы не мешало сперва подумать.

— Вот как? Почему?

— Ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать.... Это твое дело, естественно, дело вкуса, культуры...

Вернула мне пощечину.

— До свидания,— сказал я.

Она не ответила. Глядела в озеро и усмехалась. Мне пришла в голову мысль, что из нее, наверно, выйдет неплохая артистка, но ее пощечина оказалась мнимой. Зорка была нисколько не хуже ее. Она, по крайней мере, не лгала.

Я вышел из автобуса на площади Александра Невского и возле Музыкального театра сел на троллейбус, который шел к вокзалу. Мне хотелось тотчас же увидеть Зорку. Хотелось целоваться с нею, говорить ей нежные слова — она была моим освобождением от Тани. Освобождением от страданий, которые меня терзали столько времени. Освобождением от лжи и унижения. А почему бы мне и в самом деле не жениться на Зорке? Это неплохая идея, спасибо тебе, Таня.

С нетерпением ринулся я в маленький проулок близ Ополченской. Вот он, старый двухэтажный дом — обглоданный временем фасад и потемневшие гипсовые русты поверх окон. Я позвонил. Мне открыла хозяйка.

— Зорки нету,— сказала она.

— Не знаете, где она?

— У какой-то подруги, еще пяти не было, как ушла. Собирались пойти в кино.

Я не знал, что у Зорки есть подруга, с которой она ходит в кино, и спросил, скоро ли она вернется. Было семь часов вечера.

— Она мне ничего не сказала,— ответила хозяйка.— Передать ей что-нибудь?

— Я оставлю записку.

Мне любой ценой надо было увидеть ее в этот вечер. Я достал из рюкзака блокнот и вырвал листочек. Написал, что зайду в половине девятого, и предупредил, чтоб она ждала меня и никуда не уходила. Свернув записку, я уже собрался вручить ее хозяйке, которая нетерпеливо постукивала ногой, когда на улице послышались шаги, я узнал Зоркин голос и с радостным чувством сунул записку в карман.

Да, это был Зоркин голос. Появилась и сама Зорка в своем праздничном розовом платье. Она шла от Ополченской. Увидев меня, она замедлила шаг. Замедлил шаг и молодой человек, который шел рядом с ней. Это был Пират.

Я остался на месте. Они приблизились ко мне.

— Пешо,— сказала испуганная Зорка с глупой усмешкой,— ты же знаком с Владо?

Я молчал. Смотрел на них, впрочем, не на него — на нее.

— Мы случайно встретились, и Владко захотел посмотреть, где я живу... Нет, я его пригласила... Поднимешься наверх?

Зеленые глаза глядели куда-то мимо меня. Мне стало гадко, меня тошнило — от нее, от самого себя, от этого самого Владко. В голове на-

чался шум, я мог ее ударить. Закинув рюкзак на плечо и сунув руки в карманы, я пошел. Пират шарахнулся в сторону, давая мне дорогу.

Свернул на Ополченскую, не к вокзалу, а к центру. Я уподобился холодной натянутой пружине — стоило кому-нибудь ко мне прикоснуться, и она бы со свистом раскрутилась. Меня едва держали ноги. Я прислонился к электрическому столбу. Проходивший мимо лейтенант милиции остановился и спросил, не сделалось ли мне плохо. Я сказал, что нет, и пошел дальше.

Такая случилась со мной авария. Рано или поздно это, видимо, должно было произойти. Но я все еще не мог прийти в себя и, когда читаю в постели, время от времени ловлю себя на том, что повторяю в уме: ничего, бывает, ничего... И тихо усмехаюсь, но от этого мне не легче. В ногах у меня дремлет Пух, стоит мне пошевельнуться, как он тут же поднимает голову и пытается влезть мне на грудь. Я спугиваю его, и мне делается совестно. Хорошо, что он не обижается.

Я возвращаюсь из похода на водохранилище «Искыр», где мы с Кириллом ловили рыбу. Впрочем, рыбу ловил Кирилл, это, так сказать, его хобби, а я весь день валялся на резиновом матраце, который он притащил с собой, и смотрел в небо. У Кирилла было розовое настроение, он рассказывал анекдоты, пек рыбешек на небольшом костре, декламировал стихи. Я прочел его стихи, напечатанные в журнале, который он сам мне дал. Стихи были хорошие, понравились мне: о родине, о поэтах, о девушке, которая в один прекрасный день его дождется. Такие стихи именно так и пишутся — зря этот Даракчиев кипятился в кафе. Кирилл просиял, услышав мои слова, однако тут же заметил, что Даракчиев человек особенный, сам не знает, чего хочет, но он на него не обижается, потому что Даракчиев все-таки умен, разбирается в поэзии, плохо только, что пьет много, и так далее. А мне этого было вполне достаточно: болтать о вещах, над которыми особенно не надо задумываться, да и день выдался как по заказу. Последний день августа, солнечный и мягкий. Золотистый воздух и лиловое небо.

Возвращались домой посвежевшие. Ради этой прогулки я самовольно продлил отпуск на один день, но все равно решил сразу же по возвращении предупредить Шефа о своем уходе. Меня там больше ничто не держит; даже с Корешком говорим только о работе, и вообще пришло время убираться оттуда. И положить конец моим авариям... Я ощущаю в себе легкость и силу, словно гора свалилась с плеч; добравшись до своей площади, начинаю насвистывать. Давно я с такой охотой не возвращался домой.

Наши все дома — мама, дед и отец сидят в полутемной гостиной у телевизора. Кончается фильм. Произношу свое «добрый вечер» и ухожу на кухню поесть. Следом за мною входит отец.

— Приготовленного нет, ищи что-нибудь в холодильнике,— говорит он, наливая из крана воды в стакан.— Я слышал от матери, что ты ходил с Кириллом на рыбалку. Поймали что-нибудь?

— Что поймали, то съели,— усмехаюсь я.— Там ловля запрещена, мы занимались браконьерством.

— Жаль, что вас не сцапали,— дорого бы обошлась ваша рыба.— Он чешет затылок, посматривает в мою сторону.— Около восьми звонил наш доктор, спрашивал тебя...

— Не сказал, зачем я ему понадобился?

— Умер тот старик.

— Какой старик?

Я закрываю холодильник и так и стою с куском ветчины в руке. Незачем спрашивать, какой старик.

— Сегодня около четырех часов,— говорит отец и сочувственно качает головой.— Максиму сообщили из Пироговской больницы, и он сразу позвонил сюда, но никого не застал... Такова жизнь. Ну, садись ужинай и приходи туда.

Он сжимает мое плечо и уходит, а я все еще продолжаю стоять с ветчиной в руке. Папаша Апостол умер... Я не опечален, скорее ошеломлен этой вестью. Как так? Почему умер? Почему именно сегодня? В прошлый четверг, занятый своими авариями и переживаниями, я упустил возможность навестить его, а в воскресенье, когда пришел, он потихоньку прохаживался по палате. Старик был страшно доволен, что может двигаться, вид у него был очень добрый, он смеялся своим глуховатым хриплым смехом. Получил письмо из Шумена вместе с фотографией; на фотографии — он мне ее показал — был изображен пухленький мальчуган, восседающий на расписном горшке. Мальчуган широко раскрыл рот, наверно, орал, когда его снимали, а рядом были видны женские ноги и рука, поддерживавшая его. «Видал, какой постреленок,— сказал папаша Апостол,— тут он еще совсем маленький, теперь его не узнать, наверно, по пояс мне». Положив фотографию на тумбочку, он все говорил и был страшно счастлив... Почему же он именно теперь умер?

Бросив ветчину на стол, я говорю нашим, что выйду ненадолго, и вихрем вылетаю на улицу. Сажусь на «семерку», идущую в направлении Ивана Вазова. Сейчас половина одиннадцатого — Корешок должен быть дома, если не шляется где-нибудь. Стою, как обычно, на передней площадке, у самой кабины вагоновожатого, который лениво двигает ручками, зевает, почесывается. У него худое, бледное от усталости лицо, он оставляет на минуту ручки управления и трет глаза. Трамвай визжит и трясется... Папаша Апостол мертв и, наверно, лежит сейчас в морге Пироговской больницы среди прочих покойников... Вагоновожатый развертывает бумажный сверток и кладет перед собой. На бумаге хлеб и сыр. Он отламывает большой кусок хлеба и немного сыра и сует себе в рот, после чего оборачивается и подмигивает мне:

— Голод не тетка, милый человек... Ты из провинции?

— Почему из провинции?

— Вижу, интересуешься, все на мои руки глазеешь.

Папаши Апостола больше нет. Он меня учил, как бросать тюки, как их принимать, чтобы пальцы не повредить, теперь его нет. Лежит в морге, а завтра его зароют, все равно что не было человека... Трамвай резко останавливается, и какой-то гражданин, чтобы не упасть, хватается за мое плечо. Гражданин что-то бормочет насчет деревенской телеги и неопытных вагоновожатых. Вагоновожатый с усмешкой качает головой:

— Неопытный! Я пятнадцать лет вожу людей, почитай, вокруг земного шара объехал, а может, и того больше... Но гражданин по-своему прав, на этот раз я остановился как последний извозчик. Ты где сходишь?

— На предпоследней.

— Вот увидишь, как я тебя доставлю.

Укрощенный легким подергиванием ручки, трамвай сбавляет скорость и останавливается, словно старый кроткий пес.

— До свидания.

— До свидания,— отвечает мне вагоновожатый.— Желаю приятно отдохнуть.

Есть добрые люди на белом свете. Просто добрые. Нет у них начальнического гонора, они не пишут стихов, делают свое дело, и на них держится все. Как этот вагоновожатый. Как папаша Апостол.

Улица, где живет Корешок, застроена большими современными

домами, и только в самом конце ее стоят несколько ветхих домишек, подлежащих сносу. В одном из них проживает Корешок вместе со своей матерью. Окно, наполовину закрытое листвой персикового дерева, освещено. Прохожу к нему через дворик и стучу. Отстраняется занавеска, и мелькает скуластое лицо Корешка. Он машет, чтобы я шел к двери.

И вот мы уже сидим в его комнате, я на самодельном стуле с грубой резьбой на спинке — Корешок любит мастерить такие вещи,— он на своей кровати, в трусах и белой майке. Наверно, только что проснулся. Долго сидим молча, забыв о нашей ссоре. Но и говорить нам особенно не о чем.

— Когда он умер? — поднимает голову Корешок и смотрит на меня сердито, будто я в чем-то виноват.

— Несколько часов назад.

Он вертит в руках цепочку с двумя ключами. Потом встает, натягивает на себя голубую рубашку, брюки, суетится, стуча тяжелыми башмаками и, непонятно зачем, включает маленький радиоприемник. Слышится мексиканская песня, звон гитары. Корешок вертит ручку приемника, чтобы приглушить звучание, и неожиданно хлопает по нему рукой.

— Врачи!.. Зря только мучили человека.

— Врачи не виноваты, Корешок.

Открывается дверь, и в проеме появляется мать Корешка в длинной ночной рубашке, седые волосы всклокочены. Она испуганно смотрит то на сына, то на меня. По бледному болезненному лицу пробегает улыбка.

— Добро пожаловать, Пешо... Николай, что тут за шум? Упало что-нибудь?

Корешок для нее — Николай, и этот Николай предстает передо мною необычайно нежным. Он обнимает мать за плечи, сажает на стул, накидывает на нее свой пиджак.

— Тебе показалось. Ты почему не спишь?

— Мне послышался какой-то стук.

— Это я нечаянно ударил по приемнику,— виновато говорит он.— Папаша Апостол умер.

Мать, тихонько ахнув, закрывает рукой рот. Потом качает головой, как делают все женщины из народа, услышав скорбную весть. Пиджак сползает с ее плеч. Корешок снова прикрывает их.

— Иди ложись, мама. Виноградной у нас не осталось?

— Сейчас принесу.

Она уходит, переваливаясь с ноги на ногу и держась за поясницу, приносит полбутылки ракии и три рюмки. Мы сидим втроем друг против друга, отпиваем из рюмок — пусть земля ему будет пухом, папаше Апостолу.

— Мне и в рот не следовало бы брать этой дряни,— говорит мать,— но за старика проглочу капельку. А он еще крепким казался, когда приходил в последний раз. Сидел вот на этом стуле, на котором ты сидишь, Пешо, и рассказывал нам, как ему жилось в молодости и в войну... Жалко беднягу. Принес мне тогда головной платок и бутылочку сливовой, бог его прости... Ох-хо-хо!

Я впервые слышу, что папаша Апостол бывал в этом доме. И, наверно, бывал частенько, раз подарки дарил хозяйке. А мне и в голову не пришло пригласить его к нам... Я гляжу на Корешка и на его мать, и мне кажется, начинаю понимать, почему я не мог быть так близок с папашей Апостолом, как они.

Мы какое-то время молчим. О чем еще говорить? Корешок облокотился на колени, повесил голову и грызет палец — он всегда так дела-

ет, когда напряженно думает. Мать встает и, уходя к себе, говорит со вздохом:

— Так уж нам суждено, все там будем... Хоть вы-то живите подольше.

Она сказала почти то же самое, что изрек мой отец. Слова примирения, древние слова, они несут в себе скорбь, но не утешение.

Мексиканские гитары смолкли. Радио передает новости.

12

Как только вспомню о том, что произошло вскоре после похорон папаши Апостола, мысли мои разбегаются и я, как это часто со мною бывает, топчусь на одном месте. Нет, я не жалею о случившемся. Впервые в жизни не испытываю сожаления по поводу того, что совершенно не свойственно моему характеру и при иных обстоятельствах показалось бы бессмысленным и диким. Если трезво разобраться, случившееся действительно не имело никакого смысла, потому что все равно ничего нельзя было поправить.

С другой стороны, это должно было случиться, неизбежно. Я не могу сказать, почему именно, но чувствую, что я это сделал не столько ради папаши Апостола, сколько ради самого себя, а может быть, и ради других, ради тех, которые знали всю историю или могли узнать ее потом. В тот момент я этого не сознавал, однако теперь убежден, что для человека нет ничего обиднее ненаказанной, торжествующей несправедливости...

Мы возвращались с Боянского кладбища. Папашу Апостола мы оставили под холмиком глинистой земли, на котором могильщики установили небольшую красную пирамиду с пятиугольной звездой наверху. Нас было немного — ребята из бригады, женщины из экспедиции, Шеф и Ненов, сын и сноха папаши Апостола и его хозяин. И Студент был с нами, хотя он уже не работал в бригаде. Василев, секретарь парткома, надел по случаю похорон синюю форму железнодорожника с золотыми нашивками на рукавах, он произнес краткое слово — о старом рабочем и честном труженике Апостоле Веселинове, человеке беспартийном, но высокосознательном, который прошел войны и стачки и всегда был верен своему классу. Затем маленький хор спел две песни. Вот и все.

Сын со снохой, выслушав соболезнования, уехали на такси прямо на станцию, чтобы не опоздать на поезд. Другие возвращались в город на боянском автобусе. Мы с Шефом и Корешком решили спуститься пешком к трамвайной остановке, на Княжевское шоссе, чтобы немного размяться. Предвечернее солнце скрылось за огромной тучей, и старые желтеющие тополя вдоль улицы Бэкстона беспокойно зашумели. Шеф рассказывал нам, что его старший сын — ему исполнилось пять лет — уже катается на двухколесном велосипеде, купленном у одного знакомого (тот приволок его в багажнике из Дании), а вчера малый упал и расшиб себе нос, но беда невелика, чего только с ними не случается, пока вырастут... Шеф не очень-то следил за своей одеждой и всегда выглядел немного неряшливым, но на похороны пришел в новом костюме и в белой рубашке. Когда дома военных остались позади, справа осветилось небольшое заведение «Пиво-скара». Он предложил зайти выпить по рюмочке.

— Шеф, так недолго и разориться! — съязвил Корешок.

— Будь спокоен.

Внутри мы увидели несколько непокрытых столиков, официанта, который лениво принимал заказы, и трех посетителей. Официант при-

нес ракию и салаты для нас с Корешком, кружку пива для Шефа, поставил все на стол и зевнул.

— Давайте, ребята,— сказал Шеф и поднял кружку с пивом,— за папашу Апостола.

Чокаться мы не стали, Шеф сказал, что чокаются только за здоровье, а какое тут здоровье, когда человек умер. Не успели мы выпить, как на улице загудел мотор и в витрине мелькнул серый «запорожец» Ненова. Из него вылез сам Ненов, осторожно закрыл дверку, запер ее и вошел в заведение. Заметив нас, он немного опешил. Человека мучила жажда, и он зашел выпить бутылочку оранжада. Ненов подсел к нашему столу.

— Немного привел в порядок цветы на могиле,— сказал он и смахнул соринку со своего темного пиджака.— Мотор чего-то у меня забарахлил.

— Что с ним такое? — спросил Шеф.

— Не знаю, плохо заводится... Ну, пусть земля будет ему пухом. Жалко, что не могу выпить с вами, за рулем я, боюсь, накроет инспектор...

Он коснулся своим стаканом кружки Шефа, затем наших рюмок в том порядке, как они стояли на столе. Корешок обернулся и посмотрел мне в глаза, потом взял рюмку и выплеснул ракию на пол. Прибежал официант.

— В чем дело, товарищи? Зачем вылили ракию?

— Муха попала. Налей мне снова.

Уши Корешка горели огнем. Официант взглянул на мокрый пол, повертел головой и молча пошел за ракией.

— Корешок, зачем ты это сделал? — Шеф не мог прийти в себя.

— С гадами не чокаюсь,— тихо сказал Корешок.

Ненов все еще держал в руках оранжад. Его белесые веки часто мигали, и он казался страшно удивленным.

— Ты случайно не рехнулся? — проговорил он наконец и поставил стакан на стол.— Почему оскорбляешь?

— Нехорошо, Корешок. Зачем ты это сделал? — спросил Шеф.

— Пешо тебе объяснит, он знает.— Нахмурившись, Корешок глядел по сторонам.

— Оставь его, Корешок, сейчас не время,— сказал я, схватив его за руку, но он вырвал ее и смерил меня уничтожающим взглядом.

— Нет, сейчас самое время... Шеф, это он, твой помощник, виноват в смерти папаши Апостола. Это он его угробил.

— Как так?

— А так. Пешо все тебе расскажет.

Меня бросило в жар. Действия Корешка не имели смысла, к тому же я страшно не люблю скандалов. Ненов переводил взгляд с меня на Корешка и, казалось, никак не мог сообразить, в чем дело. Шеф нахмурился и вопросительно посмотрел в мою сторону. Я кивнул.

— Это правда, Шеф.

— Что правда?

— В ту ночь, когда с папашей Апостолом случился приступ, Ненов вызвал его на работу. Ходил к нему домой.

Ненов сразу успокоился и откинулся на спинку стула.

— Ах, вот оно что? Шеф, я тебе рассказывал, какая у нас была запарка. Ты тогда был в отпуску. Из всей бригады нас осталось двое. Даже Пешо не было на работе.

— Это неверно, я немного опоздал.

— Ну, ладно, опоздал... А что мне оставалось делать? Пошел за Апостолом, не отрицаю, но этого требовало дело. Откуда я мог знать, что он до такой степени болен? Я его не насиловал, только попросил.

— Не насиловал, но поил ракией.— Меня уже допекло, и я смотрел ему прямо в глаза.— Старику строго запретили пить, а ты всучил ему ракию.

Ненов побагровел. Его волосы и веки казались совсем белыми.

— Это неправда. Он уже выпивал, когда я пришел.

— Я верю папаше Апостолу.

— Это он тебе рассказал?

— Он.

— Не понимаю, зачем ему понадобилось врать... Может, был не в себе. Больной чего только не наговорит...

— Ну и ну,— произнес Корешок. Голос его сделался вдруг сиплым.— Чудно́ как-то: папаша Апостол, который всегда говорил правду, взял да наврал. Чего только не случается на белом свете.

Ненов смотрел на него с растерянным видом. Он вынул платок, вытер губы, мучительно глотнул. Шеф уставился на своего помощника и молча слушал.

— Пешо, будь хоть ты разумным человеком,— сказал Ненов.— Что случилось, то случилось, кто мог предположить?.. Если начнем искать виновных, то и ты окажешься среди них.

— Почему я?

— Так ведь ты же опоздал тогда. Приди ты вовремя, я бы не стал звать Апостола.

Ему не следовало этого говорить. Если б он этого не сказал, может быть, ничего бы не случилось... Корешок положил руки с растопыренными пальцами на стол.

— Так... Папаша Апостол наврал, а виноват во всем Пешо.

Корешок рванулся вперед и схватил Ненова за воротник и за галстук одновременно. Воротник затрещал. Шеф поймал Корешка за пояс и потянул назад. Прибежал официант, приблизились двое посетителей.

— Постойте,— крикнул я.— Корешок, отпусти его. Он не виноват.

Корешок отпустил Ненова и, крайне изумленный, исторг нечто похожее на стон. Он так и упал на стул с раскрытым ртом.

Официант предложил нам немедленно убраться, поскольку пьяные скандалы в заведении строго запрещены и так далее. Двое посетителей, пожав плечами, вернулись к своему столику. Шеф сердито поглаживал свою остриженную голову, затем достал кошелек, чтобы расплатиться. Весь желтый, Ненов поправлял воротник и растирал шею, покрывшуюся красными пятнами.

— Ненов, убирайся отсюда,— сказал я.— Живо.

— Уходи,— сказал в свою очередь Шеф.— И чтоб не было тут скандалов.

Ненов затянул узел галстука, поглядел на Корешка, угрожающе мотнул головой и пошел к выходу.

Кивнув Шефу, чтобы он присмотрел за Корешком, и дав понять, что иду в туалет, я вышел следом за Неновым. Я был спокоен, если можно назвать спокойствием леденящий, обжигающий холод, наполнивший мою душу.

Ненов уже всовывал ключ в замок «запорожца». Услышав мои шаги, он оглянулся и расправил плечи.

— Я это так не оставлю, Пешо. Я потребую, чтобы уволили твоего дружка.

— Ладно,— сказал я.— Дальше?

— И ты тоже соображай, что говоришь. За такую клевету...

Удар отбросил его на капот. Он закричал, но как-то тихо, пискливо, по-заячьи, ему не хватило воздуха. Потом выпрямился и стал пятиться назад, шарить глазами вокруг — наверно, искал что-нибудь на земле, может, камень.

Я ударил его еще. На этот раз в подбородок, и Ненов распластался на земле. Я ждал, пока он встанет, но он все лежал и стонал. Если не хитрил.

Я вернулся к товарищам. Был невероятно спокоен, только рука у меня ныла. Шеф что-то доказывал Корешку. Тот слушал, потупя голову, и тер свой длинный нос.

— Что там случилось? — спросил Шеф, увидев меня.— Уехал он?

— Возится с машиной.

Уже стемнело, и трудно было увидеть, что происходит на улице. Но вот затрещал мотор, фары осветили дорогу, и шум «запорожца» затих в отдалении. Значит, хитрил, подумал я, тем лучше. В это время я помнил лишь о своей руке, и ни о чем другом. Кисть посинела, ладонь начала вздуваться. Шеф тоже задержал взгляд на ней.

— Как придешь домой, сделай компресс. Без перчаток всегда так бывает... Не слишком ты его изукрасил?

— А, пустяки,— сказал я без малейшего угрызения совести.

Корешок усмехнулся и хлопнул меня по плечу.

Вот и все. Ненов был первый человек, которого я ударил в своей жизни. Первый, которого ударил первым.

Я возвращался домой легкой походкой и с легким сердцем. Вышел из трамвая у Русского памятника. Шеф поехал дальше, Корешку предстояло сойти через две остановки; был теплый вечер, я шагал один по тенистому тротуару Патриарха, с сигаретой во рту, размахивая руками и улыбаясь. Прохожие едва ли замечали мою улыбку, но я в них ощущал друзей — во всех этих незнакомых людях, движущихся по улице. Как будто я вернулся к ним после долгой разлуки. Не могу объяснить, что со мною творилось — ударил по лицу человека и чувствовал себя счастливым. Только рука у меня побаливала.

Ужинали всей семьей. За столом был даже дед, который обычно долго засиживался в городском саду со своими приятелями. Что касается руки, то я сказал, что мне ее защемило дверью в трамвае. Мама с дедом поверили этому, отец посмотрел на меня с подозрением, но промолчал. Не могло не вызвать удивления то обстоятельство, что, вернувшись с похорон папаши Апостола, я болтал как никогда и говорил не в меру громко. Хотя никто меня об этом не спрашивал, я вдруг заявил:

— На днях расстаюсь со своей бригадой.

— О! — удивился отец.— С чего бы это?

— Пойду на ремонтный завод. Там у моего друга знакомое начальство. Оба туда устраиваемся.

— Хорошо,— отозвался только отец, но скрытая усмешка чуть удлинила его губы.

Мне было приятно, что отец остался доволен. Я и сам был доволен и казался себе ужасно добрым. А относительно ремонтного завода мы с Корешком сговорились всего час назад, когда покинули то заведение. Шеф одобрил наше решение, вполне понимая, что в бригаде мы не можем больше оставаться. Может быть, и Ненов уйдет, высказал предположение Шеф, невелико удовольствие работать вместе с таким человеком, он собирался сказать ему это в глаза. Шеф вообще человек очень справедливый и привык говорить правду, как бы ни была она горька. Я ушел к себе и вытянулся на кровати. Теперь можно было читать, или спать сколько угодно, или с Пухом играть — никогда я не ощущал в себе столько сил. Все, что случилось в последние дни, казалось мне теперь закономерным, неизбежным,

и я пришел к мысли, что иные вещи не могут случиться ни раньше, ни позже.

В окно вливалась вечерняя прохлада, вторгался шум города, вместе с которым затихали и удары моего сердца. Это был мой город.

Мы с Корешком сидим в комнате секретаря парткома. Поближе к его письменному столу восседает Ненов с видом невинно оскорбленного человека; он сосредоточен, белесые брови нахмурены. На его челюсти синеет большая шишка, и он слегка шепелявит, так как у него немного шатается передний зуб. Ненов все время держится рукой за щеку и не смотрит в нашу сторону. Секретарь парткома что-то пишет в блокноте, наконец, отложив блокнот и почесав лоб, запускает пятерню в черную щетину волос.

— Ненов, у вас есть что добавить?

— Нет, товарищ Василев.

— А у вас?

Вопрос обращен к нам с Корешком. Я пожимаю плечами, Корешок тоже. Разговор окончен, но Василев постукивает карандашом по столу и не торопится подводить итог. Он ничем не выдает своего мнения. Просто позвал нас, выслушал каждого — и только. Перед ним лежит медицинская справка, которую Ненов представил еще до начала разговора. Василев медленно оглядывает всех и говорит:

— Вы свободны, Ненов.

Корешок толкает меня локтем, и мы тоже встаем, но Василев поднимает руку:

— Вы подождите.

Ненов берет со стола свою справку, кивает Василеву и уходит, приволакивая ногу. Василев долго молчит, на лбу его глубокая складка, губы плотно сжаты. Затем он сует в ящик стола блокнот и вскидывает брови.

— Ну?

Главный обвиняемый — я. Ненов во всех подробностях описал, как я в пьяном виде наносил ему побои, просто так, ни за что ни про что. Я рассказал все, как было в действительности — за что ударил помшефа, о том, как Ненов всучил ракию папаше Апостолу и как у того случился приступ,— однако Василев будто не обращал внимания на мои обвинения и все время спрашивал: «Как ты посмел ударить человека?.. По-твоему, ты правильно поступил?» А я упорно уклонялся от ответа на эти вопросы. Может, и неправильно, но никакая сила не могла заставить меня признать это в присутствии Ненова. У меня просто язык не поворачивался...

— Вот и все, товарищ Василев,— говорю.— Что было, о том вы слышали.

— Слышал... До чего же мы дойдем, если каждый начнет творить суд и расправу над кем и как угодно? Что ты на это скажешь, Клисуров?

— Ничего я не буду говорить,— отвечаю. Как будто вся беда в моем проступке, а не в преступлении Ненова.— Раз вы мне не верите...

— В том-то и дело, что я тебе верю,— сердито говорит Василев.— Иначе не стал бы тобой заниматься, мы бы говорили на другом языке... А вот вы оба и впрямь не хотите мне верить.

— Как это не хотим верить?

— Почему сразу не пришли, как только случилось несчастье, и не рассказали мне всю правду?

— А разве это помогло бы старику?

— Старику нет, а Ненов получил бы по заслугам.— Василев вертит головой и вздыхает так, как будто перед ним дети.— А теперь что? Апостол мертв, подтвердить твои слова некому. Больше того, Ненов преспокойно может подать на вас в суд за побои... В чем вы его обвиняете? Вызвал старика на работу, когда тот был болен... Ненов не врач, он пошел на это в интересах дела, так что вам останется только моргать глазами да ссылаться на то, что он якобы делал недозволенные вещи.

Я страшно подавлен. Корешок смотрит под ноги и кусает губы. Василев прав, хотя рассуждать обо всем этом теперь не имеет смысла.

— Значит, виновный останется ненаказанным?

Василев глядит на меня с усмешкой и говорит, закуривая:

— Зелен ты еще, Клисуров... Вижу, ты горишь желанием добиться правды, только правда порой дается нелегко... Да, Ненов в данном случае останется ненаказанным. Но не я, а ты помог ему в этом, ясно? Предположим, мы сумеем его наказать,— что из этого? И потом, какое наказание возможно в данном случае? Моральное?.. Но если у человека тут и тут ничего нет,— он тычет себе пальцем в грудь и в лоб,— моральное наказание поможет ему как мертвому припарка. Наказанными будете вы, хотя правда на вашей стороне.

— Тогда зачем же вы нас позвали, товарищ Василев?

Я смотрю ему прямо в глаза. Теперь я могу смотреть в глаза кому угодно. Он не отводит глаз, только сплетает пальцы на столе.

— Я вас позвал, потому что поступила жалоба. Это во-первых. А во-вторых, чтобы вы усвоили то, что может вам очень пригодиться в жизни. Вы понимаете, как я сейчас обязан поступить? Вынести ваш случай на рассмотрение комсомольской организации, чтобы вам хорошенько намылили шею. А какие неприятности доставит вам Ненов, вопрос особый.

— Мы свободны?

— Я не участковый милиционер, чтобы задавать мне такие вопросы. Если хотите, вы свободны.

Он встает, выходит из-за стола, заложив руки за спину. Мы с Корешком медленно поднимаемся со своих мест с таким чувством, будто во всем этом разговоре есть что-то недосказанное.

— Вы свободны,— повторяет Василев.— Только каждому из нас необходимо помнить, когда и что можно делать и как пользоваться своей свободой. Ну, до свидания.

— И это все, товарищ Василев? — обиженно говорит Корешок.

— Все.— Секретарь парткома прощается с нами за руку и, задержав мою в своей, добавляет: — Что касается Ненова, то я буду настоятельно ему советовать не обращаться в суд. На-сто-я-те-ль-но... Скажу честно, я на вашем месте едва ли поступил бы иначе... Только это между нами.

Он весело смеется и, прежде чем мы успеваем что-то сказать, выталкивает нас за дверь.

Мы с Корешком направляемся в буфет, чтобы выпить по стакану лимонада. У меня пересохло во рту. Потом выходим на привокзальную площадь и, щурясь от солнца, закуриваем. Слева, на месте бывшего сквера, уже высятся опутанные лесами стены нового вокзала. Через год-два старый, в котором мы работали, сохранится только на снимках...

— А этот Василев дельный мужик,— говорит Корешок.— Башковитый.

— Да.

Трамвай набит битком. Окна с наветренной стороны облепило снегом. Внутри тепло, пахнет сыростью и испарениями. По утрам «двенадцатый» всегда переполнен, поскольку идет в промышленный район Софии, куда уже на рассвете валом валят тысячи рабочих. Не прошло и двух месяцев с тех пор, как я начал ездить этим трамваем, но уже многие парни и девушки, пользующиеся им, стали мне знакомы. Держась за поручни над головой — в пальто, в ватниках, в теплых куртках, с шарфиками и без них, в шапках и без них,— они то и дело перекликаются в разных концах вагона. Я тоже перекликаюсь с двумя парнями из нашего цеха. Пожилых немного, и некоторые из них развернули газеты, пытаются прочесть свежие новости. Стоящий рядом паренек включает транзистор. Громкий голос радиофизкультурника заставил всех умолкнуть на какой-то миг: «Руки вытянуты вперед, медленный наклон туловища вниз. Ра-а-а-з, два-а-а...»

— Ну-ка, вы, чего ждете?..— подает голос черноглазый шутник низенького роста.— Наклоняй туловище вниз и не ошибешься. Ра-а-а-з...

По вагону катится хохот. Пассажиры смеются не потому, что шутка такая уж смешная. Просто чтобы рассеять дремоту, взбодриться. Девушка, стоящая впереди меня, трясется от смеха и оборачивается, чтоб увидеть шутника, но увидев меня, приветливо кивает. Я киваю в ответ. Она вроде бы из дирекции завода, я видел, как она оттуда выходила. Девушка рослая, глаза как маслины, вязаная шапочка, закрывающая ее уши, усыпана жемчугом тающих снежинок. Смеется она громко, непринужденно, обнажая два ряда белых зубов, и мне очень приятно на нее глядеть. Какой-то мужчина, довольно грузненький, в лоснящейся коричневой дубленке, пробивается к выходу и, пошатнувшись, наступает мне на ногу.

— Извини,— говорит,— так получилось.

— Ничего,— говорю я.— Вчера я наступил на мозоль какой-то женщине. Вы, случайно, не муж ее?

Так мы добираемся до нашей остановки. Высыпаем из трамвая. Еще не протоптаны тропинки, и мы бредем к заводу по мягкому снегу, местами присыпанному сажей. Мой цех далеко от заводских ворот, и я шагаю еще минут пять с двумя моими товарищами. До начала смены остается немного времени, и у меня есть возможность выкурить первую сегодня сигарету. Мимо проходят слесари, фрезеровщики, сварщики, токари — все те, кто поддерживает в порядке машины и оборудование, и распахнутые двери цеха их тут же проглатывают. Стефка, один из слесарей, прикуривает от моей сигареты и, затягиваясь, жмурит глаза.

— До чего же приятно покурить перед началом работы, а, Пешо? Потом, как начнешь вкалывать, не разрешают. Неплохо придумано, меньше денежек дымом уйдет.

Мы курим и глазеем на небо. И нам хорошо. Наконец, окурки брошены, нам остается еще десять минут, чтобы подготовить рабочие места. Я должен был сделать это вчера, по окончании работы, но Корешок увел меня раньше времени, мы чуть было не опоздали на последний матч сезона.

Подхожу к токарному станку. Осматриваю его, смахиваю тряпкой пыль и стружки. Станок новенький, небольшой. Чтобы работать на нем, надо иметь наметанный глаз и верную руку. Буду делать какие-то шпульки, не знаю, зачем они. Еще вчера мастер дал мне чертежи с указанными размерами и заявил, что ждет от меня сегодня пятьдесят штук, то есть по шесть штук в час... Делаю пробный пуск: вьюу-у-у... Отлично!

— Пешо-о-о!— кричит Корешок с другого конца цеха.— Как настроение?

Я поднимаю руку с растопыренными пальцами — на пять. Это наш код. При плохом настроении был бы ноль. Но до ноля у нас никогда не доходит. Это, по мнению Корешка, было бы не по-мужски. Опуститься до тройки еще куда ни шло. А ниже ее — удел бабушек с извечным ревматизмом. Первое время, когда мы поступили на завод, Корешок часто ходил в троечниках; пока учился, слесарное дело казалось ему не по плечу. Сейчас и он вскинул руку с растопыренной пятерней.

Обедаем с ним за одним столом. Берем суп с фрикадельками, мусаку, а на десерт — миндальное пирожное. Рядом с нами парень и девушка. Девушка все та же, из дирекции, с маслиновыми глазами, парень — электротехник, это видно по амперметру, торчащему из нагрудного кармана комбинезона. Они поглощены не столько едой, сколько друг другом. Что ж, хорошо. С девушками одним везет, другим нет, третьи живут надеждой. На эту парочку я гляжу несколько покровительственно, как-никак я постарше их, опытнее. Надеюсь, хоть им повезет.

После обеда меня почему-то зовут в отдел кадров. Не представил автобиографию. Доказываю сотруднице, что я представил в самом начале, но та, сколько ни роется в папках, не находит.

— Напишите снова,— говорит она.— Что вам стоит.— И виновато усмехается.

Напишу, велика важность. Завтра занесу. Что правда, то правда, для меня это сущий пустяк — моя биография исчерпывается несколькими словами: родился, учился, комсомолец, служил в армии. Минибиография... А если разобраться, самое главное в биографии отсутствует, даже в максибиографии. Как в ней написать о своей жизни, о том, к чему стремился, о чем думал ночами, когда не спалось, с кем готов водить дружбу, а с кем нет? Как рассказать о маме, об отце, о сестре, о дедушке? Или об учителе физики? Или о папаше Апостоле, Корешке? О Тане и Зорке, о Ненове и Шефе, о Кирилле и Невяне? А ведь все они и есть моя настоящая биография. Биографию человека создают люди, каждый наносит штрих, а все штрихи вместе образуют его портрет; придут новые люди, добавится еще одно светлое пятно или ляжет тень, но портрет всегда будет незаконченным. И как было бы хорошо, если б у каждого, с кем мы в жизни сталкиваемся, был в кармане паспорт, в котором каллиграфическим почерком было бы обозначено:

Год рождения — не имеет значения.

Рост — не играет роли.

Глаза — честные.

Характер — человечный.

Особые приметы — любит детей и чистый воздух.

Я возвращаюсь в цех, улыбаясь своим мыслям. Дядя Максим говорил: жизнь—это тебе не парикмахерская, где приводят в порядок смятые прически. Пускай так, но почему прически должны быть испорченными?

Стоит ясная погода, в снегу, на заводском дворе, уже испещренном следами людей и автомобильных шин, блестит солнце, и я пытаюсь глядеть на его сверкающую белизну открытыми глазами.

■

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ

Перевод с урду Г. ПЛИСЕЦКОГО

■

О, вечер в городе моей любви,
будь милосердным!
Бессмысленная мука, адских мук
подобье — пытка полдня.
Был полдень, полный ярости, тоски,
тоски, и ярости, и боли безъязыкой.
Безжалостными, хлесткими бичами
все тело изрубцовано мое.
Горят рубцы.
Я думал — заживут,
а превратились — в язвы.
О вечер,
облегченье принеси!
Прохладным покрывалом оберни
все тело, шрамов с лаской коснись,
боль исцели мою,
будь милосердным!

Пустыня — ненависть. Воистину, вот ад —
бесстрастная, бесплодная пустыня,
царапины завистливых зрачков,
колючки лжи и сплетен.
Безлюдье. На дорогах — ни души,
зато у виселиц — не протолкаться.
Мы этот смертный, скорбный путь прошли,
в кровь разбивая ноги, шаг за шагом,
и ноги, размозженные о камни,
нас приближали к цели.
Вечереет.
Шелк облаков, плывущих мимо,
вечер,
стели под ноги путников усталых,
будь милосердным!

Беседу с поэтом см. в разделе «Наши гости».

Стань, вечер, лекарем страданий наших.
И ты, луна, ночей моих подруга,
коснись прохладным светом наших ран.
О, вечер в городе моей любви,
будь милосердным!

■

Что мне думать о мгновенье,
когда сердце вдруг устанет,
все страданья, все сомненья,
все былое — в бездну канет,
а небывшее — настанет?
Ведь началом умиранья
было первое желанье.
Сколько раз я жаждал страстно
наступления рассвета!
Сколько раз мне было страшно!
Сколько раз случалось это!
Сколько раз я с днем прощался!
Сколько раз он возвращался!
Сколько раз рвалось на части
сердце — и опять срасталось!
И страдание, и счастье:
все прошло — и все осталось.
Что мне думать о мгновенье,
когда сердце вдруг устанет?
Прочь — оглядку, прочь — сомненья,
страх очей не затуманит,
что настанет — то настанет!
Коль смеяться хочешь — смейся,
хочешь плакать — плачь! Не стыдно.
Лишь на сердце понадейся,
а что будет — будет видно.

■

В далеком царстве,
в давние года
ты мне сказала:
«Я тебя люблю!»
Любила и взаправду, может быть.
Увы, несчастной сделал я тебя...

В далеком царстве,
в давние года
тебе сказал я:
«Я тебя люблю!»
И в самом деле, может быть, любил.
«А у меня — прошло!» — сказала ты
и несчастливым сделала меня.

Года прошли, и боль моя прошла.
Спокойно и разумно ты живешь.
Живу и я.

Памяти Саджада Захира

Нам не бродить с тобой по саду вместе,
и не сложить голов на лобном месте,
и не болтать о похожденьях наших,
и не открыть тоски сердец страдавших.
Не будет дружбы с музой сладкогласной,
ни слез о нашей родине несчастной.
Не слушать нам в застенке звон кандальный,
а на пиру — бокалов звон хрустальный
во здравие страдавших вместе с нами,
и в память опьянения стихами,
и в память собутыльников веселых,
и в память о тюремных днях тяжелых...
О, ветер утра! Проступает зыбко
в окне рассвета робкая улыбка.
Там, в космосе, струятся кванты света —
вот все, что остается от поэта.
Налей же полный и пусти по кругу
бокал прощальный, посвященный другу.
Друзья, погасим свечи, слезы вытрем,
бокал последний на прощанье выпьем —
и грохнем об пол!..

Снова в Дакке

Вот мы и встретились опять после всего, что было.
Друг друга сможем ли понять после всего, что было?
Не скоро зашумит весна листвою неизраненной,
Дождь будет долго кровь смывать после всего, что было.
Внезапно вспыхнувшей враждой, огнем ожесточения
Закаты будут полыхать после всего, что было.
Что остается нам? Рыдать? Любить? Страдать? Надеяться?
Друг друга горько упрекать после всего, что было?
Фаиз, неотразимых слов, способных сердце выразить,
Ты так и не сумел сказать после всего, что было!

■

ФРАНЦ-ЙОЗЕФ ДЕГЕНХАРДТ

Бикфордов шнур

РОМАН

Авторизованный перевод с немецкого И. ЗИЛЬБЕРМАНА и В. КОТЕЛКИНА

Глава восемнадцатая

Отчего бывают крушения

Что правда, то правда. Берта Ниус на своем веку хлебнула горя, да и теперь ей было не сладко.

С сорок третьего она жила с детьми одна. Младшим сестренкам Тюнемана — двойняшкам Ганнелоре и Дорис — исполнилось как раз четыре, Тюнеману одиннадцать, близнецам Розе и Кларе — по шестнадцать (в этом возрасте привлекали к трудовой повинности). Фриц Ниус уже год как находился в штрафном батальоне, а тут в дом попала бомба, и под развалинами погибли мать Тюнемана и его братишка-близнец Йозеф, который хотел забрать в убежище с чердака голубя, данцигского сизаря, но не успел.

Ниусам помогал весь квартал. Каждый старался как мог. Для них освободили железнодорожный вагон первого класса. Берта Ниус в кресле-коляске, которое вез Тюнеман, руководила делами семейства, командовала, утешала, кричала на чиновников в разных учреждениях, что-то организовывала, забрала Розу и Клару из верхнего города, где они нянчили малых детей у каких-то бездельников.

Все она умела, всему научилась, эта дочь гамбургского рабочего-докера. Когда ей было шестнадцать, она сбежала в Англию от полиции, которая разыскивала ее в связи с саботажем на верфи, где строили тогда крейсеры. А скоро она уже снова была среди бастующих горняков Рура.

Потом она вышла замуж за Антона Ниуса, днем работала, вечерами писала, готовила материалы в поддержку СДПГ, но была на стороне Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Писала и в рабочую газету, разоблачала правых социал-демократов, их отказ от классовой борьбы, сочиняла листовки для солдат — за это она получила месяц тюрьмы и письмо от Клары Цеткин. Муж тогда был во Франции, а будущему отцу Тюнемана исполнилось всего десять лет.

Потом с ребенком она подалась в Гамбург. Ноябрь восемнадцатого, боевые дни, ни минуты сна за много суток. Работа в «Роте фане» с Паулем Фрёлихом. В феврале девятнадцатого — опять в Рур. Стычка с белыми в шахте «Амалия», легкое ранение, бегство в горы. Путч

Окончание. Начало см. в № 1.

Капна — и она снова в Руре Жестокая борьба. Ваттер—просто свинья. Носке — последняя сволочь. День и ночь за пишущей машинкой. В итоге — туберкулез, год тюрьмы.

Берта — член КПГ. Умирает ее муж Антон Ниус. Она остается одна с Фрицем, будущим отцом Тюнемана, который работает слесарем на заводе. Она выздоравливает, но прежних сил уже нет. В годы перед тридцать третьим — уличные демонстрации, столкновения. Она пишет для журналов и газет, листовки, лозунги «Смерть фашистам!». Ее мальчик — в Союзе красных фронтовиков, а она пишет и пишет то, что надо,—перо ее не притупилось. Но фашистский пес Гитлер приходит к власти. И начинается террор. В тридцать четвертом ее арестовали, на два года бросили в женскую тюрьму в Верле. Вернувшись оттуда, она сказала своему сыну, Шпорману, Штумбе, Ронсдорфу, Краху и Тричу:

— Я свое сделала, теперь ваша очередь.

Тогда создали целую организацию, которая помогала бежать из тюрем и лагерей политическим заключенным. Берта Ниус ездила по разным местам — под видом крестьянки, официантки, монахини, любовницы — то с профессором, то с пастором, то с еврейками, то с богословами, пока и это не стало опасно.

Несмотря на трудности, на заводе начала действовать подпольная организация. Раз в неделю проводилась партийная учеба. К Берте часто приезжал Хайни Шпорман, беседовал, дело доходило до горячих споров о единстве действий, о том, кого и как привлекать к работе. А потом — этот пакт о ненападении. О нем спорили без конца, тут организация чуть не раскололась. Работу на заводе начинали с саботажа. А как быть теперь? Берта Ниус тоже растерялась, как и Хайни Шпорман. Решили саботаж прекратить, а в остальном продолжать по-прежнему. Но многие из организации вышли.

Несколько месяцев Берта Ниус злилась и огорчалась, а потом все же приняла сторону Хайни Шпормана. Когда в сорок первом Германия напала на Советский Союз, она только сказала, что позже товарищу Сталину придется кое в чем разобраться. А сейчас — за работу.

Да, сделано ею было немало, а с Лоренцем Фуксом — это, в общем, пустяк. Конечно, дело тут не в бочке пива. У Берты был свой план, и ей хотелось бы поделиться им с Хайни Шпорманом и Фрицем Ниусом, но где же их взять? И вот она решила посоветоваться со своей старой подругой Ольгой Поттман. Штумпе ей теперь не советчик.

— Понимаешь,— сказала она Ольге,— они не то, что наши мужья и сыновья. Черствые они, настороженные какие-то. Душевности нет.

Вечером Ольга Поттман сказала мужу:

— Ох, трудно Берте. Пусть горбун у нее поселится. Жалко, что ли?

— Ты небось пиво любишь,— сказал маленький Поттман.— Нет уж, дудки.

Ольга швырнула ему в голову картофелину:

— Бревно ты бесчувственное.

Но они еще долго об этом говорили.

О душевности шла речь и у Ронсдорфов. Берта Ниус шила Герте на швейной машинке плащ из старого одеяла. Лоренц Фукс нажимал ногами на педаль и читал стихи. Мать Фимана сидела рядом в домике Фукса. У Герты Ронсдорф теперь появились круги под глазами — раньше их не было. Близким она говорила, что женщине тяжело быть одной.

А Лизбет Крах подслушала в бомбоубежище, как Эрна Трич шептала на ухо бабушке Тюнемана, чтобы та поговорила со Штумпе. Лизбет ведь не знала, кто такой Штумпе на самом деле.

— Вот что,— сказала Лизбет Крах как-то вечером у Шпорманов,—

Штумпе нацист и пусть не лезет в дела Берты с Фуксом. Хочешь, я этого плюгавого в камере сгною, хочешь?

Но Цюндер взял мать за руку и увел.

В общем, женщины жалели Берту Ниус.

Фэнэ с ребятами обыскали весь квартал, но бочку так и не нашли, а ведь знали тут каждый закоулок. И куда ее закатили? Конечно, чепуха, никакой западни под беседкой у Гуго Бека нет. Прочесали остальные дома и беседки, сараи, чердаки, особенно обращали внимание на свежевыкопанную землю. Нет, нигде ничего.

Собрались у ручья в Доманском лесу еще раз все обсудить. Вода в ручье была прозрачная, холодная. Ждали, что форель пойдет на нерест, но в этом году она так и не пошла. Ребята сидели вокруг костра на камнях, выковыривали палками из пепла печеную картошку, очищали от кожуры, жевали и вспоминали, как, бывало, текло рекой пиво в кабачке Эрвина Цибуллы. Вспоминали футбольные матчи, когда пиво пили прямо из ведер, и рассказ стариков про то, как Фридхен Бор одна выдула целую бочку пива и что с ней от этого приключилось.

В конце ноября темнеет рано. Подбрасывали хворост в костер, потели спереди и мерзли сзади. Уже растаяли звезды, но прожекторы все рыскали по небу, их лучи пересекались, и точки пересечения светились ярко, как звезды. Где-то выли сирены, где-то был пожар.

— Что делать с бабушкой Тюнемана и Фуксом? — сказал Фэнэ.— Нам все равно не найти этой бочки.

— А пусть Лоренц Фукс докажет, что он не нацист и не шпик,— сказала Зутта.

— Каким образом? — спросил Фэнэ.

— Он ведь работает на вокзале, а там проходит столько поездов на Западный фронт с пушками, танками, боеприпасами.

— Ты что? Рехнулась? — крикнул Фэнэ.— Там же солдаты.

На другой день у Фэнэ был разговор со Стахом, после того, как он спрятал в условном месте за кустами дрока продовольствие для русских.

— Это важный участок железной дороги,— говорил Фэнэ,— если бы он вышел из строя хоть на пару дней, это б здорово помогло американцам.

— Вы лучше держитесь подальше от этого,— сказал Стах,— сами только не суйтесь.

На другой день Фэнэ завел речь об этом с Бертой Ниус. Был холодный ноябрьский день. Она сидела в кресле-коляске, которое Фэнэ катил вдоль огородов. Решили немного погулять.

— Ага, голубчик,— воскликнула Берта Ниус,— вот, значит, для чего эта прогулка, вот почему ты так убеждал меня в необходимости дышать свежим воздухом. Но говорить с тобой на эту тему я не собираюсь.

И тем не менее кое-что все же случилось.

Целый день шел дождь, потом подморозило, стало скользко.

Все в квартале сидели по домам, ужинали. Дикторский бас перечислял координаты налетов бомбардировочной авиации: судя по всему, в ближайшие часы налета на квадрат «Людвиг—Паула», которым обозначалась их местность, не ожидалось.

— Пожалуй, поспим спокойно,— сказала Анна Шпорман.

Но не успела она это произнести, как в паузу между грохотом маневровых составов ворвался пронзительный гул. И воздух рассек резкий протяжный свист локомотива. Вскоре послышался треск лопающегося железа, а затем — тысячи взрывов. На крышах лопалась

черепица, вылетали оконные стекла, это длилось почти минуту. Все спрятались под столами. Кто-то крикнул: «На вокзале пожар!»

Там, где раньше стояла будка стрелочника, горели товарные вагоны. Поезд с боеприпасами, в основном с артиллерийскими снарядами, при маневрировании наскочил на путевой упор. Машинисту Ойгену Мюллеру удалось спастись. Стрелочник, махровый нацист Артур Зенке, погиб. Его помощник француз Альфонс остался цел и невредим. На значительном расстоянии от переводного он очищал обледенелые стрелки, а маневровый диспетчер Лоренс Фукс с тридцатью другими железнодорожниками слушал в кабачке Эрвина Цибуллы доклад какого-то видного нациста с имперской железной дороги о борьбе с вражеской пропагандой и саботажем.

Ремонтные работы шли четверо суток, и все это время железнодорожный узел бездействовал. В результате официального расследования, которое проводили два чиновника из дирекции имперской железной дороги при самом активном участии Лоренца Фукса, было записано: «На покатых и обледенелых путях отказало пневматическое тормозное устройство. В первом вагоне вследствие низкого качества материала порвался воздушный шланг».

Позже, много позже, когда об этом снова кое-как стало можно говорить, Фэнэ узнал, что Стах, Штумпе и Берта Ниус встречались и что Берта Ниус якобы показала им кусочек шланга. Ну, а все прочие — в основном женщины да еще Гуго Бек — думали, что общественное мнение смирилось с женитьбой Лоренца Фукса на Берте Ниус только благодаря бочке с пивом. Берта Ниус знала людей и в конце концов добилась своего.

Глава девятнадцатая

Свадьба

Про эту свадьбу в конце ноября сорок четвертого года потом много говорили.

Торжество организовали в беседке Фукса. Оттуда все убрали, втащили длинный стол — на деревянные козлы настелили доски, сверху положили парашютный шелк. Каждую тарелку украсили крестиком из плюша, рядом положили карточку с именем гостя. Это уж невеста настояла — Берта Ниус, а Тюнеман разрисовал карточки красивыми виньетками.

— Правда, свадьбу в кругу боевых пролетарских друзей и в условиях полной конспирации я, в общем, представлял себе по-другому,— заметил Лоренц Фукс.— По-моему, здесь слепое следование буржуазным или даже феодальным нравам, а, дорогая?

Берта Ниус призадумалась, а потом произнесла длинную речь о современной культуре, о широте этого понятия, о том, что уровень культуры характеризуется отношением человека к труду, всем его обликом, его поведением в обществе и всякое такое прочее.

Угощение было так себе. Достали только кролика, двух тощих петухов, несколько яиц, кусок сала, немножко муки, лука и картошки. И вот часа за два до свадьбы все сидели в вагоне первого класса и обсуждали, как быть со свадебной едой, и тут по улице с грохотом пронесся мотоцикл «триумф-500», с коляской. На нем сидел огромный Артур Бидульский. Прежде чем выключить мотор, он дал газ, мотоцикл взревел. Бидульский слез с мотоцикла, всех обнял и спросил, где жених. Лоренц Фукс поклонился, Артур Бидульский поднял его в воздух, потрепал по плечу и говорит:

— Люби ее и цени, а то отрежу у тебя кусок сала без наркоза.

Раньше он был боксер в полутяжелом весе, потом долго сидел в лагере, а потом объявился где-то в Мюнстере батраком.

— Настоящего подарка у меня нету, а вот кое-что закусить найдется.— Он вышел, вернулся с огромным кабаном и положил его на стол.— Я вам его разделаю, приготовлю, а потом мне ехать надо.

Он разрезал кабана на части, между делом выпил несколько литров вина, рассказывал немыслимые истории, например, про то, как раздобыл этого самого кабана. Все хохотали.

— Ох, узнаю Бидульского,— сказала Берта Ниус,— прямо как в доброе старое время. Ведь это он во время путча Каппа вынес меня из-под обстрела. Говорил, что пули от его спины отскакивают.

Стали жарить мясо. Артур Бидульский все рассказывал, потом запел басом старинные песни, аккомпанируя себе на лютне Берты Ниус. Потом сказал, что останется на свадьбу, один день в конце концов ничего не решает, уселся перед бочкой с пивом, стал перебирать струны лютни и что-то забормотал.

Начали собираться гости. Женщины в нарядных платьях обнимали невесту. Мужчины, тоже нарядные, пожимали ей руку. Лоренц Фукс стоял позади кресла-коляски, на шее у него был голубой шарф железнодорожника. Он принимал поздравления и подарки — носки, лук, носовые платки, яйца, пакетики с семенами, косынку, муфту и прочее. Берта Ниус была в голубом, на ней была шаль из парашютного шелка и золотая брошь. В ушах — жемчужины.

Гости рассаживались по местам. Вместе с Гуго Беком прибыли Стах, Петр и Лена из Минска.

Говорили мало. Соблюдали осторожность, ведь здесь были и жители квартала, которые, как говорила Берта, им симпатизировали, но не догадывались о существовании организации, например, двое железнодорожников с женами — коллеги Фукса. Не было, конечно, Штумпе, ибо даже Лизбет Крах считала его коричневым.

Гости поглядывали на тарелки с крестиками из плюща, карточками и салфетками и смущались, пока не встал маленький Поттман. Он попросил тишины и произнес речь. Он говорил о биографии новобрачных. Их жизненный путь, мол, не одинаков. Жених шел зигзагообразным путем, не раз приводившим его к краю пропасти, но светлая голова маневрового диспетчера всякий раз помогала, мол, ему найти правильный путь, и тут он пересекался с тернистым, но неизменно верным путем невесты — и вот теперь они рука об руку пойдут по этому пути к своей цели.

Он поднял бокал с вином.

— За ваш общий, небезопасный, но верный путь,— сказал он. И все выпили за Берту Ниус и Лоренца Фукса. Потом под звуки лютни, на которой играл Артур Бидульский, и губной гармошки Фэнэ спели: «Когда с тобой идем мы рядом и песни старые поем...»

Ответное слово произнес Лоренц Фукс. Говорил о заблуждениях, в плену которых иногда оказывается человек, если идет один, в стороне от друзей, и о том, что никогда не поздно вернуться в коллектив, и всякое такое прочее.

Фэнэ сыграл на гармошке, а Тюнеман и Зугга спели песню солидарности. Это их Берта Ниус научила. Припев подпевали невеста и маленький Поттман.

Так Лоренц Фукс и Берта Ниус, в общем, и поженились.

...Бочка с пивом возвышалась на двух стульях, и Лоренц Фукс по обычаю трижды обошел вокруг бочки, вытащил из воды кран, приставил его к затычке и одним ударом вогнал внутрь. Операция была проделана так точно, что пиво запенилось, потекло в кружки и

стаканы. Все примолкли. Вот пробку второго отверстия протолкнули внутрь, давление в бочке понизилось, и пиво потекло как надо. Когда перед каждым уже стояла кружка или стакан, Лоренц Фукс сказал: «Будьте здоровы!»

Выпили, заговорили, принялись хохотать.

Эрна Трич и Лена из Минска принесли кабанью голову. Она лежала перед ними на блюде, обложенная свеклой, яйцами и зеленью, во рту торчало яблоко. Бабушка Бертрам говорила, что это символ мира. На столе появилось мясо — дымились котлеты в темно-коричневом соусе. Когда говор и смех становились уж слишком громкими, Стах прикладывал палец к губам и говорил: «Ш-ш-ш».

Фэнэ сидел у бочки и помогал Тюнеману разливать пиво. Он разглядывал гостей, сидевших за столом: вот маленький Поттман улыбается, сидя очень прямо во главе стола, и время от времени требует тишины; Герта Ронсдорф шушукается с Ольгой Поттман; серьезный Макевка прислушивается к тому, что рассказывает Эльза Клефф; седой Пауль Латтман, старый вояка, поглаживает ладонью кружку с пивом; Лизбет Крах блаженно улыбается — совсем как дева Мария на картине; дедушка Тиль что-то шепчет, держа перед лицом три сложенных пальца — большой, указательный и средний; старуха Дауценберг то смеется, то плачет; Петр мирно беседует с Эрной Трич; Стах прислушивается к тому, что говорит Берта Ниус, то и дело окидывая всех быстрым взглядом живых черных глаз; счастливый жених Лоренц Фукс беседует с коллегами-железнодорожниками. Анна Шпорман весело переговаривается с Леной из Минска и Зуггой, а брат Карлхайнц больше налегает на еду. Бабушка Бертрам кому-то грозит кабаньей косточкой. А в самом конце стола расположился двоюродный брат Лоренца — Гуго Бек. Его единственный глаз горит, как карбидная лампа,— глядя на него, можно подумать, что весь праздник организован в его честь. Ганнелора и Дорис, младшие сестренки Тюнемана, весело носятся среди гостей.

— Не лейте красное вино в пиво! — воскликнула Берта Ниус.— Еще испанский пунш будет.

Вернулись Фиман и Цюндер, на стражу вышли Фэнэ и Тюнеман. Тюнеман из беседки залез на крышу, а Фэнэ забрался на железнодорожную насыпь, спрятался за дрок и размечтался.

Было холодно, спустился густой туман. В ту ночь не бомбили, движение было открыто, и поезда вовсю мчались в обоих направлениях.

Глава двадцатая

Солдаты на постое

Солдаты прибывали с востока и с запада, пешком, на машинах, на лошадях. Квартала, где жили Фэнэ и его друзья, им было не миновать, потому что магистральное шоссе разворотило бомбежкой. Некоторые солдаты были в стальных касках, все — в плащ-палатках.

Дождь лил как из ведра, потом еще пошел снег. Мотоциклы рассекали лужи, с треском неслись мимо грузовиков и повозок, запряженных лошадьми, мимо людских колонн; на взмокших лошаденках рысцой скакали офицеры, что-то кричали на ходу.

Часто возникали пробки на несколько часов; тогда солдаты садились на тротуар, одни ложились и засыпали, другие заходили в дома, просили кофе, жевали за столом свой черствый хлеб, проклинали войну и Гитлера, тут же за столом засыпали или играли в карты.

Фэнэ Шпорман, Фиман Ронсдорф, Тюнеман Ниус, Цюндер Крах

и Зугга Трич, подстелив плащ-палатки, сидели на городской стене и смотрели на шоссе. Порой они слезали со стены, толкались среди солдат на тротуаре и в квартирах, подбирали котомки, противогазы, банки с неприкосновенным запасом, солдатский хлеб, сигареты. Они раздобыли пистолет калибра «08», бинокль, целый ящик с трассирующими пулями, два мотка бикфордова шнура, лошадиные попоны и плащ-палатки. Черпали большими ложками пригоревшую кашу из котелков, разговаривали с солдатами.

Многие солдаты остались в городе, расположились на постой. Как-то утром у стены, на которой сидела вся компания, затормозил мотоциклист. Мотор трещал, мотоциклист орал: «Где живет Фрида Бор?» Ему показали дорогу — вверх по улице.

— Пусть ждет гостей,— проорал солдат,— пять человек, четыре лошади, сегодня. Сбегайте, скажите ей.

Фридхен Бор вернулась в квартал несколько дней назад. Лишившись своего светло-желтого бельгийского тяжеловоза, она тогда целую ночь проплакала, перебила оконные стекла, потом села в поезд и укатила в родное имение в Зёстер Бёрде. Лавку она оставила на попечение подружки Эльзы и Зелле Зигерса — своего помощника, батрака и сожителя, так что квартал не очень горевал: молоко будет.

Многие думали, что Фридхен не вернется, но ничего — приехала через полгода.

Она сидела в огромном кресле рядом с печью, глядя сквозь раскрытую дверь на то, что происходило в лавке, а там продавали яйца, масло, сыр, конфеты, пакетики карамели и кое-что еще,— так она сидела целыми днями и ругалась с Эльзой, которая стояла у прилавка, развешивая порошковое молоко. Так было и теперь.

— Грязнуля,— заорала Фридхен,— куда пальцы грязные суешь?

— Пошла ты к черту,— преспокойно ответила Эльза, не обращая внимания ни на нее, ни на Фэнэ, который, произнеся с порога «здрасьте», прохаживался вдоль прилавка.

— Ага! — закричала Фридхен Бор, увидев Фэнэ.— И ты, мерзкий тип, здесь. А ну, поди сюда.

Фридхен Бор была без малого двух метров ростом и весила больше 150 килограммов. Она ухмылялась во все лицо.

— Видишь, я снова здесь.— Говорить спокойно она не умела, каждый раз переходила на крик.— Решили небось, что избавились. Чего только не наворовали у меня! Бумагомаратели!

Для Фридхен Бор все зло шло от бумагомарателей, и в эту категорию она включала всех, кто ничего не производил или не продавал. А зла в жизни она навидалась. В конце двадцатых годов она, огромная и грузная, прибыла в деревню, что за горой, и все, конечно, над нею смеялись. Из родного хозяйства в Зёстер Бёрде она привезла кучу денег, решив соединить свою судьбу с бедным крестьянином Вильгельмом Бором, а тот вскоре после свадьбы умер, и хозяйство пошло с молотка.

О Фридхен Бор тогда позаботилась Анна Шпорман. Связалась с ее братом в Зёсте, и тот еще раз отвалил сестрице кучу денег. Она организовала снабжение квартала молоком. По утрам забирала молоко у крестьян, сдавала его на молочную ферму, а часть развозила по домам.

Берта Ниус называла Фридхен Бор безземельной крестьянкой, которая, мол, цепляется за кустарное производство и презирает свой хиреющий класс. Анна Шпорман о ней еще заботилась, и огромная сварливая баба с умом малого ребенка только ее и слушала. Ну, и

еще она, конечно, слушала Хайни Шпормана, большевика, как она его называла. И Фэнэ как-то терпела.

Ее хотели объявить недееспособной и отправить в душегубку, но ее брат стал в округе крестьянским фюрером, он нажал на кое-какие педали в Берлине и выручил сестру.

Фэнэ сообщил Фридхен Бор, что сегодня к ней придут на постой солдаты.

Солдаты явились после обеда — фельдфебель на коне, обер-ефрейтор и еще трое в повозке. Фэнэ с ребятами сидели на крыше сарая Боров и наблюдали за шествием. Фельдфебель был в стельку пьян.

— А ну, спускайтесь,— приказал ребятам обер-ефрейтор,— покажите, где можно воды взять, остальное сами сделаем.

Потом Фэнэ с ребятами часто сидели на конюшне, болтали ногами, жевали сухой свекловичный жмых, пробовали чистить солдатских лошадей скребницей, ели вместе с солдатами.

— Слушайте, что рассказывают солдаты, и глядите в оба,— говорил Стах,— разузнайте, сколько они тут пробудут и зачем пожаловали. Это очень важно.

А Эвальд Штумпе добавил:

— Если город превратят в опорный пункт, всех пригнанных сюда рабочих и военнопленных перебросят в другое место. Ясно? Так что действуйте.

Солдаты бездельничали в конюшне у Боров. Лежали на одеялах, прямо на соломе, читали любовные романы, играли в карты, поднимались, только когда во двор въезжала полевая кухня, получали свою порцию каши, ели и ругали солдатскую жратву, а если фельдфебель вдруг наведывался в конюшню — он жил в каморке под крышей и беспробудно пил,— они для виду что-то чистили, смеялись над ним и посылали его куда подальше.

Обер-ефрейтор Франц отличался от других. Он вечно хлопотал— то крышу чинил, то подметал сеновал.

Как-то Фэнэ сказал солдатам:

— Вот вы клянете войну и Гитлера, а дальше-то что будет?

Солдаты ничего не ответили, а Франц внимательно на него посмотрел.

— Сколько вы еще здесь пробудете? — спросил Фэнэ.

— Кто ж его знает? — ответил Франц.— Да и знал бы — не сказал, права не имею.

И вот однажды в декабре, в солнечный день, после обеда, когда дрова потрескивали в железной печи, Франц сказал Фэнэ, который чистил Макса, пегого мерина:

— Пойдем во двор, кое-что покажу.

Вошли в сарай, Франц вынул из кармана какой-то листок и передал Фэнэ, а тот прочел: «Товарищ, не иди больше ради Гитлера на верную смерть. Живи и помогай борьбе за спасение народа и армии...» и так далее,— словом, та самая листовка, которую они забрасывали в воинские поезда.

— Может, видел уже такие листовки? — спросил Франц.

— Нет,— ответил Фэнэ.

И Франц ему открылся.

— В вермахте многие думают так, как тут написано. Войну мы проиграли, еще несколько недель — и все. Люди и хотели бы что-то сделать, да боязно и неизвестно, к кому обращаться.

— А многие читали? — спросил Фэнэ.

Франц не знал. Тогда Фэнэ сказал:

— Можно ее перепечатать и распространить — тайно, конечно. Мы часто среди солдат тремся, никто и не учует ничего.

Франц мялся:

— Но ведь опасно, за это и к стенке могут.

— А мы осторожно,— сказал Фэнэ,— дай-ка сюда.

Франц упирался, но Фэнэ его успокоил. И вот, наконец, листовка у него в руках. Ночью он показал ее Стаху.

Штумпе сказал, что скоро на станцию пригонят много порожняка. Лоренц Фукс получил приказ подготовить все запасные пути. Надо срочно выяснить, для кого предназначаются вагоны — для солдат или для угнанных рабочих и военнопленных. Может, Франц поразведает, который листовку дал?

— Посмотрим,— сказал Фэнэ,— у меня есть идея.

— Выкладывай,— сказал Штумпе,— но уж все до конца.

— Подключим Фридхен Бор,— сказал Фэнэ и объяснил, что он имеет в виду.

Маленький Поттман выслушал внимательно все, что сказал Фэнэ, и подытожил:

— Глянь-ка, настоящий партизан. Вот это парень!

И план получил всеобщую поддержку.

Значит, понадобилась Фридхен Бор.

Сперва она не очень-то обрадовалась:

— Да ну вас! Отстаньте вы от меня.

А Фэнэ — свое:

— Ты должна нам помочь. Вот послушай.— И он подробно объяснил, что она должна сделать.

Ну и долго же пришлось ее уламывать!

Фэнэ не отходил от Фридхен ни на шаг, потому что полностью доверять ей нельзя было. Он поискал укромное местечко, но кроме огромного кресла ничего подходящего не нашел.

«Вперед!» — скомандовал про себя Фэнэ, сунул Фридхен в руку листовку, а сам юркнул под кресло, на котором сидела Фридхен Бор.

Она встала, подошла к двери, рванула ее и крикнула:

— Обер-ефрейтор Франц, идите-ка, я вам кое-что скажу.

Потом, переваливаясь с боку на бок, она подошла к креслу, уселась и закрыла юбкой Фэнэ.

Фэнэ сразу стало трудно дышать, и с каждой секундой становилось все хуже. «Только бы не задохнуться,— думал он,— только бы не задохнуться! Ой, надо было взять с собой противогаз!»

Он услышал, как раскрылась дверь, раздался скрип сапог. Вошел Франц.

— Ну, чего? — спрашивает.

— Гнусная твоя рожа,— завопила Фридхен,— как же это ты решился предавать фюрера и народ. Ах ты, сволочь! Давно пора тебя вздернуть на виселице! Что это ты всучил мальчишке? Вот что я у него отобрала, жук ты навозный! Хочешь, чтобы я в полицию донесла? Да?

Франц молчал, а Фридхен Бор завела по новой. Фэнэ раньше и не слыхивал таких слов. А Фридхен Бор все ругалась, обещала напустить на Франца гестапо, повесить его здесь же, во дворе, да еще проткнуть ему живот навозными вилами.

Она продолжала бы так до утра, но Фэнэ догадался ущипнуть ее за ногу. Она вскрикнула и умолкла.

— Так вот, смотри у меня, если только, если только...

— Что? — спросил Франц.

Фэнэ уже решил, что Фридхен все забыла. Но тут она сказала:

— Если только ты мне не скажешь, сколько вы тут проторчите и зачем вас сюда принесло.

— Ну...— промямлил Франц.

— Какое там «ну»,— снова завопила Фридхен Бор.— Раз солдаты окопались в городе, значит, жди воздушных налетов, и американцы будут нас бомбить день и ночь, так что мне лучше смыться, понятно? Живо выкладывай: остаетесь вы тут или нет? И что это еще за вагоны сейчас прибывают на станцию?

— Не знаю,— ответил Франц.

Фридхен Бор пробурчала:

— Так узнай сегодня же или сегодня же будешь болтаться на виселице. Понял? А теперь вон отсюда, дерьмо собачье!

К вечеру им все стало известно. Вагоны предназначались для отправки солдат на фронт под Аахен. В городе же останется всего несколько солдат — Франц да двое его дружков в конюшне Фридхен, ну и еще кое-кто.

Все это Франц узнал от фельдфебеля за две бутылки французского коньяка, а тому удалось это выведать у капитана за одну интимную услугу.

Глава двадцать первая

Рождество

Приближались рождественские праздники и сорок пятый год, а американцы что-то тянули. Об этом теперь часто говорили по ночам в бомбоубежище. Стах показывал Фэнэ и другим карту Европы с нанесенными на ней фронтами.

Особенно важен был Западный фронт, но с середины декабря обстановка складывалась не совсем благоприятно для союзников: Стах объяснял, что две танковые армии под командованием гитлеровского генерала Рундштедта продвинулись через Арденны в направлении Антверпена. Он показал на карте, где действуют Первая и Девятая американские армии, англичане и кучка французов. Стало ясно, что зиму еще надо продержаться.

— Они переберутся через Рейн только весной,— заметил маленький Поттман,— а до того времени столько воды утечет!

— Только без глупостей,— предупредил Штумпе и взглянул на Фэнэ.— Самое главное теперь — выжить.

Но чтобы выжить, надо есть, а с едой было плохо. Фэнэ часто об этом говорил с Францем на конюшне. Теперь Франц был почти свой человек, хотя, конечно, о подпольной организации он понятия не имел. Маленький Поттман прощупал его, кое-что выяснил, пообещал ему надежное убежище, гражданскую одежду и документы, если тот решится дезертировать. За это обер-ефрейтор рассказал им все, что знал.

Два других солдата, опустившиеся парни, ничего не знали и не ведали. Третий солдат и фельдфебель ночью отправились на вокзал, а там их затолкали в вагоны и отправили на фронт. Так что на весь квартал осталось теперь всего трое солдат. Для чего их тут оставили, было не ясно. Франц считал, что, видно, решили сохранять места для постоя, чтобы потом в случае чего с помощью саперов взорвать кое-какие объекты,— взрывчатки во всех отведенных для солдат квартирах было достаточно. Вот они и слонялись по городу, изнывали от безделья. В общей сложности, наверное, в городе осталось не более двух рот. Офицеры размещались на вилле в верхней части города.

Рассуждая о продовольствии, обитатели квартала, само собой,

снова и снова возвращались к мысли о маркитантской лавке у товарной станции. Франц побывал там вместе с фельдфебелем и писарем, видел полки с бутылками, коробками, банками, мешки с мукой, бочонки с топленым маслом, солониной, по углам ведерки с подсолнечным маслом, груды всяких ящиков, картонных коробок, награбленных по всей Европе. Франц, фельдфебель и писарь выхлопотали для роты особое снабжение, и Франц еще успел стащить две бутылки коньяка; сам-то он не пил, но ему удалось с помощью этих бутылок получить ценные сведения у фельдфебеля.

— Нужна бумажка с печатью за подписью командира,— сказал Франц.— С ней заходишь к учетчику при маркитантской лавке, там тебе дают расписку в получении, с ней идешь по складам и берешь то, что положено. Главное — это бумажка с печатью. Остальное проще простого.

Франц заполучил эту бумажку (как — осталось тайной) — бланк с печатью, где следовало указать номер подразделения, число офицеров и рядового состава и еще кое-какие данные. Франц заполнил бланк, нацарапал прямо на печати какую-то подпись, неразборчиво, точно курица лапой.

— Это подпись майора Паневки,— сказал Франц,— а теперь до завтра подождем, в обед они все перепьются.

— Кто же это будет ждать? — спросил Фэнэ.

— Мы,— ответил Франц,— я, ты, Фиман.

На другой день был сочельник, и мать сказала Фэнэ за завтраком:

— Подарков в этом году не будет. Вечером идем к Крахам. Лизбет и Герта испекут пирог. Гости будут. Приходи вовремя.

Из приемника полилась песенка, детские голоса пели «Падают снега хлопья пушистые».

— Погоди, мам,— сказал Фэнэ,— может, Санта Клаус еще к нам поспеет.

Часа в три дня от дома Фридхен Бор отъехала повозка. На козлах сидел Франц. Фэнэ и Фиман спрятались под брезентом. Они были в зимней форме «гитлерюгенда»: черных мундирах с алюминиевыми пуговицами, в беретах, на правом рукаве — белая повязка «фольксштурма». Двое солдат, пьяные уже с утра, отправились за рождественскими подарками в гимнастический зал неподалеку от газокотельного цеха.

Когда повозка миновала шлагбаум перед товарной станцией, Франц крикнул мальчишкам, чтобы пересели вперед.

— Подъезжаем к вратам в рай,— сказал он.

Ему не терпелось дождаться вечернего пира на конюшне. Он собирался угостить друзей яствами со склада.

Франц подогнал повозку к платформе, закрепил тормоза. Ворота в склад были открыты, и они заглянули в длинный коридор. Справа и слева были двери, а в глубине, из конторки, куда шла лестница, доносились пение и смех.

— Настроение у них что надо,— сказал Франц,— пошли! — И он поднялся по лестнице в конторку.

«Хоть бы все обошлось»,— подумал Фэнэ.

Они видели через окно, как Франц положил бумажку на стол, что-то сказал, показал на двор, как долговязый со стеклянным глазом в распахнутой куртке стал орать, но беззлобно, для порядка. Потом оба спустились по лестнице, и долговязый весело приговаривал:

— Вот, парни, значит, войну хотите выиграть. А рождество, значит, вдали от папы с мамой.

На последней ступеньке он споткнулся, чуть не упал и громко выругался. Здорово, видно, набрался.

— Берите, чего хотите,— говорит,— сегодня Санта Клаус придет. Может, последний ваш рождественский подарок, ребятишки.

— Столько нам не надо,— говорит Франц,— сегодня только два состава прибыло, а послезавтра — дальше на фронт.

Долговязый на них уставился.

— Идиоты! — крикнул он и потом кому-то в длинном коридоре: — Ну и клиентура! Пьяные рожи... Ничего, у нас есть чудо-оружие, специально для ваших рож.

Покачиваясь, пуская слюни, подошел пожилой толстяк, что-то пробормотал пьяным голосом.

— Отпусти им,— заорал долговязый,— спецпитание для спецподразделения по спецзаказу! — А сам поднялся к себе по лестнице, напевая: «Заводите моторы, жмите газ во всю мочь!»

Толстяк в тиковых брюках и нижней рубашке проковылял мимо к платформе, и там его вырвало.

— Вот,— сказал он, вытирая лицо,— теперь лучше.— Он прошел впереди них по длинному коридору, распахнул дверь, и они оказались перед прилавком, за которым была полка, а на ней бутылки, консервы, разные банки.

— Вот высококачественные бакалейные изделия,— промямлил толстяк,— что угодно, господа?

Они попросили коньяку.

— Здорово помогает в борьбе за победу,— сказал Франц, и толстяка от смеха чуть снова не вырвало.

Он придвинул им сардины в масле, фрукты в банках и еще что-то непонятное. Фиман и Фэнэ потащили все в повозку. Из кладовки рядом взяли муку, топленое и подсолнечное масло, большой свиной окорок, сахару, несколько буханок солдатского хлеба.

В каждой кладовке были люди, все сплошь пьяные. Пели, орали, никого не интересовало, что выносили со склада. Но Франц заметил, что за всем следит зоркий глаз главного интенданта.

В последней кладовке их ожидал опасный сюрприз: там оказалась Инга Фордамм.

«Ну, конец»,— подумал Фэнэ и шепнул Инге:

— В обиде не будешь.

Толстяк за прилавком обернулся:

— Вы что, ее знаете?

— Я всех солдат знаю,— сказала Инга,— а этот,— она ткнула в Фэнэ,— мой брат двоюродный.

Инга Фордамм пошарила рукой на одной из полок и положила на стол несколько пуловеров, перчаток и одеял.

— Чтобы вы, сантаклаусы, не замерзли.

— Скорей отсюда,— сказал Франц, когда с охапкой всяких продуктов они шли по коридору к платформе.

Долговязый со стеклянным глазом еще раз спустился из конторки, вышел на платформу, заглянул под брезент и крикнул:

— Да тут на две роты хватит, отчаливайте потихоньку, с рождеством вас, и хайль Гитлер!

Франц в ответ кивнул.

Он отпустил тормоза, прищелкнул языком, чуть стегнул лошадей, и они мелкой рысью проехали мимо шлагбаума, а потом Фиман и Фэнэ снова исчезли под брезентом.

А Тюнеман, Зугга и Цюндер в это время мыли, скоблили и украшали конюшню. С потолка свисали звезды из соломы, а в потолок упиралась елка со свечами и серебряными нитями, сброшенными

с американских бомбардировщиков. Вокруг елки лежали соломенные тюфяки — вместо стульев, закрома прикрывала белая как снег простыня. На столе были очень приятные вещи. Пахло смолой, еловыми ветвями, конским потом и свечным воском. И когда Фэнэ открыл дверь в конюшню и впустил гостей, всем вдруг стало весело и хорошо.

— Просто не верится,— сказал Макевка.

Женщины уставились на стол, а дедушка Фимана взял и заплакал. Франц приветствовал «дорогих соседей и друзей», его все целовали. У стола с подарками раздавались «охи» и «ахи», наконец, все расселись на соломе вокруг елки. Всем налили коньяку, гости посасывали конфеты и шоколад, потягивали сигареты, распевали «Как иглы зелены твои, рождественская ель». Маленький Поттман начал речь и немножко затянул, но Берта Ниус вовремя шепнула ему, чтобы он закруглялся.

Только маленький Поттман запел: «Темень наступает, вся земля в снегу», как по крыше забарабанил дождь. Но все с чувством пропели рождественскую песню. Фэнэ аккомпанировал на губной гармошке. Зутта положила ему голову на плечо. Фиман прищурился и сказал:

— Ей-богу, поете прямо как ангелы.

Вдали послышались разрывы бомб. Но в бомбоубежище никто не пошел.

Глава двадцать вторая

Пианистка

Год сорок пятый начался с бомбежек, снегопадов и морозов. Уголь считали на килограммы, и соседи часто сходились в одну квартиру и грелись у одной печки. Много говорили про еду, вкусную, сытную, выдумывали рецепты небывалых блюд.

Еще читали листовки. Днем и ночью их целыми пачками сбрасывали самолеты — после бомб, они тысячами падали на улицы и на крыши. Одна листовка изображала бомбу рядом с солдатом — бомба была вдвое выше его и толще, бомба крупного калибра весом в полторы тонны. Такие падали все время на Рурскую область, она стала теперь зоной смерти.

Тюнеман держал в руках листовку и громко читал:

«Рурская область стала театром военных действий, и так будет вплоть до полного уничтожения всей ее военной индустрии. Женщинам и детям нечего делать на поле битвы. И мы обращаемся к немецкому гражданскому населению с призывом покинуть города зоны смерти».

— Интересное предложение,— сказала Анна Шпорман,— правда, почему бы нам не махнуть на отдых в Швейцарию, там, говорят, зимой чудесно.

— Вот вам результат «тотальной войны»,— сказала Берта Ниус,— надеюсь, вы не забыли, ведь это фашисты мечтали о такой войне.

— Сразу видно,— сказала Герта Ронсдорф,— что они презирают рабочий класс, народ. Требуют, чтобы мы драпали с нашей земли, а что они нам хорошего сделали?

— Может, наши подоспеют,— сказал кто-то, но тут вошла Лизбет Крах и сообщила, что патеру Фридриху надо спрятать еще одного человека.

— Да ну его,— проворчала Герта Ронсдорф,— мы уж сколько не-

дель слушаем его проповеди — сплошной треп. Пусть сами друг другу помогают.

Фэнэ рассказал об этом Стаху, и тот решил:

— С этим патером, наверное, можно сотрудничать. Он человек мужественный. И, видно, может в проповедях найти нужные слова и правильно подействовать на прихожан. Надо бы его порасспросить, только осторожно, чтобы он об организации не догадался. Пусть Лизбет Крах разузнает, а ты мне расскажи.

— Агитацию разводит,— зло рассмеялся Цюндер.— Черт-те что несет про дьявола и тьму. Может, фашистов имеет в виду? Только уж больно непонятно.

Лизбет Крах пришла в голову одна идея, и все ее одобрили. Цюндер мотал головой, но наутро отправился к патеру домой и сказал, что, мол, мать заболела и хочет исповедаться.

Патер пришел после обеда. Мать Цюндера лежала в постели. На ночном столике горела свеча. Умывальник был прикрыт свежей скатертью, на ней стояли цветы из вощеной бумаги и распятие.

«Прямо как на рождество»,— подумал Фэнэ, сидевший с Цюндером на кухне.

Цюндер провел патера в спальню, и сквозь полуоткрытую дверь до них донеслись бормотание и слова молитвы. Они выставили на стол бутылку вина.

Патер вошел в кухню, сел за стол, выпил стакан вина.

— Слышал от Лизбет, Клеменсу уже лучше,— сказал он.— Ну и времечко, скорей бы уж все это кончилось.

— Что именно? — перебил его Фэнэ.— И кого это надо спрятать?

Патер выпил еще стакан и только тогда ответил:

— Пианистку.

— Кого-кого? — переспросил Фэнэ.

— Ну, даму, которая играет на рояле перед публикой в больших залах,— пояснил патер.

Фэнэ и Цюндер молча смотрели на патера.

— Ее жизнь в опасности,— продолжал патер.

— Может, подшутила над Геббельсом? — спросил Цюндер.

— Ее фамилия Розенкранц,— пояснил патер.

Лицо у Цюндера стало багровое — значит, он жутко разозлился.

— Какая разница...— начал он громко.

Но Фэнэ догадался. Он сжал руку Цюндеру и сказал, что, наверное, она еврейка, тот проглотил слюну и проблеял: «А-а-а!»

— Сейчас эта дама в погребе для угля, там она оставаться больше не может. Хозяева, понимаете, боятся. Рядом поймали дезертира. И того, кто укрывал, тоже расстреляли.

— Надо подумать,— сказал Фэнэ,— мы дадим вам знать.

— Дело срочное,— сказал патер.

Ночью на собрании под насыпью разгорелся спор.

— И речи быть не может,— категорически заявил Эвальд Штумпе.— Вспомните фрау Герцман, жену врача-еврея. Ее спрятали, а у нее нервы не выдержали. Среди бела дня выскочила у Поттмана из погреба, выбежала на улицу и ну кричать: «Бандиты, лучше уничтожьте меня, как моего мужа!» Укрыли ее, значит, в другом месте. А через несколько дней она снова устроила такой же спектакль. Так гестапо и раскрыло всю организацию помощи беглецам из тюрем и лагерей. Кстати, фрау Герцман тоже ведь музыкой занималась, на скрипке играла.

Маленький Поттман побагровел от злости:

— Не понимаю, как можно так рассуждать!

А Штумпе ему:

— Я несу ответственность за безопасность наших людей, а у нас самих сейчас неприятностей не оберешься. До окончания войны считанные недели остались, и пусть гражданские лица сами друг другу помогают.

Петр ему поддакнул. А Стах сказал:

— Я думаю, сперва надо на нее посмотреть, может, она не такая уж неженка. И поручим ее кому-нибудь из женщин, например Лизбет Крах, или нет — лучше Анне Шпорман.

Но в конце концов дело поручили Фэнэ и Зугге, потому что владелец дома, где пряталась фрейлейн Розенкранц, трясся от страха и, как патер выразился, не хотел втягивать в игру взрослых. Он был ректор гимназии, давал уроки, к нему в дом вообще ходили дети. Патер принес книгу, и Фэнэ должен был предъявить ее как условный знак: мол, ему можно доверять. Ректор Хальсбек жил на Мольткештрассе, дом десять, явиться туда надо было завтра между четырьмя и пятью часами.

На Мольткештрассе были сплошь небольшие виллы. Перед домом номер десять затявкала в конуре дворняжка. Дверь открыла женщина в чепце.

— Хватит тебе тявкать! — крикнула она собаке, а потом повернулась к ребятам: — Вам, наверное, к господину ректору, входите!

Квартира была богатая — в прихожей ковры, на стенах картины, светло и уютно. Женщина постучала в дверь.

— Войдите,— ответил голос, и они оказались нос к носу с господином ректором Хальсбеком. Он был большой, густая шевелюра, широкие плечи.

Комната была завалена книгами, перед письменным столом — несколько стульев, рядом доска, на стене портрет Гитлера.

— Чем могу служить? — спросил Хальсбек.

Фэнэ передал ему книгу.

— Ага,— сказал Хальсбек и дал знак женщине в чепце, чтобы закрыла дверь.— Садитесь,— сказал он обоим, а сам опустился в кресло возле письменного стола.— В каком вы классе? — спрашивает.

— Мы из рабочего класса,— выпалила Зугга.

А Фэнэ добавил:

— Мы пришли фрейлейн увидеть.

Ректор разволновался.

— Почему вдвоем,— чуть не шепчет,— я хотел взять одного ученика. Да вы хоть понимаете, чем дело пахнет?

Фэнэ поднялся со стула.

— Можем мы сейчас увидеть фрейлейн — да или нет?

Хальсбек хотел что-то ответить, но смолчал, встал из-за стола.

— Оставайтесь тут,— говорит. И вышел из комнаты.

— Здоровый как бык, а весь от страха трясется,— сказала Зугга.

Ректор вернулся.

— Мне хотелось бы еще раз серьезнейшим образом обратить ваше внимание на то, что речь идет о деле чрезвычайно конспиративном. Надеюсь, вам ясно,— бормочет.

— Ах,— говорит Зугга,— неужели?

Хальсбек тут, видно, и разозлился и перепугался.

— Следуйте за мной,— шепотом приказал он и чуть не бегом — мимо дощатых дверей, вниз по лестнице, в подвал, а они за ним. Он открыл кованую дверь, там грудами лежал уголь — ни у кого в квартале такого не было! Протиснулись между угольными кучами и добрались до второй двери. Ректор ее открыл, и они оказались в чуланчике — два на три метра. Его освещала тусклая лампа под потолком.

На нарах под одеялом кто-то храпел. Хальсбек растолкал его, тот вскочил:

— А, что такое?

— Это твои ближайшие помощники, Гертруда,— сказал Хальсбек.

Женщина, одного роста с хозяином дома, посмотрела на Фэнэ и Зуггу, рассмеялась и говорит:

— Значит, до детей очередь дошла!

— Гертруда, прошу тебя,— сказал Хальсбек.

— Ты, трус несчастный, хочешь свалить ответственность хоть на детей. А вы,— она повернулась к Фэнэ и Зугге,— идите домой и забудьте, что тут видели.

— Милая она, правда? — сказала Зугга.

— Вы и есть фрейлейн Розенкранц? — спросил Фэнэ.

— Что это ты надумал? — приподняла она брови.

— Вытащить вас из чулана,— сказал Фэнэ.

Гертруда Розенкранц села на нары, свернула цигарку.

— Значит, хотите меня отсюда вытащить?

— Да, мы и еще кое-кто, например, патер Фридрих.

Гертруда вытащила из-под одеяла пистолет, сказала:

— Я стреляю метко. Если что, он заговорит.— Она погладила ладонью ствол пистолета.— Ну, и куда же вы меня собираетесь деть?

— Мы еще придем,— сказал Фэнэ.— А она и вправду милая.— сказал он Зугге по дороге домой.

Так решили и все остальные, когда Фэнэ рассказал о встрече в чулане.

— Да, видно, она вовсе не неженка,— вздохнул маленький Поттман.

Решено было спрятать «тетю пианистку», как назвал ее Штумпе, в Ольховой пещере. Лизбет Крах взялась сообщить патеру, что ночью, когда начнется налет, Фэнэ придет за пианисткой. Их примут за мать с сыном, они быстро пройдут по улицам, как будто в бомбоубежище.

Когда Фэнэ пришел к ректору, в знакомой комнате горела только настольная лампа. На стуле сидела Гертруда Розенкранц, за письменным столом — ректор. Они разговаривали тихо, но ужасно злились. Речь шла о деньгах, пианистка дала их в свое время ректору, а теперь хотела получить обратно. Она обзывала его трусом, обманщиком; он-де хочет нажиться на людях, попавших в беду.

Он ругался, корил ее за то, что она поставила под удар и его самого, и всю его семью. Он не может, мол, вернуть деньги, у него их нет, и вдобавок она у него целых полгода прожила.

— Разве это жизнь? — сердилась Гертруда.— Ведь ты меня даже в уборную не выпускал. И это за тридцать тысяч марок! Бандит с большой дороги!

Хальсбек вскочил:

— Это слишком!

Розенкранц тоже вскочила, они стали друг против друга, между ними был только стол.

— Немыслимое дело, вместо благодарности...— брызгал слюною Хальсбек.

Гертруда Розенкранц уперлась обеими руками в письменный стол, ректор отскочил к окну.

— Мы тебя кормили, одевали, учили в школе, в университете, ты жил у нас в семье как сын,— сказала она спокойно, с холодным презрением.

Ректор хотел что-то ответить, но тут вовсю завыли сирены.

— Пошли,— сказал Фэнэ.

Гертруда повязала голову платком, взяла его за руку.

— Да, пошли отсюда,— сказала она, но вдруг остановилась, подошла к высокой полке с книгами, схватила ее обеими руками и рванула так, что книги и весь стеллаж с грохотом свалились на пол.— Учти, это задаток,— сказала она ошалевшему ректору,— остальное за мной, бандит.

И они с Фэнэ побежали к двери. Прислушались к взрывам, затем вышли из дома, держась за руки. Гертруда несла чемодан. Когда подошли к верхней части города, на южном склоне загрохотали зенитки. На улицах никого не было, все попрятались в убежища. Они бегом свернули на главную улицу и посреди нее увидели троих — шлемы, светлые пуговицы: патруль.

Деваться некуда. Пошли тише. Гертруда выпустила руку Фэнэ, свою засунула в карман.

— Беги,— говорит.

До патруля оставалось всего метров сорок.

— Спокойно,— сказал Фэнэ.— Стрелять, только если будут задерживать. Я стреляю первый.

Пианистка остановилась, посмотрела на него. И вроде улыбнулась.

— Идем дальше,—сказал он и снял с предохранителя свой «вальтер». Он знал — «вальтер» не подведет, из него легко попасть в заборные планки и камни с расстояния в тридцать метров. Фэнэ ничуточки не боялся, и только где-то в мозгу жужжало: теперь небось придется кого-то прикончить, в первый раз в жизни.

Но тут начальник патруля крикнул:

— Что вы здесь бродите! В такое-то время! Марш в подвал, живо!

Фэнэ снова взял Гертруду за руку, они побежали по улице в дом, на который указал солдат, прямо в бомбоубежище. Протиснулись между людей,— все хотели знать, откуда они. Но тут послышались первые разрывы, сначала вдалеке, потом все ближе, громче. Люди кричали, бросались на пол, прямо друг на друга. Погас свет, ударила воздушная волна. Одни шептали: «Господи, спаси меня, господи, спаси меня», другие орали. Продолжалось это и когда на улице уже давно все стихло, а в подвале зажглись свечи.

Гертруда и Фэнэ продолжали сидеть, время от времени поглядывая друг на друга. Они вздремнули, а потом еще часов пять ждали отбоя. Вышли на улицу вместе с остальными. Из бункеров и подвалов шло много народа с чемоданами и узлами. На них никто не обращал внимания. Дошли до квартала, огородами и садами добрались до железнодорожной насыпи — прямо к вагону первого класса, к Берте Ниус.

Тюнеман налил в стаканы браги, они выпили. Гертруда Розенкранц рассказала о себе. Родилась в семье рейнского коммерсанта, носила на рукаве желтую звезду. Перед отправкой в лагерь бежала. С тех пор — с лета тридцать девятого — прячется от фашистов. Жила на чердаках, в сараях, подвалах, садовых беседках, конюшнях, погребах. Несколько раз, когда это еще возможно было, чуть не перешла границу на запад. Но в последний момент всегда что-то мешало. Не раз застрелиться хотела.

— Мы слышали, вы пианистка? — спросила Берта Ниус.

Гертруда Розенкранц кивнула, внимательно посмотрела на свои руки и сказала:

— Это в прошлом.

Потом она вынула из кармана пистолет, нежно провела пальцем по стволу.

— Вот теперь мой инструмент, уже много лет,— тихо сказала она.

Берта Ниус тоже рассказала о себе и других все, что надо знать новому человеку, и Гертруда Розенкранц сказала:

— Мы теперь товарищи по несчастью.

— Нет,— сказала Берта Ниус, она всегда находила точные слова,— товарищи по борьбе.

Гертруда Розенкранц улыбнулась.

— Да, так оно, конечно, правильнее,— сказала она.

Глава двадцать третья

В Ольховой пещере

Когда живешь в пещере, где вместо дневного света только свечи да карбидная лампа, легко сойти с ума, даже если ты не один. А если все время кто-то рядом, он может тебе осточертеть. И ты забиваешься в самый дальний угол. Но в темноте и в полном одиночестве начинаешь ненавидеть уже самого себя.

И вот жители Ольховой пещеры постановили собираться вместе раз в три дня у кого-нибудь в гостях. При этом соблюдались определенные правила. Тепло приветствовали друг друга, как будто год не видались. Каждый обязан был принести маленький подарочек. Не полагалось говорить о событиях за пределами пещеры. Разве лишь о том, что видели и слышали, когда выходили из пещеры подышать воздухом. Таких впечатлений набиралось порядочно. Летом они видели птенчиков, только начинающих летать, слышали, как пищат куропатки, как гудят самолеты, зимой смотрели, как играют на снегу зайцы, как летают вороны.

Подышать воздухом выходили утром и вечером. Каждый из группы Фэнэ неделю дежурил, наблюдал за входом в пещеру. Надо было сидеть или играть неподалеку, пока Анна Кузневска и Шали или Клеменс и Шан прогуливались у входа. Через полчаса — а в случае чего и раньше — наблюдатель подавал условный сигнал.

Каждый обитатель пещеры нашел себе какое-то занятие.

Анна Кузневска вязала или плела корзинки из соломы и травы. Командир британской эскадрильи мастерил из картона и дерева модели самолетов разных типов — «Москито», «Бристоль-Бленхейм», «Спитфайр», «Сандерболт», летающие крепости «Б-17». Столяр Клеменс консультировал, но не помогал — это запрещалось. Шали консультировал Клеменса, который решил написать книгу о способах и методах обезвреживания бомб, основываясь на собственном опыте службы в команде смертников. Под руководством Шали он изготовил схемы различных типов взрывателей, попросил Фэнэ принести несколько кусков железа, напильник, небольшие фрезы и тиски. И смастерил прибор для обезвреживания бомб.

Шан с утра до вечера играл на скрипке. Шали и Клеменс починили разбитый инструмент, о струнах позаботился Фэнэ, и теперь они часто играли вдвоем сонату A-dur Моцарта.

Порядка придерживались, но ссоры все же бывали, и часто. За несколько дней до того, как в Ольховую пещеру вселилась Гертруда Розенкранц, случился большой скандал. Началось с того, что Клеменс плохо отозвался о модели самолета «Боинг-17», находившейся

у Шали на столе: мол, слишком короткий фюзеляж и слишком короткие крылья. Шали рявкнул на Клеменса, они сцепились. Анне Кузневской и Шану удалось их успокоить. Потом Анна Кузневска вздумала брать у Шана уроки на скрипке, это не понравилось Шали. Француз и так уже своим вечным пиликаньем всем надоел.

И вот как-то, когда они собрались в избушке Клеменса, их прорвало. Шан взялся было за скрипку, а Анна Кузневска как заорет, Шали бросился на Шана, Клеменс на Шали, Анна Кузневска сразу на всех. Фиман пришел в пещеру на дежурство, доставил продовольствие и застал конец дикой драки: все катались по полу, орали, ругались — каждый на своем языке.

— Чем же это кончится? — заметила Зугга, обращаясь к Тюнеману. Они обсуждали положение дел в Ольховой пещере. Жуткое положение. Анна Кузневска переехала от Шали в дальнюю часть пещеры. Клеменс говорил, что Шали хочет уйти на фронт — к своим или к американцам. Шан очень громко играл на скрипке и ни с кем не разговаривал.

— С ума сойти,— сказал Клеменс.— Просто не могу больше жить рядом с этими идиотами. Правда, расчищать развалины после бомбежки дело опасное, но там хоть с разумными людьми дело имеешь.

— Так сматывайся,— посоветовала Зугга.

— Видно, смотаюсь,— ответил Клеменс.

— Скоро еще одна дама прибавится, она на рояле играет,— фыркнул Фиман.

— Только без рояля,— сказал Фэнэ.

Но ему было не очень-то приятно, когда он привел в пещеру Гертруду Розенкранц. Навстречу никто не вышел. Из вещей в «Гроте Зугги», который отвели Гертруде, оставили только самое необходимое — несколько одеял, кухонную посуду, масляные коптилки. Фэнэ возмутился. Хоть бы Клеменс нары сколотил. Он рассказал Гертруде про четырех обитателей пещеры, как они переругались и почему.

— Не беспокойся, отправляйся домой,— сказала Гертруда Розенкранц,— это я беру на себя. У меня есть опыт, как-нибудь справлюсь.

И правда справилась. Цюндер, прибывший в пещеру на недельное дежурство, на второй день вернулся домой.

— Они не хотят, чтобы мы за ними присматривали,— сказал Цюндер,— говорят, сами прекрасно справятся, а эта тетечка, ей-богу, прямо предесть. Всех заставила подтянуться, они ей домик строят, разговаривают, прямо партизаны, да и только. Это она тон задает.

Фэнэ тут же — в пещеру. Все сидели у Анны Кузневской и Шали, Фэнэ спросил, что произошло.

— В таких условиях поневоле начинаешь делать глупости,— сказала Гертруда Розенкранц.— Всякой чепухой занимаешься — кто игрушки мастерит, кто на скрипке играет. Теряешь уверенность в себе, а если еще за тобой присматривают, как за ребенком,— так и вовсе. Конечно, мы скрываемся, нуждаемся в помощи. Но пора за какое-то дело взяться; сколько можно сидеть бессмысленно, без всякой цели? — Помолчала и добавила: — Мы ведь можем сами себя охранять. Надо только знать, что происходит в мире. А у нас и карты нет, и информации нет. Почему ни у кого нет оружия? Мы ведь не беззащитные дети, мы не позволим, чтобы фашисты нас прикончили, как котят.

— Может, хотите город захватить? — спросил Фэнэ с наивным видом.

— Глупости,— ответила Гертруда Розенкранц,— я вам не полоумный «вождь» из «гитлерюгенда», про которого мне тут рассказывали. Я понимаю, что мы не можем играть в войну. Но мы сами

должны защищать пещеру в случае, если придут фашисты. У меня лично есть оружие, но этого мало.

— Если сюда придут фашисты и вас накроют, мы все погорим. Смекнула? — спросил Фэнэ.

— Ну, надо сделать так, чтобы они нас не накрыли,— ответила Гертруда.— Если дело до этого дойдет, есть ведь второй выход из пещеры, о нем, кроме нас, никто не знает. Это же идеальная позиция, ее очень выгодно защищать.

Потом, когда Фэнэ рассказывал у себя про разговор с Гертрудой Розенкранц, все заспорили.

— Что я говорил! — кричал Штумпе.— Но нет, вы же всегда все знаете лучше!

— Ничего подобного, Гертруда Розенкранц не сумасшедшая и не такая, как Берти Бишоф,— ответил Фэнэ.

Маленький Поттман сказал:

— А ведь она дело говорит. Им действовать надо, пора уж, а то худо будет — так ведь можно и гордость свою потерять. В случае чего — пусть у них будет возможность обороняться.

— Гордость? — Штумпе рассмеялся.

— Да, гордость,— подтвердил маленький Поттман.— Разве мы сидели сложа руки? — продолжал он.— Правда, брака выпускаем все меньше, а теперь, может, и вовсе перестанем? Ведь Штумпе все время на это намекает.

— Чего? — разозлился Штумпе.

— Да, да, именно ты,— отвечал маленький Поттман,— ты ведь у нас специалист по вопросам безопасности.

Штумпе наклонился вперед, сжал кулаки.

— Как это понимать, а?

В закутке среди железнодорожных шпал сразу возникло недоверие — все это почувствовали.

Стах не поднимал глаз. Штумпе, конечно, все принимал слишком близко к сердцу. Но оснований для этого было достаточно. Ведь ему приходилось играть роль заводского наци, и многие в квартале презирали его. Роль не из приятных.

Стах положил руку ему на плечо:

— Ну, успокойся. Дело к концу идет, смотри, чтоб не сдали нервы. Встретимся с этой женщиной, побеседуем с ней, ладно?

Фэнэ рассказал все брату, Карлхайнц сказал:

— Да, Штумпе, бедному, наверное, хуже всех. Сейчас ему не поможешь, да и потом останется осадок, недоверие: а вдруг он и правда... Так ведь можно и с ума сойти...

Вскоре ночью в пещеру к Гертруде Розенкранц пришли Стах и Штумпе. О чем они говорили — неизвестно. Но в Ольховую пещеру доставили карабин 98-го калибра и тридцать патронов, а когда Фэнэ принес корзинку с продуктами, Гертруда сказала:

— Я теперь знаю, с кем имею дело. Что ж, я рада.

Потом она попросила, чтобы Цюндер через патера достал для нее костюм монашки.

...И вот в самом конце января, под вечер, у входной двери дома номер десять по Мольткештрассе позвонили высокий подросток-очкарик, в плаще, в черных чулках, в шапке-ушанке, и сестра ордена св. Викентия. Им отворила женщина в наколке. Фэнэ сказал: «Здрасьте», а когда горничная поняла, кто это, оба они уже вошли в дом. В комнате у ректора сидели две девушки, он тут же их отослал, как только узнал монашку, и Гертруда Розенкранц спросила:

— Где мои деньги?

Хальсбек чуть не заплакал.

— Нет у меня денег, господи, да пойми ты...

Но Гертруда Розенкранц сказала:

— Каждую пятницу после обеда, ровно в три, ты будешь приносить мне большую сумку с продуктами. Ты ведь до сих пор регулярно получаешь — за мои деньги! — продовольствие с крестьянского двора, где спасаются от войны твоя жена и твои детки.

Фэнэ сказал, куда ректору приносить сумку: на пастбище к мосту «Тринадцать быков». Совершенно открытое место, хорошо просматривается со стороны рейнской железнодорожной ветки, а огороды неподалеку легко контролировать с насыпи главной магистрали.

В следующую пятницу ровно в три Фэнэ увидел в бинокль ректора. Он сразу исчез под последней аркой моста. За ним никто не шел. Тюнеман находился на насыпи с другой стороны и сигналов не подавал. Тут Фэнэ дал три свистка. Так свистят сцепщики поездов. Фиман вышел из хижины Гуго Бека и взял сумку.

— Видите,— сказала потом Гертруда Розенкранц,— вот мы и перешли на самоснабжение, ай да мы, пещерные жители!

И целых два месяца, два последних месяца войны, ректор каждую пятницу ровно в три, невзирая на самолеты и бомбежки, приносил сумку с продуктами в условное место — на пастбище к мосту «Тринадцать быков».

Глава двадцать четвертая

Бомбы

Вечные воздушные тревоги. Днем бомбили американцы, ночью — англичане, в небе всегда были самолеты, мишенью для летчиков были дома, охотились они и за людьми — на улицах, площадях, в открытом поле. Ко всему привыкаешь.

Некоторые не вылезали из убежищ. В бункере, в самом большом помещении, стояла старая карусель — еще от прежних ярмарок осталась — с деревянными лошадками, повозками в виде морской сирены, оленя, верблюда, а еще шарманка, которая играла «Августина» и «Куколка, сокровище мое». На карусели катались, пускали ее на полный ход, и мальчишки мчались, на ходу спрыгивали, перескакивали с одной фигуры на другую, карабкались, как обезьяны, по хромированным столбам — от пола до потолка. Позволяли себе порезвиться и люди постарше — они тоже усаживались в повозки. Особенно увлекалась бабушка Бертрам, она на качелях просто визжала от восторга.

Ребята, конечно, не торчали в бункере. С железнодорожной насыпи или с городской стены они наблюдали, как плывут в небе в парадном строю группы бомбардировщиков. Иногда их обстреливали зенитные батареи с Красных гор, но снарядов было мало, зенитчики вели огонь просто от страха. Да их счетверенные установки и не могли поразить самолеты на высоте восемь тысяч метров.

В конце концов после налета семи бомбардировщиков зенитные батареи совсем умолкли. Три тяжело раненных солдатика — шестнадцатилетние зенитчики, рыдая, брели по улице квартала, наткнулись на Фэнэ с ребятами, и те отвели их в госпиталь. Вот и все, что осталось от зенитной батареи.

Снова ударил мороз — стоял настоящий зимний денек. В тумане висело солнце — плоский желтый круг, в небе, как нарисованные,— трубы заводов, а дальше, в тумане, телефонные столбы, провода, железнодорожные насыпи, газовые котлы, мост «Тринадцать быков» — все расплывчато. Казалось, нет больше бомбардировщиков,

только мирные вороны, а в Доманском лесу — тишина, сухой снег да иней на ветвях.

На озере у каменного карьера катались на коньках, играли в хоккей, занимались фигурным катанием. Бабушка Тюнемана была тоже тут. Кресло ставили на полозья. Руки она прятала в муфте, на шее был лисий воротник, на голове — шапочка из кроличьего меха. Лоренц Фукс, сам на коньках, катил кресло по льду — даст креслу толчок, оно скользнет вперед, а Фукс кружит и кружит вокруг Берты Ниус, только шарф на ветру развевается.

Было весело, все смеялись. Подлетавших бомбардировщиков никто не слышал. А когда услышали, то бросились врассыпную, попрятались в кустарнике на берегу, одна только бабушка Тюнемана да Лоренц Фукс остались на льду. И вот завыли моторы, загрохотали взрывы, полетели ледяные осколки, забили фонтаны воды. Прошло несколько секунд. Лоренц Фукс стоял прямо и неподвижно за креслом Берты Ниус, голова у нее была запрокинута.

— Бабушка! — закричали Тюнеман и Фэнэ и бросились на лед.

Фэнэ толкнул кресло в сторону каменного карьера — там был вход в Ольховую пещеру, выбросил Берту Ниус из кресла, пополз по льду и потащил ее за собой в пещеру. К счастью, лед выдержал. Остальные ползли за ними, последним — Лоренц Фукс.

Тут снова завыли бомбардировщики — все даже рты раскрыли, воздушной волной их бросило и прижало к стенке грота. Зазвенели осколки бомб, как ураганный огонь, и опять завыли бомбардировщики. Потом все стихло. Стало темно. Только сквозь отверстие в пещеру проникало немного воздуха и света. К счастью, кончилось все хорошо, никто не пострадал.

...Опять выпал снег; мальчишки с Зуггой взяли санки и пошли в Красные горы. Там они катались на санках, искали место, где стояли зенитные батареи: думали, там найдется что-нибудь интересное, но ничего стоящего не оказалось; разгребли развалины домика, где жил Аббац, но и там ничего не нашли, лазили по штреку старой угольной шахты, а потом забрались на холм и решили отдохнуть.

Это было в начале марта, день был ясный. Снег, уже липкий и клейкий, кое-где сошел, и там виднелась красноватая земля. Сидели в санках. Фиман и Цюндер лепили огромных снежных баб и сбрасывали с вершины холма вниз. Тут Зугга показала на небо и тусклое солнце, и все услышали и увидели вывалившуюся из-за облаков группу бомбардировщиков. Самолеты снизились и взяли курс на город.

— Скорей в шахту! — закричал Фэнэ.

Они скатились по склону и побежали по краю долины к шахте. Раздался свист — уже падали бомбы, потом — взрывы. Воздушные волны были как сильные порывы ветра, а когда ребята добежали до шахты, стали падать тяжелые фугаски — даже ушам больно было. Потом — грохот взрывающихся фосфорных канистр и море огня, а потом все сначала: бомбы, фугаски, зажигалки, и еще, и еще.

Через два часа они выползли из штрека, взобрались на холм и увидели, что города нет. Только дым, дым и огонь.

Но их квартал каким-то чудом уцелел. Снесло несколько крыш, выбило последние стекла. Горел фрезеровочный цех на заводе, оторвало кусок заводской трубы, но в бункере все были живы, на радостях обнимались и целовались. Всю верхнюю часть города до самого вокзала воздушный налет превратил в развалины.

Когда Фиман вышел во двор посмотреть своих кроликов — все погибли,— он увидел около деревянного сарая неразорвавшуюся бомбу. Она лежала на земле, плоская, чуть короче Фимана, но потолще.

Он позвал Фэнэ и показал ему эту крошку. Ясное дело, сразу после налета в городе много неразорвавшихся бомб, и пиротехника не найти.

— Клеменс! — сообразил Фэнэ.— Быстро за ним и никому ни слова.

По улицам разъезжал автомобиль с громкоговорителем, жителям предлагали до особого объявления находиться в подвалах и убежищах: мол, повсюду лежат неразорвавшиеся бомбы. И все снова отправлялись в заводской бункер. Фэнэ успел сообщить Тюнеману, Цюндеру и Зугге о находке. Приехал на велосипеде Клеменс, на раме сидел Фиман.

— Вот, значит, она какая,— сказал Клеменс, щупая неразорвавшийся снаряд.— Это американская бомба, ничего себе штучка!

— А когда она взорвется? — спросил Фэнэ.

— Это зависит от установки взрывателя — через два, четыре, шесть, восемь, двенадцать или двадцать четыре часа. После налета прошло два часа, надо надеяться, время еще есть.

Клеменс выложил свой инструмент для обезвреживания снаряда и сделал небольшой доклад, для ясности усиленно жестикулируя:

— Во время падения бомбы вал ее пропеллера вращается — он сцеплен с винтом взрывателя. Винт этот свободно движется по нарезке в направлении стеклянной ампулы с кислотой — ацетоном, и ампула медленно разрушается по мере того, как тело винта продвигается вперед. Кислота через сито попадает на ватный тампон, лежащий на целлулоидной пластинке. Миллиметр за миллиметром кислота разъедает целлулоид, освобождается ударник, и тогда — взрыв.

Клеменс подошел к бомбе, установил фрезу, долго ее крутил, что-то вынул изнутри, вставил в это место маленькое зеркальце, посмотрел в него и присвистнул:

— Ай-ай-ай, это необходимо остановить, а то мы все взлетим!

Фэнэ сидел в пяти метрах от него и курил, остальные были за сарайчиком с кроликами.

— Здесь эфир,— пояснил Клеменс и наполнил шприц жидкостью из бутылки,— я делаю целлулоид снова твердым.

Он вернулся к бомбе, ввел внутрь жидкость, пинцетом вытащил ватный тампон и осколки стекла.

— Из всех взрывателей этот самый противный, у него три стопорных устройства. Но мы его перехитрим. Все сделаем по-своему. А ну-ка, быстро лестницу.

Фэнэ и Фиман притащили из сарая Боров лестницу. Позвали Цюндера, Зуггу, Тюнемана.

— А теперь кладите бомбу на лестницу, только осторожно. Вот так.

Они пыхтели, руки прямо отламывались.

Клеменс засунул руку внутрь бомбы, сказал:

— Основание бомбы вывинтить нельзя — оно накрепко притаранено к взрывчатке двумя стальными штифтами. Это первое препятствие. Второе — в передней части взрывателя. Есть и третье. Это заградительный щиток. Хитро придумано, только Клеменс еще хитрей. Заградительный щиток движется в пазу конической формы. Если нам повезет и щиток нигде не заклинит, взрыватель можно просто рукой вывернуть. Что ж, попробуем. Я поворачиваю щиток на триста шестьдесят градусов,— он что-то медленно вертел, вертел внутри,— теперь он на конце конуса. Пусть так и остается. А теперь все сюда. Фиман и Цюндер — к лестнице, Фэнэ и Тюнеман — к снаряду, сюда, вперед. Зугге стоять позади меня. Так. Теперь по команде «марш» Фиман и Цюндер слегка приподымают лестницу, чтобы бомба потихоньку

сползла вниз, а Фэнэ и Тюнеман тормозят, чтобы бомба ползла медленно, очень медленно, и таким образом бомба и с ней гильза взрывателя повернутся в нужном направлении. Ясно? Итак — пошли!

На первый раз не получилось. Еще раз! И Клеменс держал взрыватель в руке. Он сказал:

— Обратите внимание: стальной взрыватель с тремя стопорными устройствами. Вывинчен просто — рукой.

Глава двадцать пятая

Последний бой

В середине марта саперы двинулись дальше на север — к Руру, с ними ушли и солдаты, но Франца среди них не было. Он юркнул в железнодорожный вагон Ниусов, его собирались переправить в Ольховую пещеру, но вокруг шныряли жандармы, охотились за дезертирами и расстреливали каждого, кого хватали вне части. Надо было выждать, пока настанет удобный момент.

На второй день Тюнеман с наблюдательного поста на крыше просигналил: идут. Цюндер и Зугга заползли с Францем в подземный ход; не успели ребята прикрыть дыру в полу и поставить на это место платяной шкаф, как Бернгард Шлютер и два жандарма забарабанили в дверь.

— Где вы его спрятали? — орет один.

— Здесь,— отвечает Берта Ниус. Подкатила кресло на колесиках к шкафчику под раковиной, вынула оттуда мехового зайчика и бросила на стол.

Жандарм присел возле Ганнелоры и Дорис, младших сестренок Тюнемана. Те сидели на полу и баюкали кукол.

— Скажите, деточки, где сейчас дядя, ну, который у вас гостит?

— Вот он,— сказала Дорис и — пальчиком на Шлютера.

— Нет,— говорит жандарм,— не этот дядя, другой, который у вас со вчерашнего дня, дядя солдат.

— Вот он,— говорит Ганнелора и — пальчиком на второго солдата.

Тогда жандарм встал, распахнул дверь в комнату, где спал Тюнеман, все в ней обшарил, открыл шкаф, потом оба прошли в другую спальню, под кровать посмотрели, в туалет заглянули, потом сели за стол.

— Я ведь говорил, что его здесь нет,— сказал Шлютер.— И где тут спрячешься, в этой коробочке?

— Вы знаете обер-ефрейтора Франца Бюшгена? — гнет свое жандарм.

— Да,— отвечает Берта Ниус,— серьезный и достойный человек, сознает свой долг. Он снимал квартиру у торговки молоком Фридхен Бор. Надеюсь, с ним ничего не случилось?

— Хватит болтать, выкладывайте, что знаете. Все равно найдем, можете не сомневаться. Он уничтожил важные взрывчатые вещества.

Встали и ушли.

— Всего хорошего,— с ухмылкой сказал Шлютер.

Ниусы сели за стол играть в скат. Через час дверь с треском распахнулась, оба жандарма с револьверами в руках ворвались в комнату, потом в спальню, все опять осмотрели.

— Узнали что-то новое? — вежливо спросила Берта Ниус.

— Я вас...— рявкнул жандарм,— я вас...— И выбежал, изо всех сил хлопнув дверью.

Франц сидел в проходе под железнодорожной насыпью, снаружи было опасно. Американцы переправились через Рейн, и теперь ребята следили по карте за положением дел на фронте, слушали радио — сперва четыре удара в литавры, а потом новости — и так каждый час. Еще ребята наносили на карту позиции воюющих сторон и занятые плацдармы, направление ударов Первой и Девятой американской и Второй британской армий. Рурский котел медленно захлопывался. Группы немецких солдат бежали с юга через город на север, их преследовали вражеские бомбардировщики. Штумпе сказал — это конец, надо всем оставаться под землей, из бункера не выходить. Потом в квартале и на заводе снова появились саперы, они собирали членов «фольксштурма», руководили сооружением противотанковых заграждений, и Штумпе, Карлхайнц, Макевка и маленький Поттман намеревались двигаться с ними на юг.

Нацисты на заводе и в квартале пытались войти к ним в доверие: мол, они знали, чем все кончится, никому ничего худого не сделали и всякое такое прочее.

— Там разберемся,— говорил Фиман,— может, и мы вам худого не сделаем.

— Спокойствие и осторожность,— сказал Стах.— При первой же возможности надо вытащить оружие из подземного хранилища.

В бункере люди томились, катались на карусели, слушали гул канонады, взрывы бомб, а как-то раз проезжавшее по железной дороге зенитное орудие вело огонь несколько часов подряд.

Потом вдруг наступила тишина.

Все вышли на заводскую площадь. Пришла весна. Щебетали синицы, пахло землей, было совсем как летом, чистое голубое небо, без самолетов. Мужчины сняли куртки и рубашки, грелись на солнышке, острили, женщины смеялись.

«И как в такое время стрелять?» — думал Фэнэ. Пригнувшись, соблюдая осторожность, он вместе с ребятами перетаскивал на завод два фаустпатрона, три карабина, ящики с патронами, ручные гранаты и даже пулемет. Тут же были Петр, Степан, Лена, Нина и другие русские.

В полдень все сидели или лежали на траве в лагере для русских, вдруг послышался гул, грохот, все посмотрели в небо, но ничего не увидели. Потом где-то близко раздался взрыв. Все убежали в бункер. Огонь вели американские артиллеристы, они заняли позиции в горах к югу от города. Стах велел вывесить белые флаги — люди разбежались по домам, вытащили простыни, вывесили в окнах.

Фэнэ с матерью хотели пойти обратно в бункер, но тут у дома Поттманов послышались крики, автоматная очередь.

Открытый «мерседес» с четырьмя эсэсовцами медленно спускался вниз по улице, эсэсовцы стреляли по окнам, где висели белые флаги. Фэнэ с матерью бросились на пол. Пули влетели в комнату, разбили лампу, стекло в шкафу, а один эсэсовец проревел в микрофон:

— Долой белые тряпки, чтоб через минуту не было ни одной, иначе предатели будут расстреляны на месте.

Фэнэ подошел к окну. Внизу, как раз под ним, стояла открытая машина с эсэсовцами. У него уже был в руке «вальтер», и он было прицелился в эсэсовцев, но мать рванула его вниз, на пол.

— Ты что, спятил? — говорит, а сама сорвала с окна простыню и втянула в комнату.

— Вот так,— через минуту сказал эсэсовец,— а теперь в бункер, ну, живо!

Они шли по улице мимо «мерседеса», эсэсовцы стреляли поверх

их голов и смеялись. Белые простыни исчезли. Эсэсовцы уехали в верхний город.

Фэнэ ужасно разозлился. И вот что он надумал. Он с ручными гранатами вернется домой, Фиман в окне напротив вывесит белую простыню, а когда подъедет «мерседес», он, Цюндер, Тюнеман и Зугга забросают машину гранатами из дома Шпорманов.

— Не согласен,— сказал Стах,— что мы — фашисты, детей перед собой в огонь посылать будем? Мы все сами сделаем, а вы поможете.

Перетащили пулемет в заводской административный корпус на второй этаж в кабинет директора. Стах, Лена из Минска, Фэнэ и Фиман пододвинули письменный стол к окну, выбили стекла, пулемет установили на столе и приготовились открыть огонь. Фиман уселся в глубокое кресло и закурил сигару — он ее в директорском шкафу нашел.

«Ничего себе,— решил он,— уютно устроились».

Напротив, в комнате мастера, расположились Петр, Эрна Трич, Степан и еще двое русских. Они вооружились фаустпатронами и ручными гранатами.

Анна Шпорман и Герта Ронсдорф сшили из двух больших скатертей и простынь огромное белое полотно и вывесили его снаружи, с верхнего этажа цеха канистр. С ними было еще двое русских с карабинами, Тюнеман, Цюндер, Зугга.

Артиллерия пристрелялась — кругом рвались снаряды. Где-то в верхнем городе строчил пулемет. Еще они услышали громыхание танка. Потом вдруг — тишина.

И тогда они увидели, как по улице спускается открытый «мерседес», прямо к заводу. В машине стояли те же эсэсовцы — один возле водителя, двое сзади. Они медленно въехали в заводские ворота. Автоматы нацелили на большой белый флаг, свисавший из окна заводского корпуса.

Фэнэ присел у ящика с патронами, из него к пулемету протянулась лента на пять тысяч выстрелов. Справа от пулемета стояла на коленях Лена из Минска в асбестовых перчатках, с запасным стволом наготове. Стах оперся локтями на стол, держа палец на спусковом крючке и что-то бормоча по-русски.

Эсэсовцы с ходу открыли огонь, а когда они поравнялись с окнами, Стах нажал на спуск. Все кончилось за полминуты. Один эсэсовец был еще жив, держался за живот и рычал — он все еще рычал, когда к заводу на большой скорости подошел второй «мерседес»: эсэсовцы, находившиеся у виадука, услышали стрельбу, завернули и быстро примчались сюда.

Машина на полном ходу влетела в заводские ворота, разогналась к цеху канистр, но не доехала. В нее попало два фаустпатрона — трое эсэсовцев выскочили из машины, но тут же упали. В них бросили ручные гранаты Петр и Эрна Трич.

И тогда через заводские ворота промаршировали Гертруда Розенкранц с карабином на плече, Шали, Анна Кузневска, за ними Клеменс и Шан, и Шан — надо же! — играл на скрипке. Стах прикрыл глаза рукой и несколько раз тихо сказал:

— Нет, нет, не может быть!

А Гертруда Розенкранц закричала:

— Мы задержались у виадука. Скорей, сделайте что-нибудь, у польки схватки начались!

...Ночью родилась девочка, а наутро вернулись отправленные из города фольксштурмисты.

— Нигде — никого,— сказал Эвальд Штумпе. Он стоял в центре

заводской площади.— Остатки вермахта с нашей помощью разбежались, американцы с танками и артиллерией проследовали мимо города на восток. Неужели вы сами не видите, не понимаете? Да! Дожили. Одни ушли, другие еще не пришли. Значит, пустота, и нам ее заполнять.

Он, Макевка и маленький Поттман пошли в ратушу, а вечером пришел за одеялами Штумпе (они остались там ночевать) и рассказал:

— Маленький Поттман занял кабинет бургомистра, с ним еще несколько человек, в том числе Алекс Шульте. Фашисты все разбежались, из буржуев пока никто и пальцем не шевелит.

На другой день люди из верхнего города начали грабить склад вермахта, и Бернгард Шлютер вызвал Стаха и Петра, просил отогнать грабителей. Француз Пьер из заводского филиала и его товарищи охраняли городские склады, Лена из Минска и другие русские заботились об угнанных рабочих и военнопленных, прибывших из лагерей в город.

Фэнэ Шпорман, Фиман Ронсдорф, Тюнеман Ниус, Цюндер Крах и Зутта Трич сидели на городской стене и смотрели в небо. Было тихо, небо чистое, мирное.

— Сил больше нет ждать, пойдем, надо что-то делать,— сказал Фиман.

— Счастливого пути!..— крикнул Тюнеман. Никто и внимания на Фимана не обратил, а он спрыгнул со стены и куда-то исчез.

Через некоторое время они услышали шум мотора, и вниз по улице проехал роскошный автомобиль-кабриолет марки доктора Штратмана, а в нем важно сидел Фиман Ронсдорф с сигарой во рту. Левая рука опущена вдоль дверцы, правая небрежно так на руле. Притормозил, мотора не выключил и спрашивает:

— Нет желающих прокатиться?

Поехали в верхний город, потом к югу по шоссе, в горы — только ветер свистел в ушах. На полях видна была первая зелень. Цвели вербы, в небе летали птицы. Ребята запели: «Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе, штыками и картечью проложим путь себе... мы, молодая гвардия рабочих и крестьян!»

Встретился им матрос с гитарой. Фиман притормозил, матрос сел в машину и рассказал, что он уже несколько недель путешествует, аж от самого Киля пробирается, прошел через «все враждебные и дружеские», как он выразился, линии.

— С гитарой,— говорит,— не страшно.

Поехали обратно в город, матрос ударил по струнам и запел песню. Она так ребятам понравилась, что Фэнэ сразу начал ее наигрывать, и, когда въехали в квартал, пели уже дружно все:

Шестого, ночью глубокой
Гром пушек раздался далекий.
И это, без сомнения,
Чип-чип дудль-дач вторжение.
Офицеры безмятежно
Милых дам целуют нежно.
Ах, как страшно пробуждение.
Чип-чип дудль-дач вторжение.
Торпедный катер мчит сквозь ночь
Фашисты убегают прочь.
А с борта залп — мое почтение.
Чип-чип дудль-дач вторжение.
Десанты приземляются,
И бомбы разрываются,
И канонады пение.
Чип-чип дудль-дач вторжение.

Отцы и дети

— И все-таки в этой музыке есть что-то чужое,— сказал Фэнэ, все время наигрывавший это «чип-чип дудль-дач вторжение».

— Да,— сказал Цюндер,— мне лично этот ритм напоминает... как бы это выразить... ну, вроде ты идешь по улице и все время попадаешь ногой рядом с тротуаром, а ступить на самый тротуар не можешь.

— Точно,— сказал Фиман,— ерунда эта американская музыка, мы ее по радио слышали. Беспорядочная и в общем-то чепуха.

А Тюнеман сказал:

— Почему? В ней, в этой музыке, есть что-то новое.

— Новое...— передразнил Фиман.— Да ну тебя!

Они лежали на траве в лагере для русских, загорали и ждали, когда же придут американцы.

— Забыли они про нас,— сказал Гуго Бек. Он отстегнул деревяшку и играл в скат с Клеменсом, Карлхайнцем и Францем.

Это было через три дня после того, как передовые части Первой американской армии прошли мимо города. Стояла тишина, в небе — ни облачка, но просто чувствовалось: что-то вот-вот случится. И правда — случилось.

Совсем рядом чуть не одновременно разорвалась дюжина ручных гранат и бронебойных снарядов. Все снова понеслись в убежище. Плескались белые флаги. А танки вели огонь весь день и всю ночь. Наутро все опять улеглось.

Стах и Штумпе вышли на улицу, но ничего не заметили. А Фэнэ, Фиман, Тюнеман, Цюндер и Зугга уселись на городской стене. На коленях у них была большая белая простыня, до самой мостовой висела. Долго ждали, потом Цюндер сказал:

— Вон они, на углу, около Зипманов, вон — перед нами.

Три солдата с автоматами, пригнувшись, перебежали улицу, осмотрели подъезды домов, притаились за кроличьим сарайчиком Фэнэ, метрах так в пятнадцати от ребят. На стену и не посмотрели.

— Эй, сюда, к нам, вам ничего не будет! — крикнул Фиман.

Тогда один, негр, подскочил, что-то крикнул и выстрелил из автомата вверх.

— Думают, у нас под простыней оружие,— сказал Фэнэ,— давайте ее сбросим.

Простыня упала на мостовую, солдаты подбежали, сорвали их со стены, поставили к ней лицом, обыскали. Тут из заводских ворот вышли Стах, Петр, Лена из Минска, Шали и Шан, стали говорить, пожимать руки, американцы пожали руки Фэнэ, Фиману, Тюнеману, Цюндеру и Зугге, подарили им по плитке шоколада. Вот уж действительно война кончилась!

— Праздновать будем, когда вернется Хайни Шпорман и другие,— сказал маленький Поттман. Американцы его чуть не бургомистром сделали.

Первым вернулся отец Тюнемана Фриц Ниус. У него было забинтовано плечо, одна рука на перевязи, а в другой березовая ветка. С ним шел маленький Поттман. Все повысовывались из окон, хлопали, смеялись, подбегали, подносили вино, и когда отец Тюнемана добрался до конца улицы, он был уже здорово под мухой и опирался на маленького Поттмана. До ночи все сидели перед вагоном первого

класса, пили за здоровье Фрица Ниуса, а по домам разошлись, когда уже луна зашла за насыпь. Шли и качались. И громко пели.

— Ничего не рассказывает,— сказал на другой день Тюнеман,— не привык много говорить.

— Ну, пусть пообвыкнет. А там разговорится,— ответил Фэнэ.

— Одну историю рассказал,— вспомнил Тюнеман,— где-то в Греции дело было, а может, еще где-то, словом Фриц Ниус стоял ночью на берегу моря. Тишина мертвая, только море шумит. Месяц, звезды. И, представляете, по морю корабль идет, а на корабле мужчины и женщины танцуют и смеются.

— И все? — Фиман даже удивился.

— Да,— сказал Тюнеман,— он это уже три раза рассказывал.

Помолчали.

— Да, придется вам привыкать к отцам заново,— изрекла Зугга.

...Отец Фимана Отто Ронсдорф пришел ночью. Утром он из окна окликнул Шпорманов. Он весь высох, облысел, но был веселый.

— Вставайте живей, идите к нам,— приглашал он всех.

Все пришли, он каждому долго жал руку.

— Значит, мы победили все-таки? — спросил дедушка Тиль.

— А как же, Герман,— ответил Отто Ронсдорф,— а как же.— А позже, вечером, он пошел в ратушу к товарищам.

Последним возвратился Хайни Шпорман. Все уже знали, что заключенные Бухенвальдского лагеря освободились сами, и на площади перед ратушей — ее украсили березовыми ветвями — его долго приветствовали, говорили в его честь речи. Но из квартала никого не было. Так порешили. В квартале ему готовили особый сюрприз.

«Никакой помпы, никаких восторгов»,— всегда говорил Хайни Шпорман — и перед праздниками, и каждый раз, когда возвращался домой из лагеря или из тюрьмы.

И вот ровно в полдень Хайни Шпорман шел по улице квартала, один, тощий, как спичка, отбрасывая короткую тень. Ольга Поттман первой его увидела, дала сигнал, и сразу все спрятались: ни на улице, ни в окнах — ни души.

А он шел, махая руками, шел так косолапо, плечи приподняты — как всегда. Шаги были бесшумные — это американцы ему подарили мягкие сапоги.

Хайни Шпорман посматривал на дома по левую и правую стороны улицы и ничего подозрительного не замечал.

Дедушка Тиль сидел перед своим домом на улице, смотрел на небо и посвистывал.

— Добрый день, Герман,— сказал Хайни Шпорман и остановился.

— Добрый день, — сказал дедушка Тиль.

— Ничего погодка.

— Да, ничего,— сказал дедушка Тиль, а сам все свистит.

Из окон видели, что Хайни Шпорман еще больше прищурился, поджал губы и, не оборачиваясь, вошел к себе в дом.

На кухне у Шпорманов сидели Анна и Фэнэ с братом. Когда Хайни Шпорман вошел, Фэнэ подал из окна знак. И вот тут-то начался концерт! Шум поднялся, треск, грохот, паровоз Лоренца Фукса зашипел, засвистел, а на заводе Штумпе включил сирену,— все орали, смеялись, этому просто не было конца.

А Хайни Шпорман подошел к окну и сделал то, что очень редко делал. Поднял правую руку и крепко сжал в кулак.

Вечером на улице танцевали под музыку, Степан играл на аккордеоне, Фэнэ на губной гармошке, Шан на скрипке. От дома к дому протянули шнуры, на них повесили фонари, русские пели, тут же

были трое американцев — негр и двое его товарищей. Все еще пели и танцевали, когда первые стрижи уже летали над крышами.

Через несколько дней, в субботу, после обеда, сидели у Шпорманов. Отец Фэнэ вообще-то никогда не пил, но тут принял бокал вина из рук Стаха — а тот тоже вообще-то не пил,— и они чокнулись.

— Вот уезжаешь,— сказал Хайни Шпорман,— а мы остаемся.

Стах кивнул.

— Теперь смотри, что у нас получается,— сказал Хайни Шпорман.— Церковники опять плетут интриги, старый плут Мюллер-Бальценбек скоро опять появится на заводе: уже снюхался с американцами; они привезли с собой свою интеллигенцию, ведут переговоры со старыми владельцами заводов, а нас ни о чем не спрашивают. А наши, ну, то есть вы, Красная Армия, остановились на Эльбе. Это почему же, черт возьми?

— Сам знаешь не хуже меня,— сказал Стах,— не можем же мы сражаться с западными союзниками.

— Все эти годы мы только и жили надеждой,— говорил Хайни Шпорман,— надеждой на победу, а вы остановились на Эльбе. Сам знаешь, старый враг не добит да и фашисты скоро повыползут из нор. А мы? Сколько наших в живых осталось? Самые лучшие убиты. И что нам-то теперь делать, неужели все сначала начинать? Страна разорена, разрушена до основания, одни развалины, наши дети,— он указал на Фэнэ,— заброшены, одичали, собственного имени грамотно написать не умеют. Воровать и стрелять — вот чему выучились.— Хайни Шпорман встал, подошел к окну.— Тридцать лет работы — и все впустую. Бросить бы все и убежать куда подальше.

Фэнэ разозлился. Он встал и сказал:

— Ну и мотай, лучше всего в Мексику. Наденешь сомбреро, будешь в разбойников играть. А нам фотографию пришлешь. Мы ее над диваном повесим.

Он хлопнул дверью и ушел к Фиману. Тот сидел за столом и сучил дратву — собирался чинить ботинки. Фэнэ посмотрел на фотографию дяди Альфонса.

— Да ну, не переживай ты,— сказал Фиман,— это ненадолго. Наш старик тоже места себе не находит. Ругает тех, что в ратуше: всё, мол, не так они делают, мол, маленький Поттман, Макевка и Алекс дают себя обвести вокруг пальца оккупантам и прежним хозяевам. Ничего, пройдет несколько недель, сам увидишь, они во всем разберутся.

Дедушка Фимана начал распевать свои песенки, Фэнэ вышел и пошел к Ниусам.

Берта Ниус — она теперь была не то секретарша, не то переводчица при маленьком Поттмане — разбирала бумаги, а Лоренц Фукс и Тюнеман с отцом играли за столом в скат.

— Времена анархии прошли,— сказала бабушка Тюнемана и окинула ястребиным взором игроков в карты. Но те уже здорово нагрузились.— Дисциплинированный труд, повседневная, кропотливая, если хотите, работа — вот что сейчас на повестке дня!

— Да, да,— сказал Фриц Ниус,— ты делай кропотливую работу, а мы, анархисты, в скат будем играть.

Берта Ниус подозвала Фэнэ и сказала:

— Сейчас переходное время. Но скоро они одумаются, уж я-то знаю.

Фэнэ пошел к Крахам. Цюндер читал своего Карла Мая и слушать ничего не хотел, в том числе и рассказов матери про то, как

они построят новую церковь, как патер Фридрих тут задержится и им поможет.

У Тричей дома была только Зугга. Эрна и Петр с сестричкой Зугги пошли гулять.

— Давай тоже пойдем гулять в Доманский лес,— сказала Зугга,— я знаю там места очень красивые.

Они вышли и вернулись домой поздно вечером.

У Шпорманов все сидели на кухне.

— Я все продумал,— сказал Хайни Шпорман,— я остаюсь тут. В Мексике слишком жарко.

Фэнэ с отцом переглянулись, а Анна Шпорман сказала:

— Ну вот, так-то лучше будет.

Через несколько дней представители старой гвардии уже сидели вместе, как бывало, в доме у Шпорманов. Налицо была вся фракция, включая отца Тюнемана. Председательствовал отец Фэнэ. Он сказал:

— Товарищи, мы подошли ко второму пункту нашей повестки дня. Нам нужно...

Все точь-в-точь как раньше. Анна Шпорман стояла у плиты. На пороге появился Фэнэ, она прижала палец к губам и сказала:

— Тсс... Видишь, заседание идет.

И Фэнэ тихонько вышел. Тоже точь-в-точь как раньше.

И еще, уже в последний раз, собрались все вместе на городской стене — Фэнэ Шпорман, Фиман Ронсдорф, Тюнеман Ниус, Цюндер Крах и Зугга Трич, и с ними были Стах и Лена из Минска. Сидели тесно прижавшись, обхватив друг друга за плечи, пели песни, смеялись — в последний раз вместе. На другой день русские собирались домой, в Советский Союз.

Солнце опускалось за насыпь, уже пахло сиренью, стрижи носились над крышами.

На прощанье друзья обнялись, и каждый пошел своей дорогой.

■

Критика

Ю. БОГДАНОВ

МОМЕНТ САМОСОЗНАНИЯ В СЛОВАЦКОЙ ПРОЗЕ

70-е годы — мы вправе сегодня уже говорить об этом — во многих отношениях знаменуют новую страницу в развитии социалистической Чехословакии. Напряженная, целеустремленная деятельность коммунистической партии, направленная на преодоление последствий общественно-политического кризиса 1968—1969 годов, в решающей степени определила процесс консолидации общества на очищенных от ревизионистских наслоений, подлинно социалистических основах. Программа дальнейшего движения по пути социализма, разработанная в ряде партийных документов и закрепленная решениями XIV съезда КПЧ (май 1971), получила поддержку подавляющего большинства населения страны. «Широкие слои народа,— говорилось в отчетном докладе XIV съезду,— на личном опыте убедились, что в противовес разложению, анархии и неуверенности курс нового руководства партии дает уверенность в завтрашнем дне, перспективу» [1].

Сейчас, после проведенного Коммунистической партией Чехословакии глубокого марксистско-ленинского анализа причин кризиса, стали яснее истоки многих негативных тенденций, которые в той или иной форме получили распространение в различных областях духовной жизни общества, отрицательно сказавшись и на ходе литературного процесса последнего десятилетия. Вместе с тем уроки кризисного периода не сводимы лишь к горечи осознанных просчетов, в них содержится и добытый дорогой ценой позитивный опыт, убедительно подтверждающий плодотворность соединения художественного творчества с революционными идеалами эпохи, историческую закономерность движения литературы Чехословакии по пути социалистического реализма.

Обретение стабильности, ясной перспективы, чувства социальной уверенности, то есть всего того, о чем говорилось на XIV съезде КПЧ как о важнейшем завоевании партии на путях преодоления кризиса, явилось наиболее красноречивым показателем важнейших перемен в общем духовном климате страны. Литература, будучи «барометром общества», не могла по-своему не отозваться на эти принципиальные сдвиги, происходящие в общественном сознании. В критике, публицистике, в поэзии Чехословакии новые веяния получили уже достаточно четкое выражение; в области прозы инерция предшествующего этапа дезориентации сказывается сильнее, хотя в последнее время и здесь проступили обнадеживающие признаки обновления. Обзору этих новейших тенденций в словацкой прозе и посвящена наша статья.

■

В 1972 году орган Союза словацких писателей, журнал «Словенске погляды», провел в своих первых четырех номерах анкету, нацеленную на принципиальный анализ конкретной ситуации в литературе. Шестнадцать писателей, критиков, литературоведов, откликнувшихся на призыв журнала, были на редкость единодушны в общей неутешительной оценке состояния литературных дел: «Положение литературы неважное, и виды на будущее пасмурные» (В. Минач); «Нынешнее состояние литературы справедливо характеризуется как кризисное» (Я. Поничан). Главную причину неудовлетворенности наиболее обнаженно выразил

[1] «XIV съезд Коммунистической партии Чехословакии». М., 1971, стр. 37.

В. Мигалик: «До 1969 года все это было не столь очевидно, ибо литература неслась на вздымающейся волне общего кризиса в партии и обществе. Но с той поры произошло нечто существенное, нечто, обусловившее возрождение социалистических идеалов и оздоровляюще повлиявшее на сознание широких слоев населения. Наше общество сегодня уже значительно ушло вперед по сравнению с литературой, которая по большей части еще не выбралась из хаоса последнего десятилетия. Произошедшее коренное изменение недостаточно только зарегистрировать, современный писатель должен его пережить и прочувствовать...»

Отвлекаясь от некоторой горячности тона, объясняемой, впрочем, не только темпераментом поэта, но и приглашающей к спору остротой постановки вопросов в анкете («Надо бы бросить камень в стоячую воду. Но — кто его бросит?»), нельзя не согласиться с В. Мигаликом в главном — в необходимости для литературы скорейшего возобновления связей с «ушедшим вперед» обществом. Как, однако, восстановить динамическое взаимодействие между литературой и развивающейся действительностью? Ведь решение отнюдь не сводится, например, к тематическому обновлению той же прозы. Более того, сама «тематика», если, разумеется, выбор ее не основывается лишь на принципе априорной «внешней» заданности, есть всегда некоторое производное из жизненного, душевного опыта писателя. Поэтому в призыве Мигалика — «пережить и прочувствовать» — при всей распространенности рецепта намечен единственно надежный, отвечающий природе художественного творчества путь выхода из литературных лабиринтов. «Никто за нас ничего не сделает,— говорит в той же анкете В. Минач.— Время не работает на тех, кто не работает на время. И если наступает неизбежный момент самосознания, мы не вправе его упустить».

Думается, что глубинная суть происходящей сейчас перестройки, переориентации эпики лучше всего передается этой емкой формулировкой Минача: неизбежность самосознания. То, что партией было сделано в категориях идеологических и политических [1], литературе в интересах общества, а значит и в своих собственных, нужно было осуществить в категориях нравственных эстетических...

Историками литературы из анализа повторяющихся, типологически сходных ситуаций давно уже выведена характерная зависимость: переживаемые общественные катаклизмы, как правило, обостряют в литературе чувство историзма, стимулируют аналитическое мышление, стремление выявить и опереться на то бесспорное, что содержалось в предшествующем идейно-художественном опыте. Симптоматично, что и в упоминавшейся журнальной анкете один из вопросов прямо касался проблематики подобных «возвращений», восстановления осознанной преемственности литературного развития.

Принципиальный смысл этого требования становится особенно понятным, если вспомнить, что вторая половина 60-х годов проходила в Чехословакии под знаком усиленных попыток некоторых критиков скомпрометировать основную линию социалистической литературы, раздувая просчеты и художественные неудачи конца 40-х — начала 50-х годов. Любое позитивное отображение взаимосвязи между важнейшими общественно-историческими сдвигами и судьбами людей со снобистским высокомерием квалифицировалось как «рецидивы схематизма». «Тупиковым заблуждением» было объявлено наследие выдающихся творцов чешской и словацкой литературы социалистического реализма. Под лозунгом борьбы против иллюстративности в искусстве проповедовалась идея глухой автономизации литературы, «аутентичности» художественного произведения, полного «раскрепощения», а иными словами — произвола авторского субъекта.

В области словацкой прозы наибольший ущерб эти теории нанесли творческому развитию молодых писателей. «Собственный опыт им кажется мелким и незначительным, да и может ли он быть другим на задворках мира? — иронически комментировал В. Минач в 1966 году лихорадочную погоню молодых за модными веяниями.— Тогда прибегают к чужому опыту... Молодые люди натягивают на себя чужие доспехи. Что с того, что не по фигуре? Ведь носят же другие, и мы носим... И краснощекие юноши превращались в издерганных неврастеников, измученных современным стилем жизни; за румяными ланитами обнаруживалось доподлинно отчужденное сознание и, конечно же, черная пропасть подсознания». «Чистый», внеисторический, «внутренний» человек, вырванный из контекста реальных общественных связей, сделался излюбленным объектом исследования молодой прозы. «Доминантой литературы,— по справедливому замечанию словацкого критика В. Шабика,— стал деформированный образ беспомощного индивидуума. Литература избавилась от «схематизма», сделалась «аутентичной», однако то, что должно было служить лишь предпосылкой для более комплексного и правдивого изображения всего многообразия жизни, стало единственной целью, последней границей». Нудные повторы на этом пути модернистской специализации были неизбежны. Поэтому центр тяжести все больше смещался в сторону литературной технологии, изобретения, заимствования и нагнетания наиболее ошеломляющих, «эпатирующих» читательскую публику приемов. Впрочем, как и предсказывал Минач, чаще всего дело не шло дальше ученической стилизации под те или иные модные образы — Сартра или Кафку, Роб-Грийе или Ионеско. Девальвация эксперимента, поставленного на поток серийного производства, все отчетливее обнаруживала самоцельный, внутренне бессодержательный характер подобной творческой активности.

[1] См.: «Уроки кризисного развития в Компартии Чехословакии и обществе после XIII съезда КПЧ». М., 1971.

Ложные тенденции, получившие распространение как в чешской, так и в словацкой прозе 60-х годов, нельзя, конечно, непосредственно — автоматически — связывать с откровенно враждебными социализму тенденциями. Далеко не все, что присваивалось в литературе идеологами ревизионизма, что выдавалось ими за подтверждение собственных концепций, имело сознательную антисоциалистическую направленность. Многое объяснялось чисто субъективными причинами — сменой поколений, амбициозностью или незрелостью молодых авторов. Однако именно в обстановке «кризиса критериев» нигилистического отношения к социалистическим завоеваниям, поколебленного сознания естественной связи с основами, с предшественниками только и могли получить гипертрофированное развитие псевдоноваторские, снобистские тенденции пустопорожнего экспериментаторства. В сочетании с волной переводного и местного по происхождению ширпотреба — низкопробного криминально-сексуально-мелодраматического чтива, захлестнувшего каждый рынок,— поток «экспериментальной» продукции свидетельствовал о серьезном нарушении и намечающемся низведении системы взаимосвязей между литературой и обществом до уровня, характерного для современной буржуазной, элитарно-потребительской модели этих взаимосвязей.

При всем том восстановление преемственности в развитии социалистической литературы не могло быть сведено к простому механическому зачеркиванию второй половины 60-х годов с соответствующим возвращением к началу 60-х или, того глубже,— к истокам. Слепые повторы способны омертвить самые лучшие традиции. Подлинно творческое, диалектическое продолжение магистральной линии национального художественного прогресса могло состояться, в частности в прозе, лишь при условии достижения ею нового уровня историзма, исторического мышления, с высоты которого полнее, сложнее и достовернее предстала бы картина закономерного движения нации, общества и современного человека к революционным идеалам, к социалистическому сегодня.

В качестве прямого отклика на эту растущую общественно-литературную потребность в самосознании можно, как нам кажется, рассматривать массовое тяготение писателей, прежде всего старшего поколения, к автобиографическим свидетельствам к ретроспективному анализу и систематизации личного опыта, к осмыслению пережитого. В семидесятые годы вышли книги воспоминаний М. Урбана, З. Згуришки, Я. Грушовского, А. Плавки, А. Беднара, публиковались мемуарные циклы Я. Смрека, Я. Поничана, эссе-воспоминания А. Матушки.

Это разные по глубине трактовки и охвату явлений, по стилю изложения произведения. В гибкой и по сути своей индивидуализированной форме автобиографических замет каждый старается найти наиболее отвечающий его личным склонностям способ отображения жизни, передачи ее сложного многоголосия. Все вместе, однако, эти свидетельства выполняют большую общую задачу: они не только расширяют, расцвечивают и дополняют конкретными фактами сложившуюся итоговую картину мира, но и существенно корректируют, «утепляют» ее, восстанавливая сложную динамику переходных состояний, диалектику «текущих моментов». В ряде случаев мемуарная проза, не слишком характерная в недавнем прошлом для словацкой литературы, становится источником и собственно художественных открытий, преодолевая каноны «чистой» документальности и художественности, свободно соединяя факт с художественным обобщением, порождая произведения, не укладывающиеся в привычные рамки, но наделенные внутренней жизнеспособностью — энергией неожиданного и вместе с тем удачного жанрового скрещивания.

Ярким примером может служить книга поэта и прозаика Андрея Плавки «Влюбленный в жизнь» (1971) [1]. Ее построение на первый взгляд сугубо традиционно: придерживаясь хронологии, автор ведет неторопливый, обстоятельный рассказ о своем детстве и юности, годах учебы и труда. Постепенно этот рассказ перерастает в свидетельство о поколении, об особенностях формирования новой словацкой интеллигенции после 1918 года, в условиях только что созданной Чехословацкой республики, о происходящих переменах в общественном климате и национальном самосознании. Плавка стремится к документальной точности повествования. Собственные характеристики людей и событий он неоднократно поверяет высказываниями современников; он хорошо помнит об опасности чересчур субъективной интерпретации фактов.

Не случайно, однако, своей книге Плавка дал подзаголовок — «Совсем как роман одной жизни». Ибо наряду с автором — рассказчиком событий, точным до деталей, спокойным, рассудительным, много повидавшим на своем веку человеком — в книге присутствует еще один герой — молодой Андрей Плавка, по-юношески доверчиво «влюбленный в жизнь», горячий, нетерпеливый, неровный, идущий по своим кругам обретаемых надежд и утрачиваемых иллюзий. Шестидесятипятилетний писатель, воссоздавая биографию этого своего героя, не склонен щадить его самолюбие. С высоты сегодняшнего дня ему, конечно же, отчетливо видны промахи и заблуждения молодого, восторженного упрямца, и не раз авторская мягкая ирония напомнит нам о подлинной мере вещей, но всегда без нажима, без тяжеловесного морализаторства, без видимого вмешательства в структуру «романа одной жизни». Так возникает иллюзия художествен-

[1] Опубликована в «Иностранной литературе» № 10, 11, 1972.

Ю. БОГДАНОВ

МОМЕНТ САМОСОЗНАНИЯ В СЛОВАЦКОЙ ПРОЗЕ

ной автономии «молодого», хочется сказать, первичного авторского «я», которому Плавка-мемуарист предоставляет широкий простор для самореализации, для постепенного — без очевидной заданности — выявления своей человеческой сущности. В этом смысле, по меткому замечанию словацкого литературоведа С. Шматлака, книга приобретает «черты и функцию классического романа воспитания». Атмосфера эмоциональной, подлинно художественной правды окрашивает произведение, придавая дополнительную убедительность общей концепции автора; и главное — она помогает воссоздать закономерную логику развития молодого словацкого интеллигента, от интуитивной тяги к справедливости поднимающегося к сознательной борьбе за нее в рядах коммунистической партии.

Отправляясь от частного, индивидуального, Плавка восходит к общественному, национальному. Рассказ об «одной жизни», нравственно-психологическое самораскрытие личности объективно приобретают смысл, проникаются пафосом исторического самоопределения человека. Важно подчеркнуть — и это характерно не только для Плавки,— что этапы такого самоопределения неизменно соотносятся с решающими поворотами в жизни страны и народа. Принцип единства личной и народной судьбы — «радость от сознания того, что живешь одной жизнью с народом, что с ним вместе зреешь и взрослеешь» (А. Плавка),— органически противостоит модернистским концепциям атомизации общества, отчуждения индивидуума, программного исторического пессимизма.

Не выглядит случайным и обращение к истокам национальной истории такого крупного словацкого прозаика, как Владимир Минач. Две его последние книги — «Раздувая родные очаги...» (1970) и «Собранные споры Й. М. Гурбана» (1974) — это беллетризованные исторические эссе, воссоздающие панораму Словакии 30—60-х годов XIX века, эпохи национального возрождения. Следует напомнить здесь о важнейшем событии, произошедшем на рубеже 70-х годов в жизни словацкого народа,— принятии принципа федеративного государственного устройства и образовании в составе ЧССР Словацкой Социалистической Республики. Этим конституционным актом были закреплены реальные завоевания социализма, и вместе с тем особую актуальность приобрел вопрос о смысле истории словацкого народа, ядре его национального характера, перспективах дальнейшего развития. В живой дискуссии о новом качестве исторической ответственности и принял участие Минач, не раз в полемических «антимодернистских» выступлениях 60-х годов развивавший свою концепцию «памяти нации», отстаивавший идею осознанной преемственности в движении национальной культуры.

«В смысле расхожей историографии мы были объектом истории, а не ее субъектом; пространством, на котором творилась история,— пишет Минач на первых страницах «Очагов».— А поскольку история делалась посредством войн, грабежей, поборов и экзекуций, то и мы были объектом войн, поборов, грабежей и экзекуций... как получилось, что мы удержались? Как случилось, что мы существуем вопреки так называемой истории?.. Кто сочтет, сколько раз мы бежали в горы, в девственные леса, все выше и выше: нынешняя территория расселения словаков является следствием такой истории... Отступление в горы — с эпохи кочевнических набегов вплоть до недавнего восстания — является типично словацким историческим движением... Другие могли возводить соборы и королевские палаццо; нам же снова и снова приходилось заново строить для себя жилье... Никогда мы не одерживали побед, никого не порабощали, ничего не приобрели: мы пробились к свободе через длинную цепь поражений. Мы горазды на героические жесты; но благодарны мы должны быть тем, кто строил дома. Мы нация строителей не только в метафорическом, но и в прямом смысле слова: в качестве отхожих каменщиков мы возводили Вену и Пешт, помогали строить множество других городов, ни одного мы не превратили в руины... Я знаю, что наш вклад в историю мира скромный. Но если однажды историю цивилизации будут мерить по справедливости, что означает — по вложенному труду, нам нечего будет бояться: мы свое отработали с лихвой».

Уже этот фрагмент дает представление не только о главном направлении авторской мысли, но и о яркой индивидуальной манере писателя, сочетающего солидную оснащенность историографа, страстный пафос публициста и образный язык мастера социально-психологической прозы. Обратившись к ключевым, драматическим событиям словацкой истории XIX в., к противоречивому участию словаков в революции 1848 года, Минач стремится восстановить реальную атмосферу времени, заново, без предрассудков и хрестоматийного глянца, оценить вклад поколения романтиков-штуровцев в дело национального возрождения словаков. В своих комментариях он демонстрирует тонкое понимание отчаянно трудной ситуации, в которой призваны были действовать Й. М. Гурбан, Я. Франциси, Ш. Дакснер — главные герои его эссе,— генералы без армии, сеятели без надежды увидеть будущий урожай, восторженные идеалисты, вынужденные во имя сохранения патриотического огня в национальном «очаге» неумело садиться за истертую, ненавистную парту политического «реализма». Минач не судит их свысока, с позиций умудренного временем потомка. Вызывая духов своих героев, он хочет «разговаривать с ними как с живыми», хочет понять их самые сокровенные помыслы, «запечатлеть движение мысли и движение действия» — «памятники пусть высекают другие».

Специалисты по словацкой истории могут оспорить (и оспаривают) отдельные характеристики, трактовку Миначем тех или иных фактов, могут сетовать на неполноту картины. Но писатель и не ставил своей за-

дачей дублировать собственно научные исследования. Главным для него было выявить равнодействующую исторической справедливости, нащупать протянувшуюся из глубин («мы приходим из глубин») нить подлинного исторического прогресса Словакии, вызвать живых свидетелей на очную ставку с историей. Миначевская философия истории по сути своей — прикладная этика. Ее пробным камнем является вера в жизнеспособность нации, а высшим критерием оценки деятельности отдельной личности — конечная польза, приносимая на алтарь отечества, национального трудового коллектива. Можно сказать, что Минача — при всем почтении к историческим источникам: книгам, журналам, переписке — интересует нечто бо́льшее, чем верное воспроизведение и прочтение страниц былого. Он стремится «очистить заветы», расшифровать нравственно-генетический код нации во имя того, «чтобы знать, кто мы есть и кем хотим быть». У писателей типа Минача, остро чувствующих перемежающиеся ритмы своей эпохи, развито особое ощущение исторического времени. Оно не является застывшей магмой прошлого; для них «история присутствует в каждом сегодняшнем дне, в каждой судьбе. Она громоздится могучими невидимыми пластами — впрочем, иногда видимыми, даже отчетливо — во всем том, что формирует настоящее... Прошлое, как и будущее, существует сегодня». Это высказывание, принадлежащее автору романа «Нетерпение» Юрию Трифонову — а аналогичные мысли развивают и К. Симонов, Ю. Бондарев, С. Залыгин и многие другие советские прозаики,— помогает более широко осознать тенденцию, которую в словацкой литературе ярко реализует Минач своими экскурсами в историю: во всем этом проявляет себя настоятельная потребность масштабного осмысления перемен, происходящих в человеческом сознании. Экскурсы в историю, осуществляемые современной прозой в социалистических странах, воспринимаются тем самым как интегральная часть общего литературного процесса, как необходимое измерение, придающее всей литературе глубинную устойчивость...

Для словацкой прозы последнего тридцатилетия особое значение имела тема антифашистской борьбы и Словацкого национального восстания 1944 года, которое, пользуясь объемным определением Л. Новомеского, «стало источником нового самосознания нации... придало историческому сознанию нации однозначно прогрессивную, недвусмысленно революционную и демократическую окраску». Практически все словацкие прозаики в разное время отдали этой теме должное, а для некоторых — В. Минача, Р. Яшика, М. Крно и ряда других активных участников событий — она всегда оставалась не только главной темой творчества, но и важнейшим критерием философско-исторического подхода к современности. С отображением восстания, с осмыслением его наследия связаны и наиболее значительные завоевания словацкой прозы вообще (трилогия «Поколение» Минача, «Мертвые не поют» Яшика и другие).

Эволюция этой нестареющей темы в послевоенной словацкой прозе всегда служила своего рода барометром, чутким показателем общего состояния литературы. Тем более характерно, что в кризисные 60-е годы эта тема практически перестала звучать в новых произведениях. «В пору распада ценностей,— констатирует И. Кусы, автор содержательной историко-литературной монографии «Перевоплощения повстанческой прозы» (1974),— происходит резкое ослабление интереса к теме восстания». И анализируя отмеченное явление, не без иронии добавляет: «Давление самого материала не давало, по-видимому, возможности целиком заблудиться».

Трудно поэтому переоценить значимость возвращения этой темы в словацкую прозу 70-х годов. И дело не только в естественном подъеме общественного внимания к самой дате — в связи с тридцатилетней годовщиной восстания, торжественно отмечавшейся в 1974 году, с тридцатилетием освобождения Чехословакии от фашизма. Важно подчеркнуть, что к проблематике восстания обращаются ныне не только писатели — очевидцы и участники событий, но и представители молодого поколения в словацкой прозе, для которых оно не могло быть жизненной школой, но его заветы стали школой гражданственности, одним из важнейших источников нового, социалистического сознания.

Уже сегодня можно говорить о ряде новых аспектов преломления темы восстания в творчестве молодых словацких прозаиков.

У Веры Швенковой (род. в 1937), книжный дебют которой — «Белая пани Зузана» (1973) — непосредственно навеян реальными проблемами повседневности, мотив восстания звучит в первом рассказе сборника как автобиографическое воспоминание маленькой девочки, переживавшей вместе с близкими уход односельчан в партизаны, тяготы военного времени, радость встречи с красноармейцами и незабываемые минуты возвращения усталого, исхудавшего, но гордого отца с грозной винтовкой за плечами. Не будучи хронологически связан с последующими новеллами, но сознательно помещенный в самом начале книги, этот рассказ выполняет роль своеобразного камертона, задающего искренний, взволнованный тон всему дальнейшему повествованию.

«Мне иногда кажется,— говорила в интервью после выхода книги В. Швенкова,— что мы часто словно бы теряемся в мире, словно бы утрачиваем стержень, понимание того главного, что делает человека человеком... Ведь жизнь — это множество конкретных вариантов, из которых нужно выбрать единственный. Я считаю поиски смысла жизни более важными, чем поиски счастья».

Это высказывание может показаться че-

Ю. БОГДАНОВ

МОМЕНТ САМОСОЗНАНИЯ
В СЛОВАЦКОЙ ПРОЗЕ

ресчур бескомпромиссным, но в контексте молодой чехословацкой прозы оно звучит как здоровая реакция на полосу высокомерно снобистского фрондирования отсутствием убеждений, как полемическая альтернатива потребительским представлениям о счастье. Реализация индивидуального потенциала личности в условиях социализма зависит прежде всего от личности, являясь результатом самовоспитания и самосовершенствования, непрерывной внутренней работы сердца и интеллекта. В своих рассказах В. Швенкова и утверждает принцип осознанной ответственности человека перед самим собой как важнейшую предпосылку формирования гражданской, общественной нравственности.

Что именно таково направление ее таланта, красноречиво доказала и следующая книга писательницы — роман «Кедровый бор» (1974), в центре которого та же проблематика морально-нравственного выбора, раскрываемая теперь целиком на столь характерном для социалистической словацкой литературы, обязывающем материале восстания. Причем очевидно, что такое отступление в недавнюю историю понадобилось В. Швенковой в первую очередь для проверки своих главных идейно-художественных критериев, для прочного самоутверждения на поллинно позитивных, общезначимых ценностях.

Такая актуализация темы восстания с позиций морально-нравственного императива, обращенного к современности, представляет устойчивую тенденцию в молодой словацкой прозе 70-х годов. В. Швенкова, И. Изакович («Реквием», 1970), П. Ковачик («Перед рассветом», 1974), ряд других, в том числе начинающих, прозаиков в стремлении осмыслить, «объективизировать» самые сложные, волнующие проблемы жизни и человеческого духа обращаются к идеалам антифашистской борьбы как к шкале бесспорных гуманистических ценностей, сохраняющих свое значение и сегодня.

Новый поворот к проблематике и материалу восстания находит отражение во всей жанровой структуре современной словацкой прозы. По-своему тема восстания преломляется, в частности, в произведениях, тяготеющих к остросюжетному повествованию. В этом ключе плодотворно работают такие опытные прозаики, как М. Крно и Р. Мориц. Сюда с известными оговорками можно отнести получивший широкий читательский отклик, виртуозно написанный, объемистый роман Г. Зелиновой «Зов ветра» (1974), действие которого спрессовано в несколько часов — в самый канун восстания.

Вновь, после довольно длительной творческой паузы, наступившей после выхода в свет трилогии Минача и Яшика, предпринимаются попытки создания подлинно исторического романа о восстании, отвечающие назревшей потребности в масштабном эпическом синтезе. В этой связи живой интерес у читателей и критики вызвал роман одаренного прозаика Я. Паппа «Люби время, которое придет» (1974). По своим внешним признакам это сугубо историческое повествование, развивающееся в двух планах — современном и ретроспективном,— воссоздающее обстановку квазинезависимого Словацкого государства в пору восстания. Настоящее — это недели между мартом и маем 1946 года, время, насыщенное острейшей политической борьбой, когда уцелевшая и поднявшая голову реакция торопилась присвоить заслуги и плоды освобождения, захватить в стране командные посты, устранить с политической арены подлинных героев Сопротивления — коммунистов. Накаленная атмосфера первого послевоенного года преломляется в романе через сложную, почти детективную историю главного героя, активного участника восстания, коммуниста Андрея Кузмы. По ложно сфабрикованному обвинению в убийстве политического противника, бывшего фашиста, мародера и карателя, его должны судить. И это судебное разбирательство хотят превратить в политический процесс над компартией. Однако благодаря усилиям многочисленных друзей и соратников Кузмы замысел реакции в конце концов терпит позорное фиаско.

Этот фабульный каркас держит на себе огромное по охвату событий и лиц содержание, имеющее реальную, нередко документальную историческую основу. И хотя в художественном отношении, прежде всего с точки зрения полнокровности раскрытия характеров, роман довольно-таки уязвим, нельзя не отдать должного стремлению Паппа продолжить плодотворную традицию широких эпических обобщений в словацкой прозе. Эту книгу, таким образом, можно рассматривать как характерную попытку преодоления инерции «осколочного» отображения жизни, признак общего восстановления в литературе представлений о многомерной целостности исторического процесса в его главных, определяющих параметрах.

■

Общий процесс стабилизации на позитивных идейных, исторических и морально-этических основах, характерный для словацкой прозы 70-х годов, закономерно вылился у ряда писателей в последовательное стремление опереться на непосредственный личный опыт, соотнести свое творчество с реально существующим временем. Особенно симптоматично эта тяга к художественной достоверности проявилась, например, в полуавтобиографическом произведении «Любимчик с тремя улыбками» (1973) одаренного и, несмотря на свою молодость, проделавшего уже довольно длительную и противоречивую эволюцию Петера Яроша (род. в 1940).

В своих предшествующих одиннадцати книгах Ярош словно задался целью перебрать, «перепробовать» все известные ему способы прозаического письма. В одном и том же сборнике рассказов он предстал перед изумленным читателем то неистовым экспериментатором и секс-аналитиком, то подчеркнутым традиционалистом и примитивистом...

Бесконечные и далеко не всегда объяснимые метаморфозы Яроша, его ребусная многоликость, постоянное ускользание из сетей точных определений давно уже утомили словацкую критику, которая, по словам М. Шутовца, «долгие годы весьма концептуально и систематически била его за «упадочность», «патологизм», «имитирование чего угодно», за «упоение сексом», «маньеризм»...

«В правой руке у меня палка, я опираюсь на нее и бреду по пыльной дороге... Я даже не знаю — куда и стараюсь, чтобы меня это не занимало. Я двигаюсь без определенной цели, хотя сам не раз твердил себе раньше, что лучше хоть какая-нибудь цель, чем никакой. Сейчас с меня довольно знать, что я существую и что шагаю с суковатой палкой в руке. Дорога достаточно длинна, чтобы успеть не дойти до конца. Я не знаю, разумно это или глупо, меня не интересует качественная оценка моей деятельности... По пути я строю гримасы и забавляюсь тем, что пытаюсь представить себе, как я выгляжу со стороны». Мастер мистификации, Ярош в рассказе «Гримасы» (1967), начало которого было процитировано выше, в мнимо беспечной манере касается исключительно важных для себя вещей. «Чувство, что ты не являешься тем, чем хотел бы быть, что не выглядишь так, как хотел бы выглядеть, что у тебя нет того, что хотелось бы иметь, что, вообще говоря, ты видишь себя лишь как минусовую величину в сравнении с той плюсовой ценностью, о которой мечтаешь,— все это бесспорно должно породить в тебе некий разлад, некий кризис, должно тебя мучить, терзать, угнетать, заботить и побуждать к тому, чтобы приблизиться к своему идеальному «я», либо, в худшем случае, хоть на минуту постараться удержать равновесие и не упасть, не сползти еще ниже». Это не продолжение рассказа «Гримасы», а серьезный, пожалуй, даже скорбный голос самого писателя в одном из критических выступлений 1965 года.

Стремление приблизиться к идеальному «я», преодолеть внутренний разлад, отчетливо сознаваемый писателем, всегда можно почувствовать в лучших его произведениях. И столь же очевидны, особенно в 70-е годы, его серьезные попытки консолидировать творчество на бесспорных, «конечных», не поддающихся пародированию и скептическому снижению «плюсовых» ценностях.

Характерно, что в этом своем поиске Петер Ярош в недавней книге «Любимчик с тремя улыбками» отправляется от реальности собственной биографии «мальчика из деревни», а исходной точкой, первым опорным детским воспоминанием являются для него годы войны, зарницы полыхавшего восстания: «Он помнит только солдат и оружие, словно лишь с того момента он начал жить! Все до этого погружено во тьму беспамятства, отделено барьером, за который ему никогда не удавалось проникнуть». Проблема преодоления этого барьера, восстановление причинно-следственных связей между настоящим, прошлым и будущим — во взаимном пересечении трех временных пластов — и составляет внутреннее содержание книги, проступающее уже в самом ее названии. Центр тяжести здесь перемещается из подсознания на внешнее реальное окружение героя, жизнь которого соответственно перестает восприниматься как нечто исключительное, приобретает черты естественности, устойчивости, преисполняется как бы само собой разумеющегося смысла. Заметно, что в этой книге приглушена иронически-пародийная интонация, характерная для большинства предшествующих «возвращений» горожанина и интеллектуала Яроша в мир деревенских реалий. Акцент сделан на том, что соединяет, а не на том, что разъединяет поколения отцов и детей.

В творческой эволюции писателя «Любимчик с тремя улыбками» несомненно имеет значение предварительного авторского синтеза. «Когда я начинал писать эти тексты,— пояснял Ярош в одном из интервью,— я размышлял о некоторых своих лучших и худших поступках, о людях, хорошо мне известных, и их делах. Кое-что потом отразилось в книге, а на что-то довелось набрести случайно, как путнику — на гриб в лесу. Но все эти тексты вместе и есть моя личная отчизна — не автобиография, как кое-кто пробует их истолковать... У каждого человека есть свое прошлое, настоящее и будущее... Он живет, вспоминает, рефлектирует по поводу себя и других и по мере своих сил стремится заглянуть в будущее. Разумеется, не становясь в позу пророка, а просто пытаясь представить себе, за какой из его сегодняшних поступков придется краснеть его сыну...»

Стремление ощутить себя звеном, моментом связи в потоке исторического времени, в цепи нравственной и культурной традиции своего народа несомненно представляет собой в общем плане естественную реакцию на предшествующий хаос критериев, на снобистски-высокомерное третирование «национального мелкотемья». Прозрачный автобиографизм, характерный для многих книг молодых прозаиков — например, Я. Беньо «Школа начинается в мае» (1973), П. Андрушки «Часы с кукушкой» (1974), Л. Баллека «Южная почта» (1974),— нельзя поэтому сводить лишь к мотиву возвращения блудных сынов городской цивилизации в лоно гармоничного деревенского детства. (А подобная трактовка подчас проступает в словацкой критике). По существу эти книги в своей сумме восполняют важнейший пробел в историческом самосознании целого поколения, которое отнюдь не случайно до недавнего времени продуцировало порядочно поклонников культурной «модели» перекати-поле. Сейчас всем ясно, что без своей разветвленной корневой системы, без осознанного чувства преемственности немыслимо и подлинное утверждение нового поколения, способ-

Ю. БОГДАНОВ

МОМЕНТ САМОСОЗНАНИЯ В СЛОВАЦКОЙ ПРОЗЕ

ного принять свою долю ответственности не только за сегодняшний, но и за завтрашний день жизни литературы...

■

Размышляя на материале прозы о новом этапе развития словацкой литературы, мы до сих пор старались прежде всего выявить черты наступающих перемен, уяснить перспективу дальнейшего движения. В этом смысле 70-е годы по целому ряду идейно-художественных признаков закономерно противопоставлялись 60-м. Мы впали бы, однако, в новую крайность, если бы реально существующие отличия начали абсолютизировать, пренебрегая принципом непрерывности развития литературного организма. Можно понять сетования словацкой критики на безрезультатно растраченные силы молодой прозы в 60-е годы. Однако даже негативные результаты на новом витке восходящей спирали могут сегодня обернуться и положительной стороной, предостерегая от уже испробованных, тупиковых вариантов.

Но дело не только в этом. В литературе 60-х годов под слоем конъюнктурной, подчас дурно пахнущей пены непрерывно шел глубинный процесс накопления и умножения художественных ценностей. Причем не только в творчестве зрелых мастеров, но и — что особенно характерно — в творчестве целого ряда молодых прозаиков. Среди них особой последовательностью «самореализации» выделяется Винцент Шикула (род. в 1936).

«Я убежден,— писал Шикула в 1970 году в присущей для него манере тихой, ненавязчивой полемики,— что у каждого писателя должна быть своя большая тема. Один выразит ее в единственной книге. Другому придется написать десяток. Если автор уже исчерпал свою тему, он должен прекратить писать. С годами он, может быть, найдет новую или вернется к старой, но с другого конца». Сам Шикула, вступив в литературу в 1964 году, издал уже шесть очень разных талантливых книг, но темы своей, похоже, далеко не исчерпал. Да это и понятно, поскольку в творчестве Шикулы, прирожденного рассказчика, такой темой является жизнь простых, очень обыкновенных людей, не слишком избалованных вниманием большой литературы.

В рассказах и повестях писателя разлита атмосфера теплого, сочувственного внимания ко всему, к каждой, даже самой незаметной, скромной личности, несущей в себе искру альтруизма, благородного желания быть полезным другим. Персонажи «со странностями» — дети, старики, калеки, нищие — частые гости его произведений. Шикула не приписывает им несуществующих добродетелей. Люди важны и интересны писателю в своем главном качестве — концентрированном бескорыстии, в неутраченной способности отзываться на добро, на ласковое душевное слово. Детская наивность, житейская беззащитность, непрактичность многих его героев — своего рода лакмусовая бумажка, определитель нравственного потенциала, душевной широты человеческого общежития.

Поэтизация простых житейских ценностей, восходящих к народной нравственности, как мы видим, стала и для словацкой прозы 70-х годов одним из важнейших источников новой ориентации, нередко приобретая острый социальный подтекст, полемическую направленность против современных проявлений потребительской морали, когда, по меткому выражению В. Шабика, государство становится для некоторых лишь «адресатом желаний». Сам В. Шикула в 70-е годы не издал пока новой, целостной книги, выступая в журналах лишь с отдельными рассказами. Его линию успешно продолжают такие талантливые новеллисты, как И. Габай («Люди с юга», 1971; «В тени шелковицы», 1973), Я. Беньо («Аллея любви», 1975) и другие, раздвинув и уточнив систему социальных координат и тем самым придав шикуловской теме еще более современное звучание.

Проблема прямого отражения современных процессов, происходящих в жизни общества и душах людей, тем не менее остается далеко не исчерпанной словацкой прозой. И дело не только в естественной неисчерпаемости полифонического содержания движущейся действительности. Нельзя забывать, что применительно к условиям Чехословакии успешное художественное освоение современной социально-общественной проблематики очень тесно связано с анализом предшествующего развития — трудных и эмоционально памятных, кризисных лет. Без точного «расчета» с ними литературе трудно обойтись, если иметь в виду задачу глубокого проникновения в жизнь, а не лихие конъюнктурные набеги на «производственную» сферу социализма. Надо сказать, что и в этом направлении уже сделаны реальные шаги, о чем, в частности, может дать представление вышедшая в 1973 году небольшая, но емкая по содержанию книга Йозефа Кота (род. в 1936).

Своей повести автор предпослал в качестве эпиграфа слова из «Дневника чумного года» Д. Дефо: «Не следует, конечно, удивляться этому: ведь непосредственная угроза смерти лишила нас всякой способности к самозабвенной любви, всякой заботы о других. Я говорю это в самом общем смысле, потому что было немало примеров беззаветной любви, сочувствия и сознания долга, о чем мне стало известно, то есть другие мне рассказывали; посему я не ручаюсь за подробности». Эпиграф метко характеризует направленность книги; даже название «Дневник чумного года» находится в родственной связи с названием повести Кота «Горячка». Да и сама повесть представляет собой нечто вроде «дневника чумного года» — 1968 года в Чехословакии,— и в этом дневнике запечатлен опыт человека, наблюдавшего поведение людей в атмосфере нагнетания истерии, растерянности, опасности, угрожавшей репутации, карьере, дружбе, любви... В то же время автор уже эпиграфом как бы предупреждает, что его наблюдения, верно отражающие суть «горя-

чечной» обстановки 1968 года, не исключают, однако, и иные примеры, иные подробности.

Действие повести происходит в типографии, где заместителем директора по производственной части работает молодой специалист Павел Самель, от лица которого ведется повествование. На исходе 1967 года в этой типографии возник, на первый взгляд, типично производственный конфликт, на базе которого происходит более глубокая этическая дифференциация, захватившая весь коллектив. После смерти старого директора типографии, Страки, при котором коллектив жил «как одна семья», по ее этажам начинает гулять прихотливый ветер «чехословацкой весны». Переворот, произведенный этим ветром, проявляется прежде всего в лексиконе персонажей, в характерных для этих месяцев словосочетаниях — «новая модель», «программа действий нашей типографии», «дело идет к самоуправлению». «Семья» оказывается расколота по крайней мере на два лагеря. В одном из них два заместителя Страки и кое-кто из канцелярских служащих, люди малопочтенные, до недавнего времени, однако, подлаживавшиеся под «вкус» прежнего директора, всю свою жизнь безраздельно отдавшего служению общественному долгу. Своим моральным авторитетом этот человек действовал не только на них, но и на вышестоящее начальство в лице карьериста Бухалы, на заместителей-приспособленцев, мещан и авантюристов по натуре — Кошляка и Рауха. Прочие представители этого лагеря очерчены автором одним-двумя штрихами, их пребывание в поле зрения рассказчика длится одно мгновение, но все вместе они составляют ту истеричную толпу, на фоне которой особенно выразительно развенчиваются мнимые «обновители».

Этим псевдогероям в повести противопоставлены рассказчик и рабочие типографии. К сожалению, Кот не всегда художественно аргументирует их истинно партийное поведение и мотивы, которыми они руководствуются в своем скептическом отношении к разглагольствованиям «возродителей». Типографский коллектив в конце повести проваливает предложенную Раухом «программу действий», но и об этом чрезвычайно важном в концептуальном смысле событии говорится чересчур бегло. В результате сам идейный конфликт повести, призванный отразить умственное брожение 1968 года, иногда предстает облегченно — как взаимное неприятие хороших и плохих людей.

Словацкая критика приняла повесть Й. Кота весьма позитивно, хотя писателю и были высказаны упреки в том, что он несколько упростил и «миниатюрил» главный идейный конфликт. Произведение Кота следует, однако, рассматривать и в контексте предшествующего десятилетнего творчества самого прозаика, последовательного в своей склонности к «сокращенной модели» действительности, к сатирически-гротесковой стилистике, к средствам абсурдно-фантастического перевоссоздания бичуемых им реальных явлений. Очевидно, что в образах Рауха, Кошляка, Бухалы и других автор гротескно заострил негативные тенденции в политической жизни 1968 года. Иное дело, что в силу законов художественной гармонии подчас оказались как бы уменьшенными до пропорций этих псевдофигур и образы тех, кого автор представил стоящими на правильных позициях, оказались несколько суженными кругозор и поле их деятельности.

Было бы несправедливо, однако, требовать от одной книги ответа на все идейно-художественные запросы. В своем сравнительно коротком произведении Кот верно воспроизвел нервическую, запуганную обстановку примерно трех — с марта по июнь — месяцев 1968 года, провел своего героя через трудные испытания на житейском, служебном и общественном фронтах, представил в лицах расстановку сил на политической арене в ту острую пору, когда в стране решалась судьба социалистических завоеваний. Книга Й. Кота, первый смелый зонд в эту далеко не отстоявшуюся проблематику, была оценена премией Союза словацких писателей. И она же подтвердила всю сложность идейно-художественных задач, ждущих своего решения в будущих произведениях словацких прозаиков...

■

Интенсивный процесс самосознания, происходящий в словацкой прозе, изживание инфантилизма и манерности, прямое обращение к социальным константам бытия, самоутверждение на почве реальных ценностей — все эти признаки позитивного творческого брожения со всей очевидностью свидетельствуют о выходе прозы из состояния застоя, о преодолении подавляющим большинством писателей остаточной инерции кризисных лет, о намечающихся контурах широких художественных обобщений. И это общее движение, ясно обозначившееся в последние годы,— с учетом накопленных позитивных художественных ценностей на протяжении всего тридцатилетия — дает достаточные основания для оптимизма. Художественное творчество не поддается, разумеется, программированию. Но критические прогнозы нередко себя оправдывают. Сегодня можно с уверенностью сказать, что главные координаты словацкой прозой выбраны верно, а значит, можно надеяться, что и подлинно новаторских, талантливых произведений в ней будет с каждым годом появляться все больше.

◆

Критика

К. ЯЦКОВСКАЯ

МОНГОЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЛОДОНГИЙН ТУДЭВ

Лет десять тому назад на страницах журнала «Иностранная литература» появилось имя Лодонгийна Тудэва В переводах Якова Белинского было опубликовано несколько его стихотворений. В той подборке звучали традиционные мотивы — и неожиданный в своей новизне голос сокровенной лирики:

Сердец разговор —
Что перед ним слова?
Его сокровенный смысл
Разве взглядами передашь?
Сердец разговор
Совсем не слышен другим.
Сердец разговор
Мы молча с тобой ведем.

С работы над подстрочным переводом этого лирического стихотворения «Сердец разговор» и началось мое проникновение в творчество Л. Тудэва. Автор сидел рядом — оставались какие-то минуты до начала Международного семинара по изучению и переводу литератур стран Азии и Африки, проводившегося в Москве.

Наше знакомство состоялось накануне, на Внуковском аэродроме. Тудэв возвращался с Украины, где принимал участие в торжествах по случаю 150-летия со дня рождения Т. Г. Шевченко...

Секретарь Союза монгольских писателей в ту пору — в 1964 году — в свои двадцать девять лет выглядел очень юным. Чрезвычайно деликатный, но не застенчивый, немногословный, но всегда готовый к искреннему общению, Тудэв был естествен в обращении с собеседником, держался с прирожденным достоинством и свободно ориентировался среди писательских звезд, съехавшихся со всех концов света. Как главный редактор литературной газеты «Утга зохиол урлаг» заботился о сюрпризах для читателей — очередное интервью брал у Рафаэля Альберти...

«Эта история началась вечером 8 дня в Новолуние года Свиньи XVI равджуна [1]. В тот вечер население земли выросло на одного человека. На одного стало больше в мужской половине человечества... Появилась необходимость еще в одном скакуне, еще в одном седле и уздечке...» Так начинает Л. Тудэв автобиографическую повесть о детстве. Он назвал ее «Историей знакомства с окружающим миром»[2].

Для Тудэва — сына простого арата Лодона — мир начал раздвигать свои границы с маленького стойбища в Гоби-Алтайском аймаке на западе Монголии. В самом названии аймака — Гоби-Алтайский — запечатлено столкновение двух стихий: пустынных просторов (монгольское «гоби» в переводе означает «полупустыня») и скалистых громад хребтов могучего Алтая. Гоби настойчива в своем стремлении внедриться в любое, не занятое горами, пространство. С легкостью проникает она туда, где хребты оставили тесные, узкие проходы. И совсем не случайно эти места, как в водной стихии, получили название «хоолой» — «проливы». Гобийские проливы... Пролив гоби Белого ковыля, пролив гоби Красная земля, «шаргын говийн хоолой» — пролив Палевой гоби. Необычное сочетание — Гоби и Алтая — приносит немало испытаний людям, живущим на этой земле. Но они родились и выросли здесь. Это их родина. И они любят ее так же, как и далекие предки, что оставили в наследство поэтические названия всем этим горным высям и гобийским просторам...

Повесть «История знакомства с окружающим миром» состоит из семнадцати глав, скорее лирических миниатюр. «Мое знакомство с камнем», «Мое знакомство со

[1] 1935 год по европейскому летосчислению.

[2] В русском переводе эта повесть, выпущенная в 1974 г. издательством «Детская литература», получила название «Открывая мир». *(Здесь и далее — прим. автора.)*

звуком», «...с рисунком», «...с ветром», «Мое знакомство с войной», «Мое знакомство с Лениным» — таковы названия нескольких глав. Рассказывая о том, как герой — сам автор — знакомился с миром вещей и явлений, Тудэв открывает и мир мышления маленького монгола, истоки и пути формирования духовной жизни современной Монголии, знакомит с самыми дорогими ему, самыми почитаемыми людьми. Они живут рядом — добрая мудрая мать, отец, слово которого свято, потому что он никогда не говорил неправды, учитель, олицетворяющий источник и силу знаний. За строками поэтичного повествования о детских годах видятся истоки раннего развития героя. В юрте, где рос мальчик, любили музыку — отец и мать играли на национальных инструментах,— ценили образное и меткое слово. В семье Тудэва любили детей и заботились об их нравственном воспитании, их не ограждали от столкновений с жизнью, их учили правде. И только однажды, когда Тудэв в шесть лет захотел сесть за парту, его «отругали» за то, что в школу он записался как семилетний... Именно в этой трудовой, с высокой внутренней культурой семье, думается, были воспитаны цельность, искренность, высокая гражданственность и много других добрых черт, отличающих характер писателя.

Впервые произведения Тудэва были опубликованы в сборнике «Монгольские дети за мир» (1951), правда, имени Тудэва там нет. Но есть стихотворение «учащегося педагогического училища Пурэва». Это был псевдоним пятнадцатилетнего поэта. Можно предположить, что, еще не вполне веря в себя, в пробуждение таланта, он не спешил подписаться своим именем, доверив словам первое памятное движение взволнованной души...

С особой радостью «открыла» я эти первые стихотворения Тудэва, включенные им в поэтический авторский сборник «Вершина» (1972). Не только потому, что снабженные библиографическими указателями — «биографией», как написал автор,— стихотворения позволяют точно определить начало литературной деятельности ныне широко известного писателя. Стихотворения «учащегося Пурэва» «Весна» (1950), «Алтай» (1951) «Магтаал (хвала) прогрессу» (1951) — это выражение восторга перед весной, обновляющей природу, перед картинами новой жизни — позволили мне мысленно закончить возникший однажды разговор с Тудэвом.

...В самом начале июня мы приехали в Ясную Поляну. Из палисадников вдоль всей дороги, как из огромных корзин, свешивались ветки с гроздьями белой и лиловой сирени.

— Ах, какая красота! — так и вырывалось само собой. И Ясная Поляна вся была в цвету. И снова невозможно было удержаться от восторгов. Тудэв шел рядом и молчал. Неужели вся эта свежесть, красота, благоухание раннего лета может кого-нибудь оставить спокойным?

Неожиданно заговорил Тудэв, будто прочитал мои мысли.

— У монголов есть такие слова: «Пусть в груди полыхает пожар, а дым не выходит даже через ноздри»,— сказал он тихо, мягко улыбнувшись при этом. Это не был упрек за открытую восторженность. Просто для него предпочтительнее была сдержанность в проявлении чувств. Как черта национального характера эта сдержанность и воплотилась в народном речении.

И все-таки сдерживаемые внутри огонь и дым прорываются наружу. У озаренного талантом человека они рождают поэтические образы. Об этом свидетельствуют первые стихи Тудэва. Стихи, сложенные о той же самой жизни, что окружает поэта с того самого момента, когда он пришел в этот мир. В них — те же самые картины, что открываются глазу ежечасно, ежедневно. Стоит лишь переступить порог юрты — и ты среди приволья и величия природы, от них дом отделяют лишь тонкие решетчатые стенки да накинутый на них в несколько слоев войлок. Дом этот легко разбирается и перевозится на новое место, оставляя после себя лишь круглый след, как печать на земле. Выйдешь из юрты — а вокруг все твое: и берег неумолчной горной реки, с россыпями самых фантастических игрушек-камней, и гора-исполин, и вытянувшаяся вдоль ее подножия нарядная долина... Все это предстает взору монгола испокон веков. Наверное, от естественности, гармонии жизни среди самых громадных гор или самых неоглядных степных далей — осознание себя частью окружающей природы, отсутствие страха и суетливости; от родства с нею — прирожденное достоинство, спокойное признание ее приоритета. Она, природа,— защитница и покровительница, она — кормилица и вдохновенный творец прекрасного, она — целый мир, который невозможно постичь до конца за всю жизнь и который остается в наследие потомкам. Она — первый наставник. Она — первый источник озарения.

И тогда в строки стихов переплавляется восторг перед волшебной силой весны. Тогда плывущие в небе весной ватно-белые облака становятся знаком прощания долин со снегом (стихотворение «Весна»).

В стихах Тудэва — беспредельная любовь к степи, на которую не можешь насмотреться («Ненаглядная степь моя»). Сколько стихотворений написано о монгольской степи! Для поэта она — живое существо. Степь дышит, и оттого волнуется в прибое серебристый ковыль. Степь уходит навстречу вечному небу. Она чувствует, как в грудь ей стучит дождь и град. Она щедро расстилает свои просторы, приглашая к бегу резвых антилоп и быстроногих скакунов...

Почему я так задержалась на первых стихотворениях Л. Тудэва? Для того чтобы в который-то раз сказать, что нет в Монголии такого писателя, который не начинал бы свой творческий путь с поэзии? Да, пожалуй, так начинают все. Редко кто остав-

---

К. ЯЦКОВСКАЯ
МОНГОЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛОДОНГИИН ТУДЭВ

ляет ее, даже если становится признанным прозаиком. И первые стихотворения Тудэва, и более поздние, написанные во время разных поездок по странам мира, и маленькая поэма «Человек родился!» —все они полны дум и чувств поэта, ответственного за судьбы мира, в них радость души, неиссякаемая любовь к людям. В них — отсвет того пожара, что полыхает в груди.

Уже в ранних стихах Тудэва невольно обращаешь внимание на их, можно сказать, классически строгую структуру, умелое владение приемами параллелизма. Откуда у совсем юного поэта появилась такая отточенность формы? В этом сказалась школа народного стиха (он в основе классической формы монгольской поэзии), усвоенного с малых лет, так как в монгольском народе издавна бытуют традиции особого «устного литературного языка».

Утвердиться в правильности такого заключения помогает сам Тудэв, когда он, уже как исследователь национальной литературы, пишет о роли фольклора в жизни монгольских детей: «Дети, едва раскрыв глаза, соприкасаются с устным народным творчеством. Первая встреча детей и детской литературы происходит через колыбельную песню, вобравшую в себя и сохранившую чистый голос тысяч и тысяч матерей, их нежную душу, их святое сердце... С колыбельной песни начинается для детей встреча с фольклором. Потом он раздвигает свои границы — дети узнают сказки, загадки, поговорки, былины; фольклор звучит как могучий оркестр, вещающий детской душе о мире. Этот оркестр не только представляет детям мир, он формирует их мышление, наделяет их знаком, по которому распознают представителя народа». Воспитание фольклором продолжается, когда дети участвуют в популярном состязании — образной словесной «перепалке», известной под названием «дайралцаан». Этот своеобразный турнир вопросов и ответов проводится непременно в стихотворной форме. Многие жанры монгольского фольклора помогают овладеть образным поэтическим языком, традиции которого живут в народе с давних времен.

Став учителем словесности, Тудэв — сам и вместе со школьниками — собирал местный фольклор. Его коллекции и сейчас хранятся в музее в центре аймака, а ребята продолжают добрую традицию. Теперь уже под руководством учеников Тудэва они собирают сказки, мудрые народные присловья, скороговорки и записывают их в тетради...

Л. Тудэв пришел в литературу в начале 50-х годов — в период чрезвычайного оживления литературной жизни в Монголии. В это время начал регулярно выходить общественно-политический и литературный журнал «Цог», стала издаваться литературная газета «Утга зохиол урлаг», на их страницах дебютировали молодые и выступали старейшие писатели. Работали литературные кружки при университете и педагогическом институте, в аймачных центрах. В Улан-Баторе, при Союзе монгольских писателей, открылся творческий семинар, собиравший на свои занятия талантливую молодежь. Он был посвящен проблемам мастерства писателя, тенденциям современной художественной литературы. Работой семинара руководил вернувшийся тогда из Москвы первый монгол — выпускник Литературного института имени А. М. Горького Дашцэвгийн Сэнгээ (1916—1959), во второй половине пятидесятых годов возглавлявший Союз монгольских писателей. «Он приехал из Москвы устремленный к новому, полный знаний, жажды открытий,— вспоминает монгольский писатель М. Цэдэндорж,— и стал руководить группой только еще вступивших в литературу молодых писателей; раз в неделю, по средам, мы собирались на занятия, обсуждали только что написанные произведения. Слушали советы Сэнгээ. Часто в качестве образцов высокого творчества он приводил произведения советских писателей. Звучали имена Самеда Вургуна, Расула Гамзатова». В ту пору слава Р. Гамзатова еще не вышла за круг земляков, друзей, первых читателей. Поэт Сэнгээ одним из первых стал переводить его стихотворения на монгольский язык, на примере его творчества учил молодое поколение монгольских писателей. Такие уроки художественного мастерства находили добрый отклик у слушателей. Одним из них был Тудэв. «Стихи Расула Гамзатова, поэта, родившегося в высоких горах Дагестана, были очень созвучны мне, родившемуся в высоких горах Алтая,— свидетельствует М. Цэдэндорж, земляк Тудэва.— Мне показалось, что он опередил меня и в своих стихах выразил то, что хотел сказать я».

В истории монгольской литературы 50-е годы останутся и как время появления ряда талантливых современных поэтов и прозаиков. Достаточно посмотреть хотя бы на имена участников того самого семинара, которым руководил Д. Сэнгээ. Ныне все они известные писатели. Среди них лауреаты Государственной премии С. Дашдооров, С. Эрдэнэ, Б. Явуухулан, лауреат премии имени Д. Нацагдоржа Д. Мягмар, снискавшие славу талантливых поэтов Д. Пурэвдорж, М. Цэдэндорж, М. Ширчинсурэн и другие.

Немало важных событий пришлось на 50-е годы и в творческой судьбе Л. Тудэва. В его первых литературных опытах поэзия быстро уступила место прозе, но свет поэзии озаряет все, что выходит из-под пера этого монгольского писателя — вплоть до научных трудов, публицистических выступлений. А первыми прозаическими произведениями Тудэва стали рассказы для детей.

Рассказ «В клубах дыма» и еще один ранний рассказ — «Лыжники» — были опубликованы в журнале «Цог» в 1954 году. Сюжеты их взяты из жизни монгольских ребят — учащихся педагогического училища, из будней юных сельских жителей. Герои Тудэва — мальчишки, друзья детства, сокурсники по училищу. Их горячие сердца жаждут подвигов. Сделать что-нибудь хорошее, прийти на помощь в беде — в этом стремлении проявляются главные черты характеров мальчишек, которые не всегда можно разглядеть за обычными детскими забавами, озорством. Таков, например, герой

рассказа «В клубах дыма»[1] — Бор. Он едва уговорил педагогов взять его вместе со старшими учащимися тушить пожар в лесу. С отметинами пожара на теле, лице, одежде, но довольные возвращаются мальчишки домой. Рассказ, однако, на этом не заканчивается. Автор вводит еще одну, на первый взгляд, не связанную с сюжетом поэтическую сцену: в разоренном огнем лесу, на уцелевшей макушке дерева сидит оставшийся без крова бурундук. Гордый от того, что не подвластен огню, он с изумлением смотрит на проходящих людей...

«Ой, глядите! Бурундук! Плохая примета: если встретишь бурундука, обязательно что-нибудь потеряешь. Надо его поймать!»— беспокоится один из мальчиков. Но вдруг бурундук сам спускается к ребятам.

В этой книге своеобразно проявляется синкретизм монгольской художественной литературы: проза перемежается стихами, стихи выражают в лаконичной форме двустрочий или четырехстрочий основную мысль предыдущего повествования в прозе.

Л. Тудэв посвятил свои первые прозаические произведения детям, понимая, как нужна ребятам книга о жизни их сверстников, о том, чем занята их страна сегодня, сейчас. Книг в ту пору было до скудости мало. Каждое новое произведение монгольского автора становилось надолго запоминающимся событием. В этой связи примечательна история появления книги Ч. Лодойдамбы «На Алтае» в школе, где учился Л. Тудэв. Этот первый современный монгольский роман с вставными приключенческими новеллами привез из столицы учитель и дал почитать книгу ребятам. Однако никому не удавалось дочитать ее, потому что ночью книга исчезала и оказывалась в руках следующего нетерпеливого читателя. Прочесть ее до конца удалось только Тудэву благодаря тому, что его деревянный сундучок запирался...

Чувством острой необходимости развития детской литературы было продиктовано выступление Л. Тудэва — делегата от литературного кружка Гоби-Алтайского аймака — на Втором съезде монгольских писателей в 1957 году. К творчеству Тудэва, пишущего и для детей, в полной мере относятся положения о развитии детской литературы в МНР, сформулированные им в 70-е годы: «Детская литература 50-х годов по сравнению с литературой 40-х годов постепенно расстается со своей особой приверженностью к фольклору и вступает на путь освоения форм письменной литературы. В прозаических произведениях, вышедших в 50-е годы, нашла отражение реальная жизнь, мир детей, их главными героями стали обыкновенные ребята, которые каждодневно встречаются в школьном классе, на улице, живут рядом, трудятся на пастбище».

Размышляя над судьбами современной монгольской литературы, не перестаешь изумляться стремительности — воистину в лад с темпами XX века — происходящих в ней процессов: будь то развитие оригинальной словесности в ее сочетании традиционных жанров с самыми современными, будь то дело художественного перевода, будь то расширяющиеся связи с литературами мира. Совершенно естественно, что эти процессы — результат энергичной деятельности и вдохновенного творчества нескольких поколений монгольских литераторов. В более чем полувековом развитии современной литературы Монголии — после свершения Народной революции 1921 года — они передают друг другу своеобразную эстафету. В числе тех, кто принял эту эстафету на этапе 50-х годов и понес ее вперед, был Тудэв.

В этот период шло становление Тудэва — писателя, гражданина, патриота, формирование его мировоззренческих и эстетических позиций. Он много работает. За рассказами следуют повести. В 1959—1960 годах создается первая часть романа-дилогии «Горный поток»[1], где молодой тогда прозаик осмысляет судьбы родной страны, вступившей на путь революционных преобразований. В произведениях художественной литературы—как их автор, в литературоведческих книгах — как исследователь Тудэв рассматривает важнейшее явление современности — небывалый для Монголии скачок, совершенный ее народом. С пафосом и поэтично пишет об этом Тудэв в «книжке, вышедшей самым маленьким тиражом»,— автореферате кандидатской диссертации: «Почти полвека назад в самом сердце Азии вспыхнуло яркое пламя революционного костра, который уничтожил ветхую юрту старого мира у кочевых монголов. Народ, спавший, как думали, мертвым сном, проснулся от раскатов величайшей революционной бури на нашей планете, бури, нареченной Октябрьской социалистической революцией, и решился взять судьбу многострадальной родины в свои руки. Совершились события, которые почти невозможно было предсказать: неподвижная и пассивная Монголия — страна отсталых, темных, трижды забитых номадов, которым предрекали вымирание и исчезновение с лица земли, первой из многочисленных больших и малых государств своего континента встала на путь социалистического развития».

На страницах кандидатской диссертации Л. Тудэв исследует процесс развития современной монгольской литературы, ту роль, которую сыграла в этом процессе Монгольская народно-революционная партия. Не забывает он и об исторической правде, отмечая, что огромный скачок в социальном развитии монгольского народа, обусловив бурное развитие литературного процесса — от традиций фольклора и письменной литературы феодальной эпохи к социалистическому реализму,— сопровождался и рядом трудностей роста новой национальной литературы.

[1] Опубликован на русском языке в 1967 году в издательстве «Художественная литература».

[1] В русском переводе под названием «Лесной пожар» он вышел в издательстве «Детская литература» в 1965 г.

К. ЯЦКОВСКАЯ
МОНГОЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛОДОНГИЙН ТУДЭВ

Углубившись в историю монгольской литературы, Тудэв не оставляет работу над художественной прозой, пишет стихи. В 1967 году он закончил документальную повесть о Сухэ-Баторе «За Полярной звездой»[1].

Если следовать хронологическим вехам творческого пути Л. Тудэва, о 60-х годах можно сказать, что они открывают и утверждают новое качество его таланта: двуединство художника и исследователя литературы. Раздумья над путями развития монгольской литературы, кропотливое изучение архивных материалов, периодики 20—30-х годов приводят к появлению еще одной книги Л. Тудэва — «А. М. Горький и монгольская литература» (1968). Так Тудэв-литературовед откликнулся на столетие со дня рождения великого пролетарского писателя.

В историю современной монгольской литературы одной из ярчайших страниц вошло письмо А. М. Горького, направленное в 1925 году тогдашнему министру просвещения Эрдэни-Батухану в ответ на его просьбу посоветовать, какого принципа держаться, переводя русскую художественную литературу (это письмо А. М. Горького ныне известно как письмо монгольским писателям). Изучив переписку и материалы, хранящиеся в Москве в архиве А. М. Горького, Тудэв восполнил историю связей монгольских и советских литераторов, в деталях рассказал о личных встречах монгольских писателей с А. М. Горьким. Книга содержит не только новый фактический материал и первую библиографию произведений Горького и о Горьком на монгольском языке, но и важные мысли о сформулированном им «принципе активности», который лег в основу создания современной монгольской литературы — литературы социалистического реализма.

С тех пор как А. М. Горький написал письмо в Монголию, прошло пятьдесят лет. Полувековой юбилей этого события был отмечен научной конференцией, состоявшейся весной 1975 года в Улан-Баторе.

Полувековой юбилей письма? Почему он празднуется? Потому что это письмо — явление исторически ценного ряда. Вникнув в самую суть жизни и психологии монгольского народа, А. М. Горький сумел увидеть то главное, что должна была принести народу литература о новой, революционной Монголии. Он писал: «Вы спрашиваете, какого принципа держаться, переводя русскую художественную литературу на монгольский язык? Едва ли я смогу ответить на этот вопрос с точностью, которая сможет удовлетворить Вас. Но насколько я могу судить о душе монгола по книгам, прочитанным мною о Монголии, я думаю, что наиболее полезна была бы Вашему народу проповедь принципа активности. Именно активному отношению к жизни Европа обязана всем тем, что в ней прекрасно и достойно уважения всеми расами». Может быть, так счастливо сложилось, что Эрдэни-Батухан написал А. М. Горькому как раз в то время, когда великого писателя занимали проблемы духовной культуры восточных народов. Сформулированный им принцип развития монгольской литературы не только сохраняет актуальность, но, как отмечают монгольские литераторы, со временем все больше обнаруживает свою глубину и непреходящую ценность.

С неубывающей радостью познания нового ведет свой художественный поиск Л. Тудэв. Новаторство сопутствует его литературной судьбе. Сопутствует и тогда, когда он пишет на ставшие, казалось бы, традиционными темы. Наверное, в творчестве каждого современного монгольского писателя есть заветная тема — дружба свободных народов, дружба русских и монголов. Писатель, вносящий немалый вклад в ее укрепление, неутомимо ищет и в прошлом свидетельства этой дружбы, в основе которой лежат искренность и подлинная глубина человеческих чувств. Тудэву приносит радость открытие существующих с давних времен у жителей пограничных районов, монголов и русских, символических знаков дружбы, своего рода проксений — половинок распиленной дощечки, которые гость и хозяин оставляли у себя, чтобы при встрече доказать право на дружеский прием. Писатель Тудэв умеет распознать следы дружбы, оставленные историей на монгольской земле, в человеческих судьбах. Для Тудэва важно воздать должное оказавшимся случайно в тени достойным людям и безвестным друзьям.

Много лет жизни отдал Монголии А. В. Бурдуков. Этот удивительный человек прошел путь от работника торговой фирмы в дореволюционной Монголии до ученого-монголоведа. К 50-летию Великой Октябрьской революции, широко праздновавшемуся монгольским народом, Тудэв написал очерк «Славные дела двух поколений Бурдуковых»[1]. За очерком последовала документальная повесть о жизни А. В. Бурдукова «Красная волна» (1969).

В числе произведений Л. Тудэва о монгольско-советской дружбе есть небольшой рассказ «Белый с красным флагом» (1968). Он был написан к конкурсу в честь 50-летия Советской Армии и удостоен первой премии. Рассказ об одном из безымянных героев революции, рассказ о верном и добром сердце обыкновенного монгола, о его неожиданном прозрении и решении помочь тем, кто борется за народное дело.

Действие рассказа происходит во время Народной революции в 1921 году, в трудные осадные дни, которые переживали монгольские и советские воины у озера Толбо. Революционный отряд, засевший в монастыре, сжимали три кольца. Сначала белогвардейцы. Потом — зимняя стужа. И наконец — третьим — стал голод. Белогвардейский генерал Бакич вел наблюдение за осажденными и, увидев, что в монастыре уже почти не осталось собак, решил, что пришло время

[1] Прямо с рукописи повесть была переведена на русский язык и вышла в Москве в 1968 году в серии книг «Пламенные революционеры».

[1] Дочь А. В. Бурдукова, Т. А. Бурдукова, пошла по стопам отца, стала филологом-монголоведом.

направить парламентеров с ультиматумом о сдаче. Генерал не хотел посылать к осажденным русского: красные могут договориться с белым... Он приказал привести к нему трех мобилизованных в белогвардейский отряд монголов, из тех, что присматривали за скотом. Ему нужен был парламентер, который ничего не мог бы сообщить противнику. Выбор пал на кривоногого, похожего на медведя, молчаливого старика. Он показался генералу самым неотесанным. Старику дали бумагу для передачи красным и белый флаг — замызганную тряпицу из чесучи,— который защитит его от пули.

— Джа [1],— только и произнес старик в ответ на наставления.

Целый и невредимый въехал он на своем коне в стан к осажденным. Передал ультиматум. Его обогрели у очага. С ним сердечно беседовали командиры. Как истый монгол, он оценил доброе отношение и бесхитростно рассказал все, что знал, в ответ на традиционный вопрос о новостях в дальней и ближней округе. Старик и не подозревал, какими ободряющими были его вести.

Бедный и одинокий монгол, от природы наблюдательный и сообразительный, с поразившей его очевидностью понял, что, придя к красным, оказался у «своих». Теперь он готов помочь тем, кто борется за правое дело, и соглашается отнести в отряд белогвардейцев листовки с призывом к солдатам — брататься. Он просит принять от него коня: «Конь молодой, вам он нужнее». Что значит для монгола отдать единственного коня, можно понять, прочитав в воспоминаниях Тудэва: «У меня нет таких красивых слов, чтобы передать радость, которую я испытал, получив коня. У каждого из сверстников, с кем мы играли, было заветное желание—получить коня. В первые пять слов, которые я научился говорить, вошло слово «конь».

Старик покинул монастырь, унося в складках пояса листовки. Он уходил новым человеком, этот безымянный герой — «белый с красным флагом», как назвал его Тудэв, написав психологически достоверный, маленький и в то же время емкий рассказ.

Живые, зримые образы героев писателя надолго остаются в памяти. Это и потому, что в его таланте заложена внутренняя связь с современностью, и еще потому, что его герои — невыдуманные. Таков, например, герой романа «Кочевки. Оседлость» (1974), удостоенного Государственной премии,— Доохуу. Сколько веков кочевали монголы по своей необъятной земле. Скрип повозок. Пламя очагов. Привычная жизнь с переездами. Казалось, только так и может жить монгол. Вид на монгольское стойбище всегда хорошо открывается с перевала, где путник непременно остановится, бросит взгляд на дорогу, что осталась позади, поклонится «обо» — ритуальному холмику, насыпанному из камней,— дань тому, кто помог или не помешал оказаться на вершине трудного участка пути. Этот ощутимый рубеж между пройденным и предстоящим — он непременно чувствуется при традиционном неторопливом отдохновении на перевале — вызывает философское, созерцательное настроение. У каждого путника своя череда перевалов...

С такой остановки на перевале начинается роман Тудэва «Кочевки. Оседлость». От одной юрты к другой переводит путник свой бинокль, и автор, как бы приблизив их к нам, начинает раскрывать мир своих героев. Однажды в эпически плавную, веками устоявшуюся традиционную жизнь номадов врывается веяние нового. Изменился мир. Беспокойным людям хочется изменить и старую жизнь на монгольской земле. Один из таких беспокойных людей — главный герой романа.

Мы привыкли уже к словам о том, что жизнь на земле преображается скорее и легче, чем психология человека. Об этом и роман Л. Тудэва. В его названии заложен и философский смысл. Монгольское слово «суудал», переводимое как «оседлость», означает еще и «зрелость». К новой жизни, к зрелости решений ведет за собой людей герой романа. О том, как нелегко заставить иных поверить в будущее, которое нужно создать собственными руками, загореться новой мечтой, написал Тудэв в своей книге. И каждое слово в ней — правда. Потому что живет на монгольской земле человек, давший жизнь герою книги. Это — Герой труда Лодойхуу. Я была в объединении, которому дали название «За коммунизм!». Там, где Гоби сливается с Алтаем, на целине создали его кочевники во главе с Лодойхуу. Теперь он оставил свое детище молодому преемнику, а сам уехал туда, где не ладилось дело .. И уже не о литературном герое Доохуу, а о подлинном Лодойхуу снова писал Тудэв, назвав свой очерк «Второй старт героя».

После романа у Л. Тудэва вышли литературоведческая работа «Национальное и интернациональное в монгольской литературе» (1973), книга стихов, повести, рассказы. В творческих замыслах — новый роман. Новый труд о монгольской литературе.

В 1975 году монгольский коммунист, писатель Лодонгийн Тудэв мог бы отметить две юбилейные даты — собственное сорокалетие и четверть века в литературе. Человек чрезвычайно скромный, он не праздновал ни одной. Но жизни угодно было подчеркнуть молодость председателя Союза монгольских писателей и по-своему обозначить рубеж: летом 1975 года Лодонгийн Тудэв был избран Первым секретарем ЦК ревсомола. Страна призвала писателя-гражданина возглавить ряды тех, кто олицетворяет будущее Монголии

У Лодонгийна Тудэва и раньше было много общественных и государственных обязанностей. В этом — одна из граней его таланта, который щедро служит людям.

[1] Джа — да; да будет так! *(монгольск.)*

Н. ПАВЛОВА

ЗАБОТА И НАДЕЖДА — ЧЕЛОВЕК

Редакция получила читательские отзывы на опубликованный в 4—6 номерах журнала за 1975 год роман Макса Фриша «Назову себя Гантенбайн». В письмах высказаны различные суждения по поводу романа и всего творчества известного швейцарского писателя.

«Возьмем роман Фриша: для чего было его печатать? Что он дает нам для понимания Запада?» — пишет читатель А. И. Вершинин из Одессы.

Одни читатели (Н. Н. Кожевин, Ленинград) высоко оценили избранную Фришем «манеру изображения современника», отнеся роман к выдающимся произведениям современной литературы. Высоко оценен и перевод, выполненный С. К. Аптом. («Все создает ощущение как бы чтения романа в подлиннике»,— отмечает Н. Н. Кожевин).

Другие читатели полагают, что роман Фриша «не имеет общественной ценности... на фоне идеологической битвы двух миров», считают его «надуманным по содержанию и построению» (П. И. Тумаркин, Москва).

Отвечая на соображения и вопросы, высказанные в читательских письмах, мы публикуем статью специалиста по современной литературе Швейцарии, кандидата филологических наук Н. С. Павловой.

Автор романа «Назову себя Гантенбайн», швейцарский драматург и прозаик Макс Фриш, несомненно, принадлежит к писателям, чья творческая мысль с особой напряженностью сосредоточена на некоторых специфических особенностях действительности XX века. Именно Фриш настойчивее многих своих коллег анализирует процесс отчуждения человека в современном капиталистическом обществе. Из произведения в произведение он буквально не может оторваться от явления, сыгравшего немалую роль в истории XX века,— зависимости человеческого сознания от давления на него обстоятельств, противоестественной (и все-таки распространенной!) способности личности распадаться в этих условиях на лики и роли, утраты человеком сердцевины, стержня, самого себя, превращения его в белый лист, на котором могут быть написаны любые письмена. Многое в творчестве Макса Фриша, в том числе и в романе «Назову себя Гантенбайн», может показаться необычным читателю. И все-таки стоит преодолеть барьер непривычности, чтобы войти в круг образов и идей этого произведения, весьма заметного на общем фоне современной зарубежной литературы. Ведь сложность содержания и формы у Фриша не искусственна: она во многом определена сложностью предмета, который его занимает.

Сходные проблемы волновали не только Фриша. Замеченное им в жизни он мог найти в разном отражении и интерпретации у своих предшественников — например, у итальянского драматурга Луиджи Пиранделло или у американца Торнтона Уайльдера. Неустойчивость сознания человека была отчетливо понята еще Брехтом как факт, имеющий не только частное, но и общее, общественное значение. Безобидный и робкий бедняк Гели Гэй, с неопределившимся отношением к попросту неизвестным ему событиям в большом мире, во мгновение ока превращался в пьесе Брехта «Что тот солдат, что этот» в безжалостного завоевателя, рядового колониальных войск. Со сцены была показана перемонтировка сознания. Великий Брехт был не слишком доверчив к не прошедшей суровые испытания безобидности человека

В предвидении политической катастрофы, надвигавшейся на Германию, драматург предлагал увидеть в обывателе варианты его реакций и поступков — заметить сложность в очевидной цельности. Частное сознание, сознание сотен тысяч отдельных людей, могло сыграть весьма заметную роль в непредвиденном столкновении с историей.

Опыту Брехта наиболее близка одна из самых острых политических комедий Фриша — сатира «Бидерман и поджигатели» (1958). Обыватель, владелец небольшого парфюмерного заведения, соглашался, надеясь таким способом уцелеть, сначала пустить в свой дом преступников, собирающихся поджечь город, потом уговорить себя, что это — мирные люди, хотя к нему на чердак уже перетащены канистры с бензином, потом дать им в руки спички. Убеждения главного героя меняются на наших глазах. В пьесе действует хор пожарников, призывающий Бидермана к бдительности и исполнению гражданского долга. Но куда там! Обывателя не удержать, когда на карту поставлена его безопасность и когда она может быть куплена ценой, о которой он даже и не задумывается, ценой чужих жизней. Сценическая притча о Бидермане — пьеса о взаимоотношениях множества ему подобных с историей. Именно в ее тексте будто ненароком обронена фраза, которая может служить концентрированным выражением собственного подхода Фриша к давно замеченным явлениям, а вместе с тем и выражением его представления о состоянии окружающего его мира: «Ведь все происходит не так, как ожидаешь, господа, а постепенно и в то же время внезапно».

Во многих своих произведениях, в том числе и в романе «Назову себя Гантенбайн», Фриш чаще всего не показывает конечных политических следствий безличностного, нетворческого, а значит, и безответственного существования. Он занят самой «механикой» постепенного распадения человека на маски и роли, утраты характера, то есть такой устойчивой структуры личностных убеждений и побуждений, которая оказалась бы в состоянии проявить себя независимо от давления обстоятельств. Он часто пишет о ситуациях, как будто бы ничего опасного не предвещающих, о положениях банальных, распространенных и все же чреватых опасными сдвигами в общей и частной жизни.

Постепенно и в то же время внезапно для человека происходят превращения его души. Никогда еще — точно заметил Фриш — этот процесс не был для множества людей таким незаметным и неотвратимым. Современники писателя в его родной Швейцарии (да и только ли Швейцарии?) в самом деле не замечают исчезновения из человеческого существования его собственного смысла и цели, превращения своей жизни в исполнение стереотипной роли. Постепенно, без четкого внешнего выявления, накапливаются «внутренние мощности», готовые внезапно сотрясти общество. Не случайно Фриша в такой степени занимает проблема фашизма. Ведь фашизм может существовать, до поры до времени и не вылившись в массовые движения. Это фашизм, так сказать, индивидуализированный, фашизм, растворенный в среде индивидуумов.

Рассуждая о судьбе своей родины, Фриш писал о реально проявившейся в годы второй мировой войны готовности соотечественников воспринять фашистскую идеологию (публицистическая книга «Общественность как партнер», 1967) и о столь же явном нежелании сознаться в этом впоследствии. «Люди,— писал Макс Фриш в дневнике,— постоянно хотят найти локально точную причину каждого происшествия. Они стремятся все поставить в ряд и радуются достигнутой ясности». «Не потому ли,— спрашивает он в другом месте,— мы так любим рассуждать о фашизме в Германии и его причинах; немецкие «причины» не соответствуют нашим, и это успокаивает». Этот автор не любит «отпускать» читателя от поставленных в книге проблем и тогда, когда тот не видит своего сходства с изображенными типами и обстоятельствами. В своей прозе Фриш начинает с того, что касается всех. Вот, например, тривиальное наблюдение, записанное им за пятнадцать лет до выхода в свет романа «Назову себя Гантенбайн». В «Дневниках с Марион» (части большой книги «Дневники 1946—1949») Фриш говорит об «открытии», поразившем наивного деревенского парня: человек, когда он сидит за столом с несколькими людьми, начинает вдруг думать и говорить не так, как если бы он рассуждал наедине с собой. Он будто бы на время удаляется от себя, предстает окружающим лучше (а может быть, хуже!), чем он есть, делится на две половины, нехотя прощаясь с одной, поневоле приноравливаясь к другой. В таком раздвоении пока еще нет обмана. Произошло необходимое приспособление к предложенным обстоятельствам. Но как далеко заходит при этом отступление от собственной сути? По убеждению Фриша, возможности человека, не говорившего за столом, разнообразней, хотя и бесформенней тех, что он продемонстрировал, заговорив. Человек, полагает писатель, обычно больше своей судьбы (во всяком случае, не точно соответствует ей).

В 1954 году темой романа «Штиллер», принесшего Фришу первый серьезный успех, стало это несоответствие судьбы и сути героя. В условном сюжете, можно сказать — напряженно условном, ибо он совмещал обычную бытовую историю (отказ от старой профессии, развод) с необычно острой «концептуальной» реакцией на нее (я не я, я не Анатоль Штиллер — утверждал герой на протяжении длящегося почти весь роман судебного процесса), уже была уготовлена условность романа «Назову себя Гантенбайн». Сложность восприятия в обоих случаях состояла в том, что автор

Н. ПАВЛОВА
ЗАБОТА И НАДЕЖДА — ЧЕЛОВЕК

оставался дотошно верен бытовой действительности, затягивал в ее путы читателя и в то же время интересовался не только и даже не столько ею, сколько скрытыми пружинами поведения человека,— форма была продиктована замыслом автора. В обычной, повседневной жизни Фриш предлагал заметить не просто людей, но людей усеченных, людей, не равных себе. Сложившиеся условия, обязательства перед другими, твой застывший, «прочный» для окружающих облик и шире — давление общепринятых взглядов, правовых установлений, официальной идеологии, империалистического государства накрепко привязывают индивида к данной ему судьбе. Человека приводят к стандартной роли, как дроби приводят к общему знаменателю. Он будто начисто лишен того, что только и делает его личностью,— свободы выбора.

Применительно к творчеству Макса Фриша не раз писали об отраженной в его произведениях утрате человеком идентичности в капиталистическом мире, о его несовпадении со своими внутренними возможностями. Этой теме соответствовали безысходные тупики, в которых нередко оказывались фришевские герои.

Однако гуманизм Фриша при несомненном трагизме мировосприятия включает и противоположный подход к человеку: в конечном итоге, писатель верит в неуничтожимость личности. Сама найденная им форма, необычное построение многих его произведений, показывающих героя будто выскочившим из самого себя, живущим по очереди в разных обличьях, материализует предположение о таящихся в человеке возможностях.

Нельзя понять полного содержания произведений Фриша, не представив себе сложного переплетения в них этих двух как будто бы взаимоисключающих мыслей.

Перед каждым действием в пьесе «Андорра» (1961) кто-нибудь из действующих лиц произносил речь в свое оправдание: нет, он не виноват в убийстве иностранки и казни еврейского мальчика Анди — событиях, еще не произошедших на сцене. Заранее оговоренный трагический исход нависал, как черная тень, над постепенным развитием действия. Но в тех же слабых самооправданиях чувствовалась и возможность иного исхода: втайне каждый сознавал, что мог бы поступить иначе, это не было исключено, события могли быть направлены и по другому руслу.

В своем творчестве (и яснее всего в романе «Назову себя Гантенбайн») Фриш исходит из попытки показать многовариантность действительности и человеческих судеб. То, что описано им в романе или показано на сцене, не должно, по мысли автора, восприниматься читателем и зрителем как единственно вероятное. В «Гантенбайне» Фриш ставит перед собой задачу, не решавшуюся им ранее с такой художественной смелостью: показывает одновременно множество вариантов сюжета.

Когда-то, в тех же «Дневниках 1946—1949», Фриш написал об интересной возможности применить в прозе драматургическую технику Брехта, разрушавшую для зрителя иллюзию абсолютной достоверности, а значит фатальности разворачивавшегося действия. Брехт добивался критического восприятия показанного со сцены, хотел привести зрительный зал к мысли о возможности иной, чем у его героев, позиции человека, иного поворота событий. Перед закрывшимся занавесом «Доброго человека из Сезуана» на просцениуме появлялся актер. Он произносил слова эпилога, полемичного к трагическому исходу пьесы: «Дурной конец — заранее отброшен. Он должен, должен, должен быть хорошим!» (Пьеса была, кстати сказать, впервые поставлена в Цюрихе в 1943 году.)

Многое отличает творчество М. Фриша от произведений его великого предшественника. Из романов Фриша не следуют выводы о возможности коренного социального переустройства мира, к которым исподволь подводит читателей и зрителей писатель-марксист Брехт. Фриш считает своей целью лишь «задавать вопросы». Его собственная позиция часто не отличается при этом брехтовской определенностью и твердостью. Но швейцарский писатель тоже пытается показать вероятность разного хода жизни, заставить задуматься в этой связи о назначении человека. Роман «Назову себя Гантенбайн» вносит некоторую дополнительную сложность в концепцию Фриша (в этом, пожалуй, его особый интерес для читателя).

«Назову себя Гантенбайн» (1964) может показаться, по первому впечатлению, одной из самых светлых книг Макса Фриша. Здесь нет того тяжелого сопротивления, которое оказывает реальность стремящемуся убежать от сложившейся жизни Анатолю Штиллеру. В этом романе как будто бы разрешается пробовать все. Нормы традиционного реализма нарушены. Герои вольны менять не только профессию или объекты своих привязанностей, но и, что уж совсем фантастично, происхождение, национальность. Роман основан на принципе «а что, если?..», на том самом веселом условии, которое, как в детской игре, дает простор воображению, высвобождает нашу фантазию и (заметим это лишь мимоходом) вводит нас заодно в самый процесс художественного творчества, в стихию вольного отбора и выдумки, стихию созидания. Герои в этом романе, наравне с автором, как будто в силах создавать самих себя. В щадящих условиях выдуманной реальности человек, казалось бы, наконец может осуществиться.

Однако очень скоро в силу вступает какое-то не сразу понятное препятствие. Роман заставляет задуматься над тем, почему при якобы полной свободе действий герои все-таки не могут стать чем-то устойчиво определенным, прекратить бесконечную смену ролей и масок, обрести единственно подлинное лицо.

В произведении действует, например, несомненно в чем-то симпатичная читателю актриса Лиля, женщина очаровательная и

талантливая. Но автор делает ее сначала обычной хозяйкой дома, потом научным работником и даже итальянской графиней. Он меняет ее занятия с той же легкостью, как цвет ее волос. Где же, когда, в какой момент Лиля больше всего — она сама?

Или другой пример. Развернув газету, некто увидел объявление о собственной смерти. Разом отпали все обязательства, оборвались все связи, улетучились преимущества положения, завоеванного им в жизни. Кто же теперь перед нами? Кто он сам по себе, этот человек, оставшийся без роли?

Перед каждым персонажем романа «Назову себя Гантенбайн», как перед царевичем в русских народных сказках, постоянно маячит перекресток дорог. Можно уехать, а можно остаться с женщиной после проведенной вместе ночи. Только один вариант станет реальностью, а другой придется прожить лишь в воображении. Изменится не только судьба человека. В какой-то мере изменится и он сам.

Несомненно, одна из самых остроумных находок Фриша — выдумка со слепотой Гантенбайна. Ведь, став слепым, человек вынужден не только изменить свой образ жизни, поведение, привычки,— став слепым, он «видит» мир таким, каким может или хочет его себе представить. Одним ударом создан не только изменившийся человек, но и иная для него реальность. Она, эта реальность, может быть резко отличной от той, какую конструируют для себя люди, не желающие входить с ней в конфликт: «Он встретится с господином, только что говорившим о свободе культуры, и спросит его, нет ли тут, в зале, другого господина, игравшего столь же заметную роль при Гитлере, и не будет видеть, что это одно и то же лицо».

Жесты и повадки слепого, очки, заменяющие в данном случае маску, должны помочь человеку выбиться из колеи предписанного существования, совершить поступок, продиктованный собственным поистине зрячим и творческим отношением к жизни; маска как будто может стать средством для проявления сути человека.

Но посмотрим на казус слепого с другой стороны. Быть может, иной подход осветит по-новому этот случай, а заодно и замысел романа. С точки зрения «неигровой» реальности в поведении героя сразу заметна фальшь: ведь если убеждения крепки, к чему притворство? И не надевая темных очков, этой легкой, но надежной брони, предохраняющей от ответных ударов, человек волен действовать согласно совести.

Труд творца остается на долю одного автора. На протяжении всего романа он настойчиво предлагает своим персонажам испробовать одну возможность за другой. Герой не участвует в процессе творчества — несмотря на разные маски и роли, он не пытается осознать себя как нечто определенное, состояться как личность.

В существовании персонажей романа нет ничего обязательного. Гантенбайн может стать, а может не стать «слепым» (он долго колеблется, выбирая). Он, кажется, любит (и это трогательно), но, может быть, и не очень любит. Гантенбайн обтекаем и неуловим. Он «растекается» между возможными вариантами своей жизни. Так же неуловим, как занимающий видное место в романе ученый-филолог Эндерлин.

Обретая полную свободу выбора в облегченных условиях романа, почти ни один из героев не находит пути, который был бы подсказан чувствами, убеждениями. Исключение составляет актриса Лиля, лицедействующая всерьез — по творческому призванию и на профессиональной сцене. Именно Лилю в книге труднее всего приспособить к предложенным ситуациям. Она слишком определенна и не может действовать в ином облике, например в облике венецианской графини. Характер становится творческим началом не только в жизни, но и в романе, и автор вынужден согласиться: пусть Лиля будет актрисой. Другие его персонажи склонны принять любую судьбу.

Можно уехать, а можно и не уехать от полюбившейся женщины (в данном эпизоде действует Эндерлин). Можно, если сила любви не лишит тебя разом унылой свободы поступать как угодно. Можно, если ты и в самом деле узнаешь, кто ты такой, лишь по мгновенному кадру из будущей жизни (вот что, стало быть, «подложит» тебе судьба), если жизнь человека — это только роли, то есть нечто внешнее по отношению к нему самому. Задача жить полноценной жизнью оказывается трудноразрешимой в нарисованном Фришем мире даже при утопическом условии бесконечного разнообразия предложенных человеку дорожек. Очевидно, для этого нужны какие-то иные условия и иные стимулы.

«Светлая» книга оказывается гораздо более мрачной, оборачивается горечью.

Может быть, перед нами сатира, раскрывающая природу обывательского сознания? Роман «Назову себя Гантенбайн» был бы тогда лишь еще одним вариантом пьесы «Бидерман и поджигатели».

Среди эпизодов с Гантенбайном есть такие, когда слепота служит внутренним оправданием для того, чтобы умолчать, например, о фактах, простое оглашение которых на суде могло бы спасти человека. Гантенбайн молчит, ибо в противном случае он должен был бы отбросить принятую на себя роль. Слепота Гантенбайна занимает так много места в романе еще потому, что в большинстве эпизодов она является точным выражением его внутреннего отношения к миру: он не видит, не хочет видеть, что творится кругом. Очки слепого, прикрывающие глаза зрячего,— это образная характеристика целого социального слоя, слоя так называемой «левой» буржуазной интеллигенции, которая, многое понимая, не делает выводов из своей оппозиционности, когда необходимо действовать.

«Назову себя Гантенбайн» — в этом смысле произведение сатирическое. Ведь между

Н. ПАВЛОВА
ЗАБОТА И НАДЕЖДА — ЧЕЛОВЕК

действительностью и человеком существуют двойные отношения. Социальная действительность давит на личность, подминает набросанные ею проекты своего «я», штампует сознание. Но и человек в силах не подчиниться действительности, противостоять ей, оставить на ней свой отпечаток. Однако особенность сатиры Фриша состоит в данном романе в том, что сила ее ударов далеко не равна в разных случаях. «Гантенбайнизм», пусть и не в крайней своей форме,— писал Д. Затонский в послесловии к журнальной публикации романа,— распространенная болезнь» Критик точно проанализировал сложные взаимоотношения между личностью писателя Макса Фриша, повествователем, от лица которого ведется рассказ, и его героями. Взаимоотношения эти изменчивы. Фришу важно прежде всего вызвать неприязненное отношение читателей к своему Гантенбайну и тому бесплодному скольжению по поверхности жизни, которому сам он внутренне противостоит. Главной подспудной темой романа, как и всего творчества Фриша, всегда остается тоска по человеку-творцу, уверенность в возможности и насущнейшей необходимости осуществления личности. Однако Фриш рассматривает не только вполне определившееся явление — «гантенбайнизм», но и подступы к нему. Он занят анализом феномена «человек». На этом гораздо более широком поле упомянутая болезнь присуща и повествователю с его быстро затухающим возмущением по поводу происходящего в Алжире. (Вспомним: «Когда я снова читаю, что делается в Алжире или еще где-нибудь, и когда я несколько мгновений представляю это себе, ничего другого не существует, и выдержать то, что представляешь себе, трудно. И я готов на любые действия. Но я сижу здесь, читая старую газету, и выдерживаю».) Не исключает из сферы исследования Макс Фриш и самого себя (некоторые эпизоды в романе намеренно автобиографичны), приглашая к столь же честному самоанализу и своего читателя.

К первому определению произведения Фриша — сатирический роман — можно поэтому с полным правом присовокупить и другое — роман-исследование, роман-размышление.

Каков же итог размышления? Возможно ли все-таки осуществление человека или, как полагают писатели-модернисты, личность бесконечно изменчива и слово «я» — величайшая ложь в ее устах? Что остается по прочтении этого, несомненно необычного и, может быть, в чем-то странного произведения? Что прошло перед нами — череда бесконечных эскизов? Игра в различные варианты биографии? Или с ходом разорванного на эпизоды романа постоянно проясняется единая важная мысль о человеке и его возможностях?

В разрешении мучающего индивида напряженного противоречия — зависимости от действительности и тяги к свободному самовыражению — не помогают, следует из романа, эгоцентрический бунт, попытки выскочить из самого себя, чтобы жить, просто жить, сейчас и сегодня, не имея перед собой никаких иных целей. Можно назвать себя Гантенбайном или Эндерлином, можно, как некогда делал Штиллер, объявить себя Уайтом и скитаться по белому свету— это все-таки не изменит ни личной, ни тем более общей жизни, не даст человеку устойчивого представления о самом себе.

Но, следовательно, осуществлению человека противопоказано бесконечное разнообразие открытых ему в романе Фриша биографий? Следовательно, подлинное осуществление личности — это ограничение, выбор, самоотдача?

Такой выбор, отбросив мираж абсолютной независимости, совершает герой другого романа Фриша «Homo Faber». Это единственное прозаическое произведение писателя, где показан процесс постепенного осознания человеком никчемности и пустоты его жизни. Реальность столкнула инженера Фабера с событиями, которые переворсоздали суть его личности. Они поставили его в связь с людьми, которым он раскрылся и отдался весь. Определилась система новых нравственных, а косвенно и общественных ценностей. Дальнейшая игра вариантами противоестественна и невозможна. Человек выбрал себя, свой путь.

В романе «Назову себя Гантенбайн» цель писателя другая. Жизнь у персонажей романа совершенно гладкая. Вокруг не происходит событий, способных их потрясти. Фриш, безусловно, отражает в книге действительность сегодняшней Швейцарии. Его интересует, однако, не конкретно-бытовой план (большинство эпизодов могут разыгрываться в любой другой соседней стране), а глубинная специфика национальной жизни. Большинство населения не узнало здесь непосредственного соприкосновения с историей: Швейцарию обошли катастрофы и политические потрясения XX века. Швейцария в глазах Фриша — это страна, большинство граждан которой воспринимает отечественную действительность не как нечто подвижное, развивающееся, поддающееся изменению, а как что-то стабильное, окончательное, неизменное. «Швейцарцы боятся всего нового»,— писал Макс Фриш. В романе «Назову себя Гантенбайн» автор фиксирует непроявленность существования человека, не столкнувшегося вплотную с историей. Писатель занят своего рода рентгеноскопией, пытаясь выявить общественный потенциал соотечественника.

Понятая так швейцарская специфика имеет, однако, общий интерес. Ведь и для жителя любой страны моменты кажущейся независимости от истории длятся часто достаточно долго, пока не приходит срок и человек внезапно не оказывается участником грозных событий. Внутренняя задача Фриша — побуждение к выбору и самоопределению. Ведь история не фатальна. Для нее, как и для каждого из нас, могут быть проложены разные пути. Ответственное зрячее существование человека, дающееся с трудом осуществление личности, формирование общественного сознания имеют к этому прямое касательство.

◆

Заметки на полях

ЛИЧНОСТЬ — ОБЩЕСТВО — ЛИТЕРАТУРА

Два года назад берлинское издательство «Нойес лебен» выпустило в свет роман Бригитты Райман «Франциска Линкерханд». К сожалению, в данном случае речь шла о посмертной публикации, притом неоконченного произведения: известный прозаик и драматург, лауреат нескольких литературных премий ГДР (в том числе премии имени Генриха Манна, присужденной ей в 1965 году), Бригитта Райман умерла в феврале 1973 года. Однако и не будучи завершенным, ее роман заинтересовал читателей и критиков. Особое внимание вызвал образ главной героини, молодого архитектора Франциски Линкерханд. Привлекало прежде всего ее активное отношение к действительности, высокая нравственная требовательность, в первую очередь к себе самой. Франциска убеждена, что человек несет полную ответственность за то, как и на что он потратит время, отпущенное ему на земле, и настойчиво ищет точку наилучшего приложения собственных сил и способностей. Уныло-назидательные ссылки на общеизвестные прописи вроде той, что человек живет не сам по себе, а в обществе и для общества, она воспринимает лишь как попытку уклониться от ответа на свои вопросы. Не программные тезисы как таковые — они усвоены еще со школьной скамьи,— а пути их конкретного осуществления, ее собственное жизненное предназначение, ее место в обществе — вот что волнует героиню в первую очередь.

Личность и общество в условиях социализма — такова, следовательно, главная тема романа Бригитты Райман. Тема не новая как для литературы, так и для литературоведения. В последнее время к ней все чаще обращается и критика ГДР. Одно из свидетельств тому — статья лейпцигского литературоведа Клауса Шумана «Аспекты отношений личности и общества в современной литературе ГДР», напечатанная в журнале «Веймарер байтреге».

Шуман отмечает, что интерес к теме взаимоотношений личности с окружающим миром проявился не только в романе Бригитты Райман — он характерен для всей литературы ГДР последних полутора десятилетий.

«Почти все писатели, обратившие на себя внимание в 60-х и 70-х годах,— пишет Шуман,— задаются вопросом, как нужно жить, причем и сам вопрос, и

ответ на него нередко намечаются уже в эпиграфах к их книгам... Но как бы ни решал тот или иной писатель вопрос о смысле жизни, предметом обсуждения у него непременно становятся взаимоотношения личности и общества...»

Акцент при этом смещается именно на личность.

«В литературных произведениях современности все в большей мере отображается неповторимость, непохожесть каждого индивида...— констатирует критик.— Даже при поверхностном взгляде нетрудно заметить, что большинство наших прозаиков в своих историях исходят именно из судьбы личности... Значительно разнообразнее стали образы героев...»

Это, по выражению известного режиссера Манфреда Векверта, прямое (то есть не ироническое) отношение к теме «личность» было обусловлено сдвигами в общественных настроениях, порожденными социально-политическими изменениями в жизни социалистического германского государства:

«В эти годы, с переходом к развитому социалистическому обществу, возникло также историческое сознание нового типа, заключавшееся в убеждении, что общественные преобразования минувших лет заложили незыблемый фундамент дальнейшего развития. Расширился кругозор многих писателей, как прошлое, так и будущее стали рассматривать под новым углом зрения... Герман Кант так описывал свое состояние в те годы: «В мировосприятии обнаружились новые качества. Общество распростилось с прошлым, это оказалось не просто, напротив, невероятно трудно, но абсолютно возможно. Возникли новые задачи, но было ясно, что и с ними удастся справиться, сколь бы сложны они ни были. Именно из подобных ощущений и возникает, как я думаю, то ощущение свободы — внутренней свободы, которое позволяет объективнее осмыслить свою жизнь в этом обществе, подвести итоги и установить... каким образом будут завоеваны новые позиции».

«...Это были годы,— пишет далее Клаус Шуман,— когда многие поняли, что именно на них возложена ответственность за общество, что именно они определяют обстоятельства, накладывающие отпечаток на человеческое общежитие,— годы, когда сфера действия субъекта, личности расширилась и увеличилась».

Здесь хотелось бы дополнить критика, напомнив о масштабности и стремительном темпе, в котором совершались преобразования в жизни ГДР в последние десять — пятнадцать лет, причем совершались в сложнейшей обстановке, в условиях «холодной войны», едва только пошедшей в ту пору на убыль, в условиях непрекращающихся идеологических диверсий со стороны буржуазной реакции. Формирование подлинно социалистической личности, личности, сознающей себя общественной силой,— социальный феномен именно этого периода. Выражения типа «мы добились», «мы сделали», «мы построили» (формулы, немыслимые для западногерманского рабочего, для которого все эти действия — прерогатива хозяев, обозначаемых словом «они») — обычные обороты речи в устах рабочих в ГДР, отмечал не без досады гамбургский «Штерн». Рабочие в ГДР, подчеркивал журнал, чувствуют себя хозяевами своих предприятий, вообще всей страны и не помышляют о возвращении в буржуазный «рай». Между тем писалось это в середине 60-х годов, Германской Демократической Республике едва минуло 15 лет.

Однако именно это стремительное формирование социалистической личности, социалистических общественных отношений поставило перед деятелями культуры ГДР ряд сложных творческих проблем. Клаус Шуман отмечает, что характерной особенностью литературной жизни последних лет стала возросшая активность писателей на чисто теоретическом поприще:

«Бросается в глаза, что с конца 60-х годов некоторые писатели все чаще предпринимают попытки теоретически обосновать проблемы, связанные с их работой, с их манерой писать, логически осмыслить эти проблемы и сформули-

ровать их в форме своего рода поэтики. Теоретическое обоснование проблем художественного творчества становится для этих писателей неотъемлемым компонентом процесса освоения социалистической действительности. Многое из того, что уже получило образное воплощение в их книгах, еще раз становится предметом разговора в их эссе, причем речь идет не только об использовании иного языка, нежели язык романа, драмы или стихотворения, но и о более прямых, категоричных и полемических высказываниях».

В наше время писатели все чаще начинают выступать не только как беллетристы, но и как критики. Но у писателей ГДР была на то особая причина: трудность освоения принципиально нового жизненного материала. И бесспорно, что теоретические поиски сослужили им добрую службу.

Одно из важных последствий этих поисков — дальнейшее расширение диапазона форм и стилей в литературе ГДР, индивидуализация творческих почерков ее мастеров.

«...Возникновение огромного многообразия реалистических повествовательных манер, ставшего отличительным признаком нашей прозы,— говорится в статье,— вряд ли можно понять без учета процесса дифференциации в подходе различных писателей к основным проблемам литературного творчества, то есть особенностей поэтики каждого автора».

Формулировка, естественно, применима не только к прозе.

Клаус Шуман наглядно показывает, насколько велико это многообразие реалистических манер в литературе республики. «Странные», или, по терминологии Б. Брехта, «очужденные», драмы Петера Хакса, в которых автор, стремясь раскрыть диалектику души современника, использует сюжеты античной мифологии и приемы классической драматургии, резко отличны от подчеркнуто публицистичных пьес Фолькера Брауна. Если Эрик Нойч в своих романах особое внимание уделяет скрупулезному воспроизведению общественных обстоятельств, в коих действуют его герои, то для Кристы Вольф самое главное — высветить неявное, потаенное во внутреннем мире данной конкретной личности. Правда, Шуман порой чересчур прямолинейно связывает эстетическую программу писателя с его эстетической практикой и потому не всегда убедителен в своих оценках: известно, что содержание художественных произведений несводимо к сумме философских и иных тезисов. Можно пожалеть также, что свой анализ он строит на ограниченном числе примеров, относящихся к тому же к 60-м и самому началу 70-х годов. С другой стороны, тенденции, определяющие развитие литературы в стране, уловлены им достаточно точно. Во всяком случае, новые книги, затрагивающие тему взаимоотношений личности и общества,— такие, как «Карен В.» молодой писательницы Герти Тецнер, сборник рассказов Йохена Лаабса «Другая половина мира» или роман лужицкого писателя Юрия Коха «Розамарья»,— только подтверждают его выводы.

Наибольших успехов, подчеркивает критик, писатели достигают тогда, когда им удается отобразить диалектику отношений личности и общества во всей ее сложности, во всех ее оттенках. Показательны в этом смысле достижения прозы ГДР, к которым Клаус Шуман в первую очередь относит романы Анны Зегерс «Решение» и «Доверие». В книгах Зегерс, послуживших образцом для многих молодых авторов, перед читателем предстает целая галерея персонажей, каждый из которых обладает своим неповторимым характером, своей индивидуальной судьбой, но эти характеры и судьбы неотделимы от движения общества. Для Анны Зегерс личность и общество

«не статичные величины, так или иначе подчиненные друг другу... а изменяющиеся, взаимодействующие, взаимно обусловливающие друг друга и отчасти противоречащие друг другу факторы; в таком плане они находят свое воплощение и в художественном произведении».

Именно такой подход к проблеме взаимоотношений личности и общества позволяет Зегерс, как писала Криста Вольф, вскрыть «смысл эпохи», показать один из этапов «на пути человечества к человечности».

Книги Зегерс свидетельствуют, что

«степень нравственности в мышлении и поведении — включая и мир чувств отдельной личности — в развитом социалистическом обществе стали надежным мерилом общественного прогресса и социалистической гуманности».

Известно, что проблема конфликта в произведениях социалистического реализма породила немало острых литературных дискуссий. Значительное внимание уделили ей, как показывает Клаус Шуман, и писатели ГДР. Пути ее решения они нашли в эстетическом и философском осмыслении реальных противоречий, возникающих в жизни в процессе строительства социализма и проявляющихся также и в сфере взаимоотношений личности и общества.

На VI пленуме ЦК СЕПГ (июнь 1972 года) секретарь ЦК СЕПГ Курт Хагер в докладе, посвященном проблемам культурного строительства, говорил:

«При социализме впервые возникает принципиальная возможность совпадения личных целей и интересов каждого отдельного человека с интересами и целями общества в целом; путь, пройденный нами после VIII съезда СЕПГ, показывает, насколько полнее и эффективнее мы стали использовать эту возможность. Однако такое совпадение личного и общественного никогда не происходит автоматически, так сказать, само по себе. Всякий раз оно достигается и осуществляется заново...»

Возможность и ее использование — вот главный источник конфликтных ситуаций в условиях социализма в сфере взаимоотношений индивидуума и общества. Эти ситуации, показывает Клаус Шуман, писатели ГДР трактуют как нравственные коллизии:

«...Конфликты и противоречия, отображенные в литературных произведениях 60-х и 70-х годов, носят по преимуществу морально-этический характер».

Критик подчеркивает при этом, что такой подход к построению конфликта позволил многим писателям создать книги, отличающиеся глубоким драматизмом. Одной из распространенных тем, например, стала судьба человека, имеющего немалые заслуги в прошлом, но оказавшегося несостоятельным перед лицом новых задач, новых требований. Отображение этой ситуации приобретает порой трагический оттенок, иногда даже вопреки воле автора (так случилось, в частности, в романе Эрика Нойча «В поисках Гатта»).

Вместе с тем анализ Клауса Шумана показывает, что литературе ГДР 60—70-х годов в еще большей мере, чем прежде, присуще чувство исторического оптимизма. Для писателей характерно стремление к активному вмешательству в жизнь, их книги отличает нетерпеливое желание приблизить будущее, раскрыв его ростки в настоящем.

«Для Фолькера Брауна...— пишет Клаус Шуман,— различие между тем, что есть, и тем, что должно быть, это не то... расстояние, которое отделяет действительность от утопии, а отличительный признак некой фазы в рамках отнюдь не утопического процесса современного развития общества».

Иными словами, отображение современности в произведениях Брауна (как, впрочем, и многих других писателей) становится отображением процесса движения к будущему, призывом к созданию этого будущего.

При этом писатели настойчиво ищут формы и средства выразительности, которые позволили бы усилить действенность литературного произведения.

Вопрос о «поэтике», эстетической эффективности вообще стал сейчас одной из актуальных дискуссионных тем в ГДР. Причем размышляют о ней не только литераторы, но и читатели.

Наибольшее внимание как пишущих, так и читающих привлекает проблема положительного героя, причем и у тех и у других в равной мере обнаруживается недоверие к «образцово-показательным персонажам». Когда в Карл-Маркс-штадте на читательской конференции, посвященной роману «Карен В.», автор книги Герти Тецнер сказала, что,

на ее взгляд, «героям-образцам» нередко не хватает жизненной конкретности, аудитория поддержала ее. Показательно, однако, что не менее энергичный протест вызвала и некоторая анемичность, безвольность героини романа. Характерен упрек, прозвучавший в выступлении женщины-работницы: «Все-таки книга должна придавать новые силы читателю. Мне же она их не придала».

Клаус Шуман в своей работе никак не мог учесть полемики, развернувшейся на конференции в Карл-Маркс-штадте: сообщение о ней появилось в печати почти одновременно с его статьей. Тем примечательнее, что мысли, высказанные критиком, во многом перекликаются с приведенным выше суждением читательницы. Шуман тоже рассматривает активное отношение к действительности как основную черту современного положительного героя. Именно поэтому его настораживает известная пассивность некоторых героинь Кристы Вольф. В сравнении с ними персонажи пьес Фолькера Брауна подчас выигрывают именно благодаря свойственной им энергии, целеустремленности, решимости, с какой они преодолевают «противоречие между тем, что есть, и тем, что должно быть». Однако критик ясно представляет себе, что проблема характера положительного героя неотделима от проблемы художественной убедительности. И потому отнюдь не склонен прощать Брауну схематизм в обрисовке своих героев. Драма, подчеркивает Шуман, невозможна без «индивидуальной истории», а именно такой истории пьесам этого писателя подчас и не хватает.

Стремление большинства писателей к убедительному воплощению жизнеутверждающих человеческих характеров трактуется, таким образом, как один из главных путей решения проблемы положительного героя и — тем самым — проблемы повышения действенности литературы.

Интересны также предпринятые многими прозаиками ГДР эксперименты со своего рода «открытой формой». Речь идет, разумеется, не об опытах в духе так называемого «нового романа», а об особой лиричности, доверительности повествования (как говорит Криста Вольф, его «субъективной аутентичности»), направленной на предельную активизацию читательского восприятия. Характеризуя эту манеру, Клаус Шуман пишет:

> «...Писатели ищут такие эпические формы и повествовательные структуры, которые оставляли бы им... достаточный простор для собственных комментариев и размышлений по поводу изображаемых событий... Отнюдь не случайно, что многие фразы в их книгах написаны в сослагательном наклонении. Процесс письма для большинства авторов сегодня — это процесс постижения правды, в который они включают и самих себя... Но не только сам автор стремится быть участником той истории, которую он рассказывает,— читатель тоже, притом интенсивнее, чем в прежних романах, должен включиться в ход рассказа; ему должен быть показан не готовый результат, а самые поиски правды, поиски оценок, более того — трудности получения таких оценок».

О степени эффективности именно такой манеры повествования судить, конечно, трудно. Некоторые критики, например Ганс Кауфман, находят ее спорной. Бесспорно, однако, что новые тематические и эстетические тенденции в литературе страны не оставили равнодушной ее аудиторию.

> «Насколько закономерно, что в 60-е годы конфликты и кризисные ситуации, с которыми сталкиваются многие литературные герои, все в большей мере переносятся в сферу этики и морали,— пишет Клаус Шуман,— настолько же естественно и то, что эти конфликты взволновали читателя, ибо в них выявлялась вся противоречивая связь взаимоотношений личности и общества».

Литература тем самым все в большей мере становится фактором общественного развития. И это один из самых важных выводов, который позволяет сделать статья лейпцигского литературоведа.

Д. АЛЕКСАНДРОВ

ЭПОПЕЯ НЕЗАБЫВАЕМЫХ

Всему миру известны стойкость и самоотверженность болгарских коммунистов, которые вели мужественную борьбу и во время антифашистского восстания 1923 года, и в тридцатые годы, и в годы второй мировой войны. Они героически сражались в подполье, в партизанских отрядах, не переставали бороться в тюрьмах и концлагерях царской Болгарии. Теперь многие из них, непосредственные участники событий, берутся за перо, чтобы оставить личное свидетельство об эпохе, запечатлеть стойкость и героизм лучших сынов и дочерей болгарского народа.

В последнее время болгарская критика отмечает увеличение числа книг мемуарного характера. Прежде всего следует сказать о книгах руководителей антифашистской борьбы Васила Коларова и Цолы Драгойчевой, о «Воспоминаниях» Петра Врачева, «Коммунистах» Димитра Гилина, «Запахе цветов и пороха» Митко Гранитова, о книгах «Жизнь — горение» Кирила Халачева, «В логове волков» Петра Илиева, «Искупление» Петко Кацарова, «Подуянская молодость», «Вера первых» Желязко Колева, «Мы были в лагере Еникёй» Жака Натана, «Решетки, время, люди» Неделчо Ганчовского и еще о многих искренних и достоверных свидетельствах о героическом времени.

В лучших из этих мемуаров запечатлен и ход борьбы в разное время и на разных ее участках, и руководящая роль коммунистов, незабываемые образы которых волнуют своей неподдельной искренностью. В них отражены атмосфера братства и преданности идее, тот дух, который вдохновлял каждого участника борьбы на подвиг во имя победы.

Одна из книг воспоминаний Желязко Колева, который был активистом Рабочего союза молодежи (РМС) в Софии, а потом сражался в партизанском отряде «Чавдар», называется «Рядовой рассказывает». Критик Тончо Жечев (статья «О современной мемуарной литературе» в сборнике «Проблемы современной болгарской прозы») считает это заглавие символичным.

> «Во всей изданной после Девятого сентября 1944 года мемуаристике,— пишет он,— решительно преобладают воспоминания о «рядовых» в исторической борьбе против фашизма — партизанах, командирах отрядов, политкомиссарах, политзаключенных, партийных работниках, подпольщиках местного, околийского, районного и окружного масштаба, политэмигрантах, руководителях молодежи, ятаках [1], добровольных помощниках... Сегодня мы уже можем сказать, что воспоминания «рядовых» дали нам развернутую картину состояния и проблем предсентябрьской Болгарии, начиная с назревания и развития массового бунта в низах народа до беспримерного героизма партийных работников и членов РМС, подвига тысяч погибших героев».

Критики в один голос заявляют, что мемуаристика в Болгарии стала заметным явлением литературы, ее активно читают, она оказывает влияние на формирование мировоззрения молодежи.

> «Радостно, что наше тревожное и бурное историческое прошлое наполнено героическими событиями, а наша литература украшена яркими и сильными мемуарными произведениями, которые осмысливают и делают бессмертными эти героические события»,— пишет Ефрем Каранфилов в статье «Специфика и проблематика жанра мемуаров».

Мемуарная литература о периоде двадцатых — сороковых годов продолжает оставаться в сфере внимания общественности. Ее проблемы послужили недавно темой встречи-беседы болгарских писателей с ветеранами борьбы против фашизма. Роль партии в этой борьбе, отражение героизма отдельных борцов и массового героиз-

---

[1] Ятак — человек, сочувствовавший и помогавший болгарским партизанам.

ма болгарского народа — таков круг вопросов, обсуждавшихся на этой встрече и вызвавших живой интерес у собравшихся.

«Мемуарная литература о Сопротивлении,— сказал на встрече Ефрем Каранфилов,— это непрерывающийся рассказ о подвигах и нравственном героизме нашего народа. Все важнейшие проблемы, связанные с ней...— это проблемы и нашей современности».

Многие участники дискуссии разделили в своих выступлениях это мнение. В то же время Младен Исаев, к примеру, отметил, что индивидуальный и массовый героизм, который высочайшим образом проявился в кульминационные моменты борьбы болгарского народа с фашизмом, еще не занял в мемуарной литературе того места, которое должен занимать по праву.

Эту же мысль высказал и Иван Аржентинский, подчеркнувший, что борьба партии и всего народа должна найти в болгарской мемуарной литературе более широкое воплощение. Это важно потому, что молодежь читает такую литературу с особой страстью, отдавая предпочтение книгам активных участников антифашистской борьбы.

В связи с этим директор Партиздата Неделчо Ганчовский поставил вопрос о необходимости всемерно содействовать развитию жанра романизованной биографии, о необходимости и дальше разрабатывать тему о Георгии Димитрове (хотя здесь уже накоплен значительный опыт), о Димитре Благоеве.

«Пришло время, чтобы серьезное писательское перо приложило все силы для создания настоящей романизованной биографии»,— подчеркнул он.

Литература тридцатых годов сделала немалый вклад в разработку этой темы. В частности, Иван Мартинов назвал книгу Христо Радевского «К партии» и его одноименное стихотворение, которое, по свидетельству Мартинова, было буквально «молитвой» борцов за новую Болгарию, «Пожары» Младена Исаева, стихи из книги «Подъем» Николы Ланкова, прозу Георгия Караславова, Крума Велкова.

Мнение Мартинова поддержал Матей Шопкин. Надо шире популяризировать, сказал он, пламенные стихи тех болгарских поэтов, которые с оружием в руках, «с пером и винтовкой», сражались на баррикадах и в партизанских отрядах за свободу своей страны. Многие поэты, творчество которых вдохновляла борьба, отдали свою жизнь за родину.

Анализируя вышедшие из печати воспоминания участников антифашистской борьбы, выступавшие утверждали, что тем и важна роль этих воспоминаний, что зачастую участник незабываемых событий прошлого запечатлевает их с такой силой и искренностью, с такой правдивостью, на какую способен, пожалуй, только человек, глубоко, по-настоящему их переживший. Не случайно, например, мемуары Цолы Драгойчевой стали событием не только политической и идейной, но и литературной жизни страны. И даже порой недостаточно профессионально написанные воспоминания борцов хороши именно своей непосредственностью и первозданностью, поэтому не всегда правомерны участившиеся в последнее время требования издательств подвергать мемуары литературной обработке, причесывать их и приглаживать, от чего они во многом теряют свою безыскусственность и аутентичность.

На мемуаристику, по мнению критика Эмилии Прохасковой, «не следует смотреть только как на литературу факта или только как на литературу, которая имеет огромное воспитательное воздействие,—она содержит в чистом виде и положительное, и героическое начала, а также является признаком возросшего уровня политического мышления... На эту ее важную сторону не обращено еще достаточного внимания, а следовало бы рассмотреть ее и с этой точки зрения. И тогда некоторым воспоминаниям не надо будет преграждать путь из-за обязательного требования беллетризации...»

Итоги дискуссии подвел член ЦК БКП, председатель Центрального комитета борцов против фашизма, объединяющего ветеранов революционной борьбы, Димо Дичев. Он подчеркнул необходимость раскрыть перед болгарской молодежью «великие и частные моменты в жизни борца за новое общество», показать причины, побуждавшие людей совершать подвиги, идти на испытания и смерть, что будет способствовать воспитанию молодежи в духе идеалов социализма.

«Проблемы, которые входят в рамки антифашистской темы в литературе,— сказал тов. Дичев в заключение беседы,— не перестают быть актуальными, не перестают волновать сознание и наших писателей, и участников антифашистской борьбы. Эту литературу любят, она имеет огромную читательскую аудиторию, имеет своих ценителей. Это радует, но в то же время обязывает...»

В свое время классик болгарской литературы Иван Вазов создал цикл лиро-эпических поэм о героях национально-освободительной борьбы болгарского народа «Эпопея забытых». Поэт Иван Динков, перефразируя Ивана Вазова, назвал свою книгу об антифашистской борьбе «Эпопея незабываемых». Летопись героических дел болгарских коммунистов — это действительно эпопея незабываемых. Болгарские писатели создали немало произведений о революционной эпохе. Достаточно назвать «Они умирали бессмертными» Веселина Андреева, «Пережитые рассказы» Добри Жотева, «Парень и горы» Константина Кюлюмова, удостоенные премии Союза болгарских писателей, поэтические книги «Пиринские баллады» Евтима Евтимова, «И слились с восходом» Михаила Берберова, поэму Лучезара Еленкова «Гранитово», сборники стихов Янко Димова «Железные гвоздики», Христо Банковского «Болгарский календарь», Петко Братинова «Траектория». Современная болгарская мемуаристика лучшими своими работами расширяет и углубляет летопись революционной борьбы болгарского народа. Это особенно важно в настоящее время, когда так возрос интерес к подлинному документу, к правдивому свидетельству.

П. С.

◆

Публицистика

МАДЛЕН РИФФО

БОЛЬНИЦА КАК ОНА ЕСТЬ

Фрагменты книги, имеющей подзаголовок: «НАПИСАНО ВВИДУ НЕОТЛОЖНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ»

Перевод с французского ТАМАРЫ ИВАНОВОЙ

Борец переднего края

«Больница как она есть». Читатели «Юманите», привыкшие к очеркам Мадлен Рифо из «горячих» точек планеты: джунглей Вьетнама, гор Лаоса, стран Африки, охваченных огнем национально-освободительных войн,— были вправе удивиться, увидав ее подпись под материалами, посвященными столь «мирной» теме. Между тем Мадлен ничуть не изменила себе. Она осталась, как и прежде, страстной и боевой журналисткой, всегда и везде стремящейся быть на «переднем крае».

Мне запомнилась одна из давних встреч с Мадлен Риффо. Это было в Ханое, в последних числах апреля 1955 года. Мы, трое советских журналистов, только что приехали из Москвы и, естественно, готовились написать о праздновании Первого мая в столице республики. Мадлен, находившаяся здесь уже несколько недель, пристыдила меня:

— Ты что, журналист или нет? В Ханое не раз проводились торжества и демонстрации. Надо пробиваться в Хонгай. Представляешь себе: первое Первое мая в только что освобожденном шахтерском крае! Вот это интересно.

В то время французский «оккупационный корпус», согласно решениям Женевской конференции, постепенно эвакуировался из Северного Вьетнама, передавая один за другим занятые им районы властям ДРВ. 30 апреля утром последние французские части покинули Хонгай и его окрестности, находившиеся все годы войны под контролем колонизаторов. В тот же день, под вечер, с трудом получив «добро» от вьетнамских друзей, предупреждавших об опасностях ночной поездки через зону, так долго разделявшую воюющие стороны, мы с Мадлен отправились в путь. Помимо водителя в «джипе» заняли места переводчик и вооруженный боец. Медленно, часто останавливаясь, чтобы не сбиться с пути, мы пересекли зону по узкому, кое-как обозначенному проходу, проложенному между бесконечными рядами колючей проволоки и минными полями. На рас-

© Julliard, 1974.

свете перед нами открылась бухта Алонг с ее причудливыми островами и утесами, поразившая нас своей красотой.

Нет, не погоня за сенсацией, столь свойственная журналистскому племени на Западе, побудила Мадлен настоять на этой поездке. Два дня мы провели в разоренных поселках и деревушках, на угольных разработках, усеянных выведенными из строя кранами и бульдозерами, беседуя с шахтерами и крестьянами, вчерашними партизанами и учителями, женщинами, измученными голодом и непосильным трудом, чумазыми ребятишками. Мадлен долго расспрашивала местного священнослужителя и французского инженера, отказавшегося уехать с оккупантами.

Валились с ног от усталости сопровождавшие товарищи, а она продолжала искать новых встреч, жадно впитывала рассказы собеседников. Ей хотелось как можно глубже познать условия, в которых они жили, их мысли, мнения, надежды. Почерпнуть все это из «первоисточника», по горячим следам. Я восхищался тем, как она, француженка, быстро располагала к себе вьетнамцев, настороженных было в первые минуты, но затем, почувствовав в ней подлинного друга, принимающего близко к сердцу их судьбу, настежь раскрывавших перед ней свою душу...

В публикуемых ниже дневниках Мадлен приводит письмо одной простой женщины, заканчивающееся замечательными словами о «правом деле». Служению этому «правому делу» посвятила Риффо свою жизнь, свои силы, свое творчество. Целиком, без остатка, со всей пылкостью своего темперамента, несокрушимой волей и самоотверженностью. Она всегда рвется в самое пекло, на передовую линию, к тем, кто повседневно рискует жизнью, сражается, проливает кровь. Она разделяет с ними опасности, страдания и невзгоды. Такова уж ее натура, таков ее характер. Девочкой становится она участницей движения Сопротивления гитлеровским захватчикам. Распевая песенки, разносит по Парижу гранаты. Посвящает товарищам дышащие ненавистью к оккупантам стихи. Берется за самые ответственные поручения. Среди бела дня на мосту Сольферино, выполняя задание, убивает фашистского офицера. Подвергнутая жестоким пыткам в гестапо, она в ожидании расстрела царапает кусочками графита стихи на полях молитвенника, предназначенного смертникам.

«Если бы в августе 1944 года Париж восстал тремя днями позже, о Мадлен Риффо осталось бы лишь воспоминание, несколько стихов и название улицы»,— писал в предисловии к ее сборнику «Красная лошадь» писатель В. Познер. Но палачи бежали, не успев привести приговор в исполнение. Выпущенная из тюрьмы, юная партизанка присоединяется к друзьям и с автоматом преследует отступающих немцев. «Что вы умеете делать?» — спрашивает ее поэт Поль Элюар. «Писать стихи и стрелять»,— следует ответ...

Молодая сотрудница «Юманите» пишет о Франции, а затем часто выезжает за границу.. Ее приглашают в Советский Союз, в Польшу, Болгарию. Но ее неудержимо тянет туда, где полыхает пламя национально-освободительной борьбы. И прежде всего в Индокитай. Она пробирается в ДРВ, когда еще шла война с французскими колонизаторами. Много раз возвращается туда во время американской интервенции. Шлет репортажи из джунглей Вьетнама, из подвергаемого бомбардировкам Ханоя, из районов боев в Южном Вьетнаме, из Лаоса.

В годы войны в Алжире Мадлен находит свое место рядом с бойцами народно-освободительной армии, в окруженной и изолированной касбе, где ухаживает за ранеными. Позднее едет в Восточную Африку, пишет из районов, освобожденных от португальских колонизаторов. Там находит свое место неутомимая журналистка, писательница, поэтесса-коммунистка. Под пулями и бомбами, бок о бок с борцами против угнетателей и колонизаторов всех мастей, против интервентов и их сообщников рождаются ее очерки, репортажи, поэмы. Ранения, болезни подрывают ее здоровье. Чуть отдышавшись, она снова мчится туда, где жарче бои, где ее друзья острее всего нуждаются в поддержке мировой общественности. Мадлен пишет кровью своего сердца, и ее репортажи не оставляют равнодушными даже самых черствых людей. В том числе вчерашних противников. Однажды, после выступления на митинге в Марселе, она получает цветы от солдата Иностранного легиона, сражавшегося некогда в Алжире...

Но вот в дорогом ей Вьетнаме наступили мирные дни. Мадлен, как она пишет, чувствует, что за годы странствий потеряла связь с Францией. Как ее восстановить? Она опять ищет, но теперь уже у себя на родине, «передний край». Место, где с особой силой ощущаются несправедливости капиталистического общества, страдания простых людей, обездоленных. По совету старого друга идет в больницу. Тут, оказывается, тоже проходит линия фронта. С его повседневными жертвами, с упорной, постоянной и жестокой борьбой, борьбой скромных, безвестных людей за человеческую жизнь.

Только вести с этого фронта не публикуются в газетах. Общественность мало что знает о «людях в белых халатах». Существуют глубоко укоренившиеся превратные представления. Спросите любого во Франции: как живут врачи? Вы услышите ответ: великолепно, они среди тех, у кого самые высокие заработки. Это почти что так. Система социального обеспечения, принятая в стране, выгодна частным практикам Но каково поло-

жение тех, кто работает в общественных больницах? Тех, для кого медицина не является бизнесом?

Верная себе, Мадлен не хочет быть посторонней наблюдательницей. Она нанимается санитаркой. Меняет свое имя. Надевает белый халат и вооружается веником и половой тряпкой, как некогда, в джунглях, надевала маскировочную форму. Она «входит в шкуру» людей, о которых хочет написать. Живет их жизнью, делит их беды и радости, трудности, лишения и заботы. Отсюда глубокая правдивость, непосредственность впечатлений и искренность переживаний. Автор в последних строчках как бы извиняется: произведению не хватает стройности, сюжетной линии, завершенности. Но что из этого! Пусть картина написана мазками, штрихами. Но это полотно, созданное из кусочков живой жизни, из деталей, подмеченных зорким взглядом человека большой души. В нем почти нет рассуждений о недостатках системы». Они излишни, так как любой читатель, ознакомившись с главами из книги «Больница как она есть», сам вольно или невольно делает вывод о ее порочности.

Этот «репортаж» — еще один вклад «бойца с переднего края» в служение «правому делу», которому посвятила свое существование друг и замечательный человек — Мадлен Риффо.

С. ЗЫКОВ

ВСТУПЛЕНИЕ

Прежде всего я должна объясниться. Это благодаря Полю я решилась проникнуть в мир белых халатов.

Париж для меня превратился лишь в пересадочный пункт. После алжирской войны, как только зарубцевались полученные в Оране ранения, я перебиралась с киносъемочным аппаратом и пишущей машинкой из джунглей Южного Вьетнама в Ханой, из Камбоджи в горы — к партизанам Лаоса, забредала к пигмеям, пересекала границу Анголы... чтобы вернуться вновь в Юго-Восточную Азию. После подписания парижского соглашения о мире во Вьетнаме я оказалась перед красным сигналом светофора, с заглохшим мотором. Тут я как раз заболела и обнаружила, что уже не знаю своей страны. Корешки порвались.

Пришлось возвращаться вспять. Отыскивая то место, где порвалась связующая, жизненно важная нить, я нашла Поля, главного врача одной из парижских больниц. Никто уже не зовет его Полем с самого 25 августа 1944 года, разве те немногие, кто остался в живых — в том числе я — из группы Сопротивления студентов-медиков, которую он возглавлял.

Мне было тогда восемнадцать лет, меня звали Райнер, я училась в акушерской школе. Была «голубой малюткой» [1] из Порт-Руайяля. Как порыв ветра, пронеслись мой уход в подполье, участие в вооруженном сопротивлении и арест. Я так и не сдала никогда выпускных экзаменов, и единственное, к чему оказалась пригодна после Освобождения,— стать военным корреспондентом.

Покуривая трубку, Поль размышлял о моих проблемах.

— Хочешь возобновить знакомство с Францией? — сказал он.— Послушай, скоро летние каникулы. В это время в любой из больниц Парижа или провинции хроническая нехватка персонала приобретает характер прямо-таки драматический. Для черной работы нанимают кого придется. Даже у меня парочка бродяг заправляла хозяйством в августе прошлого года! Если хочешь...

Я и нырнула — работала больше месяца, не будучи узнанной, в отделении сердечно-сосудистой хирургии, потом в хирургической реанимации, как в больницах Общественной благотворительности, так и в частном секторе. Но никогда у Поля, чтобы не плутовать.

Ежевечерне я вела дневник, с мыслью в дальнейшем его использовать. Мне не хотелось писать очерк о состоянии медицинской службы во Франции, но еще со смерти моей матери я чувствовала себя в долгу перед медсестрами и санитарками, этими «прислугами в белом», которых совсем недавно называли «сиделками»; их сверх всякой меры эксплуатируют, им платят гроши, хотя они-то ближе к больному, чем кто бы то ни было. Всегда безропотные.

[1] Ученицы этой школы носили голубую форму. *(Прим. перев.)*

Дневник мой, пусть это лишь беглые записи, посвящается им. А также множеству незнакомцев, которые хотя бы раз в жизни прошли или пройдут, задержавшись там на короткий, а то и на долгий срок, сквозь вселенную Жюстины, Симеона, Елены.

И да не будет им страшно.

«СКВОЗЬ СЛЕЗЫ, НО ВЕСЕЛО»

Меня предупредили при найме: «Вам и уборкой придется немного заняться». Я приготовилась к худшему, но, черт побери, когда, придя спозаранку, я увидела протяженность плиточного пола: общую палату на двадцать четыре койки, две дополнительные, каждая на шесть коек, изолятор, лестничные площадки, ватерклозеты, раздевалки, служебное помещение, комнату медсестры... Когда мне дали в руки щетку, ведро, половую тряпку, я призадумалась, хватит ли у меня ловкости, ничего не разбив, вымыть пол на таком необъятном, но и столь плотно загроможденном пространстве. Железные кровати чересчур близко сдвинуты, окружены хрупким лесом капельниц, стеклянными утками, тяжелыми допотопными колясками, неизменно застревающими на полпути.

Представляясь старшей медсестре, я столкнулась с Марией, девушкой, только что прибывшей из своей Гваделупы и нанявшейся одновременно со мной. Ее направили вниз, а меня на второй этаж. Не выпуская из рук половую щетку, она ухватилась за иконку, висевшую у нее на груди, и взмолилась:

— Иисус-Мария, сделайте так, чтобы я научилась мыть пол.

А меня и саму обуял страх.

Но мне повезло. В этот первый день я оказалась сверхштатной, а не одиноко брошенной в неведомую область обслуги, как Мария, хотя, по-видимому, в ее положение попадают девять из десяти «поломоек» в учреждениях бесплатной медицинской помощи. Мне Елена сказала: «Следуйте за Жюстиной. Она знает свое дело». Вот я и шла по пятам за бретонкой, повязавшей синий фартук поверх белого халата.

Зашли в ватерклозет, где были и мусоропровод, и склад щеток, и два умывальника, предназначавшихся для ходячих больных. Я сказала Жюстине:

— Научите меня.

Она могла бы поиздеваться над моей неосведомленностью. Но не сделала этого:

— Уж если приходят работать сюда — значит, иного выхода нет.

И она мне все разъяснила.

Вначале надо приготовить смесь из горячей воды, кристаллов жавеля и черного мыла.

— Не переполняй ведро. Тяжело, да и расточительно. Здесь, видишь ли, во всем нужна экономия,— наставляла она.— У тебя нет перчаток? Обойдешься и так. После пятнадцатого их уже никогда не бывает. Ты начнешь вон с того края, я с этого. Поторапливайся. Сегодня обход профессора-консультанта. Если плитки не высохнут — все заляпают... И раз уж нас двое,— добавляет она,— протрем за кроватями и по углам. Запомни мои слова: не отлынивай, тебе же самой будет хуже. Когда пятна въедаются, их и сам дьявол не оттрет.

Ухватившись за дужку ведра, уверенным взглядом окинув плиточную степь [1], она закончила свою речь военным кличем, который я потом слышала раз двадцать: «Вперед! Хоть и сквозь слезы, но весело». Таков уж, видно, девиз этой службы.

По правде говоря, я не рассчитывала, что будет так легко, без каких-либо осложнений, наняться в первую попавшуюся, случайно выбранную больницу. В конторе по найму у меня ничего не спросили, кроме фамилии. На всякий случай я перевернула порядок имен. Но никто ничего и не собирался расследовать. Даже не пришлось извлекать на свет заранее подготовленную, почти достоверную историю: «Мне-де необходимо поработать во время каникул. Когда-то я училась в акушерской школе. Вот я и подумала...» Ни моя жизнь, ни душевное мое состояние никого не интересовали.

Моему «партизанскому» репортажу теперь мог помешать лишь медицинский осмотр.

— Раздевайтесь,— сказал доктор, не взглянув на меня. Но обнаружив шрамы — памятные знаки гестапо и алжирской войны,— он с недовольной миной поднял на меня глаза: — Думаете, вам по силам быть медсестрой?

— У меня же нет никакого диплома, я буду всего-навсего санитаркой.

— Та же работа. Даже хуже.

(Он мог бы прибавить: «Еще хуже оплачиваемая».)

---

[1] Характерное для современного французского языка заимствование автором русского слова. *(Прим. перев.)*

Делопроизводитель пришел мне на помощь:

— Видите ли, мсье, когда необходимо работать...

— В конце-то концов это ведь только на месяц или на два,— решил доктор.

И вот на листке по найму штамп: «Годна для работы».

В коридоре ждали своей очереди гваделупка и Жаклина — студентка второго курса медицинского факультета. Чтобы продолжить ученье, ей тоже «необходимо работать». Она будет младшей медсестрой.

В чепце и белом халате («Смотрите не потеряйте,— наставляла меня бельевщица,— дирекция вас обяжет их оплатить») я рассматриваю свой трудовой контракт, словно билет на самолет дальнего следования. В контракте записано: «Риффо Марта, без квалификации, будет до 31 августа выполнять обязанности санитарки. Первая смена».

Марта становится маленьким винтиком отделения сосудистой хирургии.

■

Я убираю между постелями, стараясь как можно меньше пылить. В общей палате выстроились двумя рядами разбинтованные культи и язвы, ожидающие приговора профессора-консультанта, который уже начал свой обход. Утро, пахнущее кофе с молоком и формалином, такое же серенькое, как и эти некогда беленые стены.

— Мадам Марта, прошу вас... Меня забыли на судне. Вот уже целый час.

Я откладываю щетку. Больная тяжела для меня, но она помогает, упираясь руками. Скорее опорожнить судно, повесить на место.

— Спасибо, простите меня, вы очень любезны.

Улыбка. Надо бы поговорить с ней. Голос покорный, набухший слезами.

Но из соседней палаты меня вполголоса призывает на помощь Жаклина, из-за отсутствия опыта совсем обескураженная этой работой, при которой слышишь столько стонов и плача. Она обхватила руками человечка с ампутированными ногами, в прошлом сапожника. Впервые после операции его посадили на переносный стульчак. Старичок почти невесом. «Пятьдесят кило мокроты»,— сказала бы Жюстина. Но тело, ставшее мертвым грузом, да еще сведенное страхом, тяжелеет, словно свинец. Ноги скользят по плиткам, больной цепляется, как утопающий; между койкой и стульчаком — пропасть. Под культи просунуть правую руку, а левой за спиной пациента крепко-накрепко ухватиться за правую руку Жаклины.

— Раз, два, три... Хоп! Вот мы и на месте.

Старик говорит мне:

— У вас легкая рука.

Это глупо, но я преисполнена гордости. Получила Гонкуровскую премию.

— Там, где ты прежде работала, часто тебе приходилось сталкиваться с ампутированными? — спрашивает Жаклина.

Хайфон, апрель 1972 года — если бы я могла тебе рассказать. Тот день, когда появились «Б-52», да и много других дней. Во дворе госпиталя, который подвергся бомбардировке, я отмывала в водоеме свои окровавленные ноги. Но это совсем из другой области. А время бежит так быстро. Какая уж тут болтовня, когда и передохнуть некогда, даже по нужде сбегать и то забываешь. На заводских конвейерах предусмотрены — правда, весьма короткие — паузы, щепетильно называемые «для отправления естественных надобностей». В больнице служащий ни у кого не должен просить разрешения отлучиться в ватерклозет. Только ритм работы таков, что сперва вы ощущаете потребность, а потом о ней забываете. К концу работы уже все в вас перегорело. Не ощущается даже голод. Восемь с половиной рабочих часов (официально) без передышки, не считая сверхурочных, которые вам обязуются «возместить», а перерыв для завтрака, проглоченного на ходу, всего-навсего получасовой. Времени слишком мало, чтобы сбегать в столовку: еще надо переодеться, да и бежать далеко — в другой конец больницы. Если же смена с 15 до 23 часов, то столовка и вовсе закрыта во время перерыва.

Вот все и жуют бутерброды, захваченные из дома.

— Заезженная, как все, я тем не менее два кило прибавила на этой неделе: набиваешься-то одним хлебом,— сердито жалуется Жаклина.— Посмотри, как опухли ноги, особенно щиколотки!

— Подожди,— урезонивает Жюстина,— продержишься несколько дней, привыкнешь.

К ночным дежурным общественная благотворительность проявляет известную щедрость. Дает бесплатно **одну** сардинку или два тонких ломтика колбасы с куском черствого хлеба. Запрещается, но это-то, впрочем, понятно, съедать остатки пищи больных. Жюстина твердо стоит на своем, не то вылетишь из больницы в два счета.

И тем не менее... Когда на тридцать восемь больных я остаюсь одна, как вчера, например: подавая, убирая, подчищая, вытирая (каждый предмет на определенное

место, иначе следующая смена ничего не найдет. А ведь и пяти потерянных минут достаточно для утраты необходимого ритма. Не забыть бы про сладкий апельсиновый сок для «диабетической комы» Десятого номера),— тогда для меня совершенно немыслимо, хоть правила и требуют этого, вернуть на кухню (лифт то испорчен, то перегружен, и еще подземным коридором топать чуть ли не километр) недоеденное больными: кусок ветчины, салат и остатки супа на дне кастрюли.

Подражая Жюстине, я складываю все это, в холодном виде, между двумя тарелками — для ночной дежурной Долорес.

Антилец Симеон, выполняющий самые тяжелые работы, затычка всех дыр и вечно на побегушках: «Симеон, сюда! Симеон, туда!» — с этажа на этаж то с каталками, то с урнами для мусора, молча глядит на меня, когда я вместе с объедками выкидываю артишок или нетронутый кусок холодного мяса.

Симеон уколол себе руку иглой для внутривенных вливаний, застрявшей в грязных подстилках, которые он относил в прачечную. Ему и в голову не пришло немедленно известить кого-либо об этом происшествии. Разве знал он, чем рискует? Никто не имеет времени никому ничего объяснять. Живут на краю бездны, отдавшись на волю случая и боясь совершить какой-нибудь грубый промах.

Нет перчаток? Покупаю за свой счет. Роскошь. Стоимость каждой пары, тут же разорванной, равна получасовой оплате труда Симеона.

Старшая сестра, мадемуазель Б., отвечает за три этажа этого корпуса, вмещающего около восьмидесяти тяжелобольных: артриты последней стадии, гангрены нижних конечностей, требующие ампутации одной, а то и обеих ног. Односторонние и общие параличи, аневризмы, все виды артериальных изменений, при которых сосуды, разрываясь или закупориваясь, нарушают нормальную жизнедеятельность организма.

Мадемуазель Б. каждый день стремится установить образцовую дисциплину. Капитан этого корабля, дающего, несмотря на наши общие каждодневные подвиги, течь (из-за недостаточных денежных ассигнований и нехватки персонала), непрерывно перестраивает график, чтобы каждый из нас на своем этаже, на своем месте наилучшим образом обслуживал больных.

При моем появлении она разъяснила мне с полным чистосердечием, что быть санитаркой вовсе не означает играть в медсестру.

— Ваше дело обеспечивать гигиену, чистоту помещений, инструментов, белья, а также обслуживать больных. Перестилать с помощью младшей сестры постели, помогать тяжелобольным умываться, ходить на кухню за едой, разогревать ее здесь в служебном помещении. Коридоры длинны. А наши больные должны есть горячую пищу. Каждому надо дать то, что соответствует его режиму. Зеленый квадратик на листке в изножье постели означает бессолевую диету, красный кружок — диабет. Ваша обязанность — принять пустые тарелки, вытереть столики, вымыть посуду и прибрать служебные помещения. Вас могут попросить подать и опорожнить судно, сходить в камеру хранения крови, подвезти каталку к рентгеновскому кабинету, накормить парализованного. Но прежде всего выполняйте основную работу. Пока бы будете помогать Елене или ее помощнице, кто вымоет за вас пол?

Золотые слова.

Но как удержаться на установленном ею? Одна-единственная дипломированная сестра с одной-двумя ученицами должны перевязать до тридцати недавно оперированных и парализованных с такими глубокими пролежнями, в которые свободно засунешь кулак, терпеливо очистить длинную цепь язв вдоль ног «хроников», взять материал для анализов, наладить вливания, а тут еще всяческая писанина... Счастье, если утро проходит без смертного случая, без необходимости неотложного вмешательства или каких-либо непредвиденных осложнений.

— Синий гной,— шепчет Иоланда Елене, прокатывая мимо нее тележку с медикаментами.— Плохи дела у дамы номер Восемь. Нога мсье Х., вы ее видели, Елена? Появилось черное пятнышко, которого вчера еще не было.

Елена — единственная медсестра с дипломом. Сокровищница терпения, но сама до того истощена, что поспорит бледностью с больными. Полтора часа езды в переполненном метро, два раза в день: из общежития в больницу и обратно. Иоланда — ученица. Черное пятно означает гангрену.

■

Хороша я была в тот день со своими перчатками. Где я себя вообразила? Специализированные рабочие особого рода, мы все же не на конвейере. Напротив, наша работа состоит из самых разнообразных функций, требует быстрых и зачастую непредвиденных действий: опростать судно, прополоскать пропитавшуюся мочой половую тряпку, выжать апельсин и срочно дать сок диабетику, сменить испачканную подстилку; а тем временем начинает подгорать поставленная разогреваться еда...

Нашу фабрику лихорадит так, что никто не имеет возможности сменить перчатки. Натягивать их, снимать — об этом и речи не может быть. Лучше просто облить руки, если вас научили, как это делается, девяностоградусным спиртом или другим дезинфицирующим средством... При условии, конечно, что таковое имеется в наличии в данный день.

У дамы Восемь варикозная язва становится совершенно синей. В ожидании результатов срочного анализа, затребованного ординатором, Симеон, Жюстина и я тысячу раз подтягиваем Восьмую повыше к изголовью кровати. Ухаживая за ней, устанавливая дужки под простынями, мы то и дело касались своими халатами ее загрязненных бинтов. («Она не из легких — все-то стонет»,— ворчит Жюстина.) К тому же синий гной и инфекционный гепатит — вечный кошмар для больничной обслуги. Когда Иоланда предупредила Елену, я видела, как у той улыбка сползла с лица. Она кинулась к старшей сестре, пристала к прыщавому ординатору. Потребовала, чтобы они преступили установленную иерархию и добились, чтобы анализ мазка был сделан безотлагательно. Ведь и лаборатория перегружена до отказа. (В этот каникулярный период никто не заменяет отпускников, и одна-единственная лаборантка производит все бактериологические анализы, лишь в исключительных случаях больница вынуждена обращаться в частные лаборатории.)

Не знаю, чьей подписи не хватило на направлении, но результат анализа стал известен только вчера утром, с опозданием на неделю.

Ждать дольше было нельзя.

— Марта, перевезите на каталке мадам Л. из ее одиночной палаты в общую. Приготовьте изолятор для мадам Восемь. Жюстина, я вам помогу, усадим Восьмую в кресло, чтобы она могла вытянуть ногу, продезинфицируйте ее постель, столик и все вокруг. Мы поместим мадам Л. на эту кровать, как только вы все закончите.

Мадам Восемь, новенькая, чье имя мы еще не успели запомнить, молча ждет, сидя в кресле. Она не понимает, почему ее переводят в другое место. Жюстина моет железную кровать, сменяет пластиковый конверт на матрасе, разбрызгивает повсюду дезинфицирующее средство, от которого дерет горло, а на больных с ближайшего ряда коек нападает безудержный чих.

— Э, чем нюхать дерьмо, так лучше уж это,— весело бросает Жюстина,— а вы, мадам Восьмая, не огорчайтесь: будете, как королева, лежать одна, совсем рядом с нами, и мы будем вас навещать.

Вернувшись домой, я звоню Полю, чтобы он мне все разъяснил. «Скверная история,— говорит он.— Ты всего лишь санитарка и не имеешь доступа к истории болезни, но я уверен, что дело идет о pseudomonas aeruginosa. Мерзость порядочная. Когда я был ординатором, мы прозвали этот микроб «пио-пио». В хирургическом отделении он особенно опасен. Чтобы не заразить всех больных, необходимо достаточное количество хорошо подготовленного персонала, снабженного шприцами, перчатками и халатами, тут же выбрасываемыми. В бесплатных больницах редко снабжают таким материалом, да и в частных тоже не лучше... Случается, что они выходят из положения, перебрасывая заразных больных в больницы Общественной благотворительности... Скажи на милость, твоя Елена, видно, хорошо знает дело!»

Я очень горда комплиментом Поля в адрес Елены, которая, само собой разумеется, о нем не узнает.

Ощущая полную разбитость во всех членах и пустоту в голове, где больничные впечатления продолжают прокручиваться под прикрытыми веками (интересно, услышу ли я в пять утра звон будильника), пропитанная насквозь запахом мадам Л., преследовавшим меня не только в метро, но и дома, я и впрямь становлюсь заправским членом больничной бригады.

Елена — сама добродетель — стоит много выше дерзкой на язык Жюстины (которая, кстати, одна улучила минутку успокоить сегодня даму с синегнойными палочками) и гораздо выше Симеона и Марты. Но на войне, как на войне, и Елена, вдобавок к тому, что она строчит в своем кабинете на первом этаже, еще и бригаду нашу возглавляет.

Я уверена, что сегодня ей с трудом удастся заснуть.

В подвалах больницы водятся крысы. Мария видела одну, «величиной с кролика». От испуга она уронила судки, которые относила на кухню.

На первом этаже нет общих палат: там блоки интенсивной терапии для послеоперационных больных, но в этих палатах приходится гоняться за тараканами, ползающими по стенам.

Марию тошнит от такой работы. «Старшая сестра ходит за мной по пятам,— жалуется она.— Стоит только присесть, перевести дух, как эта полуслепая худышка уже тут как тут — подкралась к тебе в своих веревочных тапочках». Симеон, тот работает

здесь больше года. Он мудрец. «Есть один трюк,— поясняет он,— всегда имей что-нибудь в руках: стакан, который будто бы вытираешь, тряпку — неважно. Без этого обязательно всучат тебе работенку. И хоть сдохни на ней, благодарности не дождешься». Мы закругляемся. День начался.

В лифте Симеон доверительно сообщает:

— Не повезло этой бедной Марии, она новичок в метрополии... Лето, а все время дождь. Содержать в чистоте первый этаж не так-то, видишь ли, просто, тем более, все забито там аппаратами. Разобьешь что-нибудь и погубишь больного. В общей палате раздолье — шваркай щеткой как хочешь. И потом, у нас-то ведь есть Жюстина...

Со вчерашнего дня мы перешли с Симеоном на «ты». Вот как это произошло. По утрам всегда настоящий цирк: уборка палаты, в то время как делают перевязки; нескончаемый бег против часовой стрелки, чтобы воплотить неосуществимую мечту Жюстины: плитки должны высохнуть до того, как на них начнут топтаться сестры и ординатор. Суматоха вокруг больных, одни из которых требуют, чтобы их посадили на стульчак, а другие, наоборот, по собственному почину берут костыли, разъезжающиеся на скользком полу (разве уследишь за всем и за всеми), чтобы отправиться в ватерклозет или так, пошататься — выпросить у соседа запрещенную сигарету, которую они выкурят, словно мальчишки, в уборной, пока наша бригада из сил выбивается.

Вчера Жюстина решила использовать два полагающихся ей выходных, и я оказалась впервые единолично ответственной за уборку. Жюстина почти с сожалением давала мне указания. За тридцать лет службы эта сильная черноволосая, но уже седеющая бретонка стала здесь тем столпом, на котором все держится. Она мне даже польстила: «Марта, на тебя я надеюсь. Мы с тобой куда выносливее, чем эти малышки: Жаклина или Брижитта. Ты еще узнаешь ее, Брижитту, ох и любит она поболтать с больными, вместо того чтобы пол мыть. Ты же, Марта, я ведь вижу... ты неплохо справляешься. Помни, что в этой больнице наш этаж — единственный, куда тараканы не суются. Никакого чуда. Кругом — чистота».

Мне удалось заставить проглотить с ложечки кофе, заправленный молоком, даму Десять, ту, что Жаклина прозвала «крысой». Мы были в запарке. Симеон тер пол в мужских палатах, я — в общей, предназначенной для женщин. Зазвонил внутренний телефон. Дирекция забирает у нас Симеона на часок (так они говорят). Срочные переброски — заболевший служащий, которого необходимо подменить. Обычная песня...

Прошло два часа, а Симеона все нет. Тем временем я к десяти часам, как полагается, вытащила грязное белье из непроветриваемого чулана, где оно слежалось за истекшие сутки: грязные простыни и отвратительно перемазанные подстилки; пока я их запихивала в мешки, нанюхалась вони и запачкала руки. Тут я осмелилась сказать ординатору:

— Там, где я прежде служила, для такой работы давали маски.

Врач сделал вид, что не слышит: «Кого она из себя корчит, эта новенькая?»

Такова конфуцианская больничная иерархия: врачи, за редчайшим исключением, никогда не здороваются с низшим медицинским персоналом. Словно бы смотрят сквозь вас.

Симеон вернулся в полном изнеможении, на его антрацитовой коже блестели капельки пота. Я поняла, что он куда старше, чем кажется, усталость подчеркнула морщины, веки набрякли.

Не говоря ни слова, он направился к шкафу со щетками, потом стал наполнять ведро, чтоб «привести в порядок мужчин», в это время я полоскала тряпки. И не раздумывая, нашла для него верный тон, тон Жюстины:

— Ты что — второй раз собираешься мыть? Все давно сделано.

■

Если бы я писала роман, я бы ввела уже в действие его персонажей, каждому дала бы свою линию. Но я начала узнавать товарищей по работе только к концу недели. Первые дни была лишь сплошная гонка и страх, что, выпав из общего ритма, я из-за своей неумелости сведу на нет усилия всей бригады. Опасалась я и того, что меня отчислят.

Во время «полулегализованного» перерыва, в других местах невозможного, здесь кое-как «дозволяемого», хоть не всегда и выкроишь пять минут, чтобы наспех проглотить чашечку кофе, я себя чувствовала стесненно. Кто говорил о детях или о муже, кто о каникулах. Удастся ли, наконец, поехать куда-нибудь в этом году всей семьей? Мне же нечего было им рассказать. С моей профессией женщине трудновато обзавестись личной жизнью. А что-нибудь сочинять не хотелось.

Я сказала: «Когда-то у меня был муж. Теперь живу одна. У меня есть дочь». Никто подробностей не выспрашивал. К тому же сетования на трудности жизни, на рост цен (литр растительного масла вздорожал почти вдвое) занимают целиком те короткие мгновения, пока мы проглатываем кофе, закрывшись в служебном помещении, взгромоздившись на столы и свесив усталые ноги. Не наша, другая, седовласая,

Жюстина рассказывает, что давно уже она может себе позволить съесть бифштекс только по воскресеньям. Перебивается яйцами и молоком, а иногда недорогими сортами рыбы. Елена вконец вымотана тяжкими переездами из дома в больницу и сложностями с маленьким сыном, которого ежедневно надо куда-то пристраивать. «Если бы наконец-то открыли обещанные ясли...»

По воскресеньям мы едим рогалики — нас угощают медсестры. Елена мне объясняет: «Мы складываем в копилку чаевые, которые нам дают перед выпиской иные из выздоровевших больных. Вот откуда эти «пиршества». Но если вам, Марта, или Симеону, или Жюстине перепадут от больных какие-нибудь деньги, вы их можете, разумеется, оставить себе».

Пусть читатель себе уяснит: Елена, дипломированная сестра, зарабатывает около 1800 франков в месяц, включая оплату тринадцати учитываемых сверхурочных часов, а также прибавку на транспорт (данные 1973 года), установленную после увеличения жалованья низкооплачиваемым служащим. Симеон и Марта получают около 1200 франков в месяц (включая сюда все надбавки). Жюстина за выслугу лет получает несколько больше.

Кто из нас, руководимый самыми лучшими побуждениями, не совершает хоть изредка глупостей? Я еще плохо знаю своих товарищей по работе. Летом, из-за нехватки постоянного персонала, уделом временных служащих становятся частые переброски с места на место. Я лишь мельком столкнулась с Брижиттой, круглолицей девушкой, только что сдавшей экзамен на бакалавра и нанявшейся всего на один месяц, чтобы испытать себя на работе. Меня посылают то на первый, то на третий этаж, чтобы заткнуть брешь в личном составе. С кем-то произошел несчастный случай, кто-то ушел в отпуск прежде, чем ему нашли заместителя, способного вынести по меньшей мере двойную нагрузку.

В каждой бригаде свои обычаи, свои порядки, свои больные, о которых я решительно ничего не знаю.

Наша смуглянка Жюстина — само благоразумие. Когда она борется с хлопьями пыли, сколько бы ей больные ни жаловались на свои болезни, они услышат в ответ лишь нечто односложное. Она меня поучает: «Если тебе ничего неизвестно и знать — не твоя забота, чего же тут рассусоливать».

Ну, а я, вернувшись на второй этаж, ныряю под койку, чтобы вытереть пыль, и, найдя в углу завалявшуюся тапку, ставлю ее аккуратно рядом с другой.

— Она вам пригодится, мсье, когда вы начнете вставать,— говорю я больному, мрачно натянувшему простыню до самого носа.

— К чертям собачьим вашу тапку. Позавчера мне отрезали ногу.

В другой раз я выкраиваю минутку, чтобы сменить воду в вазочке с белыми гвоздиками, которые стоят возле фотографии красивого мальчика на столике у старушки. Что бы такое приятное сказать ей? Симеон издали подает мне отчаянные знаки. Бегу к нему.

— Будь осторожна, у этой старушки месяц назад внук разбился на мотоцикле, она сама мне сказала.

Какая ниточка, подобная тончайшей осенней паутинке, связала этого эмигранта с больной старушкой? Симеон очень сильный и очень добрый. Лишь он один может поднять эту женщину, не причинив ей боли. Он помнит привычки всех больных: кому сколько требуется подушек, как кому разместить дужки от пролежней под простынями. А здесь только это и может вызвать доверие.

Сегодня мадемуазель Б., старшая медсестра, вихрем ворвалась к нам с первого этажа, где ее без конца тормошат, и укрылась в нашем служебном помещении. Я скатывала бинты. Ни слова не говоря, она рухнула в кресло и разрыдалась, спрятав лицо в ладонях. Потом внезапно уснула, словно провалилась в беспамятство.

Целый год в ее отделении лежал ребенок: заболевание крови. Он называл ее «мама Марсель». Вчера утром он умер.

— В таких случаях, сама убедишься,— говорит мне Елена,— сколько ни закаляйся, все равно бродишь несколько дней как потерянная, ничто не идет на ум.

■

Я вживаюсь — пускаю корни, начинаю кое-что видеть. В этой ежедневной гонке, выполняя все свои мыслимые и немыслимые обязанности, я уже не боюсь выдохнуться до старта. Жюстина правильно предупреждала Жаклину:

— Я знавала многих, которые и двух дней не выдерживали. Они заболевали или пугались, чаша их терпения переполнялась, и они сбегали. Но если проскочишь первую неделю, потом привыкнешь.

Так и произошло с Жаклиной, с Брижиттой (она этим очень гордилась) и со мной тоже.

Каждое утро, когда я в своем городском платье прохожу в раздевалку мимо женской палаты, двадцать шесть взглядов следят за мной, узнавая ставшую им привычной Марту, кивают мне. Разбуженные в пять утра («Градусник, мадам»), измученные женщины силятся мне улыбнуться. Начинается день, и успокаивающий аромат кофе, который я буду сейчас разносить, прогонит запахи непроветренной, еще полной ночных страданий палаты.

Я надеваю белый халат, чепец и синий фартук. Тем же жестом, что и Жюстина, я, идя коридорами, на ходу завязываю тесемки фартука. Я — у себя. Бригада ждет меня. Я знаю, что именно должна делать, и все сделаю.

Теперь можно и оглядеться. Я — санитарка, а не медсестра. Мои обязанности, хоть и столь же утомительны, куда менее тяжки.

Место действия похоже на букву «Т»: общая палата на двадцать шесть коек расположена по вертикали; наше служебное помещение, комната Елены, изолятор — по горизонтали. Две мужские палаты, на дюжину коек каждая, находятся по краям этой линии.

Я называю левую «палатой сапожника», этого больного я предпочитаю всем остальным; вторую мои товарищи окрестили «кают-компанией психов».

В каждой палате своя атмосфера. В первой играют в карты, обмениваются газетами и «спортафишами», там всегда под сурдинку играют транзисторы, редко совпадающие программами. Это — нечто вроде казармы, как я ее себе представляю, хотя, по правде говоря, никогда там не бывала.

Во второй лежит тридцатилетний верзила, который лишился всего лишь части ноги — большое везение. Он вечно голоден и съедает по целому бессолевому батону за один присест. В свое дежурство, развозя на тележке утренний завтрак, я подсовываю ему, в виде добавки, кусочек масла, загодя припрятанного мною в карман, слегка подтаявшего, хоть оно и завернуто в серебряную бумагу. Ведь того, что положено по рациону (10 граммов), ему бы едва хватило намазать на один ломтик хлеба.

■

Наша Жюстина уезжает в отпуск на весь август. Чрезвычайное событие. За мытьем посуды или за кофе мы только и говорим теперь о Бретани, о маленькой ферме брата Жюстины, куда она едет, чтобы помочь убрать урожай. Земля не может прокормить всю семью. Но когда Жюстина уйдет на пенсию, она сможет вернуться туда и работать в поле. Ее мечта.

С самой юности, экономя на всем, она лелеет эту возможность.

Проработав не знаю уж сколько там лет, она добилась комнаты при больнице: за это жилье у нее ежемесячно удерживают 100 франков. В полдень она съедает в столовке мясной обед. По вечерам Жюстина довольствуется кусочком сыра и яблоком. Покончено с дорогостоящими, тяжкими переездами. Зато все ее бытие ограничено больничными стенами. Жюстина не вышла замуж. Ничего в ее жизни не происходит, за исключением летних поездок на ферму в Бретань.

— Ах, что там за воздух...— Она молодеет от одного только воспоминания.— И потом,— добавляет тихо,— наконец я не буду видеть этих страдающих людей.

В профсоюз Жюстина никогда не вступала. «К чему,— говорит она,— только деньги транжирить на членские взносы». Но сегодня она выплескивает все накопившиеся обиды: ведь ей известно, что по возвращении она уже Марты здесь не застанет...

— Я заработала тридцать девять отгульных дней, но дирекция их никогда не оплатит как сверхурочные. Эти дни накопились за два года. Я спросила в отделе кадров, нельзя ли дать мне в этом году не месячный, а полуторамесячный отпуск, то есть хоть две недельки мне возместили бы из тех тридцати девяти дней, что они задолжали. И знаешь, что на это сказали в дирекции? «Даже не думайте, вы позарез нужны нам первого сентября. Лучше съездите к рождеству, во время каникул...» Нет, за кого они меня принимают? Разве могу я, на свою-то зарплату, дважды в год тратиться на поездки! Им это отлично известно... А ведь кого они вызывают в экстренных случаях? Необходима замена? Да стоит лишь постучать ко мне в дверь! Уж коли живешь при больнице...

Жюстина могла бы прибегнуть к помощи одного из профсоюзных деятелей. Не хочет. Слишком боится потерять место, с таким трудом раздобытое некогда, по приезде в Париж. Ей хочется «сохранить доверие начальства». Когда Жаклина пытается втолковать ей азбуку классовой борьбы, Жюстина немедленно вспоминает, что сейчас как раз самый момент приступить к генеральной уборке (раздевалка, ватерклозеты, шкафы). Неизменная уловка, чтобы спровадить куда подальше всех этих «молокососов».

— Повидала бы эта девчонка с мое...— ворчит Жюстина.

Она передает мне дела. Отныне, из-за отсутствия замены уехавшим в отпуск служащим, временный работник, каковым я являюсь, должен взвалить себе на плечи не только обязанности Жюстины, но и некоей, находящейся в отпуску по беременности, Ренэ.

— Бери с меня пример, ты — санитарка, ну и делай свое дело, в другие не лезь,— советует мне Жюстина.— Отвечай: ничего, мол, не знаю. Если будешь помогать медсестрам и дальше, совсем обалдеешь, при этом лишнего су все равно не зашибешь.

Она продолжает меня наставлять:

— Однажды, чтобы сделать им одолжение, я обмыла покойника. За это полагается один франк и двадцать сантимов [1]. Думаешь, я их получила? Как бы не так — не моя обязанность. Я не желаю учиться делать уколы и не вынесу судна в неположенный час. А ты? Всегда тут как тут. Можно подумать, тебе это в радость. Вот ты и не успеваешь прибраться или домыть посуду, когда уже пора уходить. Говоришь о моих «отгульных» часах, а сама сколько их накопила с твоими замашками?..

И еще я тебе скажу,— продолжает она.— Пока меня нет, следи, чтоб не разбазаривали наше имущество. Белый эмалированный жбан — с главной кухни, а синий — с нашего этажа.

Девушки с третьего очень милы, но не одалживай им так часто сахар или пакетик бессолевого печенья. Ты ведь знаешь, что у меня всегда есть кое-что про запас,— я-то на мель не сяду. Но учти — они брать-то берут, да не всегда возвращают... А нам ведь самим все дают в обрез.

И еще, ты заслужила выговор. По утрам, считая, что я ничего не вижу, ты даешь двойную порцию масла парню Двадцать восемь, ну, этому ненасытному. Нельзя иметь любимчиков. Пусть ему масло носят те, кто его навещает.

— Да он из провинции,— пытаюсь я оправдаться.— Вчера я дала ему масло соседа, которому перед операцией нельзя было есть... Никто в палате не возражал. Имеет же право сосед уступить свою порцию...

Жюстина меня обрывает, открыв холодильник:

— Гляди, невостребованное масло я ежедневно откладываю сюда. По воскресеньям, когда на кухне всего лишь один дежурный, больные не получают на обед ничего, кроме ветчины и пустой вареной картошки. Вот я каждому и даю кусок масла, чтобы сделать эту картошку съедобной.

Припоминаю день, когда Жюстина, выслушав мой рассказ об одном душераздирающем случае, вышла из себя и сказала: «Да хоть все они передохни, мне-то какое дело...» А ведь ей нет равных по уменью сэкономить, припрятать один-два апельсина, простоквашу или пюре, предвидя, что вряд ли кто сегодня придет к парализованной даме Восемь (у ее мужа восьмичасовой рабочий день, но, когда только может, он приносит ей разные вкусности) или что оперированная накануне очнется сегодня от своей летаргии и захочет есть.

— Если кухня пришлет на десерт творог для мадам Л.,— говорит Жюстина,— она, запомни, его не захочет. Ну и припрячь его для кого-нибудь. А для нее, вот видишь, я храню в холодильнике компот.

То, что у нас делает Жюстина, в нацистских лагерях называлось «organisier» [2]. Но ей-то откуда бы это знать!

Заключенный «организовывал», а вернее — ловчил, выкрадывал у охраны кусок хлеба или фуфайку, чтобы отдать более слабому товарищу.

Вот так же и наша смуглянка Жюстина вынуждена выкручиваться во Франции, хотя времена-то вроде бы мирные.

■

Больничный сад напоминает нам о лете. Это настоящий оазис посредине Парижа. Он зажат между скалами муниципальных домов, в нем вьют гнезда никем не тревожимые дрозды и синицы. Вторая Жюстина, седовласая, которая никогда не ходит в столовку (слишком там шумно, да и дорого для нее), в обеденный перерыв присаживается со мной на скамейку.

Она преисполнена материнских чувств и если не говорит о своей дочери, то рассуждает о «нашей молодежи».

— У Жаклины никого нет, кроме матери,— сообщает она мне.— Отец ее скоропостижно скончался от инфаркта, случившегося на Елисейских полях. Не вздумай заговорить с Жаклиной о нем. Чересчур долго не вызывали «скорую помощь». Прохожие даже внимания не обращали — все торопились в метро,— знаешь, как это бывает в часы пик. Видишь, что кто-то упал, думаешь, пьяный, хватил лишнего, а тебе-то надо скорее домой... Такова жизнь. Полицейская машина в конце концов подобрала ее отца. Да только этот «черный ворон» черт знает сколько еще проваландался из-за

[1] В бесплатных больницах эта работа никогда не оплачивается.

[2] От немецкого глагола organisieren (организовывать). *(Прим. автора.)*

уличных пробок, да объехали, кажется, чуть ли не пять больниц, пока отыскали такую, где согласились принять больного. Когда его, наконец, поместили в кардиологию, было уже слишком поздно.

Думаю,— продолжала она,— что именно из-за этой беды Жаклина бывает подчас непереносима. Никаких денег впереди не маячит, а вбила себе в голову, что должна учиться на медика. Тебе небось невдомек: такая хорошенькая, элегантная, и возлюбленный поджидает ее на мотоцикле у выхода, и для танцев она время выкраивает, но чтобы хоть как-нибудь перебиться Жаклина уже и в прачечной вкалывала, и подавальщицей в ресторане, и продавщицей в Uniprix [1], даже ребят нянчила. А теперь, на время каникул, поступила к нам младшей сестрой.

— А Брижитта? Я знаю, это твоя любимица. Ты все ей спускаешь, и пол готова за нее подтирать... У них в семье — полный достаток. Ей восемнадцать лет, и она ни бельмеса в жизни не смыслит. Не из-за денег пошла в санитарки. Елена мне все рассказала. После экзаменов на бакалавра Брижитта немного сбрендила. Надо было вернуть ей веру в себя, чем-то занять. Ей хотелось на медицинский. Отец соглашался. А мать — ни в какую. Есть у Брижитты сестра, старшая, которой она завидует. Брижитта считает себя толстухой, страдает от этого, а ведь она совсем недурна.

Ее месячная стажировка у нас скоро кончится. Заметила, как ее это радует? Все время твердит: у меня призвание, я убедилась, что смогу стать врачом. Просто приятно смотреть на нее. Надо же так измениться! То и дело целует меня. Вот о ком я буду скучать... Тем более, что и дочь моя собирается замуж. Я ведь рассказывала тебе? А у меня никого нет, кроме нее.

Эта тема для седовласой Жюстины неиссякаема. Но время есть время, и пора возвращаться в корпус.

Я всучила Симеону свои талоны в столовку. Его покинула жена. Он занял немного денег у кузины, которая держит возле Одеона небольшой ресторанчик с антильской кухней. (Он дал мне адрес, сказав, что я там смогу пообедать со скидкой.) Метро ему еще доступно, он не истратил полностью своей абонементной книжки. Но все наличные деньги жена, уходя, забрала, а Симеон получит зарплату только через неделю.

Для меня столовка стала запретной зоной. Жаклина пригласила меня пойти туда с ней. Я согласилась. Но я не учла, что для этого надо надеть городское платье. Не учла и того, что подвалы больницы представляют собой лабиринт, соединяющий под землей все корпуса, и там неизменно толкутся профсоюзные деятели, которых я предпочла бы не встречать.

Едва мы расположились со своими подносами в шумном зале самообслуживания, где обедали группами сотни служащих, как одна женщина, обернувшись, узнала меня и воскликнула:

— Как вы сюда попали? Кто бы мог подумать... Вы уже, значит, не во Вьетнаме?

Именно этого мне и хотелось любой ценой избежать.

Жаклина и лаборантка Берта рты разинули. А я смутилась. Что-то пробормотав, я последовала за узнавшей меня женщиной в сад, куда она как раз направлялась.

— Я вас сразу узнала по голосу,— сказала она. (Что у меня за особенный голос?) — Я вас слышала в передаче «Культура Франции». Разве вы меня не помните? Я давно работаю в системе социального обеспечения при больнице Х... Я вас навещала, когда вы прибыли из Африки. Единственный случай бациллоносителя холеры за целый год. Как такое забыть!

Я объяснила мадемуазель Д., что готовлю книгу, хотя вовсе еще не была уверена, что ее напишу. Умоляла хранить все в тайне. Если мои товарищи по работе узнают, что я журналистка, отношения наши сразу станут натянутыми. Мадемуазель Д. отлично все поняла и обещала хранить мой секрет. К тому же она уезжает сегодня в отпуск. Для меня это было спасением. Но с перепугу я даже вспотела.

Пусть себе Симеон использует теперь мои талоны в столовку!

Однако ценой пережитой тревоги я завоевала симпатию Жаклины и Берты. Мне не пришлось ничего для них сочинять. Пока я была в саду, их воображение не дремало и они сами придумали объяснение.

— Так вот почему ты совсем не такая, как Жюстина? Ты путешествовала. Твой муж там работал — так ведь? А когда вы расстались, ты вернулась во Францию. Но если ты там была медсестрой, пускай даже старшей, все равно заморский диплом ничего здесь не стоит.

Я промолчала.

— Понятно теперь, почему ты так быстро освоилась с уколами, ты и раньше умела их делать.

Посыпались советы:

[1] Магазин стандартных цен. *(Прим. перев.)*

— Надо тебе перейти в частный сектор, там лучше платят. Они там не так придирчивы, как в бесплатных больницах. А персонала и у них не хватает. Зато куда выше жалованье. Наверное, есть способ все это уладить. Хочешь, я наведу справки?

Теперь Жаклина и Брижитта охотно помогают мне мыть посуду.

— Рассказывай. Ты так интересно рассказываешь.

Неужели Вьетнам будет всюду следовать за мною по пятам? Я по нему скучаю. За двадцать два года моей влюбленности в эту страну (свою родину любишь как мать, а влюбляешься часто в чью-то чужую) моя жизнь была тоненькой красной ниточкой, вплетенной в гигантский вьетнамский ковер. Когда работа моя там закончилась, я попыталась выдернуть ниточку.

Но слишком давно она была в этот ковер вплетена. Когда я потянула за нее, она оборвалась.

■

Карусель шприцев, капельниц и урильников — так бегут дни. Сегодня я перечитала первые записи Марты. Все соответствует истине. Лишь имена больных и товарищей по работе я изменила, так же как все штрихи, по которым можно было бы их узнать. Такого правила я буду придерживаться до конца этого повествования.

Два месяца тому назад я уже опубликовала несколько отрывков в своей газете. Совершенно не ожидая этого, получила сотни писем от медсестер и бывших пациентов больниц — куда больше читательских откликов, чем на сборник очерков «У партизан Вьетконга», первую из моих книг, ставшую мировой сенсацией. Одна младшая медсестра из Дижона не спала ночь, исписав для меня двадцать пять страниц о том, что происходит у них в больнице. Она пишет: «Возвращаешься после работы, совсем потеряв человеческий облик. Мы измотаны до того, что уже не обращаем внимания ни на свою внешность, ни на наших мужей. Закон не лишает нас права любить. Но после такой работы мы не можем себе позволить урвать от сна хотя бы часок. Кажется, вот-вот разобьют твою личную жизнь. Я чувствую, что муж меня любит все меньше и меньше... Читать книги, ходить в кино? Я пыталась. Да где на это взять силы? Я знаю — не только нас дробят жерновами. Миллионы людей живут подобно моему мужу и мне. Но главное то, что больничный персонал имеет дело со страждущими существами, а не с машинами. Чтобы поставить больного на ноги, надо время и время. А мы все делаем на бегу. Вот ведь в чем ужас!»

«Профсоюзы добились для нас двух выходных в неделю. Я использую их на покупки, стирку, более внимательный уход за детьми,— пишет одна медсестра из Ниццы,— но с некоторых пор мне все труднее включаться в работу после дней отдыха, я очень устаю».

«Напишете ли вы книгу, в продолжение ваших статей? — спрашивает некая Сильвия, ученица школы медсестер из Лиона, и с горечью добавляет: — Такая книга вряд ли пришлась бы по вкусу читателям, ведь даже любовной истории, для занимательности, в нее не вплетешь».

А почему бы и нет, Сильвия. Подлинная жизнь, как и ее описание, никогда не обходится без любви.

Предрекаю появление моряка, затем матери бывшего (очень активного) осасовца, монахини, которая едва не погибла, воскрешение из мертвых той, которую я прозвала «Мыслью», историю Офелии, историю птицы, а также двух арестантов, которых стерегли в больнице вооруженные охранники, безумную влюбленность Иоланды... и много другого, увиденного мною на передовой нашей битвы за человеческую жизнь, когда я определилась младшей медсестрой в ультрамодернизованную клинику «хирургической реанимации» и участвовала в полетах на вертолете «Жаворонок-3» Охраны общественной безопасности, обслуживавшем «катастрофы».

Аллегро, адажио, анданте, сюита в белом. Симфония барокко. На каждом уличном углу что-то свершается. Чтобы это увидеть, нужно сделать лишь небольшое усилие. Вам — прочесть следующие главы, а мне — научиться передать на расстоянии то, что было бы так легко рассказать вам, если бы вы находились рядом.

Вот кто умеет по-настоящему видеть — сапожник мсье Бернар. Росточком от горшка два вершка, да еще укороченный хирургом, отрезавшим ему по колени обе ноги, он тем не менее зорко смотрит вокруг глазками-щелочками. Ничего общего со злобным подглядыванием старой карги, напротив, он преисполнен дружеского

сочувствия. Совсем не похож на других стариков, которые, всякое повидав на своем веку, ушли в самосозерцание, этот же целиком открыт для впечатлений внешнего мира, жадно их впитывает. Сегодня утром, когда я мыла в его палате плиточный пол, он сказал мне:

— Марта, вы работаете больше левой рукой. А ведь вы не левша. Что-то у вас с запястьем. У вас оно, наверное, болит.

И я слышу журчание ручейка, струящегося в Камбодже, его голос похож на плач и смех человека во сне; ручеек превращается в реку, пересекая область Тайнинь в Южном Вьетнаме.

В Париже, в больнице, в палате, куда Иоланда, поддерживая, привела из операционной строительного рабочего, сотрясаемого рвотными спазмами, где мсье Д. бреется перед зеркалом у единственного умывальника, я слышу журчание того, невесть где протекающего азиатского ручейка. На улице зажегся зеленый сигнал светофора, и орда машин, взревев, ринулась вперед. Над крышами неотвязно звонит колокол какой-то церкви.

Разламывая ампулу, чтобы сделать больному укол, я мысленно переношусь в освобожденную зону Южного Вьетнама и оказываюсь в лесу перед соломенной хижиной, которую партизаны построили для двух приехавших к ним журналистов. Лок, сидя на корточках, шьет из черной хлопчатобумажной ткани мундир, принятый в этом секторе Армии Освобождения. Он ремесленник из Сайгона, избравший для себя джунгли и свободу. Сидит подле меня все то время, что я печатаю на машинке, а ее непривычный для здешних мест стук пугает пальмовую крысу и нефрито-зеленую змею. Лок не разговаривает. Он всего лишь присутствует. Выполняет свой долг хозяина: в его стране — верх неприличия оставить гостя в одиночестве.

Однажды, подняв на меня глаза, он монотонно сказал:

— Наблюдаю за вами с тех пор, как вы здесь. Навидался я всяких ранений. У вас правая рука наполовину парализована. Вы носите тяжести только левой рукой.

И вот этот неведомый мне сапожник, как и вьетнамский ремесленник, догадался о том, что уже позабыто моими близкими: ранение 1962 года, полученное мною в Оране (в машину журналистов со всего маху врезался грузовик. Как было потом установлено, в нем сидела банда оасовских убийц). Я маскирую частичное отсутствие кости серебряным браслетом, с которым не расстаюсь никогда. Такие вещи не заживляются временем. По ночам, особенно после того, как я нанялась в больницу, я вижу во сне, будто мне должны отнять руку.

— Пустяки. Поранилась на работе,— говорю я сапожнику.

И думаю про себя:

«Спасибо, мсье Бернар. Марта жива, раз вы ее разглядели».

■

В палате сапожника появился новенький, двадцатишестилетний. По-видимому — моряк. Он непрерывно стонет, если, свернувшись в комок, не забывается сном. Ранение сосуда, полученное на судне во время плавания, «какой-то зловредный микроб проник в рану» — так считает он. Его направили к нам из госпиталя Морбиана, чтобы узнать мнение профессора-консультанта.

Для Иоланды, Жюстины, Симеона и меня он сразу стал «морячком». Для медиков он «остеосаркома»; подхватив это слово в коридоре, я толком не понимаю его значения. Требуется ампутация. Немедленная.

Парень этот похож на молодого зверя. Несмотря на успокоительные лекарства, он бешено борется с кем-то невидимым, и каждый вечер мы ставим вокруг его койки съемные загородки, чтобы он во сне не упал. Неподвижно лежа на животе, он утыкает лицо в ладони, чтобы ничего не видеть, обо всем позабыть.

Разлука с морем ему тяжела. «Когда я не вижу моря один только день, у меня душа не на месте»,— признается он нам. И вот он спит в Париже.

Он спит в Париже, как рыба в садке
на набережных Межиссери;
как дикие звери, пойманные,
забиваются в самую глубь клетки.
Как те, кого продадут и кто умрет
на ковре меблирашек.
Он уходит в сон.
Как животное, умирая,
спасается бегством,
когда пожелает.
Как усталый путник, который садится
в снег,
отлично зная исход,
Как падает раненый на полдороге к оазису,
и песок чернеет под ним.

Искушение одолевает меня. Растолкать бы этого человека, растолкать мадам А., поднять на ноги всю бригаду. Всех этих покорных ангелов с руками, изъеденными

жавелем, тех, кому нет доступа к историям болезней, но кто всем сердцем чует недоброе. «Сейчас у нас их несколько — таких, кто катится вниз, кто соскальзывает»,— говорит Симеон. Чем их удержать, пробудить волю к жизни? Где та искорка, что их оживит?

Дайте, о дайте нам хотя б на четыре гроша надежды.

■

Ночное метро. По окончании рабочего дня — полная свобода для душевных излияний. Вздремнуть? Хорошо бы... Но в августе поезда ходят так редко. «Приученная» Иоланда делится со мной мыслями:

— Я не такая быстрая, как Жаклина. Только дома начинаешь как-то осмысливать происшествия дня: голова трещит, набита кошмарами, и вот ни с того ни с сего обозлишься. Днем все время носишься от необходимого к спешному, от спешного к неотложному. Где уж тут думать?

Я всегда хотела стать медсестрой. В четырнадцать лет из-за болезни позвоночника я лежала в санатории Берка. Я-то знаю, как унизительно быть забытой на судне, которое за два часа врезалось тебе в ягодицы. В особенности на людях, в часы посещений... В этом санатории я пристрастилась к чтению, к музыке. Я восхищалась теми из нашей обслуги, кто становился для нас вроде старшей сестры. А одной из них удалось, даже там, в санатории, сделать меня счастливой. И мне хотелось быть похожей на нее... Позднее, совсем уже выздоровев, я поступила в частную медицинскую школу города П., неподалеку от места, где жили мои родители.

Очень скоро мы, в качестве практиканток, уже выполняли в местной больнице обязанности не только младших, но и вообще сестер: больница чуть не закрылась из-за нехватки медперсонала. И вот из двух с половиной лет, положенных на обучение, пять месяцев предстояло работать совершенно бесплатно: стерилизации и уколы, дежурства возле оперированных... Практикантка должна все молча сносить, иначе получит плохую характеристику... Протестовать немыслимо. Отказаться от сверхурочных часов — тоже. Я не против практики, но ученицы не должны представлять собой угрозу обществу. Профессия познается не только в теории, однако практикантов надо по крайней мере контролировать. А нами никто не руководил. Хотя от нас нередко зависела человеческая жизнь. Должны же люди иметь право на хороший уход! Реформой обучения предусмотрено, чтобы стажеров консультировала дипломированная сестра. Но беда в том, что для выполнения самой насущной работы во Франции не хватает пятидесяти тысяч сестер...

Словом, я покинула эту школу, из-за чего у моих родителей возникло немало финансовых затруднений. Отдохнула два месяца, а потом наш знакомый доктор устроил меня в одну из парижских школ Общественной благотворительности. Я обрадовалась. Приехала в Париж. Но Общественная благотворительность не может предоставить жилье всем приезжающим из провинции ученицам. Я знаю таких, что живут в ночлежках Армии спасения, церковных приютах, а то и в частных пансионах. Я тоже отыскала такой, не очень далеко отсюда. Спросила по телефону: «У меня будет отдельная комната?» — «Нет, на несколько человек».— «На четверых-пятерых?» — «Что вы, куда больше».

Там я и зацепилась; жила как в казарме: комната с тридцатью раскладушками. Выдержала только два дня, но ни сантима не получила обратно из внесенного мною аванса. 280 франков содрали с меня за две недели вперед! Питалась я в школе, а в пансионе съела всего-навсего два завтрака. За две ночевки в «казарме» выкинуть такие деньжищи! Ты-то знаешь, что стипендия для экстернов 350 франков в месяц. Ну, как из них оплатить жилье? А еще на проезд надо тратиться. Вот и выходит...

Одна подружка по школе подыскала мне комнату в Антони. Это не ближний свет. Я квартирую у стариков, им не хватает пенсии, вот они и сдают. Они ко мне хорошо относятся. А я за ними даром ухаживаю.

Иоланда, ученица второго курса, проходит у нас, в этот период летних отпусков, обязательную двухмесячную практику, с полной дневной нагрузкой. Это значит, что она без всякой оплаты исполняет (в зависимости от обстоятельств) обязанности младшей сестры, а то и сестринские — то есть эксплуатируется, не будучи даже нанятой на работу. Чтобы «выкрутиться», Иоланда, как и ее товарки, дежурит две ночи в неделю в частной клинике. Воскресенье она отводит для сна.

Жаклина свободно могла бы позировать для рекламы джинсов или купальных костюмов. Высокая, победоносно юная и оживленная, она всем внушает любовь своим мужеством и остроумием, направленным как в свой собственный адрес, так и на посрамление «чудищ». Она никогда не жалуется. Принудительная стажировка в рабочей среде многому ее научила. Она отлично понимает, почему, не имея денег, невозможно окончить высшее учебное заведение. И она и ее подруги мечтают изменить общественный строй, сотрудничать когда-нибудь с медиками всего мира. Она работает за десятерых, но умеет и постоять за себя, и для отдыха урвать время.

У Иоланды плохой цвет лица, приплюснутые чепцом волосы, но и она привлекательна своей хрупкостью, мягкостью, выразительными глазами. Только нет у нее возлюбленного, поджидающего у выхода из больницы.

■

Белье, которое мы по утрам сменяем, повествует о драмах минувшей ночи. Я, как всегда, вхожу в непроветриваемый чулан, где скапливаются за сутки испачканные больными подстилки, рубашки, простыни, тряпки. Все это я запихиваю в мешки. Сегодня белье пропитано кровью, склеилось от экскрементов. Видно, ночь была не из легких.

Когда наша бригада сменяла ночную, Долорес едва держалась на ногах.

— Твой черед,— сказала она,— сама увидишь. Мадемуазель Восемнадцатая кричала всю ночь. Дважды разрывалась артерия. Кровотечение из обеих ног. Коллапс. Реанимация, переливание крови... Ее вернули в палату. Вряд ли ей из этого выбраться...

Я отлично знаю Восемнадцатую. Она кухарка. Еще вчера сидела, как кукла, в кресле, страдальчески вытянув свои розовые, распухшие слоновые ноги, и держала в руках вязание, которое так и не сдвинулось с места. Она говорила мне: «Если они мне отрежут ноги, я покончу с собой». Стараясь перевести разговор, я сказала: «Совсем не умею готовить, а вы такая искусница. Не припомните ли для меня какие-нибудь рецепты полегче?» Восемнадцатая всю жизнь «ходила по людям», служила в «буржуазных домах». Польщенная моей просьбой, она улыбнулась. Сейчас, вдыхая кислород, она может лишь кричать, умоляя дать ей воды. Но ей ничего нельзя дать. Ожидают профессора. Он должен принять решение, экстренное, скорее всего — немедленная ампутация.

— Мадемуазель,— говорю я Елене,— позвольте промыть больной рот, ей, может, хоть чуть станет легче.

Я обратилась к Елене на «вы». Я ведь здесь поломойка, а Елена, я это чувствую, готова вот-вот разразиться слезами.

— Оставьте, Марта,— сухо бросает она на ходу.— Это моя обязанность. У вас и своих дел хватает.

Лишний раз радуюсь, что я рядовая санитарка, а не временно заявившаяся журналистка. Я проглатываю свою порцию унижений и тягот, которые здесь постоянный удел Жюстины и Симеона. Почему я вдруг получила отповедь от Елены? Ей же прекрасно известны мои отношения именно с этой больной. Она даже похвалила меня, однажды сказав: «Надо, чтоб каждый из нас имел личный контакт хоть с одним из больных».

Но когда в отделении все идет кувырком, обычно отыгрываются на нижнем по чину. А ведь сколько раз мне, как и другим санитарам, приходилось из-за того, что в больнице всегда не хватает опытных медсестер, сверх своей основной работы и кровь брать, и переливание делать... Я отскребаю кровь, въевшуюся между плитками под кроватью кухарки...

Появляется Симеон в городской одежде, он объявляет:

— Ну вот, меня выставили. Только что. Вызвали в отдел кадров и объявили: «Покажи-ка контракт. Э, старина, ты зачислен как штатный работник. Это дает тебе право на месячную оплату вперед. Отыщи мсье Жюльена. Он, наверное, разбирается в этих делах лучше, чем я».

В этой больнице, как я заметила, очень немногие состоят в профсоюзе. Но я уже сталкивалась с Жюльеном, «мсье Жюльеном», которого все уважают. «Глотку-то он дерет, но работает безупречно. Дирекции не к чему придраться»,— вот как о нем говорят.

Униженная, оскорбленная, с пробуравленными воплями кухарки ушами, обычно покорная Марта, чью роль я играю вот уже скоро месяц, сегодня вышла из себя. И так как Симеон не может решиться, я сама с комком в горле звоню Жюльену по внутреннему телефону. И даже злобно накидываюсь на старшую сестру, встретив ее в коридоре.

В мире белых халатов эксплуатируемый находится в более сложном положении, чем на заводе. Медперсонал увяз крепко. Правильно говорит Жюльен: «Разлюбезное государство рассчитывает на нашу совесть, на чувство профессионального долга. Знают, мерзавцы, что мы уж как-нибудь выкрутимся. Пускай ты в смене один, все равно будешь действовать. Не швырнешь халат, не бросишь больных на произвол судьбы, не подведешь товарищей по работе. Вот зачем надо объединяться, да если б нас поддержало все население...»

«Марта белены объелась»,— сказала бы наша Жюстина.

Меня охватило такое негодование, какое временами заставляет трудящихся в белых халатах выходить на уличные демонстрации.

Я кричала старшей сестре:

— Симеон нам нужен для переноски больных, да и не только для этого. А дирекция его увольняет. Мы и так не справляемся. Ну, а что, если завтра сляжет Елена, как на прошлой неделе — Колетт?

Старшая сестра несколько раз настойчиво звонит в отдел кадров. Она отнюдь не рассержена на меня, коль скоро мои протесты идут на пользу бригаде. Нам обещают помочь. Не сегодня. Завтра. Но пока мы все-таки в выигрыше. А потом Симеон, ушедший с Жюльеном, возвращается и вовсе сияющий:

— Мне заплатят за месяц вперед, если уволят. Но Жюльен считает, что я останусь. Все улажено... Давно я во Франции и только впервые понял, что такое профсоюз.

Поняла сегодня и я, Марта, почему медсестры каждый год безвозвратно бегут из бесплатных больниц в частный сектор. Лишь бы удрать. Не то заболеешь.

Скорее наружу. Открыть калитку больницы — все равно что попасть в иной мир, пересечь звуковой барьер — это ошеломляет. Ночь теплая. Люди вышли поболтать у своих подъездов. Я отбарабанила подряд две восьмичасовые смены. Меня мобилизовали — такое иногда случается, особенно в критический период летних отпусков. Я могла бы, вероятно, и отказаться. Но мне захотелось испытать и это.

Ехать в метро уже нет сил. В одиннадцать вечера, да еще в августе, поезда ходят редко. А завтра спозаранку — опять на работу. Такси нет. Вдруг вижу одно возле бистро с вывеской «В любой час дня и ночи» — сюда мы заходим в перерыв проглотить омлет, выпить чашечку шоколада. Хозяин-корезианец благоволит ко мне. Для моей салфетки заведено индивидуальное кольцо, как для всех завсегдатаев. Подавальщица, уже не задавая вопроса, уверенно приносит мою излюбленную еду. Ее девчушка играет со мной, когда ей приходит такая охота.

— Вы ищете шофера, мадам Марта? — спрашивает хозяин.— Он закусывает.

Вхожу и заказываю пиво, я шага больше не сделаю.

Немолодой шофер такси, явно не в духе, облокотился о стойку и намеренно тянет время. Он ворчит: «Уж и перекусить не дают...» Другие посетители посмеиваются. Среди них нет служащих больницы — ведь я уже всех знаю в лицо, даже тех, с кем и словом не перемолвилась. Сейчас тут лишь подвыпившие незнакомцы.

Буду ждать хоть час, если понадобится. Совершенно измотана. Думаю о Елене, Жюстине, которые никогда не возьмут ночное такси, как бы ни были они обессилены. Влезаю в машину с некоторым чувством угрызения совести, впервые я предаю бригаду.

Чтобы хоть кому-то излить душу, я рассказываю в спину шоферу, как прошел для меня этот день; про кухарку, которой ампутируют ноги и которая скорей всего выживет, но что с нею станется? Кто ею займется? Денег-то нет...

Человек оборачивается, обескураженный и взволнованный:

— А я-то вас принял за дамочку, вышла, думаю, из кино... Я и сам ведь еле держусь.

Уж и не зная, как ко мне подольститься, он начинает в свою очередь жаловаться на трудности своего ремесла; рассказывает, как его облапошивает акционерное общество, в чью кассу он ежедневно должен вносить 12 000 старых франков. Как тут выкрутиться, если не вкалывать по десять, а то и по двенадцать часов в сутки — разрешено это или нет.

— Надувают меня как хотят,— заключает он.

Так мы в полном согласии наперебой изливаем друг другу душу. Мы люди одной породы. Еще примет ли он от меня чаевые? Пожать друг другу руку? Глупо, но мы не делаем этого.

— Спокойной, ночи, мадам, отдыхайте хорошенько.

— И вам спокойной ночи. Мужайтесь!

Эта встреча напоминает мне, что Париж год от года становится в августе все менее пустынным. Когда, выполняя поручения больных, я иду в ближайший дешевый универмаг, то наталкиваюсь на временных продавщиц, которые не разбираются в ценах и преспокойно плюют на это. Вчера одна из них мне сказала: «Апельсины? Кто их знает, сколько стоит кило. Забирайте и уходите, я за вами не погонюсь...»

В метро та же история: полным-полно молодежи, да и взрослых тоже, вынужденных не только отказаться от отдыха, но еще и наняться куда-нибудь на время отпуска, чтобы свести концы с концами. Как наша Жаклина.

ПАУТИНА

Кто кого спасает теперь от отчаяния — моряк или Иоланда? Усевшись бок о бок, он — прислоненный к пышно взбитым подушкам, она — на вплотную придвинутом стуле, оба уставились, ничего не видя, в какую-то точку на стене, и время для них остановилось.

Наступила ночь: двенадцатый час, смена кончилась. В коридоре между общим холлом и палатой сапожника горит одна лишь синяя лампочка, и мне видны отсюда эти два путешественника в никуда, они сидят рядом, словно пассажиры в вагоне; левой рукой парень крепко сжимает кулачок Иоланды. Они не произносят ни слова. Когда девушка дежурит от 15 до 23 часов, неизменно повторяется эта сцена. Иоланда задерживается на какое-то время при сообщническом попустительстве ночной дежурной да и всей палаты сапожника, где больные дружно притворяются спящими.

В начале их сближения не он, а Иоланда отыскивала в темноте его руку и сжимала ее. Отпустить руку — значило вновь сбросить этого моряка в бездну неверия и тоски, удесятеряющих его муки. Во время этой первой фазы Иоланда пробуравила кокон его отрешенности. Она не хотела ничего иного, кроме как протянуть ниточку к этому безнадежно далекому существу, от которого, казалось, уже не добиться согласия выпить глоток воды, подчиниться вливанию, ответить на дружеское рукопожатие.

Но чудо свершилось. Взгляд стал искать взгляда, рука потянулась к руке. Тогда Иоланда, сжав эту руку, уже более не отпускала ее. Она вкладывала в пожатие весь свой жар, отдавала другому всю свою животворную силу.

Я наблюдаю за ними издали, производя обычную для этого часа работу: опоражниваю судна, переливаю из уток мочу в заготовленные у изножий кроватей сосуды. Вот тебе и на! Тип под номером Тридцать семь снова забыл (а возможно, не понял), что мочу его требуют для анализа, и сходил в ватерклозет. Обычные наши заботы. Хрип одного, храп другого, не забыть про сладкий сок, который я еще не приготовила для больной, подверженной диабетической коме...

Иоланда и ее морячок сидят в позе донора и раненого, которому переливают кровь. Она должна чувствовать, как пульсирует его рука. Теперь он жив. А завтра никогда не наступит.

Если войдет старшая сестра, она ничего или почти ничего не найдет в этой сцене предосудительного, что бы можно было поставить на вид ученице. Разве лишь упрекнет за то, что она задержалась возле одного из больных. Сапожник и я, не сговариваясь, охраняем эту тайну.

Моряк уже не стенает в своем мученическом отчуждении. Он больше не призывает смерть. Когда боль делается невыносимой, он только сжимает зубы. Может быть, потому, что хирург, пожертвовав малым для спасения главного, отсек ногу выше колена, а вместе с ней и источник боли? Отчасти, но дело все же не в этом. Моряк обрел стойкость, и теперь уже не Иоланда держит его за руку, как потерявшегося ребенка, которого надо отвести домой. Сейчас он — мужчина — берет за руку Иоланду. Вот в чем победа.

Среди скрипа и скрежета, производимого тележками и каталками, бряканья ударяемых одна о другую уток, среди больничной вони, стонов и шепотов эти двое возгорелись единым пламенем. Построили собственный, невидимый для посторонних дом.

Вчера моряк сказал Иоланде: «Когда вы здесь, я чувствую рядом море». Он уже улыбается. Они почти однолетки. Двое ребят перед необъятностью океана.

Жюстина ворчит:

— Не в рубашке родилась эта парочка. Я не отвечаю. Надо довольствоваться тем, что есть.

Жюстина продолжает:

— Постель морячка всего ближе к нашей служебной комнате. Когда он попросит судно, пойду я или ты. Ее он теперь стесняется. А уколы ей и самой стало трудно ему делать.

Вчера, когда надо было делать вливание, Иоланда позвала меня на помощь, она была бледнее своего пациента, игла дрожала в ее руке:

— Не могу, мне слишком больно.

Я тут же вспомнила того, кто далеко-далеко отсюда, в ночи, освещаемой разрывами бомб, говорил: «Не забывай про топь. Если ты упадешь, мне будет так больно».

— Полноте, я ведь не неженка,— шутит моряк, протягивая свою синюю руку.— Никому, кроме вас, не дано право меня колоть. Я хочу, чтобы только вы это делали.

Девчушка засунула руки в карманы халата. В дверях показалась Елена. Тогда Иоланда опять попыталась попасть в затвердевшую вену на сгибе его локтя. Елена ее сменила.

— Надо вставить катетер, Иоланда. Наш больной — богатырь. Каждую ночь вырывает иглу.

Над спиной склонившейся Елены (у нее способность игнорировать все, чего она не желает знать) Иоланда и Жан (его зовут Жаном, ее морячка) обмениваются

взглядами. Он улыбается, стараясь подбодрить Иоланду, а она не то плачет, не то смеется.

Теперь Жаклина стремится подоспеть туда вовремя. Или она, или какая-нибудь ученица, или я, Марта, когда никого более опытного нет. И все это без ненужного сговора, без видимого сообщничества. Мы все любим Иоланду. А кто не любит любовь?

Когда они сидят вот так, как этим вечером, похожие на деревенских влюбленных, они редко поворачивают лица друг к другу, и не от стеснительности, скорей из боязни некоего головокружения, до сих пор еще ими никогда не испытанного, которое обескуражит их, к которому они плохо пока подготовлены и которого благоразумнее избегать. Головокружение, с трудом удерживаемое, но здесь совершенно немыслимое — никуда не ведущее.

Эти бедные дети изобрели для себя извечную ласку и отгораживаются от смерти, именуемой здесь «остеосаркома», хрупкой преградой сомкнувшихся рук.

Иоланда наделена даром испытывать истинную любовь, которую она принимает с достоинством, скромностью и ликованием. Она вся светится, как облаготворенная, счастливая женщина. Юная возлюбленная, отдающаяся и взятая в мечтах.

Когда мы вместе выходим из больницы (снаружи — воскресенье, снаружи — лето), неоновый свет не затмевает сияния Иоланды. Светлячок зажигает свой фонарик лишь в знак любви.

Предупреждение: если читатель надеется найти здесь пикантную историйку об интрижке медсестры с больным, пусть он отложит эту книгу и почитает на ночь более забавное произведение.

Вся наша бригада: Жюстина, Симеон, Елена, Жаклина, да, кто знает, возможно, и старшая сестра,— не сговариваясь, стала на стражу вокруг этого волшебства.

■

Не знаю, что со мной творится. Окончив рабочий день, забываю купить газеты. Сплю. Иногда, без всякой нужды — ведь никого не жду — натираю паркет в своей двухкомнатной квартирке. Я переселюсь в нее окончательно, когда туда проведут наконец телефон. Кажется — в октябре. До сих пор я не переезжала сюда именно из-за отсутствия телефона, без которого немыслимо заниматься моей настоящей профессией — злободневной журналистикой.

Но, нанявшись в больницу, я, наоборот, поспешила перевезти в необжитые еще стены диван, стол и необходимую кухонную утварь. Я хотела себя ощутить — не дома, а у Марты. В этом квартале Марэ я знакома пока лишь с электриком — турком, любителем птиц. Август в Париже — это отлив. И дочь моя, и друзья уехали в отпуск. Мы в одиночестве — Марта, больница и я.

Я уже не веду ежевечерне дневник, как делала это еще неделю назад: я абсолютно вымотана. Даже телевизор не смотрю в свободные от работы часы. Раненая рука дает о себе знать, в особенности по ночам.

Я одинокий путник, забредший в неведомый лес. Мне только и остается идти вперед, ибо потеряна тропа, по которой можно вернуться.

У меня два свободных дня, но я не поеду к морю, не пойду в кино. Я сплю. Потом, словно завороженная миром белых халатов, иду к Полю — в его больницу. Я в городской одежде, он — в белом. Заметив меня из толпы своих сослуживцев, он помахал мне рукой. Дескать, сейчас, подожди. Его секретарша знает меня. Здесь Марта имеет право усесться в кабинете главного врача. Марта? Или «голубая малютка» из Порт-Руайяля, ученица днем, партизанка ночью, малютка, которую в 1944 году убили в гестапо?

Мадлен Риффо — не является ли она всего лишь постскриптумом к письму, написанному Райнер? Или длинным вводным предложением между Райнер и Мартой?

Поль сообщает, что завтра он уезжает в отпуск с женой и внуком. Я плохо вникаю в его слова. Он умолкает и, взглянув на меня, садится напротив за письменный стол. Он вновь Поль — мой старший, а я Райнер. Он говорит:

— Я знаю, почему ты больше не пишешь. Ты сейчас уже не наблюдаешь. Ты живешь.

Он берет меня за плечо и дружески встряхивает,— так же, я это видела, он поступает часто и со своими больными (в отличие от «моего» патрона, Поль в общении с больными не терпит посредников — он им сам объясняет их состояние, ободряет). Поль — моя зрелость, а я — его юность. Много-много друзей, погибших в войну, совсем исчезнут из памяти людей, невзирая на почерневшие мемориальные доски по углам улиц, когда нас, выживших, тоже не станет на свете.

Поль говорит со мной на самом секретном моем языке, полушутя-полусерьезно:

— Бедная блуждающая душа, остерегись, ты — накануне перевоплощения. Марта завладевает Мадлен. Давно пора отойти. Ты достаточно насмотрелась для репортажа. Оставь халат в раздевалке. Влезай обратно в свою кожу. Самое трудное ты уже совершила.

Поль прав, но он не все понимает. Оставить службу, где моя бригада, мои больные меня ожидают,— это, пожалуй, даже труднее, чем было покинуть Вьетнам. Отправившись в страну Жюстины, я не взяла обратного билета. Обычная моя рассеянность, ты ведь знаешь.

Совместные наши усилия, общие трудности незаметно, но прочно связали меня с моими товарищами. И с больными тоже — паутина, из которой я не знаю, как выбраться.

Поль предложил мне выбрать книгу из лежащих у него на столе. А я принесла ему «Письма Жое Буске к Полю Элюару», которые он хотел прочитать. Одна из моих примет, в которую я лишь одна и верю. Когда друзья расстаются (не помню уж, в какой из воюющих стран я подхватила этот обычай, за который крепко держусь) — хорошо обменяться чем-нибудь, но не подарками, нет, а вещами, которые надо потом вернуть.

Ты не имеешь права умереть вдали от меня, Поль, ты обязан вернуться, чтобы отдать мне книгу.

Поль — самое верное из моих отражений. Я не хочу, чтоб столкновение машин на забитых отпускниками дорогах разбило единственное зеркало, в котором я отражаюсь вся целиком.

■

...Подземелье, сквозняки, лабиринт уходящих вглубь коридоров, тараканы, катакомбы, сырость, мелькающие белые тени, железные двери, подвалы, конечные остановки лифтов. Отнести остатки пищи на кухню. На обратном пути зайти в камеру хранения крови, взять пузырек для назначенного мадемуазель С. переливания.

В коридоре перед рентгеновским кабинетом дверь распахнута настежь, иначе больные задохнулись бы от жары. Я замечаю очередь из людей, пришедших для амбулаторного обследования. Перевалило за полдень. Вызванные на ранние утренние часы, зачастую натощак, они стоят теперь в очереди, после того как прождали этого вызова месяц, а то и два. Чтобы лечиться, надо запастись терпением, выдержать битву, которая утомляет нередко так же, если не больше, как и сама болезнь.

Ожидают больные в узеньком коридоре, нагретом солнцем, прямо бьющим в стеклянную крышу: здесь совсем нечем дышать, не хватает стульев. Несчастные жертвы (как их еще назовешь?) в большинстве ожидают стоя. Персонал, занятый обследованием, перегружен сверх меры. В прошлом году они бастовали и занимались лишь экстренными случаями. Прочих пациентов отсылали в частные клиники. Дирекции больницы это все обошлось дороже, чем если б она увеличила штаты и удовлетворила требования бастующих.

В большинстве больниц положение такое же.

Добавлю, что для консультации у специалистов приходится хлопотать (если нет протекции) и ждать очереди не меньше двух месяцев.

Если же речь идет о случаях неотложных, то, пока больной ждет диагноза, а затем соответствующего лечения, болезнь на досуге делает свое грязное дело.

Потная толстуха забирает мои судки через раздаточное оконце. Она говорит:

— Не часто вас здесь видишь. Вы новенькая?

— Временная санитарка.

— Держи, девушка, миску, поешь-ка этого супа. Тебе нечего опасаться испортить фигуру. А супчик питательный.

Таков, видно, здесь обычай. Дружественный. Здесь никто нас не видит, никто не возьмет на заметку. Не ради ли миски супа Симеон и Жаклина, как только урвут время, охотно предлагают свои услуги для каторжного похода на кухню? Толстуха похожа на нашу смуглянку Жюстину, она наливает полную миску, и я ее опоражниваю.

■

...Елена разговаривает по внутреннему телефону. Окликает меня:

— Марта, вас срочно вызывают в отдел кадров.

— Я еще не вымыла ватерклозеты. Такое уж у них ко мне срочное дело?

— Вам объяснят. Идите, обойдемся с уборкой.

...Я уже не так спокойна за свое инкогнито. Что, если проболталась сотрудница социального обеспечения? Я перебираю в уме привязавшихся к Марте больных: кухарку и ту, которую я окрестила «Мыслью». Нет, я не хочу быть отчисленной до срока, несмотря на обещание, данное Полю. Не хочу напяливать шкуру журналистки. Эта профессия осточертела вдруг мне...

В отделе кадров служащий меня спрашивает:

— Вас зовут Риффо Марта — не так ли? Срок вашего контракта по найму скоро истекает. С вами хочет поговорить заместитель начальника по кадрам.

— Мадам, вы работаете у нас почти полтора месяца. Должен поставить вас в известность, что со всех сторон вы имеете наилучшие аттестации. (Черт побери, Марта ни разу не отказывалась ни от какой работы, ни от одной «возмещаемой» сверхурочной задержки.) У нас нехватка персонала. Почему бы не заключить более длительный контракт — на три месяца, потом еще на три — вплоть до включения вас в штат?

— Невозможно, мсье, до тех пор, пока зарплата санитара останется менее 1500 франков, требуемых профсоюзами. Я не свожу концы с концами. К тому же вы знаете, что мы зачастую делаем вовсе не положенную нам работу, не получая за это ни су.

— Верьте, если бы мы были в состоянии. Лично я...

— Как бы там ни было, здоровье мое не выдерживает таких темпов. Я совершенно вымотана.

Мы играем с ним в кошки-мышки, кто кого поймает.

— Я предлагаю вам выход. Вы ведь не замужем, верно? — Он проявляет сочувствие, тон его становится почти отеческим.— Мы вскоре предложим вам комнату в крыле, отведенном для персонала. Отпадает утомительный, дорогостоящий транспорт. Комната стоит сто франков в месяц. Питание в нашей столовой. Прикиньте.

— Подумаю.

Едва я вернулась в свою бригаду, Жюстина и Симеон обеспокоенно кинулись спрашивать:

— Чего им понадобилось? Ругались?

— Нисколько. Хотели меня закрепить навечно, комнату даже пообещали — такую, как у нашей смуглянки Жюстины.

— Ишь какие добренькие! — восклицает Жаклина.— Когда ты ее заполучишь, ихнюю конуру?.. Да к тому же... если и заполучишь — закабалишься в больнице навек. И тебя будут требовать каждый момент, чтоб заткнуть очередную дырку. Надеюсь, ты отказалась?

Конечно, я в любом случае отказалась бы. Седовласая Жюстина, которая здесь работает бог знает с каких пор, имеет на это жилье куда больше прав, чем я. А теперь, когда ее покинула дочь... Тем не менее когда мы с ней вместе разбираем ночное белье, она, единственная из всех, мне советует:

— Слушай, а может, для тебя это выход — комната здесь? Как-никак...

Она не завидует, нет, даже рада, что я на хорошем счету. И потом, она так боится сама одиночества, что полна сочувствия к моему (воображенному ею).

Брижитту тоже вызвали в отдел кадров. Вся сияя, она нам показывает 1200 франков, заработанных ею за месяц. Первый заработок. Это уже кое-что...

— Не оставляй деньги в сумочке,— поучает ее Жюстина.— Положи их в карман халата и заколи булавкой, да сверху прикрой еще фартуком. Вот так... Ты ведь знаешь, у нас тут иной раз и воруют. Однажды у Симеона стибрили всю зарплату за две недели. Слишком много народу здесь шастает.

В перерыв Брижитта исчезает, никого не предупредив, и возвращается, нагруженная гостинцами: сок для больных, которых не посещают, рогалики к нашему кофе. Ей хочется отпраздновать то, что она рассматривает как победу над самой собой.

Ввозя тележку с бинтами в служебное помещение, она при всех заявляет, что ее родители будут гордиться,— ведь это впервые она заработала деньги на карманные расходы. «Карманные расходы»... Симеон смущенно улыбается. Жаклина едва сдерживается, чтобы не сказать лишнего. Брижитта объявляет, что завтра — в свой последний день — она принесет шампанское.

— Береги деньги, девочка,— ласково советует ей Жюстина,— ты ведь еще не знаешь им цену.

Жюстина, которая всю свою жизнь билась как рыба об лед, Жюстина, чья дочь никогда не поедет туристкой в Турцию (Брижитта вылетает туда послезавтра), материнским чутьем угадала то неловкое, с трудом сдерживаемое волнение Брижитты, когда та, бросившись со слезами на глазах к ней на шею, сказала:

— Я тебя никогда не забуду. Я часто, часто буду к тебе приходить.

Девочка научилась здесь куда большему, чем могли дать ей книги или беседы в их благополучной семье. Позднее она мне расскажет: «Я сама не знала, чего хочу, дура дурой пришла в больницу. А там меня приучили хоть к какой-то дисциплине и делать любую, самую муторную работу, превозмогать отвращение, страх, не отставать от своей бригады. Я спозналась с настоящей нуждой. То, что я тут увидела,— незабываемо. Не забуду я и того, что смогла выстоять. Ведь не так уж я плохо работала — правда?.. Теперь решено — я буду учиться на медицинском, и родители тоже согласны».

Возможно, Брижитта и впрямь нашла свой путь благодаря двум Жюстинам, окрикам одной и снисходительности другой. Она окунулась в грязь, но не в ту, что грязнит,

а в грязь истинной жизни, подобную той, что образуется на рисовом поле, где сеют в воду, под солнцем, способным и буйвола свалить с ног. Она возмужала, и надо помочь ей сохранить веру в будущее.

Жюльен ее понял. Он был среди нас на прощальном празднике и обращался к ней совсем по-приятельски.

— Ты неплохая девчонка,— сказал он,— из тебя выйдет толк. С больными целуешься, в перерыв, вместо завтрака, бегаешь к ним поболтать, суешь им подарки... Но твоего вклада все равно недостанет на решение и миллионной доли проблем; самоотверженность даже всего персонала больницы бессильна что-либо тут изменить, хоть бейся о стену лбом. Чтобы облегчить судьбу всех жертв общества, надо изменить само это общество.

Разгорелась дискуссия, которую мы — активист Жюльен, Жаклина, Брижитта и Марта — продолжили после работы в кафе за аперитивом.

— Престарелая дева, которую вы прозвали «кухаркой»,— типичный случай,— пояснил нам Жюльен.— После ампутации она могла бы еще долго жить... Но ведь надо освободить койку, и ее вот-вот выпишут в одну из пригородных больниц для так называемых «хроников». А там, среди скопища инвалидов, при острой нехватке сестер, санитарок, способных за ней ухаживать, восстановить ее силы, следить за ее режимом... но что важнее всего — за состоянием ее духа, она быстро выйдет в тираж.

И Жюльен рассказал нам историю папаши Лапена, одного из своих подопечных больных. Папаша Лапен был так истощен, что страшно было смотреть на него. Право есть мясо не аннулировано конституцией. Мясники охотно его продают, но когда ты, выйдя на пенсию, получаешь в день 10 франков (с 1974 года — 17 франков 12 сантимов)... Короче, старик после смерти жены пытался покончить с собой. Неудачно.

Операция прошла успешно, и после двух месяцев пребывания в больнице папаша Лапен стал поправляться. Здесь он ел досыта. Начал уже гулять по саду на костылях.

— Мы его полюбили,— говорит Жюльен,— и у него появился вкус к жизни: он шутил, рассказывал анекдоты. И вот настал день, когда он попал в другую больницу — совсем в иной мир. Мы-то считали, что это к счастью: в его состоянии немыслимо было отправить его домой.

Хочу, чтобы ты уяснила себе, Брижитта. Общая палата — не сахар. Но хуже всего то, что вылеченные старики плачут, не желая с ней расставаться. Тут они, по крайней мере, не одиноки, сыты, в тепле. Однако ничего не поделаешь, их выписывают... Но так же, как мы, они знают, что скоро свалятся вновь и подохнут... Болезнь нищеты...

Через три месяца после отправки папаши Лапена у меня подвернулся случай зайти в ту больницу для хроников, куда он попал. Чтоб полностью выздороветь, ему еще требовалось хорошее лечение. Не мог же он его получить в тесной квартиренке детей и внуков, которые день и ночь на работе... А его жилье — это надо видеть... Я нашел моего папашу Лапена в коридоре, на раскладушке — в палате не было места. Он ходил под себя, томился в нечистотах и весь был в пролежнях. Папаша Лапен совершенно потерял аппетит и уже не шутил. Он отходил от жизни. И меня не сразу узнал.

Я сбегал за красным вином, за камамбером — раньше мы с ним частенько вместе закусывали,— я знал, что это его любимая еда. Он присел на постели и начал рассказывать истории из своей юности. За десять минут он словно переродился. Мне было очень грустно покидать папашу Лапена. Да, да, очень грустно.

Мы все сошлись на том, что надо вести борьбу на два фронта. Как можно лучше ухаживать за страждущим человеком, иногда держать его за руку, дарить хоть каплю дружеского тепла, ведь даже за пять минут можно порой одолеть отчаяние.

Но и не забывать, что в одиночку мало чего добьешься.

СЮИТА В БЕЛОМ, ИЛИ «НОЧИ НА ПЕРЕДОВОМ ПОСТУ»

Отступление

Был день, когда я хотел говорить, но вокруг меня — одни стены.
(Нацарапано на фасаде дома напротив № 28 по улице Бланш и обнаружено 11 июня 1974 года.)

Рассказ одной медсестры

К вашему репортажу мне хочется присоединить свой. Я нахожусь в больничной среде вот уже пять лет.

Частная школа медсестер в провинции. Практические занятия были для нас почти непереносимы, но очень выгодны для частной клиники. Я ви-

дела такие бригады, в которых на десять—пятнадцать стажеров приходилось всего-навсего две дипломированные сестры. На тридцать, а то и на сорок больных общей хирургии этих двух, естественно, не хватало, и мы были вынуждены выполнять их работу, как умели. Впрочем, мы как-то выкручивались, иногда получая указания, иногда обходясь и без них. Мы истязали больного, даже беря кровь на анализ. При перевязках отнюдь не всегда соблюдалась стерильность. Случались ошибки и в дозировке лекарств, и в диете. Но если мы что-нибудь разбивали, приходилось платить.

К хирургической практике я была абсолютно не подготовлена. Я только и видела послеоперационные швы. Вдруг меня снаряжают: халат, маска и прочее. Надо выдержать испытание. Медсестра должна собою владеть, уметь быть хладнокровной, иначе не жди хорошего отзыва по окончании практики. Я знала нескольких учениц, которые помогали хирургу оперировать, когда отсутствовал ассистент. Нам укорачивали каникулы, обязывали сверхурочно работать по воскресеньям. Посылали за нами, если не являлась ночная дежурная.

Ночные дежурные, как правило, не имели диплома даже и младшей сестры, а их было двое на сто двадцать больных общей хирургии. грудная полость и сосудистая патология. После четырехмесячного обучения я дежурила в одиночку, ничего практически не умея и отвечая за сорок больных. Единственная опора — ординатор. Вот тогда-то я обнаружила, разнося в пять утра градусники (чем больше больных, тем раньше приходится их будить), что один из моих пациентов истекает под одеялом кровью, а другой уже мертв; его смерть была предопределена, но никого при этом возле него не было.

...Едва получив диплом, я поступила в частную клинику города Д. Бумажка, составленная дирекцией, предписывала мне сорок рабочих часов, одно свободное воскресенье из трех и месячную оплату 1120 франков. Я подписала, не читая текста этого обоюдного соглашения. Мне нужны были деньги, необходима работа. Я понятия не имела о внутреннем распорядке этого заведения. В результате я работала чуть не каждое воскресенье, а получала лишь 1109 франков. Местный профсоюз был бессилен помочь мне.

За десять месяцев службы там, клянусь, я навидалась такого, что даже пыталась покончить с собой, после чего получила всего десять дней для поправки здоровья.

...Роженица умерла, разрешаясь от бремени, только потому, что никто не поинтересовался состоянием ее сердца, другая — потому, что поздно приступили к реанимации после шока от наркоза.

...Я сама, проработав бессменно двенадцать часов, ошиблась с лекарством. Перепутала два пузырька, и кормящая мать выпила не те капли. К счастью, младенец не взял грудь — молоко приобрело дурной вкус...

Я была свидетельницей того, как задохнулся привезенный с операции человек, потому что у впавшего в панику персонала не было под рукой необходимых препаратов. Я пережила дни, когда мы должны были производить обработку больных от 5 до 7 утра, и не было у нас ни времени, ни желания вступать в объяснения с ними или хотя бы их успокоить. Впору было успокаивать самих себя.

Инъекции делались в такой спешке, что о стерильности забывали и думать... По вечерам я приходила домой раздражительной, нетерпимой, и, если, в довершение, заболевали муж или сын, я окончательно падала духом.

Бессонные ночи полны тревог — не упущено ли чего, все ли сделано, вспоминались обиды и оскорбления, пережитые за день. Да всего испытанного в тот год не упомнишь — на расстоянии многое забывается, но серьезнее всего то, что даже перестаешь возмущаться.

Уволившись, я взяла два месяца отпуска: хотелось подвести черту. Частные клиники? С этим покончено... Пощем места в больнице Общественной благотворительности. Написав более тридцати писем — всюду нужны были сестры,— я выбрала место в полубесплатном заведении, которое занималось восстановлением двигательных функций. Школьные мечты о специализации отошли в область предания. Я выбирала работу наименее изматывающую и как можно лучше оплачиваемую. Теперь я получала ежемесячно 1700 франков [1]*. Первый год прошел относительно благополучно, невзирая на одного из членов дирекции, который и слушать ничего не хотел, когда ему докладывали о каком-нибудь неотложном деле, но всеми способами старался до отказа завалить персонал работой, натравливал людей друг на друга, исключительно для того, чтобы показать свою власть. Там*

[1] С июля 1974 г. после длительной борьбы профсоюзов этот оклад увеличен до 2000 франков. *(Прим. автора.)*

я тоже насмотрелась всяческих ужасов, но это уже не действовало на меня так как прежде, когда я была еще преисполнена иллюзий и веры в святость моей профессии. В дни больших обходов — веселая каторга омовений, приправленная обидными замечаниями в адрес несчастных стариков. Не к чести своей должна признаться, что грешила этим и я. Оно и понятно. Когда все осточертевает, то без разъяснений, которые тебе дадут в профсоюзе, так легко спутать, кто твой истинный мучитель, вот и кидаешься на того, кто к тебе ближе.

Уровень медицинского обслуживания оставлял желать лучшего, и в большинстве случаев мы получали приказ не особенно вмешиваться... Старики не имели гроша за душой, к чему длить их угасание.

Мы, сестры, едва разбирались в болезнях этих стариков. Двое совершенно неожиданно умерли на наших глазах, а мы так и не поняли почему. Целую неделю после этого я буквально глаз не сомкнула от огорчения. Ведь они лежали у нас больше трех месяцев. Мы успели уже познакомиться, полюбили друг друга.

Я вообще люблю пожилых людей, мы обязаны к ним относиться с почтением и признательностью, но во многих лечебных заведениях наблюдается как раз обратное. Старикам хотелось бы, чтобы с ними поговорили, поняли их. Они любят предаваться воспоминаниям юности, потому что их страшит будущее, пугает смерть. Нужда ухватила их за глотку, хотя они и ишачили всю свою жизнь; терзают их и семейные заботы: «Невестка меня не любит, оба они целый день на работе... Куда деваться после больницы?»

...Чувствую, что если не урву время для самообразования, то покачусь по наклонной плоскости, забуду все, что когда-то учила. Эх, должны бы существовать курсы усовершенствования...

Вот итог впечатлений от нескольких лет работы. С прошлого года я член профсоюза и Французской коммунистической партии. Мой муж мне во всем помогает, несмотря на это, я ощущаю порой безысходное одиночество.

Я люблю свою профессию, но со столькими неполадками приходится мне в ней сталкиваться! Я хочу перемен и мечтаю сражаться упорнее, и лучше, и больше — за то, чтобы все изменилось. Я крепко люблю свою трудовую жизнь.

Мирей Л.

P. S. Если то, что я вам написала, послужит правому делу, я буду счастлива.

■

В одном из предместий Парижа недавно возведена восемнадцатиэтажная бетонная башня, возвышающаяся над подъемными кранами и развороченной бульдозерами глиной.

«Гуманизация». Вы входите в холл, который похож на аэропорт в уменьшенном виде. Цветочные и книжные киоски, бар-закусочная, парикмахер и салон красоты (все это достаточно дорого стоит), часовня, звонки к капеллану и к пастору.

Но отсюда никто не вылетает на самолете, зато некоторые прибывают вертолетом (который обслуживает экстренную скорую помощь и реанимацию), доставляющим сюда людей, искалеченных «цивилизацией»: дорожные аварии, несчастные случаи на производстве, инфаркты, самоубийства.

Не хватает лишь сладкого голоса из громкоговорителя (но в некоторых подобных учреждениях, кажется, и это уже введено); голоса хриплого, но сладкого, типа «Воскресенья в Орли», который говорил бы: «Пассажиров, направляющихся в гематологию, просят к лифту 5 — остановка на 10-м этаже. Спасибо». Или: «Пассажиры, следующие в направлении иммунизации, ваш лифт отходит. Будьте любезны явиться с историями болезни в коридор 8, лифт 11, остановка на 8-м этаже. Профессор Эмиль Х. желает вам всяческого благополучия в его секторе... Пассажиры, убывающие от нас, мы надеемся на новую и незамедлительную встречу».

Апофеоз карьеры Марты: теперь я в качестве младшей сестры прохожу испытательный срок в одном из тех учреждений хирургической реанимации, которые считаются лучшими в Европе и которые так охотно показывают иностранным гостям.

Разительный контраст с обветшалыми больницами, к которым я привыкла: здесь все другое, как состав больных, так и обслуга; здесь призваны раздуть ту искорку жизни, что тлеет где-то в глубинах ночи, в которую погружены больные, «потерпевшие аварию»; здесь все полно спокойствия и здравомыслия; электроника, асептика и эффективность. В реанимационной хирургии царит роскошная тишина. По стенам развешаны фотографии и абстрактные картины.

Ночи на передовом посту. Прежде чем проникнуть в центр реанимационной травматологической хирургии, Марта надевает зеленовато-голубую пижаму (все голубое — стерильно), натягивает целлулоидные сапожки, завязывает за ушами тесемки маски. Плакат, висящий на стене, привлекает внимание персонала: в прошлом месяце на каждых семь больных пришлось по 15 000 (цифра явно преувеличена) пар единожды использованных перчаток.

Жюстина, которая продолжает ежеутренне голыми руками и без маски сортировать ночное белье, перепачканное кровью и экскрементами, попади она сюда, в этот мир, куда я проникла, совсем бы потерялась. Впрочем, меня уверяют, что у любой попадающей сюда медсестры голова поначалу идет кругом.

Здесь-то часы не отстают: они показывают двадцатый век.

■

Точно в четыре утра дрозд начинал петь в больничном саду — там, у Елены. Можно подумать, что в зобу у птиц — часы. Я открываю окно в коридоре, который ведет в хирургическую реанимацию, и всматриваюсь в белесую ночь. Перерыв. В уснувшем пригороде где-то тоже свистит дрозд, дежурный дрозд. Ведь сейчас четыре часа утра.

Ночники льют свой приглушенный синий свет. Я сплю, стоя у окна, и Марта перевоплощается в Райнер, которая в 1943 году так гордилась тем, что ей поручили ночное дежурство в роддоме. Помогать ночью рождению младенцев, а днем участвовать в подпольной борьбе — тут любой и более взрослый, чем я тогда, возгордился бы.

Сегодняшней ночью, спустя тридцать лет, Марта следит взглядом за машиной «скорой помощи», которая въезжает во двор, а все ее мысли там — в роддоме. Ностальгия. Почему эти тридцать лет прожила я не в белом халате?

Однако ни 1943 год, ни работа в П. не представляли собой ничего вдохновляющего. Ученицы набивали руку на самых что ни на есть бедных женщинах, истощенных, отдавших все свои силы зреющему плоду. Впалые щеки, землистый цвет лица, запах нищеты, лихорадочное дыхание, озлобленность с начала и до конца. Ни еды, ни мыла. Окон почти не открывали, чтобы сохранить хоть какое-то тепло. Зима нагрянула на Францию, лишенную угля. Все дрожали от холода. Но это не мешало нам, молодым, веселиться напропалую.

Однажды мне поручили зарегистрировать вновь прибывшую роженицу.

— Имя, фамилия, семейное положение?

Она оказалась незамужем.

— Кого известить в случае надобности?

...Полное отсутствие кого бы то ни было. В анкете значилось: «Фамилия родителя». Я спросила попонятнее:

— Назовите фамилию отца вашего ребенка.

— Не могу, мадемуазель, я почувствовала только пуговицы его мундира.

— Ясно, дело происходило вдалеке от уличного фонаря,— прокомментировал ординатор.

Эта реплика облетела роддом. Возможно, она и до сих пор удержалась там в приемном покое. Уличная проститутка? Это так и осталось невыясненным. Мы смеялись. Как идиоты.

В этом учреждении я стала свидетельницей привычного глумления над женщиной, которое меня, неопытного подростка, лишь теоретически знакомого с тем, что такое любовь и каковы ее последствия, потрясло до глубины души. К нам доставили хрупкую женщину с потерянным взглядом. Маточное кровотечение.

Профессор Х. позвал меня: «Подержи таз, милочка». Хирургическое зеркало, длинная, тонкая и острая ложка для выскабливания... Больная вопит. Я обезумела. «Мсье, почему? Почему без анестезии?» Профессор снисходит до объяснения: «Мадемуазель, мы всегда производим без анестезии выскабливание, спровоцированное искусственным выкидышем». Он злобно поворачивается к почти безжизненной женщине: «Это вас научит, мадам, не повторять подобного».

Я потом никогда не встречала этой женщины, потому что на следующий день, по приказу вожаков моей группы Сопротивления, я навсегда покинула больницу. Я растворилась «в тумане», по жаргону той эпохи. Прослушав последнюю лекцию, я мстительно швырнула пачку антифашистских листовок в аудиторию, где разглагольствовал этот профессор. Выпущенные мною голуби, белокрылые, легкие, разлетелись повсюду, опускаясь на столы и скамейки. Все покрылось снегом.

Позднее, после моего ареста, когда немцы нашли у меня ученическое удостоверение, которое я использовала вовсю, ведя пропаганду среди студентов, мои палачи отправились в акушерскую школу справиться у профессора, не похожа ли моя фото-

графия на лично ему известную особу. Он мог бы ответить уклончиво: ведь в школе столько учениц... Но профессор уведомил гестапо, что я внезапно и без причины исчезла... а накануне кто-то разбросал антифашистские листовки в аудитории. Поводы для моего ареста были столь серьезны, что подобное свидетельство уже не имело решающего значения. Тем не менее я поплатилась за него лишними побоями — «танцами», как мы их называли, а кроме того, подозрение могло пасть на Югетту, мою товарку по Сопротивлению, тоже «голубую малютку», но Югетта вовремя скрылась.

И несмотря на все это, я благодарна профессору, потому что его уроки мне пригодились.

Между двумя допросами в гестапо я просидела неделю в камере французской жандармерии, куда однажды ночью фашистские палачи бросили рыжую женщину, которая странным образом (так мне, по крайней мере, показалось) была похожа на ту несчастную, которую профессор оперировал без анестезии. Общая для обеих детская хрупкость, худоба, платьице цвета хаки из штапельного мнущегося полотна, которое еще никого не согрело, но которое только и можно было тогда достать по изредка выдаваемым талонам.

Беременность около восьми месяцев, замужняя — как она мне сказала,— муж еврей, партизан, «растворившийся». Ее схватили вместо него. Чтобы вынудить ее открыть местонахождение того, кого она любит, палачи били ее в живот сапогами. Она мне сказала: «Они орали: «Там у тебя жидовское семя!»

Платье ее пропиталось кровью, а под ней на полу растекалась громадная лужа, пускавшая ручейки под скамью, которая мне служила постелью. Сколько крови... Колотя в дверь ногами и руками, я кричала, что заключенная умирает. Дежурный французский полицейский повернул снаружи ключ: «Замолчи, еще, что ли, танцев захотелось, шеф спит». Плевать мне было на сон этой продавшейся гестапо скотины. Полицейский был, как видно, сочувствующим. Во всяком случае, он принес мне таз с водой и тряпку. Тут уж было не до асептики... Начались роды. Кровь продолжала хлестать, женщина совсем обессилела, но ребенок рождался, он выходил из разодранного чрева, свершались вынужденные, преждевременные роды.

Я держала в руках тюремного новорожденного, но сколько я его ни трясла, ничего не помогло — он был мертв.

Тут я потеряла какую бы то ни было осмотрительность. Холодное, убийственное бешенство, доводящее до головокружения, неудержимо сотрясало меня, когда я перерезала пуповину ножом полицейского.

— Сейчас же позовите сюда начальника или, если боитесь его, отведите меня к нему.

Мне пришлось долго уламывать полицейского, прежде чем он согласился.

— Он тебя на месте убьет за то, что ты его разбудила, да и я тоже многим рискую.

Разумеется, начальник, налакавшись спиртного, должен был сейчас дрыхнуть, сраженный тяжким дневным трудом. Избивать утомительно.

— Женщина умрет, если вы немедленно не отправите ее в Отель-Дье (мы находились рядом с больницей, где была палата для заключенных).

— А мне-то какое дело! — заорал этот тип, почесываясь.

— Мсье, вы убили ребенка. Вам повезет, если удастся спасти мать... По-моему, вы так же рискуете, как и она. Напоминаю: союзники уже высадились в Нормандии. Участники Сопротивления вас не помилуют... Я к вам взываю в ваших же интересах.

Довод подействовал... Шеф наотмашь ударил меня хлыстом, так что я отлетела к стене, но это лишь для того, чтобы спасти перед подчиненными свой престиж. Через несколько минут двое полицейских уже тащили на носилках потерявшую сознание родильницу, у которой почти не прощупывался пульс. Младенца, как освежеванного кролика, завернули в газету и положили на тело матери... Это был мальчик.

Таков первый и последний медицинский акт, совершенный Райнер, «голубой малюткой» из больницы X.

Сегодня вечером у окна больницы хирургической реанимации мне вспомнилась эта давняя история.

■

В этой сногсшибательной больнице сто незанятых постов. Количество медсестер и практикантов удовлетворительно в реанимационной хирургии, зато — вот хотя бы сегодня ночью — на все кардиологическое отделение — одна-единственная сестра. И это еще не худшая из ночей, потому что вышеупомянутое отделение остается зачастую на попечении санитара.

Этажом ниже одна-единственная сестра отвечает за семьдесят оперированных. Семнадцать из девятнадцати отделений этого высокоспециализированного учреждения нуждаются в куда большем числе служащих всех категорий. Днем здесь присутствует огромное количество медиков различных специальностей, отчего работа так и

кипит: анализы, осмотры, переноска больных на носилках на большие расстояния, к примеру — в рентгеновские кабинеты,— все это удесятеряет усталость санитаров.

Никто этого не учел, и вот несравненное заведение — ультрасовременная больница — из-за нехватки персонала крутится, вопреки здравому смыслу, на холостом ходу. Образуется абсурдный разрыв между высочайшей медицинской квалификацией, технической и научной революцией и отсутствием элементарных материальных возможностей.

Нет ничего удивительного, что множатся забастовки, усиливается борьба за свои права членов профсоюза работников в белых халатах, жестоко эксплуатируемых, измученных до последней степени.

Утечка персонала, перекочевывание служащих из одного отделения в другое снижают «оборачиваемость койко-мест» и целиком «замораживают» некоторые палаты.

— Чем все это обернется при росте числа дорожных аварий, когда начнут возвращаться в город отпускники,— озабоченно вздыхает Жюльен.

Иду в палату «самой экстренной помощи», где размещены тридцать шесть коек. Сегодня вечером палата набита до отказа. В холле и коридоре, ведущем в переполненную «неотложку», томятся двадцать или двадцать пять больных. Эти люди должны часами дожидаться своей очереди, пока дежурный ординатор и сестра смогут ими заняться. Даже одеял и то не хватает на этих дрожащих от холода «пациентов».

И подобное положение — не исключение из правила. Наоборот — оно считается «нормальным».

Моя «сообщница» — студентка — рассказывает, что несколько дней тому назад среди таких вот ожидающих была получившая травму молодая женщина, которая находилась в депрессивном шоке. Пока собирались ею заняться, она поднялась, прихрамывая, добралась до окна коридора и выбросилась на асфальт.

— Ты ее видела, это — номер Семь из нашей хирургической реанимации.

Я рассказала по телефону эту историю своей приятельнице Франсуазе, медсестре из больницы святой Анны. И она ответила мне по поводу этой больной: «По крайней мере, ею занялись,— и тут же, перебивая себя, воскликнула: — Нет, ты слышала, что я сказала? Вот до чего нас довели...»

Эта больница — настоящий город (6000 жителей: больных и персонала), только без полиции. Незаконное присутствие одной младшей сестры проходит здесь совершенно незамеченным. Здесь может неделями укрываться случайно забредший бродяга. Один из фельдшеров рассказал мне, как больной, подверженный диабетической коме, в результате обосновался тут навсегда. Он был мастером на все руки и, когда держался на ногах, всем оказывал множество услуг. Врач, заведующий отделением, благоволил к нему.

Этот тайный больной спал в ординаторской для ночных дежурных, питаясь объедками, тут он был в безопасности и ему было куда лучше, чем дома — одному в его возрасте. Когда начинался очередной приступ, ни минуты не оказывалось потерянной, он тут же становился официальным больным.

Однажды ему захотелось выйти в город. «Потеря сознания на улице». Полицейская «скорая помощь» доставила старика в «его» больницу. Больной кое-как выговорил имя своего профессора, он хотел, чтобы его немедленно доставили именно к нему. Но врача, заведующего отделением, не оказалось на месте, и, пока длилось оформление, пока нашли свободную койку... Можно ли было его спасти?.. Кто знает, возможно, наступил его час. Старик умер на носилках. Фельдшер, рассказавший мне эту удивительную историю, добавил, что профессор огорчился, когда на следующий день узнал о смерти своего протеже.

«Марта, сбегайте в камеру хранения крови!» Дорога мне известна. Я поняла, что в этом лабиринте коридоров надо следовать по красной линии, начертанной на линолеуме. Лучше бы катить на велосипеде или роллере. Если б у меня был под халатом счетчик километров... Во время этих пеших прогулок совершаю неприятные открытия. «Лифты-помойки», как их называет Франсуаза, служат для всех видов перевозок: больные, посетители, персонал, тележки с пищей рядом с тележками, переполненными грязным бельем. Хлопья пыли по углам коридоров, фанерная обшивка отстала, краска облупилась. Это совсем новое заведение должно было бы сверкать чистотой. Увы! Уборка поручена частной компании, которая использует необученных низкооплачиваемых рабочих и заботится больше о своих барышах, чем о гигиене. Больницу нельзя убирать, как вокзал, ею нельзя управлять, как заводом. Натертый пол — что за богатая среда для бактерий...

Все быстро приходит в упадок в этой «образцовой» больнице, с которой ни одному частному лечебному учреждению никогда не сравняться.

■

Работать с ними нелегко. Когда вы думаете, что теперь можно задать вопрос, вам не отвечают. Времени на объяснения у них нет. Они говорят на варварском языке, состоящем из цифр и непереводимых для профана сокращений. Двадцать раз я оставляла попытку хоть что-то о них рассказать, из страха, что ошибусь, переврy,

предам их, опасаясь также «патрона» — бога-громовержца, ценимого ими на вес золота («Не поздоровится,— говаривал Пауло,— если он заметит какой-нибудь промах».)

Когда во время работы они говорят по радиопередатчику (основная пуповина, связующая медицинских диспетчеров с SAMU [1]) — у них кодированный военный язык.

— ARS-2, [2] здесь ARS-2, ARS-2 вызывает SAMU-X. Вы меня слышите?

— Здесь SAMU-X, ARS-2, говорите — вас понял.

Следует серия цифр, технических терминов, соответствующих симптомам состояния больного, которого надлежит транспортировать. Я уловила лишь одно определение — «кома».

Сердце SAMU — коммутатор, принимающий сигналы от врачей, полиции, пожарных. Здесь сортируют эти вызовы и руководят спасательной бригадой, выехавшей с неотложной помощью.

В оборудованной медаппаратурой машине врач анестезиолог-реаниматор суммирует все данные, ставит диагноз и действует без секунды промедления, применяя ту же аппаратуру, что и в реанимационно-хирургической больнице. Диалог на расстоянии с врачом-диспетчером не оставляет не учтенным ни один симптом. Завязывается ожесточенная битва: участок боя, прибытие бригады, схватка; точность выверенных жестов, дисциплина, сноровка и интуиция соединяются с тем, что людская наука изобрела наиболее революционного против давнишнего своего врага, чьи уловки ей хорошо известны. Ремесло парней SAMU — спасение жизни.

Я сижу рядом с шофером. Через стекло, находящееся позади меня, мне виден кузов машины, похожий на маленькую операционную. Больница приблизилась к умирающему — в данном случае к женщине, сшибленной на пешеходной дорожке. В этой машине «скорой помощи» она уже госпитализирована. Несчастный случай произошел полчаса тому назад. Спасательная бригада состоит из врача-специалиста и фельдшера анестезиолога-реаниматора.

Парень за рулем — тоже лицо не второстепенное. Он важное звено бригады. Всякий толчок, которого он не сумел избежать, отзывается вспышкой на электрокардиограмме больного. И шоферы испытывают точно такой же стресс, что и врач. Я вижу, как дергаются у них лица, словно бы дело касалось их собственных сердец...

Доктор Ксавье объясняет мне:

— Это и есть общественная служба в том виде, в каком она должна существовать. Работа здесь меняет людей, возвышает их в собственных глазах. Полицейские, действующие вместе с нами, тоже становятся нашими сотоварищами. Каждый раз, когда они вовремя нас вызывают, чтобы кого-то спасти, каждый раз, когда они вместе с нами трудятся, мы посылаем письмо их начальнику, чтоб они тоже знали, чем закончилась совместная операция по спасению жизни. Они заразились нашим энтузиазмом... В этом пригороде, благодаря общим усилиям, мы переживаем что-то вроде вступления к будущему, каким оно должно стать...

Можно бы многое рассказать о трудностях при создании этих немногочисленных бригад, эффективность и необходимость которых — неоспоримы. Следует заметить, что врачи и фельдшеры — анестезиологи-реаниматоры, чье количество ничтожно в сравнении с потребностью в них, буквально убиваются на работе, спасая ежедневно человеческие жизни (SAMU спасает, SAMU изнашивается), так как зачастую сражаются в одиночку. И, разумеется, не во имя денег.

В SAMU директор отделения и его заместитель даже не числятся на этих должностях по штатному расписанию. За все про все они получают только зарплату, полагающуюся дежурному: за дежурство — 12—15 часов беспрерывной работы — 80 франков студенту и 200 франков врачу. Они — саперы на войне за человеческую жизнь. Человеколюбие несется на всех парусах и здесь, как в больнице Жюстины...

Машины наемные. Вертолеты принадлежат парижской авиабазе или полиции. Это — работа на износ, безграничная человеческая самоотверженность, начиная с медиков самой высокой квалификации и до сестер, шоферов, пилотов.

Когда я написала «80 франков за дежурство», я забыла уточнить, что и тут сверхурочные часы, так называемые «возмещаемые», никогда не оплачиваются.

Габи, фельдшер анестезиолог-реаниматор, накопил за десять месяцев 123 «возмещаемых» часа; капитан пожарной службы, пилотирующий «Жаворонок-3», побил все рекорды, скопив 5 «возмещаемых» месяцев за то время, что он работает в бригаде SAMU. Даже один выходной в неделю не всегда дается. Официальные лица выработали определенную манеру обращения: «У нас нет никого... Ребенок попал под машину при выходе из школы...»

---

[1] SAMU — служба медицинской экстренной помощи.

[2] ARS — аварийная районная служба.

— Как откажешь? — говорит Габи.— После этого не решишься сам на себя посмотреть в зеркало...

■

На площадке возле провинциальной больницы стоит группа людей и наблюдает за нашей посадкой. Ходячие больные толпятся у окон. Ура! Медицина прибывает с небес. Женщина с заплаканными глазами цепляется за рукав доктора Ксавье. Для нее он — господь бог. Он прибыл, чтобы спасти ее мужа. Он — всемогущ. «Ведь вы спасете его, доктор, спасете?» Свидетельницей подобных сцен я становлюсь всякий раз, прибывая на вертолете с бригадой «скорой помощи». Почтительно сопровождаемые на расстоянии, мы проникаем в больницу, внося в нее нашу реанимационную аппаратуру, заключенную в таинственные железные ящики. Поджидая нас, капитан поглаживает свой вертолет: «Хоть и не молод, но еще молодец».

— Нам совсем ни к чему, если тебя узнают,— говорит мне доктор,— подавай мне инструменты и помалкивай.

Мы с ним знакомы всего два дня, но в этой суматохе — на войне, как на войне,— все на «ты»: и полицейские, и пожарные, и медицинский персонал.

Я понимаю без слов, что мы прибыли сюда издалека, чтобы переправить раненого из одного отделения хирургической реанимации в другое. Здешнее, по всей видимости, новехонькое и снабжено той же дорогостоящей аппаратурой, что и парижское. Разница в том, что тут палаты пусты. И единственные, кого мы здесь увидели в белых халатах,— это врач и его помощник.

Завязывается диалог между Ксавье и его коллегой. Больного даже не подготовили к перевозке. Это «мы» должны поместить его в кислородную палатку, подключить к нашим электронным установкам, вставить катетеры в вены.

Кровь течет у него из ушей, из носа, из уголков рта, из раздавленного глаза. Удар пришелся прямо по голове человека. Когда Ксавье начинает его подключать к аппаратам, раненый слабо сопротивляется. Я пытаюсь помочь, одной рукой поддерживая раздробленную голову, другой — подсовывая под подбородок салфетку. Пока Ксавье вставляет электронные катетеры в вены больного, того рвет прямо мне в руку.

Раненый — в глубокой коме. Пульс едва прощупывается... Нелегко будет доставить его до Парижа «живым»: такая перевозка носит название «высокого риска». Доктор «моего» SAMU так прямо и заявляет своему коллеге. Я чувствую в их взаимоотношениях натянутость, причина которой мне не ясна. Наконец мы переносим больного и ящики в вертолет. Поднимаемся.

«Здесь военная зона. «Жаворонок-3» гражданской службы, вам запрещается взлет, повторяю...»

Два военных самолета на взлетном поле. Наш капитан взбешен, тем более что метеосводка далеко не из лучших, только что объявили: «Ожидается внезапный туман в районе Парижа». Капитан ворчит:

— Банда негодяев — эти военные,— и в микрофон: — Речи не может быть об отсрочке взлета, я выполняю неотложную санитарную перевозку. В Орли я первоочередник...

Туман обогнал нас, застлав своим белым покровом огни деревень и лучи фар. Полет не из легких, но он на совести капитана, доктор не думает ни о чем, кроме раненого, пока не доставит его в больницу. Для него имеют значение только эти носилки, этот человек с раздробленным черепом, удерживаемый на грани жизни и смерти лишь с помощью аппаратов. «Этого мало, что к больному подключены аппараты,— повторяет все время патрон,— ты тоже, ты сам оставайся к нему «подключенным». Слова, которые следует запечатлеть на мраморе.

Возле самых совершенных машин, изобретенных человеческим гением, врач анестезиолог-реаниматор должен быть всегда начеку, мгновенно реагировать на любые проявления бесчувственного тела, в какую-то долю секунды суметь ответить ударом на удар, точными мерами отразить любое внезапное ухудшение. Взгляд реаниматора поверх маски — взгляд снайпера, стратега в разгар битвы, игрока в шахматы в конце партии, взгляд человека, для которого эта спасаемая им жизнь стала, поскольку она от него зависит, столь же драгоценной, как жизнь самого близкого для него существа.

Ксавье не видит ничего, кроме своего больного, плевать ему на туман. Я слышу в своих наушниках его голос:

— Помоги мне, они подсунули нам, черт бы их побрал, использованный кислородный баллон.

Приходится менять баллон во время полета, в этой тесной, шаткой кабине. А ведь весит этот баллон будь здоров... Для Ксавье все это привычно, для меня — ЧП. Я так возгордилась, что хоть чем-то смогла помочь, даже про туман позабыла.

— Берегись! Кабель высокого напряжения,— кричит капитан, который любит меня пугать. Никак не решу, оседлать его или уж поднырнуть.

Все смеются. Становится капельку легче. Что касается раненого, погруженного в глубокую кому, то он пускает слюну и в животе у него урчит. «Жаворонок», ты погрузил смерть к себе на борт.

На следующий день мне сообщат, что у привезенного нами человека весь мозг был в костных осколках, а электроэнцефалограмма — прямая линия.

И тогда я разгадываю вчерашние недомолвки. Из-за отсутствия персонала реанимационно-хирургическая служба в том провинциальном городе — накануне закрытия, хотя еще и не открылась по-настоящему. Вот медики и предпочли избавиться от обязанности, которую они не в состоянии были выполнить. Раненый был какой-то важной местной особой, и для него постарались сделать все, что возможно. Воззвали к частной транспортной фирме, одной из тех, что дают по радио трескучую рекламу. Оная фирма, установив отчаянное положение больного («нерентабельного»), отвертелась под предлогом отсутствия транспортных средств. Нажали на SAMU. Общественная организация часто вынуждена брать на себя невыполнимые поручения.

Три часа, потраченные на эту безнадежную перевозку,— как бы драгоценны они были в субботний вечер для пострадавших в дорожных авариях — других раненых, которых еще можно бы спасти!

■

...Погоня за максимальной прибылью — основа мира, в котором финансовая олигархия в конце концов оскверняет все, к чему прикасается. Она давит человека низкооплачиваемого, которому «закрыты все пути», губит призвания, якобы «возмещая» их чем-то, и под этим предлогом зверски эксплуатирует работников в белых халатах.

Будучи свидетелями всеобщей продажности, иные начинают колебаться: «Если такова жизнь, значит, я просто идиот. К чему стесняться?» Врачи, поначалу преданные своему делу и не помышлявшие о наживе, попадаются на удочку, сами того не замечая. «Мы живем в таком мире, который невольно засасывает,— пишет мне один из них.— Каждый несет в себе моральные язвы и шрамы того класса, выходцем из которого он является. Нас породило и изуродовало общество, в котором даже здоровье человека становится предметом купли и продажи».

От приятельских отношений — один шаг до нечестной сделки, когда, к примеру, служащий, распоряжающийся перевозкой больных, вызывает не SAMU, а частную фирму, срывая хорошенький куш с потерявшей голову семьи и оказывая услугу коммерческому предприятию, с которым он связан дружескими узами или денежными интересами. На долю общественной службы приходятся наиболее тяжелые больные, требующие самого тщательного и дорогостоящего ухода. SAMU возьмет их, как бы ни была перегружена, не рассчитывая на какую бы то ни было материальную выгоду.

Я могла бы воспроизвести циркуляр за № 5-74 министерства внутренних дел, направленный всем полицейским участкам по поводу «трудной проблемы неотложных перевозок». Циркуляр рекомендует, какую именно частную фирму следует вызывать в первую очередь, оказав ей предпочтение перед SAMU, потому что последняя, мол, «доступна для всех».

Я не отвлекусь в сторону, а лишь покажу иной аспект все той же проблемы, рассказав, как мы прибыли вчера вечером к одру больного, когда у его подъезда уже стояла машина «скорой помощи», принадлежащая фирме, которая занимается санитарными перевозками и реанимацией.

Вообразите, как в подобном катастрофическом случае сталкиваются лицом к лицу умирающий, обезумевшая семья, бригада «скорой помощи» и смерть.

Мы находимся в дешевой квартирке одного из пригородных домов. Входим в столовую. На перепачканном ковре лежит истекающий кровью человек, а вокруг уже устанавливают свою аппаратуру люди в белых халатах. Волей-неволей им приходится передать больного в руки SAMU, вызванной полицейским. Мои товарищи принимаются за работу: вентилируют легкие, подключают к аппаратуре, производят инфузию и перфузию, принимают все меры к восстановлению сердечной деятельности. Речь идет о том, чтобы пустить в ход человеческий механизм хотя бы на то время, пока больного доставят в соответствующую больницу.

Во время этой битвы за жизнь побежденная бригада из частной фирмы уходит, не забыв, однако, урегулировать с семьей финансовые вопросы.

Пока мы на носилках переносим в машину больного, за которым Ксавье будет бдительно и неотступно следить в пути, жена нашего пациента встревоженно теребит свой тощий кошелек и, наконец, спрашивает:

— Сколько с меня?

— Нисколько, мадам.

— Возможно ли это?

— С того момента, как ваш муж взят на попечение SAMU, он считается госпитализированным. Наше вмешательство будет включено в стоимость общей суммы лечения, которое оплатит Общественное социальное страхование.

Шофер ворчит:

— Эти шакалы из фирмы «Неотложная помощь Машена» столько времени упустили. Но поди втолкуй людям...

■

Осенью 1973 года я вернулась в больницу Елены. Было жарко — летний день ошибся датой.

Я выстирала и выгладила вещи Марты. Благодаря этому белому халату я вернулась в свою страну, мне жаль было с ним расставаться, но теперь я должна была рассчитаться с отделом кадров, как обязан сделать любой временный служащий.

Под аркадами в саду я столкнулась с Иоландой, окончившей работу и уже переодевшейся в городское платье. Мы уселись на скамейку. Вокруг нас жужжали запоздалые пчелы. Иоланде необходимо было поговорить о своем моряке.

— Ведь я могла бы встретить его на танцах, могла бы бродить с ним по праздничному, разукрашенному флагами городу. Толпа разъединяла бы нас, и мы притворялись бы, что потеряли друг друга. И вдруг я услышала бы его смех.

Мы могли бы вместе ходить в кино, вместе работать и вместе вечером возвращаться домой — в каком-нибудь портовом городе. Я так хотела бы... утром позавтракать с ним. Он бы сварил кофе, я бы намазала бутерброды. Ждали бы вместе автобус, бегали по полю, купались бы в море. Я осмотрела бы его корабль. Он ушел бы, с рюкзаком на спине, я ждала бы его. А мы ничего не смогли... Ведь тебе-то понятно, что я и спящим и просыпающимся видела его только при других, при Жюстине или Елене...

Она долго молчит, перебирая в уме длинный список запретных радостей. Ее голос пробуждает во мне тоску по любви. Мы думаем об одном и том же.

— Жан сейчас в одной из пригородных больниц. Ужасно как похудел, передвигается с палкой. А на лбу у него все та же непокорная прядь волос, которая, ты ведь помнишь, придает ему мальчишеский вид. Он вроде счастлив. И не знает, что в легких у него метастаз и его переведут в другую больницу. Я навещаю его каждый день, а это не просто. Бегу сломя голову, чтобы успеть в приемные часы. Пришлось бросить ночные дежурства. На питание мне и без них хватает, а я не хочу сейчас уставать. Хочу использовать время, пока он еще там. Пока я смогу с ним видеться... Я прихожу к нему как посетительница, справляюсь о нем у сестер. Приехал его отец, но старик совсем ошарашен. Ах, если бы я могла выхаживать Жана сама до конца...

Я сижу рядом с ней, не осмеливаясь заговорить, так же как и в тот, уже отдаленный теперь день, когда, разбирая со мной ночное белье, Иоланда сказала: «Я знаю, что это значит: «остеосаркома». Позднее, в нашем маленьком кафе, я ухаживала за ней, как за потерпевшей аварию: она замкнулась тогда в своем страдании, как «морячок» по прибытии к нам в больницу, когда он отшвырнул стакан с кофе. Рана Иоланды еще свежа.

— Пока я смогу с ним видеться,— повторяет Иоланда.

Они живут в оазисе. Обитают в мгновении, которое остановилось лишь потому, что они держатся за руки. Любовь свободна, как дух, и улетает из форточки общей палаты.

В апреле 1972 года повстречались на моем пути две колибри. Поднявшись из подземного бомбоубежища, я вдруг увидела их перед своим окном. Парочка сине-зеленых птичек переплетала на лету свои крылья в любовном танце, выписывала четкие и веселые арабески в золотистой пыли, поднимавшейся над разбомбленным кварталом столицы. По словам старожилов Ханоя, в город никогда не залетают колибри. И все же эта чудо-парочка была тут, их сбила с толку бомбардировка, обрушившаяся на всю окрестность: на леса, хижины. Чересчур малы и легки они были для бомб. Свет, порожденный светом. Кружась друг над другом, они поднимались все выше и выше над дымом, достигли голубизны и навсегда исчезли — торжествующая душа города, души убитых, разлученных любовников. Неразлучимых.

— Я не могу вынести мысли, что он умрет. Никогда не смогу,— глухим стоном вырывается у Иоланды.

Смерть молодого существа, его разрушение непереносимы. Непереносима разлука двух любящих, которые слились воедино — душой и телом. Но бывает, что не болезнь, а люди, волки среди людей, убивают, калечат, нарочно разъединяют тех, кто любит... Они отрубили обе руки у Виктора Хары, поэта, гитариста, певца. Они расстреливают соловьев. И не только в Чили... Но подобные рассуждения не утешат Иоланду,

я их храню для себя. Позднее, когда Жана уже не станет, я, куда более старая, чем Иоланда, смогу, надеюсь, ее научить одной из моих игр.

Я тебя научу. Ты идешь по полю или по пляжу, ты одна между небом и землей, у кромки волн. Вообрази: человек, который идет вдалеке, так далеко, что черты его неразличимы, это он, спешащий к тебе... Всего лишь мечта, но сердце твое трепещет, ты готова бежать, хоть прошло уже десять, двадцать лет. Ты упадешь в его объятия, прижмешься к нему, как обессилевший, одинокий пловец, застигнутый приливом, приникает к прибрежной скале. Нагретой солнцем и теплой, словно человеческая кожа.

Когда тебе станет доступна эта игра, ты победишь одиночество и сумеешь сберечь частицу свечения любви. Ты не будешь стариться, как часы, остановившиеся в момент катастрофы. Мертвых не убивают. Разлука, время, неизбежная людская злоба — ничто уже не будет властно над тобою.

Не плачь.

Я рискую тебе предсказать: до тех пор, пока Жан существует, пока ты будешь встречать его взгляд, ощущать в своих руках это чудо — его теплые пальцы, ты все еще будешь надеяться; надежда неистребима, она сильнее разума, сильнее приговора врачей. А вдруг — чудо... Такова любовь.

Потом, однажды, ты поможешь ему уснуть.

Эта книга — самая незавершенная из всех, когда-либо написанных.

В конце этого, 1974, года я вернулась в те же больницы, в которых побывала в 1973 году. В промежутке жизнь швыряла меня, словно мяч пинг-понга, по обе стороны сетки: я была то стороной ухаживающей, то больной, за которой ухаживают. Я прошла два потока мира белых халатов. Спрашивала у главных врачей, у старших и младших сестер, санитаров:

— Изменилась ли у вас ситуация за год?

Все в один голос кричали:

— О да, конечно, она ухудшилась! Еще как!

Вот почему эта книга остается разверстой раной, которую не удосужились залатать хирурги. С продолжением вы встретитесь в рубрике происшествий в вашей обычной газете, в отчетах о профсоюзной борьбе, в открытых письмах того или иного профессора. И даже на улице.

◆

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

В редакции «Иностранной литературы» — пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз

Наша встреча с лауреатом международной Ленинской премии мира и премии «Лотос» Фаизом Ахмад Фаизом началась с разговора о путях развития пакистанской культуры.

— Творческую интеллигенцию Пакистана,— сказал Фаиз,— волнует сочетание культурного наследия с современностью и национального с общемировым. Это самое главное. И самое трудное: не только потому, что формула должна выводиться из большого числа компонентов, но и потому, что она нужна немедленно и Пакистан нуждается в ней острей, чем многие другие страны.

Можно сказать, — отметил он, — что население сегодняшнего Пакистана делится на два поколения, разделенных психологической границей: старшее поколение, родина которого — Индостан, и молодежь, иной родины, кроме Пакистана, не знающая. В этом у нас острие проблемы «отцов и детей». Нам всем в равной мере необходимо понять, что это такое — пакистанец, то есть найти совокупность черт, отличающих нас от других народов, найти себя. Но старшее поколение интеллигенции формировалось в годы, когда доказательство полноценности нашей собственной культуры было тоже способом борьбы против иностранного господства. Мы — я ведь отношусь к этому поколению — искали преодоления отчужденности, возникшей в результате воспитания интеллигенции на английский лад, и искали мы ее, заново открывая для себя свое прошлое. Молодежь, рожденная в суверенной стране, не знает открытой конфронтации с чужой культурой — она теперь перестала быть орудием прямого подавления и унижения национального достоинства — и, конечно, не может удовлетвориться одними только традициями, которые на каждом шагу приходят в противоречие с реальностью ее бытия.

Слова Фаиза требуют пояснения: при образовании Пакистана — а Пакистан означает «страна чистых», людей чистой веры,— ислам был объявлен государственной религией и, соответственно, единственной основой идеологии и культуры всех, кто ее населяет. Пакистанской молодежи пришлось начать сознательную жизнь с вопроса — кто мы такие? В то же время перед ней встали все проблемы страны, начавшей самостоятельное развитие после двух сотен лет иноземного владычества. И, наконец, она вышла в открытый мир тогда, когда его стала изменять до неузнаваемости научно-техническая революция...

Однако концепция мусульманской культуры оказалась недостаточной для сплочения почти стомиллионного, этнически весьма разнородного населения в единый пакистанский народ. К тому же эта концепция вела к отрыву Пакистана от домусульманских культурных слоев и требовала искоренения чуть ли не всего, что принесла с собой Европа за период двухсотлетнего владычества на Индостанском полуострове.

Несколько лет назад Фаиз написал обширное исследование о том, что же такое культура Пакистана и какое место занимает в ней ислам.

Фаиз считает: пакистанская культура может рассматриваться только как сумма не-

скольких слагаемых—древней цивилизации, от которой остались на территории нынешнего Пакистана мертвые города Мохенджо-Даро и Хараппа; ислама, исповедуемого в этих краях больше восьми веков и создавшего определенный образ жизни и взгляд на мир; самобытных культур различных этнических групп, живущих в Пакистане, и тех элементов европейской культуры, которые были восприняты населением.

«Культура Пакистана,— писал Фаиз,— не может отказаться от того, что стало плотью и кровью общественной жизни и истории нашей страны.

...Но нам предстоит найти точку равновесия между преемственностью традиции и требованиями современности».

— Сказать это легче, чем сделать,— усмехается Фаиз.— Реальность научно-технической революции с ее новыми материалами и способами производства только начинает серьезно затрагивать Пакистан. Вместе с новой реальностью рождается новый образ мышления, а он неизбежно должен вылиться в новые формы выражения и обречь часть традиции на музейное существование. Но культура — это образ жизни всего общества, и она изменяется в соответствии с социальными переменами. Нет культурного развития вне развития общественного. Трудность нашего положения в том, что пакистанская деревня продолжает жить в одном временном исчислении, город — в другом, а интеллигенция — в нескольких сразу. Разрыв между интеллигенцией и народом еще больше, чем разрыв между поколениями. Поколения объединяет стремление найти себя и свое место в жизни, но поиск одних ведет к возрождению традиции, других — к безудержной модернизации. Ну, есть, конечно, и сторонники эклектичного, промежуточного пути.

Мне лично,— продолжает Фаиз,— кажется диким отказ от новаторских приемов только потому, что они впервые были применены, скажем, Европой, но как сделать, чтобы они органически вошли в нашу культуру, особенно в поэзию?.. Как написать о новом по-новому, но чтобы понимали меня, как прежде?

И снова необходимо пояснение к словам Фаиза, ибо без знания поэтической традиции, о модернизации которой идет речь, трудно понять проблемы ее нынешнего этапа.

Фаиз пишет на урду. Этот язык зародился в XI веке в пестрой орде, вторгшейся в Индию из Средней Азии, и, по мере того как пришельцы смешивались с местным населением, их говоры сливались с местными наречиями. Урду — это слово ведет свое происхождение от того же, что наше «орда»,— взял грамматическую структуру у индийских языков, его лексикон в значительной мере состоит из арабо-персидских слов, а алфавит — арабский.

Об урду часто говорят, что, если бы его не существовало, поэты должны были бы выдумать его — так он полифоничен и полисемантичен. Поэзия урду цветет пышным цветом с XII века и сохраняет в неприкосновенности унаследованную ею арабо-персидскую традицию стихосложения с ее канонической тематикой, нерушимыми формами и системой образов, неизменных внешне, но облекавшихся на протяжении веков все новыми смысловыми оттенками.

Поэт урду — даже современный — гораздо чаще прибегает к литературным или культурным реминисценциям, чем к метафорам из наблюдаемой им действительности.

Для восприятия поэзии урду необходим тонкий и особым образом развитый слух.

Поэзия урду могла бы стать элитарной или вовсе герметической, если бы на всем Индостанском субконтиненте не существовала такая устойчивая традиция восприятия слова на слух, традиция, сложившаяся еще тогда, когда слагались первые Веды.

Поэзия урду предназначена прежде всего для декламации. В этом ее сила. В этом сегодня и ее слабость.

Поэтический урду, с его обилием арабских слов, персидских выражений, парафраз из Корана и скрытых цитат из классической поэзии, сильно отличается от разговорного языка.

Но мушаиры — состязания поэтов, которые нередко заканчиваются на рассвете,— собирают тысячи слушателей из всех слоев населения. Сначала, как правило, выступают молодые поэты, последним — знаменитейший. Стихи понимают все, понравившиеся строки хором повторяет вся толпа, но от подготовленности слушателя зависит, какую часть видимого и невидимого спектра значений раскроет ему каждый образ.

— Эта традиция доминирует и сегодня,— говорит Фаиз,— и мне хочется обратить ваше внимание на одну ее сторону — ее значение не всегда бывает понятно людям, воспитанным в культуре печатного слова: поэзия урду немыслима без живого общения поэта и слушателей. Не читателей, а слушателей, привыкших расшифровывать многозначность поэтических символов, соотнося их с сиюминутной действительностью, и ощущать живую жизнь веков, стоящих за ними. Поэт урду не знает трагедии некоммуникабельности, пока не выходит за пределы своего поэтического космоса. Но выйдя за них, он сразу оказывается в безвоздушном пространстве, а там звук не слышен. Так, навык к восприятию стиха на слух и сохраняет связь поэта с народом, и преграждает путь к новаторству, особенно в том, что касается формы.

— В каком же направлении ведется поиск нового?

— Разыскивая истоки своего бытия, наша интеллигенция обнаружила золотые россыпи фольклора. Сейчас многие наши литераторы обращаются к нему как к возможному материалу для экспериментов, из которого можно заимствовать формы, образы и символику, выросшие прямо из народной почвы. Такого рода новаторство не угрожает традиции слухового восприятия и освобождает поэта от условностей классического стихосложения. И еще

одно — увлечение фольклором, примитивом стало повсеместным явлением нашего времени. Видимо, это вызвано надоевшим консервированным искусством современной «массовой культуры». В условиях Пакистана пресыщенность «массовой культурой», как импортной, так и местного происхождения, сочетается со стремлением интеллигенции преодолеть раздвоение личности, своего рода культурную шизофрению, унаследованную от колониализма.

— Можно ли считать, что найдено принципиальное решение?

— Едва ли. Погружение в народную душу — это вхождение в народ. Для поэта — профессионально — это новое литературное пространство, решительное расширение границ его вселенной и заселение ее образами, ассоциативные связи которых ведут не только в литературу. Но фольклор есть слепок с сознания иных веков, иных укладов, и он не может стать средством исследования сегодняшнего мира. Фольклор отражает иной уровень сознания. Нельзя исполнить симфонию на пастушьей дудке. Современность влияет на самые потаенные процессы рождения стиха и не только его, а может быть, и всей нашей культуры. Нетрудно представить себе, как притягательны визуальные средства массовой информации в массово неграмотном Пакистане! Слуховое восприятие начинает уступать место зрительному, что влечет за собой коренные изменения в психологии народа. Но я сейчас затрагиваю только воздействие зрительных образов на поэта: картины иной жизни, образы иных реалий, примеры того, как осмысляется действительность в искусстве других, какое богатство и какую разносторонность получает поэзия, вбирая в себя материальные образы современности и слова живого языка. Поэтому наша поэтическая молодежь устремлена на поиск способа отражения конкретной действительности в ее реалистической достоверности, поэтому она так рвется сейчас в поэзию прямую, откровенно политическую, дешифрованную — подчас до антипоэтичности.

— Разве то, что вы сказали, не характеризует и позицию «отцов»?

— Политическая ангажированность — качество, присущее всем настоящим художникам, но формы, в которых она проявляется, могут быть разными. В течение многих лет сама политическая реальность Исламской Республики Пакистан способствовала укреплению позиций традиционного стиха — многозначность была условием его политической заостренности и действенности. Поэты старшего поколения умело пользуются возможностями классических форм, а молодежь — нельзя забывать, что все проявления нового в первую очередь сказываются на ней,— нетерпеливо ищет новых слов, чтобы сотворить себе мир из современного хаоса. Старое ей для этого не подходит: возьмите хотя бы классический женский портрет из нашей поэзии — прекрасную возлюбленную, обрекающую поэта на нескончаемые вздохи. Что делать с этим образом современной девушке, которая требует права сама говорить о своей любви? Когда молодая одаренная поэтесса Фахмида Рияз опубликовала свой сборник под скандальным для ревнителей ислама названием «Изорванное тело», то стихи в нем были никак не традиционными, да и отвага поэтессы никак не вяжется с традиционным представлением о поведении женщины. Молодые поэты пытаются рассказать о своем видении мира, переживающего научно-техническую революцию, но не в силах уложить его в слова, отягощенные многослойным религиозным контекстом. Они хотят создать новый поэтический лексикон, ввести новую тематику, сломать классические метафоры, они обращаются к творчеству Маяковского, Назыма Хикмета, Неруды, Арагона, они куда лучше знакомы с мировой поэзией, чем их отцы, они готовы «брать добро, где увидят его».

— И каковы же результаты?

— Кое-что сделано, но по-настоящему пока гордиться нечем. Мне кажется, что в нашей культурной атмосфере поэтическая революция невозможна — она выльется в бунт одиночек. Новая поэзия довольно быстро завоевывает признание студентов, ее читает интеллигенция, но народные массы просто не воспринимают ее как поэзию — она слишком удалена от привычных ритмов. Я полагаю, что будущее за теми из наших поэтов, кто избрал долгий и трудный эволюционный путь. Я могу назвать имена Мунира Ниязи, Захида Дара, Кишвар Нахид, Ахмада Фараза...

— Но ведь и вы в последние годы много пишете свободным стихом?

— Я начал писать свободным стихом еще в пятидесятые годы, в тюрьме: стихи о расстреле иранских студентов, стихи об Африке. Может быть, резкие африканские ритмы заставили меня отказаться от вымеренных классических размеров. Но мой свободный стих свободен относительно — чаще всего это вариации фольклорных размеров, народных песен. И вместе с тем я не в силах отказаться от традиционных форм, особенно от газели. Мне кажется, что в самой строгости этой формы есть дисциплинирующее начало, которое оттачивает поэтическую мысль. Я уверен, что новое надо искать в собственной традиции, особенно в нашу эпоху тотальных перемен, когда поэту так легко растворить свою индивидуальность в наднациональном конструктивизме.

Уже в первых сборниках «Печальные узоры» и «Руки ветра» Фаиз ищет способ сделать свою поэзию современной, не разрушая традиционные формы: на основе классического образа строит развернутую метафору, почти не употребляет усложненные персидские структуры, вместо канонизированных обозначений условной природы вводит в стихи живые пейзажные зарисовки. Эта тенденция становится еще отчетливей в сборниках «Письма из тюрьмы» и «Пальцы под камнем». Поэт продолжает поиски и сейчас, все чаще

используя для этого фольклор — народные песни и речитативы, ритмика и лексика которых свободны от условностей письменной поэзии урду.

Как многие жители вавилонской башни, именуемой Индостанским субконтинентом, Фаиз двуязычен с детства — он в равной мере владеет и пенджабским языком и урду и считает оба языка родными.

В последнее время Фаиз все чаще пишет на пенджабском языке, заимствуя темы из пенджабского эпоса, используя богатство интонаций и образов, связанных с той землей, где он родился.

И третий язык — английский — Фаиз знает с детства: школа, университет, где он получил степень магистра английской литературы, служба в британской армии в чине подполковника с 1941 по 1947 год и десять лет редактирования крупнейшей пакистанской газеты на английском языке — «Пакистан таймс». Мало кому известно, что Фаиз написал десятка полтора стихотворений по-английски, которые он в собственном переводе на урду включил потом в свои последние сборники.

Стихи, помещенные в этом номере, еще не успели войти в новый сборник Фаиза Ахмад Фаиза, который он сейчас готовит к печати. Одно из них, «В некотором царстве», написано по-английски, остальные — на урду.

В строгих традициях классики выдержана газель «Снова в Дакке». Речь в этом стихотворении идет о трагических, кровавых событиях, связанных с выделением из Пакистана и началом независимого бытия новой страны — Бангладеш, событиях, которые невозможно забыть и тяжело вспоминать: «Дождь долго будет кровь смывать после всего, что было».

Традиционным метром написаны стихи памяти Саджада Захира — видного поэта, критика, общественного деятеля. Почти сорок лет дружбы связывали Саджада Захира и Фаиза Ахмад Фаиза. Они познакомились в 1936 году, когда только что вернувшийся из Англии Саджад Захир был занят организацией Ассоциации прогрессивных писателей Индии, а Фаиз, закончив университет в Лахоре, приехал преподавателем в Амритсар.

В 1947 году, после образования двух независимых государств — Индии и Пакистана, Саджад Захир приехал в Пакистан, где основал коммунистическую партию. В 1951 году и Саджад Захир, и Фаиз Ахмад Фаиз были арестованы по ложному обвинению в организации так называемого «заговора в Равалпинди» — в попытке вооруженного государственного переворота. Закрытый судебный процесс, угроза смертного приговора, одиночное заключение... В 1955 году Саджад Захир был освобожден, но он не имел возможности оставаться в Пакистане и уехал в Индию.

В сентябре 1973 года Саджад Захир скоропостижно скончался в Алма-Ате, где был в то время и Фаиз Ахмад Фаиз — оба участвовали в Конференции писателей Азии и Африки. Фаиз рассказывает: «Я сопровождал его тело в Дели. Написал эти стихи в самолете, во время нашего последнего путешествия вдвоем».

Впервые эти стихи Фаиза прозвучали на траурном митинге в Дели...

В заключение беседы Фаизу задают традиционный вопрос — вот уж от традиций никуда не денешься:

— Над чем вы сейчас работаете?

— Только что закончил книгу о Советском Союзе, назвал ее «Дни и месяцы знакомства». В книгу вошли мои переводы советской поэзии — переводы свободным стихом. Вернусь в Пакистан и займусь подготовкой издания нового, шестого, своего сборника стихов. Не спрашивайте, чего в нем будет больше: свободных или традиционных стихов. Я не знаю.

М. САЛГАНИК

◆

Среди книг

Издано в СССР

ТРАГЕДИЯ БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНА ПОВТОРИТЬСЯ

В. Тейтельбойм. Сын селитры. Предисловие П. Неруды. Перевод с испанского Б. Люберацкой и Р. Линцер. Москва, «Прогресс», 1975.

Книга видного чилийского писателя члена Политкомиссии ЦК Коммунистической партии Чили В. Тейтельбойма «Сын селитры» повествует о трагическом событии в истории чилийского народа — расстреле бастующих рабочих в порту Икике 21 декабря 1907 года. Этот день, напоминающий «Кровавое воскресенье» — 9 января 1905 года в России, сохранился в памяти чилийского народа под названием «Черная суббота».

В центре романа жизнь и деятельность главного героя — Элиаса Лафферте, активного участника забастовочного движения, одного из основателей Компартии Чили.

Книга В. Тейтельбойма, вышедшая в Сантьяго в 1952 году, вызвала в стране множество откликов.

«Сын селитры» — одна из тех потрясающих книг, которые непосредственно затрагивают самую суть основных вопросов человеческой жизни. При этом автор ни на минуту не забывает, что он художник, творец прекрасного. На протяжении всей ярко написанной скорбной эпопеи читатель испытывает наслаждение от страниц, овеянных вечным дыханием искусства, слышит неумирающий голос ума и чувства, взывающий к человечности... Эта суровая книга укрепляет душу и помогает понять, что только несгибаемая воля, воля народа должна направлять наши действия в завоевании более ясного, справедливого и прекрасного утра» [1],— **так приветствовал тогда появление романа «Сын селитры» Сальвадор Альенде.**

Широкое признание книга получила среди рабочих Чили. «В романе сурово и неприкрыто показана борьба, которую вели в прошлом бесстрашные и героические труженики селитры. Думаю, что книгу эту должен прочесть каждый рабочий и крестьянин, каждый трудящийся. Надеюсь, она послужит началом для того, чтобы другие демократические писатели тоже стали писать о борьбе крестьян, шахтеров, служащих, наших женщин и молодежи»,— эти слова принадлежат Хуану Аумаде, руководителю Союза сельскохозяйственных рабочих провинции Сантьяго.

О том, что заставило писателя обратиться к историческому прошлому своего народа, и о том, какое значение имеет для него издание книги «Сын селитры» на русском языке, по просьбе редакции рассказывает автор романа В. Тейтельбойм.

Почему в пятидесятые годы я обратился к событиям, происходившим в начале века, в дни зарождения чилийского рабочего движения?

Потому что в пятидесятые годы тигр снова вышел из своего логова, как это было уже в начале века, то есть книга родилась из потребности говорить о настоящем, ссылаясь на прошлое. Но это было не стремление вернуться вспять, а стремление отыскать корни, исследовать причины, выяснить, почему, как и когда возник приказ стрелять в народ, к которому в определен-

[1] Первая часть романа называется «Суровое утро».

ные моменты с холодной жестокостью прибегает капитализм.

В 1950 году мы жили под мрачной тенью «холодной войны». И правивший в Чили диктатор Гонсалес Видела ожидал как благодати третьей мировой войны. У него были свои расчеты. Подскочили бы цены на медь, доллары потекли бы к нему рекой. Ему необходимо было раздавить всех, кто только мог воспротивиться этому разработанному в Вашингтоне плану. И вот он объявил коммунистическую партию вне закона, учредил концентрационные лагеря, стал огнем и мечом преследовать трудящихся. Нескольким генералам была поручена роль карателей.

И пришел час напомнить о трагедии прошлого, о массовом расстреле добывавших селитру рабочих и их семей, совершенном в школе Санта-Мария в Икике 21 декабря 1907 года.

Простодушная надежда, политическая наивность неопытных пролетарских масс была там расстреляна из пулеметов. Не только метафорически, но и вполне реально этот эпизод во многом подобен «Кровавому воскресенью» в Петербурге. То был смертельный удар по доверию, какое еще мог испытывать народ и зарождающийся рабочий класс к своим эксплуататорам. Утопические надежды на отеческую заботу хозяев оказались напрасными. Произошел качественный скачок — начал формироваться авангард рабочего класса, осуществляться переход от детской наивности к более зрелой политической мысли, к возникновению пролетарского самосознания.

Пять лет спустя в том же сером городе посреди пустыни, где пролилась кровь, прозвучал грозный ответ: была создана Социалистическая рабочая партия, десятью годами позже преобразованная в Коммунистическую партию Чили.

В книге «Сын селитры» я считал необходимым возвратиться к прошлому, к началу драмы, вторым и третьим актом которой явились события середины века.

Сейчас стало ясно, что тема моего романа, на который правящий режим наложил запрет молчания, была актуальной не только для 1950 года, но и для семидесятых годов,— так в посеянном миндальном ядре таится будущий горький плод. История подтвердила, что это трагическое событие окажется ключевым и для последующих лет.

Разумеется, живое содержание истории я стремился выразить в романе согласно специфическим законам жанра, сочетая реальность и вымысел, объединяя лирические, эпические и психологические компоненты, а главным героем я сделал человека, неразрывно связанного с событиями.

«Сын селитры» был написан не затем, чтобы извлечь из пожелтевших тайных архивов хронику былой катастрофы, а чтобы служить современности. Это оружие ковалось для текущей борьбы. Потому что в те дни, когда я писал книгу, снова повторилось чудовищное насилие над народом, произошел смертоносный рецидив варварства, которое несет с собой фашизм.

Книга появилась в момент жестоких репрессий. Боевое крещение она получила на улице. Встреча с читателем произошла на митинге под открытым небом. То был вызов тирании. Большинство участников были рабочие. Они откровенно высказывали свое мнение о романе. На собрании присутствовали также крестьяне, писатели, художники. Это собрание походило на бурный поток, внезапный луч света в пустыне, среди полного мрака. Оно свидетельствовало о мощном, готовом вырваться наружу течении в массе народа, который, узнав в книге одну из горьких страниц собственной жизни, показал свое лицо, взял слово и в центре столицы заявил во весь голос, что никогда не забудет о событиях прошлого, что будет продолжать борьбу и его не остановят ни чрезвычайные законы, ни концентрационные лагеря, ни массовые убийства.

К несчастью, приходится признать, что книга моя остается актуальной, пугающе актуальной и сейчас. Потому что все Чили в наши дни — это школа Санта-Мария, «Черная суббота», длинный и узкий концентрационный лагерь. Внук генерала Сильвы Ренарда, расстрелявшего рабочих, зовется Аугусто Пиночет. Через семьдесят лет смерть обрушилась на народ не только в Икике, но и по всей стране.

Человек, который приветствовал и одобрил эту книгу в дни ее появления, героически пал, сраженный пулями наследников убийц 1907 года в охваченном пламенем дворце Ла Монеда 11 сентября 1973 года. Пабло Неруда, который написал прекрасное предисловие к «Сыну селитры»,— умер двумя неделями позже в Сантьяго, и смерть его была ускорена именно фашистским переворотом. Трагедия повторилась.

Важно, чтобы роман «Сын селитры» утратил свою актуальность. И превратился в книгу, которую чилийцы могли бы читать без содрогания, как повествование о давней драме, которая уже больше никогда не повторится.

Значит, надо вырвать корни дерева зла. Уничтожить навеки фашизм и породившие его условия. Единственный способ покончить с опасностью — это убить тигра, разрушить его логово. Создать новую армию, новое общество. Другими словами — совершить революцию. Только тогда «Сын селитры» потеряет свою актуальность и превратится просто в роман, описывающий трагическое историческое событие, которое произошло однажды, а потом повторилось еще и еще раз. Эта книга достигнет своей цели, когда то, о чем рассказано на ее страницах, станет невозможным. В этом и заключается великая историческая задача нашего народа.

Безмерную радость и моральное удовлетворение я испытываю от того, что роман этот может поведать о чем-то народам, живущим в социалистическом обществе, где описанные мною драмы — подобные которым русский народ пережил при царизме — стали окончательно невозможны. Я очень хорошо понимаю, что для советских людей все это — прошлое, вчерашний день. Быть может, читая мою книгу, какой-нибудь читатель старшего поколения вновь пере-

живет знакомые ему трагические события. Но я надеюсь, что и поколения, рожденные после Октября, откликнутся на страдания моего народа, напоминающие испытания, выпавшие в прошлом на долю их отцов и дедов.

Я надеюсь также, что эта книга поможет увидеть подводную часть айсберга, историческую подоплеку событий, происходящих сейчас в истерзанном Чили. Ведь я знаю, что хотя наша трагедия происходит далеко за географическими пределами вашей социалистической родины, она глубоко волнует каждого из вас, как человека нашего времени, для которого горе любого народа никогда не останется чужим, а будет ранить его сердце и тревожить его совесть, ибо всех людей, достойных этого имени, он рассматривает как членов единой семьи.

В. ТЕЙТЕЛЬБОЙМ

ПОКОЯ НЕТ...

Мэри Бенсон. В точке покоя. Перевод с английского А. Файнгара. Послесловие А. Давидсона. Москва, «Прогресс», 1975.

Будучи читателем дисциплинированным, я сначала прочел роман южноафриканской писательницы Мэри Бенсон, чье имя встретилось мне впервые, а уж потом короткое, но содержательное послесловие А. Давидсона, чье имя мне хорошо известно как видного советского африканиста. И послесловие это разрешило многочисленные недоумения, поставило все на свои места. Дело в том, что сбивает с толку неровность тона романа: уверенного, звонкого и страстного в социальной, политической и общественной частях и, как мне показалось, шаткого, сюсюкающего, приторно-дамского, когда речь заходит о «чувствах». Когда М. Бенсон изображает острые споры в среде южноафриканской интеллигенции, зловещую комедию псевдодемократического суда над сторонницей африканского сопротивления, бунт человеческого достоинства, отвергающего право силы, рисует образы черных и белых борцов с расизмом и расовой сегрегацией, или ушедших от жгучих проблем времени смиренников, или приверженцев африканского фашизма — рука ее тверда и умела, но вот наступает лирическое интермеццо — то ли нежное воспоминание о минувшей любви, то ли живое действие любви сегодняшней — и все идет вкривь и вкось. Как из рога изобилия сыплются всякие «крошки», «малышки», «яблочки» и прочие, не вызывающие в читателе сочувствия, ласковые прозвища; «сливаются» и «взаимопроникают» тела — обветшалые литературные штампы льются из-под пера романистки, вызывая недоумение и досаду. Объясняется же это просто: Мэри Бенсон— видная политическая писательница, и это ее первый опыт в области художественной литературы.

В том, что близко ее основной профессии и душевному настрою — в изображении социальных и политических страстей,— она преуспевает и в новом для себя роде письма, ну а любовная стихия ей пока не дается. Да и нужна ли она вообще в такого рода произведениях? Что потерял бы читатель, если б здесь не оказалось холодноватых мечтаний героини о некоем загадочном Роджере с мохнатыми ресницами и усмешкой в уголках рта, неистовых сцен с Мэтью и нарочитого, словно взятого напрокат из второсортной современной беллетристики сексуального взрыва случайной измены? Да ровным счетом ничего. Но, видимо, западному потребителю литературы, даже квалифицированному, серьезному — приверженец развлекательного чтива просто не раскроет роман М. Бенсон,— необходима крепкая любовная приправа, дабы воспринять остальное, то, ради чего писалась книга. И тут можно лишь посочувствовать М. Бенсон, ибо ее нынешняя сила, конечно же, не в живописании любовных утех, а в социальном пафосе, политической прозорливости, умении глубоко анализировать ту общественную структуру, которая служит ей предметом изображения. Вот этим-то и ценен роман Мэри Бенсон!

У нас опубликовано не так уж мало талантливых произведений южноафриканских писателей: романов, рассказов, очерков. Они действуют своей эмоциональной заряженностью: нельзя равнодушно слушать крик страдания и ярости, но — оставим в стороне публицистику Алекса Ла Гумы — в большинстве своем не посягают на сколько-нибудь серьезное рассмотрение причин и следствий. Проза Мэри Бенсон тоже окрашена болью и гневом, но это не препятствует углубленному размышлению над путями и судьбами страны, которые посреди рушащихся колониальных режимов громоздятся в сегодняшнем времени неким чудовищным анахронизмом, пребывая наряду с соседней Родезией оплотом белого расизма в Африке.

Тут сказывается историческое своеобразие самого южного государства Африки. Голландские фермеры — «буры», поселившиеся на земле банту триста лет назад и создавшие республики Трансвааль и Оранжевую, яростно сопротивлялись вторжению английских колонизаторов и были в глазах всего света борцами за правое дело. В годы англо-бурской войны— конец прошлого, начало нынешнего века — русские крестьяне пели грустную песню «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». Буры проиграли войну, их республики стали английским доминионом. Но после второй мировой войны, когда начала распадаться британская колониальная империя, к власти пришли так называемые африканеры, далекие потомки буров, на которых не падало даже слабого отблеска сподвижников Крюгера и Девета.

Крайние реакционеры и националисты во главе со своим лидером Бальтазаром Форстером, африканским последышем Гитлера,

они создали тут чудовищный режим угнетения, насилия, забвения всех правовых и человеческих норм, который сделал ЮАР изгоем в мировом обмене: культурном, научном, спортивном, поставил вне рамок олимпийского движения. Что ни говори, мы живем в эпоху, когда принята Декларация прав человека, и с этим приходится считаться даже тем государствам, которых не особенно коробит моральное лицо форстеровского режима. Но так хочется торговать с богатой ЮАР (одно из первых мест в мире по добыче алмазов, золота, платины, мощная сталелитейная промышленность, дешевый качественный текстиль, изобильное сельское хозяйство), что, скажем, та же Англия пользуется малейшим поводом, дабы ударить в литавры и громогласно объявить: «Форстер исправился, пора нормализовать с ним отношения». Но старая политическая гиена и не думает «исправляться», ибо слишком хорошо знает своих «осудителей», знает, что бизнес для них прежде всего. И все нравственные, моральные, религиозные, гуманистические принципы меркнут перед соблазном выгодной торговли. В этом причина прочности и выносливости гнусного режима, не желающего сделать и шага навстречу времени. А чего волноваться Форстеру и его приспешникам? Ну, осудят их на очередной ассамблее, форуме, митинге, ну, сотрясут эфир еще какими-то гневными речами в адрес африканских расистов, не станут играть с ними в бейсбол и регби, исключат из розыгрыша Кубка Девиса, а тяжело груженные пароходы все так же идут из Кейптауна и порта Элизабет в Европу, Америку, Австралию, Азию.

Конечно, режим Форстера находит твердую опору среди белых хозяев страны, в первую голову африканеров, чей жизненный уровень весьма высок. Впрочем, и проживающие в ЮАР англичане чувствуют себя неплохо, и если осуждают крайности форстеровского режима, то лишь в домашнем кругу. Материальный достаток, сочетаясь с дешевой обслугой и благодатным климатом, создает жизнь, наполненную комфортом,— разве не стоит рали этого мириться с некоторыми, мягко говоря, несовременными приемами режима в отношении коренного населения страны, а по сути полным беззаконием, с предельными ограничениями элементарных буржуазных свобод и презрением мирового общественного мнения? Мирятся, да еще как мирятся! И себе в оправдание ссылаются на черный национализм, якобы представляющий опасность не только для ЮАР, но и для всей Африки, ООН, для всего мира. И разленившиеся, избалованные буржуа чувствуют прилив старинной бурской отваги, когда рассуждают об этой «страшной опасности». Вот монолог доктора Катце, чрезвычайно милого в обществе человека: «...если когда-нибудь нашей стране будет силой навязано правление банту, мой народ никогда не покорится. *Никогда!* Наш бунт, наше подполье не будет иметь себе равных в истории. Да. Мы будем гораздо более дьявольски злыми, чем на это способны банту. Это я вам обещаю, мисс...»

Все политические и социальные акценты расставлены в книге с глубоким знанием дела. Мы узнаем, что ныне среди африканеров происходит резкое расслоение. Далеко не все белые способны оставаться глухими к стонам и крикам, проклятиям и зубовному скрежету забитых первожителей африканской земли. Не все могут маленькое, личное, жадное ставить над совестью и моралью. Не все могут жить с головой, повернутой вспять. Не у всех белых кожа носорога, зрение крота, слух тетерева и косматое сердце недочеловека. Чувство вины все сильнее разъедает защитную оболочку угодливой софистики, проникает в мозг и душу, становится неодолимым позывом к действию. И от либеральных речей, безопасных жестов прекраснодушия, дамской благотворительности и комитетов помощи заключенным лучшие представители той среды, которая еще недавно казалась монолитной опорой форстеровского режима, стали переходить на путь активной борьбы с апартеидом.

Рядом с черными борцами за свободу и достоинство африканцев становятся белые, такие, как адвокат Мэтью Маре — удачнейший и значительнейший образ романа. Любовь к Маре помогает прозрению главной героини, журналистки Энн Доусон, в которой, вероятно, отразились черты самой писательницы. Предки Энн, выходцы из Англии, некогда враждовали с предками африканера Маре, сражались с ними и вышли победителями, а после второй мировой войны, с падением правительства фельдмаршала Смэтса, уступили им власть и политическую арену. А у Мэтью Маре и Энн Доусон общий враг, общая цель, и в борьбе за эту, до конца осознанную цель они возрождают свое человеческое достоинство, утраченное белыми в Африке.

Внучка английского переселенца и потомок смелых буров оказались по одну сторону баррикад — об руку с другим африканером Коби Ферсфелдом, с черным Даном Маханой, за которым угадывается герой южноафриканского сопротивления Нельсон Мандела, с юношей Натаниелем, чьи руки рвутся к оружию. А по другую сторону баррикад — Форстер со всей своей бандой, высококультурный доктор Катце, готовый в любую минуту превратиться в безжалостного убийцу, черный полицейский Мфаса — предатель своего народа. А уж если на то пошло, здесь же и английские родственники Энн Доусон с их лояльностью к властям, нежеланием вмешиваться «не в свое дело», тщательно скрываемым отвращением к людям с темной кожей. Вот как расслоилось ныне общество в Южной Африке, и до чего же далеко это от старой наивной антитезы: черные — белые. Не цвет кожи определяет место человека в борьбе, а идейная вооруженность, верность общеземному делу, чувство ответственности и мужество.

Писательница вкладывает в уста Мэтью Маре чрезвычайно важное рассуждение, перекликающееся с некоторыми мыслями романа Грэхема Грина «Комедианты»: что заставляет людей достойных и совестливых жить при подобных режимах, даже если у

них есть возможность уехать? Эти люди не обладают материальным избытком, не нуждаются в дешевой рабочей силе, а синее небо и пенистые волны, золотой пляж и пальмовая сень лишь подчеркивают для них тот ужас, который творится в глубине благостного пейзажа. И все же они остаются... «В нашей стране,— говорит Мэтью,— каждый день — либо из-за массового идиотизма, либо в силу намеренной жестокости — уничтожаются любовь, достоинство, порядочность. А коль скоро мы это признаем, то мы признаем и ответственность противостоять подобному разрушению, а это значит встать на сторону жизни... Да, вас преследуют, подавляют, но это само по себе придает вам силы, жизненные силы. И те, кто сумел выжить в этом безобразии и абсурдности здешнего существования, получили в наследство любовь тех, кто пожертвовал собой, кого отправили на виселицу или бросили за решетку... Их живое присутствие ощущается, они оживляют нас, учат нас верить друг другу, относиться с нежностью друг к другу»...

Вот почему так важно остаться. И когда Энн Доусон понимает это, она делает тот выбор, что раз и навсегда определяет судьбу человека. Отныне и до конца она с теми, кто «научился жить с правдой», и не отступит от этой суровой науки, за которую не страшно заплатить любую цену.

Новизна романа Мэри Бенсон для советских читателей прежде всего в том, что даже известные нам обстоятельства жизни сегодняшней ЮАР даются в необычном ракурсе, с непривычной точки зрения белых жителей страны, мы же приучены к тому, что рассказ ведется от лица аборигенов. Наше представление об этой, как рана кровоточащей, точке земного шара становится полнее, сложнее, многообразней. И мы должны быть благодарны видной политической писательнице, проявившей в своем романе — при всех издержках — талант и творческую энергию настоящего художника.

ЮРИЙ НАГИБИН

ПРОСТОР И ТЕСНОТА ЖАНРА

Восемнадцать дней. Рассказы. Перевод с румынского и венгерского. Предисловие Ю. Кожевникова. Москва, «Художественная литература», 1974.

Среди участников этой книги — известные румынские писатели: Эуджен Барбу, Лучия Деметриус, Фэнуш Нягу, Александру Симион, Аурел Михале... И вот что любопытно: все они приобрели известность благодаря романам, повестям, а не рассказам.

Случайно ли это?

О современной судьбе рассказа уже не один год спорят критики и литературоведы. Множество суждений, интересных наблюдений и прогнозов накопилось за это время; рассказчики, конечно, слушают всевозможные мнения о своем жанре, иногда и прислушиваются к ним, но в конечном счете создание очередной новеллы диктуется жизнью, желанием высказать нечто существенное для современников, и высказать сегодня, а не через год, то есть с оперативностью, напоминающей требования журналистики.

И все-таки рассказ не лидирует, не опережает (несмотря на свою мобильность) «крупную прозу», а идет своим — довольно ровным — путем, идет, как бы слегка затененный другими жанрами.

И, видно, это происходит не только у нас. На такие размышления наводит и сборник современных румынских рассказов «Восемнадцать дней».

Сборник, включающий пятнадцать рассказов пятнадцати авторов, открывается обстоятельным предисловием Ю. Кожевникова, сумевшего объединить мозаичные художественные «короткометражки» и показать глубинное стремление весьма непохожих по стилю и тематике писателей к постижению главных духовных ценностей нового человека. Да, это стремление объединяет и рассказы о недавнем прошлом — подпольной борьбе коммунистов, войне, первых послевоенных годах, коллективизации — с рассказами о современности, где соседствуют (и сталкиваются) герои мужественные, целеустремленные, самоотверженные и людишки мелкие — приспособленцы, карьеристы, льстецы. Образ человека нового общества, человека, устремленного в завтрашний день, объемно вырисовывается здесь в трех «измерениях» — историческом (его становление), позитивном (его утверждение) и негативном (его антиподы).

Можно сказать, что с этой точки зрения сборник составлен продуманно, и если читатель настроился на дальнейшее знакомство с «малой» румынской прозой, то книга «Восемнадцать дней» не обманет его ожиданий. Он увидит убедительную картину тех или иных сторон румынской действительности. А если читатель жаждет чего-то особенного, запоминающегося, выдающегося по своей художественной силе, по глубине проникновения в жизнь, то тут, пожалуй, ожидания окажутся «недовыполненными».

Мы сталкиваемся со своеобразным явлением: писатель зачастую берет тему, которой в рассказе тесно. Отчего это происходит? Может быть, оттого, что в наше стремительное и сложное время, когда задачи и ответственность художника требовательно и остро возрастают, писатель или не обращается к рассказу как к слишком «узкому» жанру или пытается «втиснуть» в него современное многомерное восприятие человека.

Вот, к примеру, «Такая у них работа» — рассказ Эуджена Барбу, известного советскому читателю романами «Северное шоссе» и «Яма». Рассказ чем-то напоминает конспект романа или повести. Перед нами трагическая история талантливого ученого Гаврила Бузи, покончившего жизнь само-

убийством. В этой истории пытается разобраться Маркидан, «партийный активист, сравнительно недавно пришедший сюда с промышленного предприятия». Повествование быстро обрастает множеством мыслей и сопоставлений. Тут и семейные, и служебные, и общественные, и моральные, и философские проблемы. Ясно одно: карьеристы и бездельники затравили Гаврила Бузю. Однако истоки случившегося, несмотря на внешнюю «объемность» рассуждений, остаются нераскрытыми. Да и невозможно это в рамках рассказа. И получается, что произведение, захватив непомерно широкий круг вопросов, заканчивается, не успев пойти вглубь... Маркидану, когда он выслушивает двух омерзительных типов, не до анализа. Его просто охватывает ярость, я бы сказал — глобальный гнев. Да, гнев Маркидана производит сильное впечатление, однако реальные обстоятельства и характеры все же не уместились в рассказе. Эуджену Барбу требуется простор и размах романа...

А Фэнуш Нягу, как бы избегая соблазна многомерности, строит свой рассказ «Фиолетовый ковер» исключительно на поэтической фантазии мальчика и создает чудесную сказку о рождении весны. Многие щедро рассыпанные «находки» доставляют истинное наслаждение, однако рассказ держится на одной ноте, и (обратное, по сравнению с Барбу, явление!) будь она чуть покороче, талантливые «находки» зазвучали бы куда сильней.

В этом сборнике наиболее близкие попадания «в яблочко» жанра принадлежат тем авторам, которые спокойно принимают рассказ в доброй, «старой» традиции. «Пожары» — основательное, цельное произведение Александру Симиона, повествующее о борьбе с бандами в первые годы строительства новой жизни. Тут и обстоятельства и характеры даны в той мере, которую математики называют «необходимой и достаточной». В рассказе удачно выхвачено «основное звено» — убедительно показана моральная победа учителя Константинеску, который «отвоевывает» у бандитов душу крестьянина Некулае. И Ференц Папп (пишущий на венгерском языке) отлично освоил площадку рассказа. Его «Пьяный егерь» написан емко, страстно. Противостояние двух характеров (Тимара и Бакоша) превращает, казалось бы, незначительный случай на охоте в принципиальную нравственную коллизию. Два человека раскрываются окончательно и необратимо—в своей духовной полярности.

Рассказ Николае Цика «Восемнадцать дней» более локален. В фокусе повествования один герой, один характер. Это Тудор, человек настоящий, сильный. Его поразительная воля к жизни побеждает болезнь побеждает именно тогда, когда врачи пришли к выводу, что жить ему осталось считанные дни.

Думаю, что как раз благодаря своей локальности, сосредоточенности рассказ обрел живые черты. Если читатель почувствовал характер Тудора, ему легко самому выйти за рамки описанного эпизода — борьбы героя со смертью, выйти за рамки исключительной ситуации и угадать, каким был Тудор в обыкновенной жизни, в повседневности. Это человек, которому мы верим, в которого верим...

Видимо, секрет рассказа — показать немногое так, чтобы читатель увидел многое. Так лицо человека может мгновенно рассказать нечто более ценное и важное, чем автобиография с множеством параметров.

Вначале я сравнил рассказ с «короткометражкой», но это сравнение, пожалуй, не говорит в его пользу. Короткому фильму не угнаться за полным. Чтобы «отстоять» рассказ, надо сильней «развести» полюса. Скорей следовало бы сравнить этот жанр с высоким искусством художника-живописца, умеющего в одном «кадре» выразить суть жизненного явления. Такой «кадр» не соперничает с кинороманом. Просто разные принципы искусства.

И не так уж существенно, что рассказ Николае Цика невыдуман. Автор говорит: «Тудор, герой рассказа, существовал в действительности и был моим хорошим другом». Дело в законах жанра. В их строгости — залог простора.

В этом сборнике каждый рассказ предваряется небольшим авторским вступлением — писательским словом, обращенным к советскому читателю. Это очень полезная, очень удачная инициатива издательства. Иоан Григореску и Александру Симион добрым словом вспоминают Литературный институт им. Горького, в котором они учились двадцать лет назад, и все без исключения авторы сборника говорят о значительности для них каждой встречи с советскими читателями.

Значительность эта — взаимная. Книга «Восемнадцать дней» пришла к нашему читателю хорошим дополнением к ранее изданным сборникам румынских рассказов — «Лето и вьюга», «Алкион Белый Дьявол». И, конечно, обещанием, что за этим сборником последуют другие, которые расширят наше знакомство с богатой и разнообразной румынской новеллистикой.

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

ФЕНОМЕН ПАВЕЗЕ

Чезаре Павезе. Избранное. Серия «Мастера современной прозы». Перевод с итальянского. Составитель и автор предисловия Г. Брейтбурд. Москва, «Прогресс», 1974.

Внимательного посетителя состоявшейся не так давно в Москве выставки итальянской книги поражало обилие представленных на ней книг Чезаре Павезе — писателя, жизнь которого трагически оборвалась уже четверть века назад: переиздания его прозаических произведений — повестей и рассказов, сборников стихов, посмертно изданные дневники «Ремесло жить», письма, многочисленные исследования его творчества и биографии — и среди них на первом месте толстый том, озаглавленный «Абсурдный порок» — очерк жизни Павезе,

написанный его ближайшим другом — тоже писателем-коммунистом, видным деятелем ИКП Давиде Лайоло, впрочем, более известным в Италии под боевой партизанской кличкой «Улисс», ставшей впоследствии его литературным псевдонимом. На римской сцене недавно с успехом был поставлен спектакль, повествующий о жизни писателя. Годовщины его смерти широко отмечают не только специальные литературоведческие издания, но и газеты, общественно-политические журналы. Отмечают, разумеется, с разных позиций: споры, дискуссии о произведениях Павезе, о месте, занимаемом им в послевоенной итальянской литературе, о влиянии, оказанном им на современный литературный процесс, продолжаются поныне, не утрачивая своей остроты. Особенно широко итальянская общественность — повторяем, не только литературная — обсуждала «феномен Павезе» в десятую и в двадцатую годовщины со дня его смерти — в 1960 и в 1970 годах.

Действительно, не часто случается, чтобы критика и читатели, спустя два с половиной десятилетия после выхода в свет последнего произведения писателя, постоянно возвращались к страницам его книг, дневников, писем, всякий раз находя в них новое, обнаруживая ранее не замеченные связи с сегодняшним днем итальянской литературы, пытаясь понять и объяснить сложную личность художника, драматический разлад между его мировоззрением антифашиста, писателя-коммуниста и трагическим восприятием жизни.

Этот глубокий интерес к «феномену Павезе» сегодня в Италии делает еще более нужным и своевременным появление у нас однотомника избранных произведений писателя в выпускаемой издательством «Прогресс» серии «Мастера современной прозы». Впрочем, нельзя сказать, что и до этого советские читатели совсем были незнакомы с творчеством Павезе: еще пятнадцать лет назад у нас вышел его роман «Товарищ» — книга, на которой, как писала итальянская коммунистическая печать, «будут воспитываться все новые и новые поколения итальянской молодежи»; в «Новом мире» был напечатан перевод повести «Луна и костры», в сборниках и журналах публиковались отдельные рассказы и стихотворения. Но однотомник, в который включены четыре наиболее значительные прозаические произведения писателя — роман «Товарищ» и три повести («длинных рассказа» или «коротких романа», как называют их итальянцы): «Прекрасное лето» (мы позволили бы себе все же предпочесть уже устоявшееся название «Погожее лето»), «Дьявол на холмах» и «Луна и костры», несомненно, позволяет создать куда более полное представление о творчестве Чезаре Павезе, по праву считающегося одним из зачинателей и основоположников современной прогрессивной литературы Италии.

Литературовед-коммунист Карло Салинари, говоря о нем, писал: «Павезе, быть может, первый литератор общеевропейского значения, появившийся в Италии после многих десятилетий». Писатель и сам не раз говорил о себе, что он «годен к перу», относясь с высочайшей взыскательностью к своей многообразной литературной работе — прозаика, поэта, мемуариста, переводчика.

Оглядываясь четверть века спустя на созданное Павезе, прежде всего необходимо отметить не столько его высокое мастерство, стилистическое своеобразие, сложные пути его творчества, сколько ту роль, которую играли его книги в первые послевоенные годы — время расцвета таланта писателя — и его деятельность коммуниста и издательского работника, стоявшего у истоков новой, антифашистской итальянской культуры.

Цитируя слова известного итальянского литературоведа Джанфранко Контини, который, определяя место Павезе в литературе своего времени, сказал, что он был бесспорным вождем итальянского неореализма, автор вступительной статьи Г. Брейтбурд возражает ему, хотя и не слишком категорически: «С этим утверждением можно и не согласиться». Нам же кажется, следует, напротив, признать справедливость этих слов, отнюдь не исключая целый ряд весьма существенных оговорок, которые делает Г. Брейтбурд. На наш взгляд, говоря сегодня о «феномене Павезе», верно было бы как раз подчеркивать то обстоятельство, что он вместе с Элио Витторини стоял у истоков неореализма, являя пример для подражания и оказывая практическую помощь целому, чуть более молодому, поколению неореалистов — Итало Кальвино (который считает себя учеником Павезе и исследует его творчество), Карло Кассоле, Беппе Фенольо, Марчелло Вентури и многим другим. Творчество Павезе в послевоенную пору шло в русле неореализма, сохраняя при этом свою самобытность. Нет спора, что «феномен Павезе», быть может, сложнее, противоречивее, чем направление неореализма, не всегда совпадают их корни, и, проживи писатель дольше, возможно, разошлись бы их пути. Однако плодотворнее и точнее, на наш взгляд, подчеркивать ныне не различия, а именно совпадения, близость, единый дух, связывающие творчество Павезе и неореализм как прогрессивное направление тех лет. Ведь главное для Павезе, как и для всех неореалистов,— это непримиримая антифашистская позиция — и личная, и творческая, это критический, суровый и неприкрашенный показ окружающей жизни, неизменная верность героям из народа, подлинная народность, демократичность, стремление к лучшему, более справедливому будущему, практический путь к которому — в борьбе коммунистов.

Чезаре Павезе учился в Турине — городе, считающемся колыбелью итальянского рабочего и коммунистического движения, и туринский период жизни оставил глубокий след в его творчестве. Он окончил Туринский университет, где до него учились Антонио Грамши и Пальмиро Тольятти. А еще раньше — в старших классах гимназии —

его учителем был писатель-антифашист Аугусто Монти, друг Грамши и Пьеро Гобетти, ставший впоследствии и его другом. В университете Павезе сдружился со многими молодыми антифашистами, его первой любовью была подпольщица-связная. Еще в годы учебы Павезе начал переводить английских и американских писателей, переводческую работу он продолжал и став преподавателем в школе, а затем — консультантом книгоиздательства «Эйнауди». Он переводил Дефо и Диккенса, большой его удачей был перевод «Моби Дика» Мелвилла. Павезе первым познакомил итальянских читателей с современными американскими авторами — Ш. Андерсоном, Дж. Стейнбеком, У. Фолкнером, Дос Пассосом, с ирландцем Дж. Джойсом. Тяга к прогрессивной американской литературе была своего рода вызовом официальной культуре фашистской Италии; за свои предосудительные литературные пристрастия и за связи с антифашистским подпольем молодой Павезе был сослан в деревню в Калабрии. Но и там он продолжал работать для издательства «Эйнауди», написал книгу нонконформистских стихов, вышедшую в 1936 году,— «Работать тяжко». Лирический герой Павезе — юноша, который в результате столкновения с враждебной людям цивилизацией, духовным и моральным падением общества утрачивает цельное восприятие окружающего мира, ощущение гармонического слияния с природой и мучительно страдает от духовного одиночества.

Именно тогда уже впервые проявились у Павезе мотивы трагического одиночества, того человеческого отчуждения в буржуазном обществе, о котором много лет спустя нам с такой силой поведали Альберто Моравиа и Микеланджело Антониони. Мрачное мироощущение пронизывало и довоенную прозу Павезе — повести «Твои родные края» и «Пляж». Это настроение безысходности, сознание неотвратимости смерти, неотступные мысли о ней сам Павезе называл своим «абсурдным пороком». Однако, несмотря на угнетавшее его чувство печали, отъединенности от жизни, от других людей, молодой литератор, верный своим антифашистским убеждениям, активно участвует в движении Сопротивления и в 1945 году вступает в Итальянскую коммунистическую партию. И главная тема его центрального произведения — романа «Товарищ» — именно преодоление одиночества, чувства безысходности, страха перед будущим, поиски смысла жизни. Поэтому «Товарищ» до сих пор так часто переиздается в Италии, сохраняя все свое значение для итальянской молодежи.

Вслед за этим принесшим писателю широкую известность романом Павезе пишет лирически-философские эссе «Диалоги с Леуко», выпускает сборник повестей «Прежде чем пропоет петух», который был удостоен одной из самых значительных в Италии литературных премий — премии «Стрега». Герой повестей «Погожее лето», «Дьявол на холмах» (которые вошли в ныне выпущенный у нас однотомник), «Среди женщин», «Дом на холме», многих рассказов — буржуазный интеллигент, ищущий свое место в происходящей борьбе. В 1950 году вышло последнее, наиболее зрелое произведение Павезе, «Луна и костры» — его «лебединая песня». Герой повести, плотник Нуто — самый цельный из персонажей писателя.

В 1950 году в номере туринской гостиницы «Рома» Павезе в приступе тоски из-за неудачной любви к американской актрисе Констанс Даулинг покончил с собой. Его смерть была тяжелой утратой для всей демократической Италии.

Уже посмертно вышли многие его произведения: сборник стихов «У смерти — твои глаза», собрание критических статей, интереснейший дневник, охватывающий период с 1935 по 1950 год, письма писателя, несколько сборников повестей и рассказов.

Прогрессивная критика, призывая к углубленному изучению творческого наследия Павезе, подчеркивает, что стремление писателя выбраться из духовного тупика отчуждения, его приход к антифашистской борьбе и демократической культуре были характерны для всей передовой интеллигенции Италии. Буржуазная же критика, наоборот, концентрирует внимание на трагическом разладе между прогрессивными политическими убеждениями писателя и философией человеческого одиночества.

Выход однотомника прозы Ч. Павезе — важный шаг в знакомстве наших читателей с творчеством этого замечательного художника. Но слава Павезе-прозаика часто заслоняет его славу поэта. Богатство его поэтического наследия у нас еще недостаточно известно, и мы вправе ждать новых встреч с Павезе-поэтом.

Г. БОГЕМСКИЙ

Издано за рубежом

ИМРЕ ДОБОЗИ РАССКАЗЫВАЕТ

Dobozy Imre. A királylány zsámolya. Budapest, Kozmosz könyvek, 1974.

Имя венгерского писателя Имре Добози хорошо знакомо советскому читателю прежде всего по рассказам, которые публиковались в различных периодических изданиях. Книги большого мастера этого жанра в Венгрии всегда ждут с нетерпением. Новая книга Добози носит название, словно взятое из сказки — «Скамеечка королевы».

Небольшой томик делится композиционно на три части — каждая отражает опре-

деленный, исторически значимый отрезок времени. Открывают сборник рассказы, посвященные событиям 1944 года, когда Советская Армия вела бои на территории Венгрии. Пять рядовых венгерской армии, одетые в новое с иголочки обмундирование, продрогшие, голодные, пытаясь пробиться к своим, натыкаются на хутор и входят в один из домов («Скамеечка королевы»). Хозяин, думая, что они дезертиры, встречает их неприветливо. Но дочь его выносит им молока с хлебом и объясняет, что где-то близко русские, а за горой стоит неизвестная воинская часть. Гору ту, поясняет девушка, называют «Скамеечкой королевы», потому что, по народному поверью, принося с собой скамеечку, приходила туда когда-то молиться королевская дочь.

Юноши отправляются в путь и действительно попадают в расположение воинской части... немецкой. Однако «союзники» открывают по ним стрельбу. Минутное замешательство — и юноши принимают бой. Двое из них погибают. Но трое оставшихся в живых теперь твердо знают, «в каком идти, в каком сражаться стане». А грохот русских «катюш» уже слышится совсем близко.

Добози не случайно открыл сборник рассказом, посвященным событиям зимы 1944 года,— большинство простых людей именно тогда воочию убедились, к чему привела страну политика профашистской клики Хорти. Население с каждым днем все решительнее сопротивлялось фашистским властям: отказывалось работать на оборонных сооружениях, охраняло от уничтожения заводы и фабрики. Венгерские солдаты и офицеры все чаще переходили на сторону Советской Армии. Одновременно стало активизироваться и партизанское движение. Рассказы о совместных действиях в 1944—1945 годах советских войск и венгерских отрядов национального освобождения — это страницы и личной биографии Добози. Он тоже сражался в одном из таких отрядов.

Офицер Рыбаков («Январь»), Татушин («Неожиданный концерт»), Блиницкий («Февраль») — герои, в которых Добози особенно дорога их душевность. Идут жестокие бои за каждый дом, за каждую улицу, но в самых трудных ситуациях советский воин остается человечным. Для Добози это главное. Сотни километров пути по венгерским городам и селам прошли бок о бок советские солдаты и венгерские бойцы национального освобождения — именно тогда рождалось взаимопонимание и крепла дружба.

Пройдет еще несколько лет, и бои переместятся на другие «фронты». Нелегким был процесс кооперирования в селах Венгрии. Приходилось преодолевать отчаянное сопротивление классовых врагов. Но время и жизнь доказывали преимущество коллективного ведения сельского хозяйства. И вот уже самые «упорные» супруги Пато пришли к председателю подавать заявление в кооператив («Ливень»). Сдержанно и тонко изображает Добози внутреннее состояние своих героев.

«— Добрый день,— промолвил Пато таким тоном, словно хотел сказать: вот и я пришел.

Его плечи слегка опустились. Это было едва заметное движение... Такое движение обычно делает человек, если долго держал на плечах ношу, сильно, до боли, напрягая мышцы; но вот он сбросил груз, и его плечи расслабленно и облегченно опускаются».

Увидев в своем герое человека завтрашнего дня, Добози создал запоминающийся образ: домовитый хозяин, рачительный земледелец, человек широкой души, Пато станет впоследствии умом и совестью кооператива.

О формировании человека нового общества повествует один из лучших рассказов сборника «Превосходство».

Юноша Лаци живет вдвоем с отцом. Каждый вечер приходит к отцу инженер и они засиживаются допоздна, обсуждая заводские дела. А Лаци спешит к любимой девушке — Кристине. С гордостью рассказывает он ей о заводе, на котором трудится его отец, о том, как отец, простой рабочий, стал инженером. Девушка с интересом слушает, но не все понятно ей, воспитанной в мелкобуржуазной семье. Между ними часто возникают споры о смысле жизни, о том, что важнее: увлеченность работой, отдача себя людям или ставшее самоцелью бесконечное приобретательство: холодильника, машины, дачи, когда люди превращаются в рабов этих вещей.

Лаци искренне и горячо стремится объяснить Кристине (недаром он готовится стать философом), что такое революционность. Для него революционер, коммунист — человек прежде всего необыкновенной внутренней чистоты, мужества и принципиальности. «Пойми, Кристи,— говорит юноша,— ведь именно сейчас, в нашем обществе, рождается тот высокий гуманизм, который составит подлинный смысл существования людей. Я всей душой верю в это!»

Жгучим проблемам общественной жизни посвящены рассказы, составляющие третью часть книги. Это рассказы-очерки, рассказы-документы. Вот Добози полемизирует с Гюнтером Грассом на встрече писателей в Белграде в октябре 1972 года (очерк «Спор о революции»). С убежденностью коммуниста Добози выступает против выдвинутого Грассом тезиса о том, что революционеры якобы провозглашают принципы, которых не могут осуществить. «Быть революционером сегодня — вот единственно возможное решение»,— подытоживает Добози свое выступление...

Заботой о будущей литературной смене проникнут его очерк о встрече молодых писателей в городе Лиллафюреде («Отряд, задающий вопросы»). Здесь он и гневается, и радуется, и гордится. Гневается, когда некоторые молодые «сотрясают» воздух по поводу «конформизма» — «нонконформизма», не сумев разобраться в сути этих понятий; радуется, когда молодежь с

присущей ей горячностью и прямотой говорит о недостатках, гордится ее успехами в творчестве.

С особым волнением читаешь заключающий книгу очерк «Осень в Крыму». Находясь на отдыхе в Сосновой Роще, Добози узнает о кровавых событиях в Чили. С кем бы он ни встречался в те дни — разговор непременно заходит о судьбе чилийского народа, судьбах мира...

Книги, принадлежашие Добози — романы, очерки, пьесы, киносценарии, сборники рассказов,— исчисляются не одним десятком. Но именно благодаря этой небольшой книге с названием, взятым словно из сказки, особенно живо встает перед нами образ человека твердых убеждений, широких знаний, обостренного чувства ответственности, который своим творчеством помогает молодежи определить свое отношение к миру и свое место в нем.

М. УЛЬРИХ

ЭЛИСЕО ДИЕГО: ВРЕМЯ, СТАВШЕЕ СЛОВОМ

Eliseo Diego. Nombrar las cosas. La Habana. Bolsilibros Unión, 1973. Eliseo Diego. Noticias de la Quimera. La Habana, UNEAC, 1975.

Время, наиболее таинственная и неуловимая категория из всех доступных человеку понятий,— тема, смысл и духовный символ поэзии Элисео Диего. Определителями времени предстают перед нами стихи и проза выдающегося кубинского поэта. И не такой уж это невидимка — Время. Кажется, что сфотографирована пустота, а в проявителе поэтического видения медленно, но явственно проступают контуры этого бесплотного скорохода. Время присутствует у Диего «в следах отца на пыльных тропах дней», в фигуре незнакомца: «чудной тихоня — шагом виноватым /он в ночь от нас уходит, в свой удел»; в кубинских селениях, чей красноватый цвет «струится /сквозь пепел рассвета, словно безмолвие»; в героях кубинской истории, о которых рассказывает старик генерал:

И в час, когда в голубизну двора
от рощицы банановой печаль
стекала, листьями шурша в тревоге,—

за пальмами, по контуру бугра,
безмерно ветхие, в ночную даль
бесшумно уходили наши боги[1].

Иногда поэт наблюдает Время со стороны, иногда он сам в нем:

...смотришь, не веря глазам,
как густеющий дым
обволакивает поля,
и наплывает звук —
смутное бормотанье,
а за ним необъятный
общий шорох потемок.
И неожиданно рад,
что вопреки всему
ты оказался внутри
этого ритуала!

[1] Здесь и далее переводы стихов принадлежат автору статьи.

Поступь Времени явственно слышится в опубликованной на Кубе поэтической антологии Элисео Диего «Назвать вещи» (1973), включившей целиком стихи из ранних его сборников «В квартале Хесус дель Монте» (1949), «По диковинным старым селеньям» (1958), «Глухое сияние» (1966), «Версии» (1970), а также, выборочно, стихи из «Образчиков мира, или Книги чудес дона Хосе Северино Болоньи» (1968)[1] и несколько стихотворений, объединенных под названием «Фрагменты из возможной книги». Эта антология впервые позволяет рассмотреть эволюцию творчества Элисео Диего, а сборник микрорассказов «Вести о Химере» (1975), тесно связанный, по словам поэта, с его стихами, и предисловие к нему знакомят нас с размышлениями автора о сути творчества и о развитии кубинской литературы последних десятилетий.

Семнадцать миниатюрных рассказов, входящих в сборник, похожи на сказки, а вернее, на притчи, мораль которых остается на совести читателя, если только он захочет связать события этих почти невероятных историй со своим очевидным опытом.

Это рассказы о прошлом. Автомобильная катастрофа, столь обычная и желанная для уличных зевак, словно срывает оболочку во всего механизма городской жизни, обнажая изнанку жалкого обывательского существования («Стекло безумства»); хозяин мастерской, производящей разного рода лестницы, исчезает, поднимаясь по одной из них,— ему почудилось, что кто-то его позвал («Никто»); стук домино преследует повсюду героя другого рассказа, и перед его глазами проходят судьбы людей, угасающих вместе с затихающим перестуком домино («Домино»); человек с золотыми зубами, в которого влюбляется девушка, не подозревая, что это сам Дьявол,— совсем как в народном куплете, который Диего приводит эпиграфом к рассказу:

Мне приснился красавец
с золотыми зубами,
я с ним под венец пойду.

Дочка, ведь это Дьявол,
тебя он осыплет златом,
осыплет златом... в аду!

Раскрывая смысл этой притчи, Элисео Диего пишет в предисловии, что в ней заключена «критика алчности и тщеты, этих движущих сил кубинской буржуазии конца века».

А вот в темном парке волшебно вырос куст с неведомыми белыми цветами, заставляющими Маркоса, героя одного из рассказов, задуматься о своем одиночестве («Изнанка»). В этом рассказе, созданном за несколько лет до Революции,— вся печаль «маленького человека» в жестоком мире стяжательства, который напоминает одиночек Гоголя и Достоевского, затерянных в темных лабиринтах большого города и в самих себе. В предисловии к сборнику Диего пишет: «В рассказе «Изнанка» нашло развитие одно их моих постоянных раздумий о

[1] Фрагменты из этой книги были опубликованы в «Иностранной литературе» № 1, 1971.

том, что я назвал бы таинством эстетического созидания, о том, к какой пропасти может привести художника его эгоцентризм; если художник не найдет внешней этической опоры — не потеряется ли он тогда в одном из своих постоянных путешествий внутрь самого себя?»

Обращаясь к молодым кубинским писателям, Диего рассказывает в том же предисловии, похожем на исповедь старшего: «В ту пору... писатель жил в блистательной пустоте: попросту говоря, не было места для него, разве что на мельничных жерновах телевидения и радио».

В рассказах и собранных под одну обложку стихах из всех его книг, написанных почти за тридцатилетие, Диего предстает как поэт, который в годы вынужденного самозаточения не затерялся в «путешествиях внутрь самого себя», а в годы национального и социального обновления, сохранив юношескую чистоту восприятия мира, невыспренними словами и образами живописует кубинскую действительность. Похожи на автопортрет строки из недавно написанного им стихотворения «Ода юному свету», который слепит

свое же неугаснувшее сердце,
не озаботясь ни прибылью, ни убылью;
так чистый, точно соль, блаженный свет
срывает с веток времени листву.

«Ветка времени» — вот снова в неистощимом поиске обличий Времени рисует Диего его портрет. Особенно дороги мне строки, где это Время посещает наш простор, как в стихотворении «В гостях у Ивана Сергеевича», в котором поэт, рассказывая о доме-музее Тургенева, пишет:

По правде говоря,
мы и дохнуть боимся: точно тени,
мы за его спиной крадемся тихо,
и если скрипнет невзначай ботинок,
нам так и кажется, что это Время —
что это Время старое скрипит...

А в стихотворении «Встреча в Ленинграде», где Диего с глазу на глаз говорит с Достоевским,— как просто и печально собран мир по берегам неостановимой реки Времени:

На протяженье стольких лет, мой друг,
любить тебя в глухом заокеанье,
приехать и не свидеться и вдруг
понять, что враг людей — не расстоянье,
а Время, чей неизлечим недуг!..

К слову сказать, большой удачей для советской поэзии является то, что Элисео Диего возглавляет работу большой группы кубинских поэтов, переводящих русскую и советскую поэзию на испанский язык. Поразительно точны и естественны переводы самого Э. Диего из Н. Асеева, И. Эренбурга, С. Есенина, Н. Заболоцкого, Л. Мартынова, О. Берггольц, М. Алигер, М. Дудина, Б. Слуцкого, А. Межирова, Д. Самойлова, О. Сулейменова и других наших поэтов.

Его собственные стихи, чьи корни питает классическая испанская и латиноамериканская поэзия, даже тогда, когда они написаны верлибром,— пример неразрушимости поэтической традиции, которая, обновляясь, убедительно выигрывает сражение у преходящих школ поверхностного новаторства, представители которого зачастую вместе с водой выплескивают и ребенка. «Антипоэзия» и «разговорная поэзия» (в их латиноамериканских вариантах), подчас искренние в своем пафосе обновления и поисках нового языка, так часто неубедительны в своем поэтическом итоге.

Образы Элисео Диего, сложенные из простых слов в магические катализаторы метафор, подкупают своей лаконичностью. В его стихах осень —

пора нерасточительных забот,
костра, чью память мы щепой питаем,
скорбя, что свет природы всей погас...

А это строки о воздухе:

как робко прикасается пичуга
ко Времени — не гнущий ветку вес...

Акулы — «челноки зубатых Пенелоп», ложка — «намек на писклявое первое /и шамкающее третье, а в общем —/ намек на крайнюю немощность человека...» И — все то же Время:

Но, узнав его поближе,
каждый смертный удивится
и поймет:
этот недруг — друг наш верный,
он во всем без исключения живет...
...сдачу нам детьми сдает.

Один из образов Времени помогает понять поэтическую концепцию Диего. В стихотворении «Седьмая муза», посвященном кино, которое он определяет как «свеченье, ткущее покров сюжету», Диего говорит:

Титанам цвета грезилось едва ли,
что сможет холст ожить
в жемчужной сказке,
где *время будет времени равно*...

Время поэзии, которое было бы равно времени мироздания,— идеал недостижимый, но желание совместить их в слове, напряженное ожидание художника на бессменной вахте, когда Время в своих разных обличиях может явиться в любой момент и надо быть во всеоружии, чуткость к судьбам мира и каждого человека в отдельности и есть отличающая Элисео Диего черта, о чем бы он ни писал: о родном гаванском квартале своей юности Хесус дель Монте, о кубинской провинции, о кубинской истории, возникающей в его диалоге со старыми гравюрами гаванского типографа Болоньи, о родном очаге и домочадцах в книгах «Глухое сияние» и «Версии» или о сегодняшней Кубе, где «трава сдружилась с морем на новорожденной земле — /слепящей земле, рассекающей прозрачные дали».

И то, что он хочет отдать людям,— это тоже Время, но на этот раз оно движется не вспять, а в необозримые пределы будущего, как в его стихотворении «Завещание»:

Не владея ничем, кроме времени,
не владея больше ничем,
кроме памяти о минувших ночах
и ее бесконечно трепетной сладости,

не владея в конечном счете ничем
между землею и небом,
кроме памяти и этого времени,
и решив написать завещание,
я пишу, сбрасывая с себя
это
бремя:
я завещаю вам Время — все Время.

Стихи Элисео Диего точно сходятся с его духовным обликом — открытостью, искренностью, интересом к людям, странам, убежденностью в правоте человека, созидающего мир не только своими руками, но и трудом души своей. Заметки эти мне хочется закончить стихами о моем друге — замечательном кубинском поэте:

Да, есть Поэт, он дружен со Временем,
—так чисто
Оно в его напевах воркует и лучится,
как будто Время—птица, которая
на плечи
садится к этой мудрой неторопливой
Речи
и ластится к Поэту с бородкою корсара,
а выглядит Диего ни молодо, ни старо,
вот он идет навстречу (в Москве
или Гаване),
на нем гуайавера, пяток сигар в кармане,
слова текут лениво, но каждое весомо,
с ним просто и надежно,
как будто бы ты дома,
он говорит чуть странно
и так же странно пишет,
но он и сам чуть странный,
а пишет он как дышит...
Я об одном мечтаю, чтоб в эту пору
снега
друзей побольше стало у доброго Диего.
Он прошлою зимою в Москве на
рождество
читал мне свою книгу. Я полюбил его.

ПАВЕЛ ГРУШКО

«СКРОЙСЯ, ВЕЩЬ!»

Raymond Jean. La femme attentive. Paris, Éditions du Seuil, 1974.

«В кружевном отделе давка с каждой минутой все возрастала. Грандиозная выставка белых товаров достигла здесь своего апогея в ослепительной белизне тончайших драгоценных кружев. Это было наиболее опасным искушением, желания бешено разгорались, женщины прямо сходили с ума. Отдел был превращен в белую капеллу. Тюль и гипюр ниспадали сверху, образуя белое небо, легкую завесу облаков, застилающую своею тонкой сетью утреннее солнце. Вокруг колонн, в белом трепете простершись до самой земли, спускались волны... кружев, похожие на пачки балерин. На всех прилавках, со всех сторон блистала снежная белизна испанских блонд, легких, как дуновение ветерка, брюссельских аппликаций, с крупными цветами на тонкой основе, кружев ручной работы и кружев венецианских, с более тяжелым рисунком, аланconских и брюггских, блиставших царственным и поистине церковным великолепием. Казалось, здесь находится жертвенник какого-то божества женских нарядов».

Так ярко живописал Эмиль Золя в романе «Дамское счастье» крупнейший магазин прошлого века.

Открыв новую книгу прогрессивного французского писателя Раймона Жана «Внимательная женщина», мы снова попадаем в огромный универмаг, но уже ультрасовременный, являющий собой еще более гигантскую ярмарку товаров по сравнению с магазином, оживающим перед нами на страницах «Дамского счастья». За прошедшее столетие владельцы больших магазинов научились действовать куда изобретательнее и изощреннее своего ловкого и хищного предшественника Октава Муре, безжалостно эксплуатируя человеческие слабости, вкусы и быстро меняющуюся моду. Словно громадные пауки, подобные универмаги расставляют на каждом шагу сети, терпеливо дожидаясь своих жертв. Эти торговые колоссы — своего рода символ «общества потребления», где царствует «вещь», где все призывает потреблять и покупать.

Художественные средства, использованные в романе «Внимательная женщина», отчасти напоминают приемы, уже опробованные Р. Жаном в предыдущей книге — повести «Двенадцатый маршрут» (1973), рассказывающей о тяжелой участи рабочих-эмигрантов во Франции. Повесть эта, в которой писатель обратился к столь острой для страны проблеме, имела большой успех.

«Двенадцатый маршрут» начинается с подробнейшего и как будто бесстрастного описания автобуса и его пассажиров, среди которых едет и герой, рабочий-алжирец по имени Мехди. Кажется, ничто не предвещает драматических событий, и тем не менее мы чувствуем: вот-вот что-то случится. И чем дальше — внутреннее напряжение становится все более ощутимым. Наконец это «что-то» происходит—зацепкой же служит невинная просьба героя, обращенная к водителю: открыть дверь автобуса, попавшего в пробку. Долго сдерживаемая пружина стремительно распрямляется — события следуют одно за другим, и конфликт, возникший на пустом месте (его бы просто не было, если бы речь шла о французском рабочем), завершается судебным процессом, в результате которого Мехди приговаривают к уплате непомерно высокого штрафа.

Роман «Внимательная женщина» также начинается с обстоятельного, похожего на замедленную съемку, документально точного описания — на сей раз магазина-гиганта, куда забрела без копейки денег героиня. Страницы эти занимают целую треть книги. Употребляя краски гораздо более сдержанные, чем в свое время Золя, и не скрывая горькой иронии, воссоздает Р. Жан атмосферу, царящую в универмаге: калейдоскоп товаров, зазывалы, рекламирующие дешевую распродажу, покупатели, «слепые и глухие, словно автоматы», снующие вверх и вниз по многочисленным эскалаторам. Да и сама героиня — автор сообщает нам только ее имя — ничем не выделяется из этого потока обезличенных потребителей.

Как завороженная переходит Вероника из отдела в отдел, не в силах оторваться от

ярких, удобных и красивых предметов, которых ей так не хватает. Эти «вещи» зовут и притягивают, они кажутся столь доступными, их можно рассмотреть, ощупать, примерить, и никто на вас не обращает внимания, да и продавцов не видно вокруг. «В больших магазинах кражи совершаются каждый день. Позавчера она сама читала об этом в газете Конечно, это не повод, чтобы вести себя так же, но ведь чаще всего люди воруют вещи не крайне нужные, а бесполезные, владеть которыми просто приятно...»

Скрытая напряженность возрастает. Как и при чтении «Двенадцатого маршрута», мы уверены: сейчас что-то произойдет. И вот неизбежное совершается. Преступница-жертва еще и сама не ведает, что капкан захлопнулся. Она тешит себя надеждой, что ее кража осталась незамеченной, да она и не осознала еще, что совершила кражу. Вероника действовала в этот миг, словно зачарованная и загипнотизированная сказочным изобилием товаров. Вещь, перед которой она не смогла устоять,— будильник. Не предмет роскоши, а вещь, необходимая в каждой семье. С тех пор как у них в доме испортился будильник, Вероника уже много месяцев плохо спит по ночам, боясь утром проспать. А вставать ей приходится рано — нужно вовремя накормить завтраком мужа, отправляющегося на работу, и проводить в школу сына.

Но за каждым покупателем следят невидимые глаза — владельцы магазинов специально нанимают целый штат тайных агентов, которые выслеживают злоумышленников. Один из таких агентов наблюдал и за Вероникой. Профессиональное чутье сразу подсказало ему, что в какой-то момент она не выдержит и поддастся искушению; ему даже хотелось предупредить ее о нависшей над ней опасности, но это не входит в его обязанности.

За содеянное Веронике грозит или громадный штраф (1200 франков — причем заплатить их нужно немедленно), или тюрьма. Запугав Веронику, агент начинает ее шантажировать. В конце концов, готовая любой ценой избежать огласки, скандала и позора, который неминуемо отразится на служебном положении мужа, растерявшаяся женщина соглашается встретиться со своим преследователем. Но, оказавшись наедине с ним в загородной гостинице, Вероника словно пробуждается вдруг от своего оцепенения и убегает. На следующий день ее арестовывают и она попадает за решетку.

Как и в «Двенадцатом маршруте», мелкий, незначительный случай, подмеченный и выделенный автором среди множества подобных, вырастает в драматический конфликт, обусловленный и порожденный совсем не случайными обстоятельствами.

Время, проведенное в тюрьме, явилось для Вероники своего рода «жизненной школой». Она столкнулась здесь с миром, о существовании которого до сих пор даже не подозревала. И впервые задумалась о своем существовании, о жизни в плену заведенного порядка, в плену «вещей», о беспросветном однообразии каждодневных обязанностей, о своей духовной изоляции и одиночестве. Чем же, в сущности, отличалась ее прежняя жизнь от теперешней — в тюрьме, где царит та же отупляющая монотонность и вынужденное подчинение порядку, который она не вправе нарушить? Но здесь она впервые встретила людей, готовых ее выслушать, проявить сочувствие, понять. Именно в тюрьме, благодаря соседкам по камере, этим наркоманкам, проституткам и воровкам (у каждой из них за плечами своя печальная история, которая привела их в тюрьму), Вероника узнала, что такое дружба и солидарность — чувства, до сих пор ей неизвестные. «Ей кажется, что она поняла. Что? Она еще и сама не знает. Но это как луч света, упрямо бьющий в глаза, от которого невозможно отвернуться».

Раймон Жан умышленно оставляет что-то недоговоренным — мы понимаем: процесс познания жизни и формирования героини как личности только начинается. Вероника — на пороге новых прозрений. Глаза ее широко открыты, и она внимательно всматривается во все, что ее окружает.

П. Боборыкин назвал в свое время «Дамское счастье» Золя «трезвым исследованием жизни». Трезво исследовать жизнь и те проблемы, которые порождает современное буржуазное общество,— эту задачу ставят перед собой многие французские писатели наших дней. И заостренная социологичность, свойственная книгам таких литераторов, как Ж. Перек, Э. Базен, Ж.-Л. Кюртис, Р. Мерль, Р. Жан, выдает их стремление как можно скорее, не откладывая на будущее, подвергнуть критическому анализу конкретные стороны действительности и требующие немедленного решения наболевшие вопросы.

Внимательно, как и его героиня, вглядываясь в жизнь общества, Р. Жан в своих произведениях смело выявляет его недуги. В романе «Внимательная женщина» писатель — вслед за Э. Триоле («Розы в кредит»), Ж. Переком («Вещи») и другими — в подчеркнуто социологическом ключе исследует проблему человеческой личности в обществе потребления и выносит приговор миру, где безгранично властвует вещь. Недаром эпиграфом к роману Р. Жан избрал лозунг, часто звучавший во Франции в майские дни 1968 года: «Скройся, вещь!»

Критики, высоко оценившие новую книгу Р. Жана (премия «Попюлист» за 1975 г.), выражают надежду, что рассказанная в ней история духовного пробуждения героини (ведь недаром украденная ею вещь была именно будильником) заставит и многих французов пробудиться от морального и политического оцепенения, мешающего им критически и без иллюзий взглянуть на себя и свое окружение.

Н. П.

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

МЕМОРИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГЕНРИ ЛОУСОНА

Издательство «Энгус энд Робертсон» завершает выпуск мемориального издания произведений выдающегося австралийского писателя Генри Лоусона (1867—1922), которое осуществляется под редакцией профессора Колина Родерика, изучающего творчество Генри Лоусона вот уже более двадцати лет.

Издание было начато в 1970 году сборником писем Генри Лоусона, относящихся к 1890—1922 гг. В 1972 г. вышел сборник рассказов писателя. Тогда же был опубликован дневник Лоусона, который он вел на протяжении всей своей творческой жизни. Совсем недавно издательство выпустило трехтомное «Собрание поэзии» Лоусона и том под названием «Комментарии», в который вошли критические работы о творчестве писателя, появившиеся с 1894 по 1971 г. Завершит издание богато иллюстрированная биография «Генри Лоусон и его окружение».

Подчеркивая огромное значение творчества Генри Лоусона для национальной и мировой литературы, рецензент «Джорнэл оф коммонвел литерачер» Норман Джефферес пишет: «...Все творчество Лоусона отмечено неизменно крепнущей верой в человека. Писатель мастерски изображал австралийскую действительность, которую наблюдал в столь непосредственной близости и столь глубоко познал».

АНГЛИЯ

КТО ЖЕ АВТОР?

Что это — мистификация или реальность: Джейн Остин опубликовала новый роман? То есть, конечно, сама она опубликовать ничего не могла, поскольку ее давно нет в живых. Тогда это литературная сенсация: обнаружено ранее неизвестное произведение Джейн Остин, которое лишь в 1975 году стало достоянием публики и критиков.

Действительно, издательство «Питер Дэйвис» выпустило в свет роман «Сэндитон», автором которого является Джейн Остин... и еще «другая леди», которая в силу каких-то причин пожелала остаться анонимной. Известно лишь, что она «большая почитательница Джейн Остин».

Интерес, который вызвала эта публикация, естествен. Англичане высоко ценят творчество Джейн Остин. Поэтому все ведущие английские литературоведческие журналы и газеты поместили статьи и рецензии на это произведение.

Патриция Биер, критик журнала «Лиснер», выступила со статьей под названием «Что стало с Джейн Остин?».

Джейн Остин, пишет Патриция Биер, начала работу над этим романом в январе 1817 года, к марту было написано одиннадцать глав. В июле она скончалась. Эти одиннадцать глав и стали известны как «Сэндитон», хотя родственники писательницы утверждали, что она хотела озаглавить роман «Братья».

Написанные главы, замечает Патриция Биер, показывают, какого мастерства достигла к концу жизни Джейн Остин. В них мы знакомимся с основными действующими лицами романа, понимаем, какие сюжетные линии в дальнейшем будут играть важную роль. Блистательны комические страницы романа, где Джейн Остин описывает нравы общества, собравшегося на курорте Сэндитон.

Неоконченный роман Джейн Остин завершила

«другая леди», дописав еще девятнадцать глав.

Патриция Биер допускает, что «другая леди» — большой знаток творчества Джейн Остин, но ее не устраивает вся повествовательная техника в дописанных главах. Взгляды Джейн Остин и «другой леди» на природу романа различны, и в этом Патриция Биер прежде всего видит причину неудачи «другой леди».

В заключение своей статьи рецензент пишет: «Чтобы получить удовольствие от совместного труда этих двух, видимо никак не совместимых, литературных дам, надо забыть, что нашему вниманию предлагается роман Джейн Остин, и читать его только как творение «другой леди».

Не менее резко об этой публикации высказывается на страницах журнала «Спектейтор» известная английская писательница Оливия Мэннинг. Свою рецензию она озаглавила «Большая приманка». Оливия Мэннинг считает провокацией ставить столь дорогое англичанам имя на скучном романе, написанном никак не Джейн Остин, а какой-то другой женщиной. «Нам вместо настоящей Джейн Остин предлагают серое, банальное произведение, которое мало чем, а может быть, и вообще ничем не отличается от неостиновских романов ее времени». Здесь отсутствует то, замечает Оливия Мэннинг, что делает Джейн Остин «воистину великой английской писательницей: нет ее иронии, ее блестящего остроумия, нет проницательного восприятия персонажей, их поведения, наконец, здесь нет живой жизни».

БОЛГАРИЯ

НОВЫЙ РОМАН ПАВЛА ВЕЖИНОВА

Среди прозаических произведений последнего времени болгарская критика отмечает как особую удачу новый роман Героя Социалистического Труда, лауреата Димитровской премии Павла Вежинова «Ночью с белыми конями». По мнению рецензента еженедельника «Литературен фронт» Бояна Ничева, роман отличается многоплановостью и большой глубиной постановки нравственных проблем.

«Ночью с белыми конями»,— пишет критик,— это книга о взаимопонимании между людьми в условиях нашей современной жизни и об одиночестве, о связи поколений, об их соперничестве и сотрудничестве, о человеческой вере и безверии, о силе разума, о вечном и неутолимом стремлении человека к красоте и совершенству... Это не рядовой факт нашей литературы, а произведение большого общественного звучания».

НОВЫЙ ФИЛЬМ О БОЛГАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Студия художественных фильмов в Софии завершила работу над новой картиной о молодежи под названием «Начало дня». Его авторы—сценарист Александр Карасимеонов и режиссер Димитр Петров,— уже не первый год работающие над современной темой, как и в предыдущих фильмах, вновь обращаются к молодежной проблематике. На этот раз внимание авторов сосредоточено на тех представителях молодого поколения, которые уже определили свой жизненный путь.

Главная героиня фильма, инженер-химик (ее играет заслуженная артистка НРБ Цветана Манева) по окончании института получила направление на большой завод, а ее муж, горный инженер (заслуженный артист НРБ Стефан Данаилов), уезжает «в глубинку», где мечтает открыть новое рудное месторождение. Естественно, разлука становится пробным камнем не только любви, но и чувства гражданского долга, нравственной силы, твердости характеров.

«Веря в своих героев,— пишет обозреватель журнала «Фильмови новини»,— в их умение преодолевать трудности как личного, так и производственного характера, авторы фильма не пытаются упрощать ни эти трудности, ни те жизненные проблемы, которые приходится решать героям».

ВЕНГРИЯ

ЮБИЛЕЙ ТЕАТРА ИМЕНИ ДЕРИНЕ

Театральная общественность Венгрии отметила недавно 25-летие Государственного передвижного театра имени Дерине.

За двадцать пять лет своего существования театр, развивая лучшие просветительские традиции венгерского сценического искусст-

Цветана Манева и Стефан Данаилов—исполнители главных ролей в фильме «Начало дня».

(Журнал «Фильмови новини»)

ва, осваивая новые творческие приемы, проделал огромную работу по приобщению народных масс к театральной культуре. Несколько параллельных трупп театра ежегодно ставят свыше пяти тысяч выездных драматических и музыкальных спектаклей в небольших городах и селах Венгрии.

Репертуар театра широк и многообразен: «Тартюф» Мольера, «Вольный ветер» Дунаевского, «Мати Лудаш» Жигмонда Морица, «Банк бан» Йожефа Катоны и «Егор Булычов» М. Горького, «Ромео и Джульетта» В. Шекспира и «Дядюшкин сон» Ф. Достоевского, «Золотой человек» М. Йокаи и десятки других спектаклей.

«ЛАБИРИНТ»

Фильмы режиссера Андраша Ковача всегда пользуются у зрителей большой популярностью. Широко известны его картины «Ливень», «Осенняя звезда», а также фильм «Холодные дни», удостоенный первой премии на V Международном московском кинофестивале.

Скоро А. Ковач представит венгерскому зрителю свою новую работу — фильм «Лабиринт». Вот что он рассказал о нем на страницах журнала «Фильм, синхаз, мюжика»:

«Главный герой моего нового фильма — кинорежиссер, который снимает очередную ленту. Работа в разгаре, и вдруг выясняется, что все участники фильма трактуют его не так, как режиссер. Съемочный коллектив требует, чтобы картина делалась с учетом общего понимания ее целей и задач, а не согласно лишь режиссерской концепции... Фильм «Лабиринт» — это не рассказ о том, как ведутся съемки, это произведение выдвигает чрезвычайно актуальную ныне проблему — проблему мировоззрения художника. Мы стремились воссоздать на экране ту атмосферу, которая питает нашу деятельность, ставит перед нами немало трудностей, но в то же время открывает большие возможности».

В фильме «Лабиринт» участвуют известные венгерские актеры: Иштван Авар, исполняющий главную роль, Ева Рутткаи, Ференц Каллаи, Илона Бенце.

Кадр из фильма «Лабиринт». В роли Актрисы — Ева Рутткаи, в роли Актера — Ференц Каллаи.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ГДР

СТЕФАН ХЕРМЛИН — ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ, ПУБЛИЦИСТ

Лауреатом Национальной премии за 1975 год стал писатель Стефан Хермлин, известный своими прозаическими и поэтическими произведениями, публицистическими работами и переводами.

Недавно Хермлин выступил с чтением отрывков из своей новой, созданной по заданию Немецкой академии искусств книги, которая вскоре выйдет в издательстве «Реклам» под названием «Немецкая хрестоматия». Ее объем — около 700 страниц.

Образцом для Хермлина явился сборник, выпущенный более 50 лет назад Гуго фон Гофмансталем. Но, по сравнению с «Немецкой хрестоматией» Гофмансталя, книга Хермлина охватывает значительно более широкий круг вопросов и тем.

В новую хрестоматию вошли литературные произведения разных жанров за пять столетий. Читатель не только встретит в книге имена знаменитых писателей и поэтов, но и познакомится с творчеством полузабытых и малоизвестных авторов. В книгу включены также высказывания общественных деятелей, художников, артистов.

В откликах, которые поместили газеты «Нойес Дойчланд» и «Берлинер цайтунг», отмечается тесная связь хрестоматии с современностью. «Будь то Грифиус, Клопшток, Гейне, пародия Карла Маркса на «грубианскую литературу» XVI века или стихи Карла Либкнехта и песни Мартина Лютера — все имеет в книге актуальное, боевое звучание».

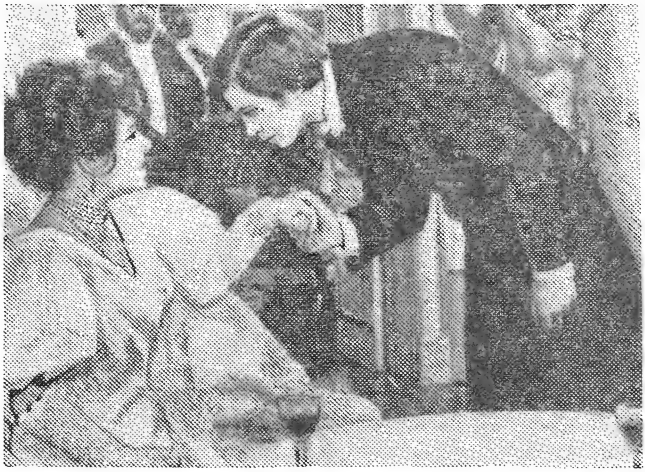
В интервью газете «Нойес Дойчланд» Стефан Хермлин подробно остановился на своих взаимоотношениях с молодежью. «Я рано примкнул к революционной рабочей молодежи,— сказал писатель.— Это определило всю мою жизнь и все мое творчество. Я считаю и всегда считал, что молодежь — наша главная надежда и на нее надо в основном ориентироваться».

Новая «Немецкая хрестоматия», в основном рассчитанная на молодое поколение,— еще одно подтверждение этих слов.

НА ЭКРАНЕ — РОМАН ГЕНРИХА МАННА

По известному роману Генриха Манна «Страна кисельных берегов» («Земля обетованная») создан телевизионный фильм того же названия. «Этот роман, появившийся в 1900 году, положил начало всемирной славе писателя. Он показал современникам мир, которым правят деньги, мир хищнической эксплуатации, грандиозных афер»,— пишет газета «Нойес Дойчланд».

Режиссер Курт Юнг-Альсен и сценаристы Лотар Кройц и Иоахим Кнаут стремились в работе над фильмом как можно точнее передать сюжет романа, сохранить особенности творческой манеры Генриха Манна, силу его сатиры,



Марилу Поольман и Ян Шпитцер в телевизионном фильме «Страна кисельных берегов».

(Журнал «Фильмшпигель»)

гротеск и карикатурность в обрисовке образов.

«Много хороших актеров участвуют в этом телевизионном фильме,— пишет рецензент еженедельника «Зонntаг».— Они сумели приблизить героев Генриха Манна к современному зрителю».

Как отмечает пресса, телевизионный фильм «Страна кисельных берегов» — первая экранизация произведений Генриха Манна на телевидении Германской Демократической Республики.

прошлого века в поисках заработка в Мюнхен». Действие произведения доводится автором до 20-х гг. нашего века, хотя в нем находят отражение и современные события рабочего движения ФРГ.

Макс фон дер Грюн считает, что «Кюну удалось на примере одной семьи показать начало борьбы рабочего класса за социальное равенство, политическое равноправие, зарождение социалистического движения в Германии, борьбу профсоюзного движения за свое признание как реальной политической силы». И хотя рецензент видит много недостатков в языке, стиле и композиции «Времени восставать», он отмечает «умение автора с помощью незначительных, казалось бы, деталей воспроизвести беспросветные будни пролетарской семьи, заполненные трудом от зари до зари, заботами о том, как бы не потерять работу. То есть в прямом смысле слова,— пишет Макс фон дер Грюн,— заботами о хлебе насущном. Поэтому становится понятно, что дети в рабочих семьях, подобных описываемой Кюном, остаются единственным богатством бедных». Особенно удачен, по мнению рецензента, образ главы семьи: «О нем автор рассказывает так ярко и взволнованно, что эта трагическая фигура захватывает читателя, вырастает до глубокого обобщения, превра-

Пьеса западногерманского драматурга Франца Ксавера Крёца (см. «ИЛ» № 1, 1976) «Гнездо» поставлена также и в Германской Демократической Республике.
На снимке: сцена из спектакля лейпцигского театра «Камершпиле».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

ФРГ

«БОГАТСТВО БЕДНЫХ»

Под таким заголовком газета «Ди вельт» опубликовала рецензию известного западногерманского писателя Макса фон дер Грюна на только что вышедший во франкфуртском издательстве «Фишер» роман писателя-коммуниста Августа Кюна «Время восставать».

«Этот большой роман.— отмечает рецензент,— представляет собой хронику жизни рабочей семьи, переселившейся в 60-е годы

щается в символический образ пролетариата».

Историческую ценность романа Августа Кюна Макс фон дер Грюн усматривает в том, что «автору удалось пластически воссоздать время, когда миллионы людей боролись за право называться людьми, политические битвы пролетариата, о которых наши школьные учебники истории стыдливо умалчивают».

ДРВ

О ВЬЕТНАМСКОМ ПОЭТЕ

В издательстве «Эдитер франсе реюни» вышла книга Мирей Ганзель «Кровь и цветы» — очерк творчества и биография современного вьетнамского поэта То Хыу, а также переводы его стихов.

Мирей Ганзель, преподавательница Парижского университета, является автором очерка и переводчицей. Она участвует также в создании шеститомной «Антологии вьетнамской литературы» на французском языке, которую выпускает издательство литературы на иностранных языках в Ханое. Недавно вышел третий том «Антологии».

В своем интервью корреспонденту «Юманите диманш» Мирей Ганзель рассказывает: То Хыу — один из самых известных и любимых во Вьетнаме современных поэтов. Его поэзия вобрала в себя поэтические традиции народного творчества и поистине стала идеологическим оружием в борьбе вьетнамского народа. То Хыу родился в 1920 г. Восемнадцатилетним юношей он вступил в коммунистическую партию, затем был арестован, сидел в тюрьме, в дальнейшем был активным подпольщиком, участником антиколониальной войны. В настоящее время То Хыу является секретарем ЦК Партии трудящихся Вьетнама.

В предисловии к книге «Кровь и цветы» поэт Пьер Эммануэль пишет: «То Хыу стремится быть голосом своего народа потому, что в нем воплощен поэтический дар его народа».

Высоким гуманизмом проникнут фильм вьетнамских кинематографистов «Девочка из Ханоя». В нем рассказывается история вьетнамской школьницы, потерявшей во время налета вражеской авиации мать и маленькую сестру. Девочка отправляется на поиски отца—офицера Народной армии. Добрые и хорошие люди помогают девочке в ее трудных поисках.
Главную роль играет двенадцатилетняя школьница Лан Хыонг, ее игра, по свидетельству прессы, во многом способствует успеху фильма.

(Журнал «Вьетнам»)

ЕГИПЕТ

НАГИБ МАХФУЗ О СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ

Иракский журнал «Алиф ба» напечатал выдержки из беседы известного египетского писателя Нагиба Махфуза с корреспондентом одной из каирских газет.

Корреспондент, в частности, спросил писателя, верно ли, что в образе одного из главных героев знаменитой трилогии «Бейн алькасрейн» — скептика Кемаля Абд аль-Гавада — выведен сам Нагиб Махфуз.

— Кемаль,— ответил писатель,— отражает мой духовный кризис, который был кризисом всего нашего поколения. (Речь идет о поколении египетской интеллигенции 20-х годов нашего столетия.— Прим. ред.)

— В последнее время вас во многом упрекают. Например, в том, что ваше новое произведение «Карнак» не роман, а политический трактат.

— Это действительно так... Лишь в одной или двух статьях, которые мне довелось читать, о нем писали как о художественном произведении. В остальных же роман называли «политическим трактатом» просто для того, чтобы хоть как-то его опорочить.

— Беспокоит ли вас подобного рода критика?

— Нисколько. Ибо как писатель, так и критик выражают свою точку зрения, которую можно оспаривать. Писатель вправе защищать себя и свое произведение.

Далее Нагиб Махфуз добавил:

— Если бы в «Карнаке» я впервые обратился к изображению недостатков нашего общества, критики были бы вправе сказать: «Почему он до сих пор молчал?» Но любой непредвзято мыслящий человек хорошо знает, что я обращался к изображению отрицательных моментов Июльской революции и господствующего порядка не только в одном романе и за это подвергался всякого рода преследованиям.

В заключение интервью Махфуз остановился на роли науки и ее огромном значении в жизни людей.

ИРАК

ОЧЕРКИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОЭЗИИ

По сообщениям иракской прессы, издательство «Дар ат-Тадамун», публикующее литературу на курдском языке, выпустило книгу курдского поэта и писателя Абдаллы Аббаса «Голос черного человека, голос беженцев». Книга включает очерки о поэзии борющейся Африки и творчестве революционных палестинских поэтов.

ИТАЛИЯ

«ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ» ПРИМО ЛЕВИ

Вышла новая книга известного писателя Примо Леви «Периодическая система элементов», привлекшая к себе большое внимание критики. Примо Леви принадлежит к числу итальянских писателей среднего поколения. Во время войны он попал в нацистский концентрационный лагерь, чудом спасся от смерти и, пробираясь на родину, совершил долгое путешествие по послевоенной Европе. Автобиографическая книга, в которой он тогда же все это описал, принесла автору громкую известность. За прошедшие тридцать лет Примо Леви выпустил много книг, под своим именем или под псевдонимом, к которому прибегал в произведениях научной фантастики.

По образованию Примо Леви—химик, и итальянские критики немало спорят насчет того, как правильнее называть Леви: химик, занимающийся литературой, или писатель, занимающийся химией. «Периодическая система элементов» — книга откровенно автобиографическая, поскольку автор фигурирует под собственным именем,— состоит из двадцати одного рассказа. Каждый из них носит название одного из элементов периодической системы: «аргон», «цинк», «золото», «никель» и т. д. Определить, почему рассказ носит то или иное название, нелегко; может быть, в названиях следует искать некий метафизический смысл.

Книгу можно воспринять по-разному. С одной стороны, это сборник ничем в особенности не примечательных историй, достаточно будничных: семья, университет, лаборатория, друзья, девушки, круг чтения. Потом — война, депортация, Сопротивление. Все это описывается с подчеркнутой сдержанностью и скромностью, лаконично, суховато, без литературных красивостей и без пафоса.

По свидетельству критики, эта книга является своего рода автобиографическим коллективным портретом целого поколения итальянской интеллигенции, рассказывая о том, как постепенно формировалось самосознание молодых людей, которым выпало на долю начинать жизненный путь в мертвящей атмосфере фашизма, а потом взрослеть и созревать в годы войны, депортации, Сопротивления. Текст поражает своей предельной конкретностью. Так, в рассказе «Фосфор» описывается находившаяся в Турине сверхзасекреченная лаборатория, где одно время работал Примо Леви. Начальство, с которым никто из сотрудников никогда

«Истинная история мафии» — так назван многосерийный телефильм, который снимает в Сицилии Эннио Муци. В его создании принимают участие кинематографисты и продюсеры различных стран.
На снимке: Энцо Муци и исполнитель одной из ролей—американский актер Том Скеррит.

(Газета «Паэзе сера»)

не встречался, находилось в Базеле. Примо Леви поручили вести исследования, связанные с проблемой диабета. Он проводил эксперименты с кроликами, и все опыты были секретны. Впечатление такое, что лаборатория имела весьма близкое отношение к расистским изысканиям германского национал-социализма, но никто этого не подозревал: каждый отвечал за свой строго ограниченный участок работы.

Итальянская критика разных направлений с редким единодушием приветствовала новую книгу Примо Леви. Критик «Паэзе сера» Фульвио Лонгобарди пишет о неизменном уважении к творчеству этого писателя, дает стилистический анализ нового произведения и приходит к выводу, что сами слова в каждом рассказе «имеют ценность чисто химических элементов, которые не нуждаются ни в каких дополнениях для того, чтобы выразить свою сокровенную суть». Фердинандо Джаннесси в «Джорно» пишет, что Примо Леви — человек удивительной цельности, одаренный большим литературным талантом и редкостным чувством художественной меры. Критик «Пополо» Сильвио Берточчи считает, что автобиографический цикл рассказов надо рассматривать как «историю человеческого и гражданского возмужания целого поколения». В результате этого возмужания молодые люди, подобные Примо Леви и его товарищам, поняли лживость и лицемерие фашистской демагогии.

Большинство критиков особо выделяет один из рассказов — «Железо», в нем повествуется, как Примо Леви подружился с замечательным парнем Сандро Дельмастро, который впоследствии одним из первых погиб в боях Сопротивления. Характер очерчен с большой выразительностью. Общее впечатление от книги, как отмечает критика,— достоверность, нравственная и интеллектуальная честность, гражданственная позиция писателя.

КУБА

ЮБИЛЕЙ «ГРАНМЫ»

Немногим более 10 лет назад вышел первый номер газеты «Гранма» — органа Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы. Созданная в результате слияния газет «Ой» и «Революсьон», она была названа именем легендарной шхуны «Гранма», с которой в 1956 г. высадилась группа кубинских революционеров во главе с Фиделем Кастро Рус, чтобы руководить борьбой народа против диктатуры Батисты.

На страницах первого номера газеты были опубликованы важнейшие документы, ознаменовавшие новую историческую веху в развитии кубинской революции,— документы о создании Центрального Комитета партии и ее первого официального органа печати — газеты «Гранма», о целях и задачах партии, которая стала называться Коммунистической партией Кубы.

На торжественном заседании, посвященном 10-летию «Гранмы», выступил с докладом член Секретариата ЦК Коммунистической партии Кубы Антонио Перес Эррера. Он отметил выдающуюся роль газеты в идеологическом воспитании кубинского народа и строительстве социализма, остановился на задачах партийной печати в связи с первым съездом Компартии Кубы.

МОНГОЛИЯ

МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ ДАРОВАНИЕ

Молодая балерина Оюн, окончившая Ленинградскую балетную школу, с успехом выступает на сцене Улан-Баторского театра. На ее счету уже несколько главных партий в таких балетах, как «Лебединое озеро»,

На снимке: балерина Оюн. *(Журнал «Монголия»)*

«Дон-Кихот», «Доктор Айболит», в национальном балете «Уранкхас».

НОРВЕГИЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД

Издательство «Каппелен» подготовило к выходу в свет три тома «Истории норвежской литературы» под редакцией профессора Эдварда Бейера.

По мнению специалистов, новое издание представляет собой «наиболее компетентное и глубокое с научной точки зрения изложение истории национальной литературы».

«История норвежской литературы» охватывает огромный период — от древнейшей литературы до литературы наших дней.

Первые два тома посвящены периоду средневековья, литературе периода Реформации, позднего Ренессанса, литературе барокко.

Отдельная глава повествует о жизни и творчестве основоположника новой норвежской поэзии Хенрика Вергеланна (1808—1845).

Впервые должное внимание уделено эпохе расцвета «национального романтизма» — литературного движения, стремившегося к усилению национального начала в культуре, обращавшегося к фольклору и к

изображению крестьянской жизни.

С национальным романтизмом связаны имена крупных деятелей культуры и литературы Ю. Вельхавена, Андреаса Мунка, Юргена Муе, Камиллы Колетт и др.

Второй том истории завершается главой о народном поэтическом творчестве, о его влиянии на новую норвежскую литературу.

В третьем томе изложена история норвежской литературы от Ибсена до наших дней.

Критика высоко отзывается о новом издании и называет его большим вкладом в историю национальной литературы.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА

Фильм режиссера Ани Брейен «Жены» вызвал широкий отклик у норвежских зрителей и критики.

В основу киноповествования легли жизненные перипетии трех подруг, которые встречаются спустя десять лет после окончания школы. Они уже замужем, у каждой свои проблемы. Их отношения проникнуты теплотой и искренностью, желанием восстановить человеческие контакты в обществе, где дружба и бескорыстие становятся «дефицитным продуктом». Семейные неурядицы трех героинь запечатлены в фильме безыскусственно, с тонким юмором и легкой грустью.

«В мягкой, ненавязчивой форме Ани Брейен затрагивает актуальнейшую для нашего общества проблему — проблему истинного раскрепощения женщины, наглядно демонстрируя на примере жизненных коллизий героинь те барьеры, которые женщинам предстоит преодолеть в борьбе за свое место в общественной жизни,— пишет рецензент газеты «Фрихетен».— Особо следует отметить актерские удачи исполнительниц главных ролей: Катя Медбё, Анна Мари Оттерсен и Фрёйдис Арманд создали превосходный актерский ансамбль».

ПОЛЬША

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ КИНЕМАТОГРАФИИ НАРОДНОЙ ПОЛЬШИ

В минувшем году польская кинематография отметила свое тридцатилетие. Шестьдесят деятелей кино были удостоены правительственных наград.

Выступая перед награжденными, Председатель Совета Министров ПНР Петр Ярошевич высоко оценил роль и достижения отечественного кино, внесшего существенный вклад в развитие польской культуры и способствовавшего пониманию революционных общественных преобразований в стране.

«Кинематографическое творчество,— сказал он,— может успешно развиваться только тогда, когда видит перед собой благородные цели, когда есть полное понимание задач, стоящих перед нашим обществом».

Говоря о внимании, с каким партия и правительство относятся к дальнейшему развитию польской кинематографии, Петр Ярошевич сообщил, что в предстоящем пятилетии намечено построить в Варшаве киностудию.

От имени награжденных, среди которых такие прославленные деятели кино, как Анджей Вайда, Ян Ломницкий, Анджей Лапицкий, Люцина Винницкая-Кавалерович, Мая Коморовская-Тышкевич, Ева Петельская, выступил Ежи Кавалерович.

ПАМЯТИ КОНРАДА СВИНАРСКОГО

Журнал «Театр» выпустил специальный номер, посвященный замечательному польскому режиссеру Конраду Свинарскому, трагически погибшему в авиационной катастрофе осенью прошлого года.

В журнале помещены статьи видных театральных критиков о творчестве режиссера, воспоминания актеров о работе с ним, интервью, которое Свинарский дал в свое время польскому журналу «Штука», перечень спектаклей, поставленных режиссером. Все выступавшие отмечают редкостную творческую динамичность сорокашестилетнего режиссера и художника, успевшего создать так много за неполные двадцать лет работы в драматическом, оперном, телевизионном театре и в кино.

Кадр из фильма «Жены». Исполнительницы главных ролей: Катя Медбё, Анна Мари Оттерсен и Фрёйдис Арманд.

(Газета «Фрихетен»)

Конрад Свинарский.
(Журнал «Театр»)

Свинарский, как и М. Векверт, Б. Бессон, Э. Монк, прошел серьезную творческую подготовку у Б. Брехта в «Берлинер ансамбль» и был самым молодым из учеников и самым «непокорным». От своего учителя польский режиссер воспринял урок социальной остроты и конкретности лепки сценических характеров, доказав это уже первыми работами на польской и немецкой сценах конца пятидесятых — начала шестидесятых годов. Последующие постановки открыли сильный и независимый талант — оригинального интерпретатора польской и мировой классики, в первую очередь польского романтизма.

Особенно плодотворна была работа режиссера в последнее десятилетие, когда он поставил на польской сцене «Небожественную комедию» З. Красинского, «Войцека» Г. Бюхнера, «Судей», «Проклятие» и «Освобождение» Ст. Выспянского, шекспировские «Сон в летнюю ночь» и «Конец — делу венец», «Дзяды» А. Мицкевича. Достижения последних лет побудили критику заговорить о Свинарском как о «выдающемся представителе польской школы интерпретации Шекспира», «оригинальном комментаторе польского романтизма».

2 сентября 1975 г. на сцене Национального театра в Варшаве состоялась премьера «Клопа» Маяковского — последнего спектакля Конрада Свинарского, но состоялась уже без его создателя.

Последний замысел постановщика — «Гамлет», проработанный с актерами Старого театра во фрагментах,— остался незавершенным: режиссерский экземпляр шекспировской трагедии погиб вместе с ним. По сообщению краковского еженедельника «Жице литерацке», восстановление целостности спектакля оказалось крайне сложной задачей, но коллектив Старого театра взялся за ее осуществление.

Воздействие искусства Конрада Свинарского на умы и воображение зрителей его поколения и молодежи было огромным. «Он был великой надеждой польского театра»,— писала газета «Жице Варшавы».

«В течение более десяти лет Свинарский работал в польском театре, обогатив его непреходящими ценностями»,— отмечала «Трибуна люду».

Свинарский был лауреатом многих зарубежных и польских премий в области художественной культуры. В 1969 г. творчество режиссера было отмечено премией министра культуры и искусства; в 1973 г., впервые присужденной в области искусства, специальной премией «Политики» («за деятельность, которая послужила ферментом мышления, за новаторское творчество большого общественного значения»); в 1974 г. он стал лауреатом и высшей государственной награды — премии XXX-летия. В знак признания заслуг перед польской культурой художник был посмертно награжден польским правительством Командорским крестом ордена Возрождения Польши.

ПОРТУГАЛИЯ

«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ» ИЗДАНА В ПОРТУГАЛИИ

Издательство «Инова» в городе Порту выпустило в свет роман Николая Островского «Как закалялась сталь». В предисловии указывается, что до свержения фашистской диктатуры эта книга, изданная в Бразилии, ввозилась в страну нелегально. «Тайно переходя из рук в руки, она, как боец-антифашист, выполняла важную революционную работу, помогая португальцам познать величие борьбы

Сцена из спектакля «Клоп» Маяковского в Варшавском Национальном театре. Постановщик—Конрад Свинарский, в роли Присыпкина—Тадеуш Ломницкий.

советского народа за победу революции».

Автор предисловия отмечает высокие идейные и художественные качества романа. «Силу великих идей революции, решающую роль рабочего класса и его союза с крестьянством, подлинную любовь к родине и народу — вот что утверждает Николай Островский в своем высокохудожественном произведении. Если верно, что в оценке литературного творения обязательно должен присутствовать классовый момент, то нужно отметить, что роман Островского обладает высокими революционными достоинствами... Эта книга заслуживает самого почетного места в революционной литературе».

Роман «Как закалялась сталь» — так же как и книга Генерального секретаря ПКП Алваро Куньяла «Путь к победе» — открыл новую серию под названием «Мнения».

РУМЫНИЯ

АНСАМБЛЬ, ИМЯ КОТОРОМУ «ТЕАТР ВАХТАНГОВА»

Так называет рецензент еженедельника «Контемпоранул» А. Бэдеску коллектив вахтанговцев, который в минувшем году показал румынским зрителям две лучшие свои работы: «Человек с ружьем» и «Принцесса Турандот».

Напоминая, что обе постановки вошли в золотой фонд истории советского театра, рецензенты «Скынтейи», «Контемпоранула», «Трибуны» особо отмечают высокое революционное звучание массовых сцен спектакля «Человек с ружьем», которые органично сливаются с художественным раскрытием судеб отдельных героев, то обновление, которое приносит с собой революция.

Единодушную высокую оценку получило выступление в роли Ленина народного артиста СССР М. Ульянова, который сумел донести до румынского зрителя правду о вожде пролетариата, не прибегая к чисто внешним приемам, а «стремясь показать изнутри величие Ленина, его глубокую человечность, неустанный духовный поиск. Творческая удача актера обусловлена тем, что за внешним спокойствием и сдержанностью он умело скрывал всю напряженность мысли вождя в минуты ответственнейших исторических решений».

Кадр из фильма «Мастодонт».

(Еженедельник «Контемпоранул»)

«Спектакль «Принцесса Турандот»,— заключает рецензент «Скынтейи»,— стал для нас подлинным гимном молодости, счастья, человечности и вместе с «Человеком с ружьем» оставил самые яркие впечатления как о традициях советского искусства, так и о богатстве талантов коллектива вахтанговцев».

«ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ»

События первых лет народной власти в Румынии неоднократно привлекали внимание писателей, кинематографистов и деятелей театра. В нефтеносном районе Румынии, названном авторами фильма «Огненной землей», бушуют грязевые вулканы. Палеонтологи обнаруживают здесь останки древних гигантов. Жители «Огненной земли» страдают от гнета международных нефтяных монополий. Революционные события первых послевоенных лет обретают особый, неповторимо яркий колорит.

Иоан Григореску, уроженец этих мест и их преданный летописец, и режиссер В. Калотеску избрали сюжетом для своего фильма события одного дня осени 1946 г., когда, в ответ на призыв компартии, рабочие отряды нефтяников направились в села «Огненной земли» — помочь трудовому крестьянству в борьбе с разрухой, засухой и происками охранителей старых порядков, среди которых не последнюю роль играют представители неких «анонимных акционерных обществ».

Противоборство этих сил и составляет, по словам рецензента «Контемпоранула», основу конфликта нового фильма, трагический финал которого обусловлен самой сущностью суровой и ответственной эпохи, ибо новые общественные отношения не могли утверждаться без боя, без жертв.

Среди исполнителей главных ролей в фильме «Мастодонт»—известные актеры Л. Чулей, Т. Караджу, Г. Диникэ, Эм. Ботта, К. Рэуту и др.

СЕНЕГАЛ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Издательство «Нувель эдисьон африкэн» создано около двух лет назад. Это

второе крупное (после камерунского издательства СЛЕ) национальное издательство во франкоязычной Африке.

Среди вышедших книг — сборники рассказов сенегальского писателя Абду Анта Ка «Зло», гвинейского писателя Джибриля Тамсира Нианя «Мери», романы «Нжангаан» Шерифа Адраме Сека, по которому сенегальский режиссер Махама Траоре создал фильм того же названия, «Забытые судьбой» Амара Самба и «Ассока» Мамаду Ндиая, сборники стихов Мамаду Диалло, Ламина Диакхате, Сенгора, несколько литературоведческих исследований, биобиблиографический справочник «Писатели, кинематографисты, художники Берега Слоновой Кости».

В ближайших планах издательства — выпуск антологии новой сенегальской поэзии, а также романов, рассказов и сборников стихов известных и начинающих авторов. Некоторые книги выпускаются совместно с издательствами других африканских стран и с французскими издательствами.

СИРИЯ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Л. Н. ТОЛСТОГО

Как сообщает журнал «Алиф ба», в Дамаске вышел второй том полного собрания сочинений Л. Н. Толстого в переводе известного сирийского литератора доктора Сами ад-Даруби, который ранее перевел на арабский язык сочинения Гоголя и Достоевского. Во второй том собрания сочинений вошли «Севастопольские рассказы», а также рассказы, навеянные пребыванием на Кавказе.

НОВЫЕ КНИГИ ХАННЫ МИНЫ

По сообщениям арабской прессы, в Дамаске вышли в свет два новых произведения известного писателя Ханны Мины: роман «Якорная цепь» и книга воспоминаний «Развалины Тира».

В центре романа «Якорная цепь» — судьба сирийского рыбака в колониальной Сирии, который вынужден скитаться по стране в поисках заработка. В книге воспоминаний Х. Мина рассказывает о своей жизни, творческих исканиях, о прототипах героев своих произведений.

Как пишет обозреватель иракской газеты «Аль-Джумхурия», эти книги знаменуют собой новую ступень в творчестве писателя, который уже обогатил библиотеку арабского романа такими серьезными произведениями, как «Снег идет из окна», «Парус и буря», «Солнце в пасмурный день».

США

«МОЯ МЕТАФОРА АМЕРИКИ»

Роберт Олтман назвал свой новый фильм «Нэшвилл» метафорой Америки, сравнивая использованный в фильме художественный прием с «минным полем» — по его замыслу, каждый кадр, ошеломляющий зрителя музыкой и красками, должен взрывать его самодовольство, самоуспокоенность, заставляя увидеть правду об Америке. Рецензенты еженедельника «Ньюсуик» начинают рассказ о фильме знаменитыми строчками из «Листьев травы» Уолта Уитмена: «Я слышу — поет Америка...» Вся рецензия строится на контрасте — Уитмен слышал голос страны, славящий жизнь, Олтман слышит и видит «больную Америку».

Фильм рассказывает о пяти днях предвыборных торжеств в столице фестивалей фолкмузыки Мьюзик-Сити. Время действия — 1976 год, год 200-летия США. Мьюзик-Сити Олтмана становится ареной грандиозного по размаху соревнования между звездами политики и зрелищ за популярность у публики. Этот вымышленный город превращается в символ самой Америки, ни звезды эстрады и кино, ни кандидат в президенты не жалеют сил, чтобы завоевать симпатии публики. Город полон стремления «завершить двухсотый год истории Америки чем-нибудь правильным», однако феерический, гротескный праздник неумолимо движется к своей бессмысленной развязке — убийству кандидата в президенты.

Общественное звучание фильма необыкновенно сильно, указывают рецензенты, однако особое достоинство они усматривают в том, что Олтману удалось вложить в его содержание

Кадр из фильма «Нэшвилл».

(Газета «Дейли уорлд»)

Стала своеобразной модой в Голливуде ностальгия по кинематографу двадцатых годов. Режиссер Нед Шавелсон собирается воскресить на экранах миф об известном актере немого кино Родольфо Валентино. На снимке: исполнитель роли Родольфо Валентино — итальянский актер Франко Неро и актрисы Натали Вуд и Сюзанна Плешетт.

(Газета «Унита»)

и глубокое понимание трагедии Америки, и горькую иронию, что обещает, по их мнению, большой успех его новой картине, премьера которой прошла одновременно в двенадцати крупнейших городах США.

Критики шутливо называют способность режиссера замечать то, что скрыто от объектива камеры, «олтменскопом», потому что за видимой яркой и ликующей картиной праздника режиссер открывает другую страну — Америку душевной пустоты, насилия и человеческой глухоты. «Нэшвилл» исполнен «шума и ярости», пишут рецензенты. Но фильм показывает также, чем оборачивается «шум» в стране, где никто никого не слышит. Символична фигура одного из 24 героев Олтмана — молодого отца, который не потрудился выучить язык знаков, чтобы общаться со своими глухими детьми. Фильм сопровождают двадцать песен, слова которых знает каждый американец, но эти слова не имеют ничего общего с реальностью. В песнях поется о необходимости сохранить то, чем жив человек, а главное, любовь, потому что без нее жизнь пуста. Но в жизни самих певцов и авторов текстов песен нет ни любви, ни доброты, ни человечности. И взрывая картину торжества. кадры Олтмана обнажают трагедию каждого из 24 «некто и никто». Фильм заканчивается грандиозным предвыборным митингом. За шумом толпы и ревом ретрансляторов никто не слышит звука выстрела. Сидя на плечах отцов, дети продолжают хлопать в ладоши, а толпа в это время поет: «А нам наплевать».

Рецензенты «Ньюсуик» отмечают в качестве недостатка фильма калейдоскопичность и огромную массу материала, включенного в картину. «Но дело зрителя — смотреть», — утверждают критики.

ПЛАНЫ ДЖОЗЕФА ХЕЛЛЕРА

Джозеф Хеллер, чей роман «Что-то случилось», вышедший в конце 1974 года, был назван критиками США «лучшим американским романом последнего десятилетия», поделился своими планами с корреспондентом газеты «Чикаго дейли ньюс». Писатель рассказал, что начал работу над следующей книгой, которую надеется закончить к концу 1976 года и рассчитывает издать в начале 1977 года.

Как известно, первая нашумевшая книга Хеллера «Уловка-22» появилась на тринадцать лет раньше, чем роман «Что-то случилось».

По словам автора, его новая книга, у которой еще нет названия, будет еще более смешной, чем «Уловка-22», и короткой — не более трехсот страниц.

Хеллер познакомил корреспондента с фрагментами будущей книги, предупредив его, что все еще может измениться. Твердо он решил пока лишь одно — герой или, скорее, антигерой будет ученым средних лет, чье увлечение политикой незаметно для него самого превращается в главное содержание его жизни.

Трудно утверждать, пишет в заключение интервью корреспондент «Чикаго дейли ньюс», получит ли третья книга Хеллера столь же широкое распространение, как первые две, но можно с уверенностью сказать, что это будет увлекательная сатира на политическую жизнь Америки.

СНОВА ИСПАНИЯ

Так называется новая книга Альва Бесси, солдата Бригады имени Авраама Линкольна в Испании, одного из голливудских сценаристов, занесенных в черный список во времена маккартизма. Журналист и писатель, автор знаменитой антифашистской книги «Люди в борьбе», А. Бесси в своей новой работе рассказывает о тех американцах, которые сражались в Испании, чтобы преградить путь фашизму.

Рецензент газеты «Дейли уорлд» пишет о том, что Альва Бесси с присущим ему писательским мастерством рассказывает об одной из славных страниц в жизни прогрессивной Америки. Книга свидетельствует о мужестве членов Бригады Линкольна и о той сложнейшей идеологической борьбе, в условиях которой они сумели сделать верный выбор. Газета подчеркивает особое значение книги «Снова в Испании» для молодежи и призывает бывших бойцов Бригады Линкольна откликнуться на выход книги.

Газета сообщает о том, что Альва Бесси получил приглашение приехать в Испанию и принять участие в создании фильма об американском враче, который вместе с испанцами боролся против фашизма.

ТУНИС

ЭНТУЗИАСТЫ ИЗ ГАФСЫ

Третий год в городе Гафса, расположенном на юге Туниса, работает группа энтузиастов драматического искусства, назвавшая свой театр ТТС (Театральная труппа Юга). Как свидетельствуют подборки материалов, посвященных современному театру Туниса, которую напечатал журнал «Африк литтерер э артистик», она является одним из наиболее интересных театральных коллективов этой страны.

ТТС начал свою творческую деятельность спектаклем «Джеха, или Суматоха на Востоке». Пьесу о неунывающем шутнике Джехе, непременном герое арабского фольклора, написал директор театра Мохамед Ража Фархат. Спектакль в постановке Фаделя Жиайби имеет постоянный успех у зрителей. Как пишет в статье «Труппа из Гафсы» Хеди Дхукар, ТТС задал последующим работам театра тон, представив на сцене идеологическую, культурную и социальную действительность арабского мира.

После «Джехи» ТТС подготовил еще три спектакля. Это «Подвиг Мухаммеда Али» — об основателе тунисского профсоюзного движения в 20-х годах нашего века, инсценировка пьесы итальянского драматурга Руззанте, где поднимаются социальные проблемы жизни крестьян, и «Зазия Хилалийская». Последняя пьеса была написана тунисским писателем Самиром Айади специально для ТТС. В ней рассказывается об арабском племени, которое в IX веке вынуждено было из-за голода переселиться с Аравийского полуострова на территорию нынешнего Туниса.

Молодой театр работает в очень трудных материальных условиях. Но театр не просто ждет публику, пишет Хеди Дхукар, он сам ищет ее, выезжая в отдаленные южные деревни, на шахты и предлагая зрителям задуматься над привезенными им спектаклями.

НОВЫЕ КНИГИ

В Тунисе вышел в свет небольшой сборник стихов под названием «Пламя». Стихи, посвященные национально-освободительной борьбе тунисского народа, принадлежат перу ее активного участника Мухаммеда аль-Ида Джаббари (1911—1942), погибшего в тюремном застенке.

Стихотворения Джаббари были в свое время собраны известным тунисским литературоведом Зейн аль-Абидином ас-Сануси. Настоящий сборник вышел под редакцией писателя Мухаммеда Марзуки, который, как пишет журнал «ИБЛА», включил в сборник далеко не все стихи поэта, собранные ас-Сануси.

Журнал «ИБЛА» сообщает и о выходе в свет двух новых книг по тунисской литературе. Первая из них, под названием «Современная тунисская литература. Исследование и критика», опубликована в Тунисе и принадлежит перу литературоведа Саади Абу Зайяна.

Вторая книга — «История тунисской литературы», вышедшая на немецком языке в Висбадене (ФРГ), представляет собой новое, дополненное издание работы чешского востоковеда Светозара Пантучека, опубликованной впервые в Москве в 1969 году. В новом немецком издании изложение доведено до 1970 года. Как пишет обозреватель журнала «ИБЛА» Жан Фонтен, наибольший интерес в работе Пантучека представляет исследование современного периода развития тунисской литературы. Его книга —

первая попытка обобщения в этой области.

Как сообщает иракская газета «Аль-Джумхурия», недавно в Бейруте вышло новое издание книги прогрессивного египетского критика Раги ан-Наккаша «Абуль Касим аш-Шабби — певец любви и борьбы». Новое издание книги критик дополнил главами, которых не было в первом издании, опубликованном несколько лет тому назад в Каире в популярной серии «Прочти».

Мало кому из арабских поэтов посвящено столько исследований, как этому замечательному лирику, одному из основоположников революционного романтизма в современной арабской поэзии.

На родине аш-Шабби в Тунисе проводятся ежегодные конференции, посвященные жизни и творчеству поэта. Его именем назван самый известный литературный клуб. Ведущие тунисские журналы посвящают ему специальные номера. (Недавно такой номер подготовила редакция литературного журнала «Аль-Фикр» в связи с сорокалетием со дня смерти поэта.)

Однако аш-Шабби популярен не только в Тунисе. Его стихи знают и любят во всех арабских странах. Книги о нем выходят в Каире и Бейруте, Багдаде и Аммане.

ФРАНЦИЯ

НОВАЯ ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ФРАНЦИИ

Событием в книжном мире называет французская пресса недавно вышедшую в «Эдисьон сосьяль» двенадцатитомную «Историю литературы Франции». «Совершенно новая история», подготовленная почти двумястами специалистами самых различных областей знания, является «более чем энциклопедией, это настоящая панорама идей и искусств».

Составители этой «энциклопедии» стремились представить литературу как неотъемлемую часть всеобщей истории французской нации, подчеркнуть глубокую связь писательского творчества с соответствующей эпохой. Поэтому в этом монументальном труде впервые в практике такого рода исследований нашли свое отражение вопросы истории языка, истории искусств, истории социологии, экономики и политики.

Каждый том, помимо библиографии и указателя имен и произведений, содержит целую серию специально составленных для каждой эпохи хронологических и сводных таблиц. Эти таблицы позволят не только быстро ориентироваться в датах, но и получать достаточную информацию о всех событиях, относящихся к тому или иному периоду. Таким образом, новая история литературы Франции позволит читателю глубже понять литературное наследие страны. В то же время многообразие точек зрения, разнообразие методов исследования ее создателей дает возможность сопоставить различные формы литературно-критической мысли Франции.

«ПОРТРЕТ ЖАКА ДЮКЛО»

Кинорежиссер Филипп Лаик создал на основе «Мемуаров» Жака Дюкло документальный телефильм «Портрет Жака Дюкло». Фильм снимался в конце жизни Жака Дюкло, и работа над ним была прервана его болезнью. Телефильм явился последним вкладом Жака Дюкло в то дело, которому он посвятил всю свою жизнь, отданную служению рабочему классу и целям прогресса, пишет в «Юманите» Франсуа Морен. Уже ослабленный болезнью, Жак Дюкло собрал все силы, чтобы передать зрителям свой опыт, уверенность в триумфе своих идей.

В «Портрете Жака Дюкло» собран значительный документальный материал, но самое драгоценное в нем — лицо и голос Жака Дюкло, проникнутые мужеством и убежденностью борца и коммуниста.

Известная романистка Франсуаза Саган выступила в качестве режиссера. В основу ее первого фильма «Голубые папоротники» положен один из ее ранних рассказов.
На снимке: исполнительница главной роли в фильме «Голубые папоротники» Франсуаза Фабиан.

(Газета «Унита»)

НЕОБЫЧНЫЙ ФИЛЬМ

Уже несколько недель на телеэкранах Франции демонстрируется необычный фильм: создатели его — тысячи рядовых французских граждан, а «режиссер» — сама жизнь.

Как возник этот фильм? Французское телевидение обратилось к зрителям с просьбой, не могут ли те из них, кто в течение тридцати лет до возникновения телевидения снимал любительские фильмы о жизни своих семей, предоставить их в распоряжение телевидения. И вот со всех концов страны стали поступать посылки. Было прислано свыше 250 тысяч метров пленки, собран огромный материал, требовавший тщательной обработки, монтажа и пересъемки.

Крестины, свадьбы, дружеские встречи, а потом война, оккупация. Очень большой раздел посвящен французскому Сопротивлению.

Авторы этого номера

ХОАКИН ГУТЬЕРРЕС — JOAQUÍN GUTIÉRREZ (род. в 1918 г.).

Коста-риканский писатель — поэт и прозаик, публицист. При правительстве Народного единства в Чили был директором государственного издательства «Киманту́». Автор многих книг, в том числе сборников стихов «Поэзия» («Poesía», 1937), «Хикараль» («Jicaral», 1938), романов «Мангровые заросли» («Manglar», 1947), «Кокори» («Cocorí», 1947), книг очерков «От реки Мапочо до Вислы» («Del Mapocho al Vístula», 1952), «СССР как он есть» («La URSS tal cual», 1967) и др.

В русском переводе вышел его роман «Порт Лимон». Хоакин Гутьеррес неоднократно выступал на страницах «Иностранной литературы».

Роман «Умрем, Федерико?..» («Murámonos, Federico», San José. Editorial Costa Rica, 1973), предлагаемый вниманию читателей, получил премию издательства «Коста-Рика».

■

В поэтической подборке «Молодые поэты Великобритании» впервые на русском языке представлено творчество молодых поэтов Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса, пишущих на английском языке. Они начали печататься в середине 60-х годов, постепенно приобрели известность и популярность, чему в немалой степени способствовало стремление молодых поэтов приобщить к поэзии широкого читателя.

Д. М. ТОМАС — D. M. THOMAS (род. в 1935 г.).

Английский поэт, уроженец Корнуолла, сын потомственного шахтера Автор книг стихов «Два голоса» («Two Voices», 1968), «Валун Логан» («Logan Stone», 1971), «Любовь и другие скорби» («Love and other Deaths», 1975).

Стихотворение «Слепой шахтер из Боталлака» взято из журнальной публикации (1971).

■

ДУГЛАС ДАНН — DOUGLAS DUNN (род. в 1942 г.).

Шотландский поэт. Стал известен после выхода своей первой книги стихов «Улица Терри» («Terry Street», 1969), из которой в нашу подборку вошли стихотворения «Отъезд с Терри-стрит», «В цветочной лавке», «Сутулящиеся». Поэту принадлежит еще несколько сборников стихов, в том числе «Любовь к ничему» («Love of Nothing», 1974).

■

ШЕЙМАС ХИНИ — SEAMUS HEANEY (род. в 1939 г.).

Ирландский поэт, один из наиболее известных поэтов Белфаста. Автор нескольких поэтических сборников. Его стихи вошли во многие антологии ирландской, британской и европейской поэзии.

Публикуемые стихотворения взяты из сборников «Смерть натуралиста» («Death of a Naturalist», 1966), «Дверь в темноту» («Door into the Dark», 1969) и «Замораживание» («Wintering Out», 1972).

■

БРАЙЕН ПЭТТЕН — BRIAN PATTEN (род. в 1946 г.).

Один из наиболее популярных участников ливерпульской группы поэтов. Стихи

Б. Пэттена стали появляться в печати, когда ему было 15 лет. Первый поэтический сборник «Признание маленького Джонни» («Little Johny's confession») вышел в 1967 году. Из него взято одноименное стихотворение и стихотворение «Разговор с лесом». Другие публикуемые стихотворения Б. Пэттена были напечатаны в сборниках «Заметки спешащему человеку» («Notes to the Hurrying Man: summer 66 — winter 68», 1969) и «Неуместная песня» («Irrelevant Song», 1971).

■

БАРРИ МАК-СУИНИ — BARRY McSWEENEY (род. в 1948 г.).

Английский поэт, входит в поэтическую группу города Ньюкасла. Первую свою книгу стихов «Мальчик из Зеленого Кабаре говорит своей матери: стихи 1965—1968» («The Boy from the Green Cabaret Tells to His Mother: 1965—1968») выпустил в 1968 году. В настоящее время он автор трех книг стихов.

Стихотворение «Под впечатлением пожара, превратившего в пепелище здание Армии спасения в Ньюкасле» взято из антологии «Британская поэзия после 1945 г.».

■

ГЛИН ХЬЮЗ — GLYN HUGHES (род. в 1935 г.).

Валлийский поэт. Первая книга его стихов «Соседи. Стихи 1965—1969» («Neighbours. Poems 1965—1969») была признана критикой лучшей среди книг молодых поэтов Уэльса 1969 г. Стихотворения «Снег», «Ветер», «Полоска тающего снега...» взяты из этого сборника.

■

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ (род. в 1911 г.).

Пакистанский поэт, критик, публицист, общественный деятель. Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и премии Ассоциации писателей стран Азии и Африки «Лотос». Пишет на урду. Автор поэтических сборников «Тоскливые узоры» (1943), «Тюремные стихи» (1957), «Рука, придавленная камнем» (1963), «Долина Синая» (1971). Поэт выпустил также сборник литературно-критических статей «Весы» (1962) и сборник писем из тюрьмы «Кресты на моем окошке» (1971).

О беседе с поэтом рассказывает М. Салганик в статье «Связь времен», напечатанной в этом номере.

Публикуемые стихи получены редакцией в рукописи.

■

ПЛИСЕЦКИЙ ГЕРМАН БОРИСОВИЧ (род. в 1931 г.).

Советский поэт-переводчик. В его переводах в издательстве «Наука» вышел сборник персидских народных четверостиший (1969) и книга переводов Омара Хайяма (1972 и 1975). В «Иностранной литературе» публиковались переводы Г. Плисецкого из Хайяма и Хафиза.

■

МАДЛЕН РИФФО — MADELEINE RIFFAUD (род. в 1923 г.).

Французская писательница, журналистка. Активно участвовала в движении Сопротивления; награждена высшим военным крестом. Сотрудничает как публицист, новеллист, поэт в газете французских коммунистов «Юманите». Автор репортажей с мест боев во Вьетнаме и Алжире; была тяжело ранена оасовцами. Выпустила публицистическую книгу «Нефритовые палочки» («Les baguettes de jade», 1953) — о колониальной войне Франции в Индокитае, сборники стихов «Если в этом повинен жасмин» («Si j'en crois le jasmin», 1958), посвященный борющемуся за свободу Алжиру, и «Красный конь» («Cheval rouge», 1973).

На русский язык переведены ее книги репортажей из партизанских отрядов Южного Вьетнама «От вашего специального корреспондента» (за эту книгу в 1965 г. Мадлен Риффо вручена премия Международной организации журналистов) и «В Северном Вьетнаме. Написано под бомбами» — о непреклонной воле и мужестве народа ДРВ.

Под названием «Больница как она есть» мы публикуем фрагменты из новой книги Мадлен Риффо («Les linges de la nuit», Paris, Julliard, 1974).

■

БОГДАНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1932 г.).

Советский литературовед, кандидат филологических наук, ст. научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР, специалист по истории литературы Чехословакии.

Редактор и основной автор книги «История словацкой литературы» (1970) и ряда статей по современной чешской и словацкой литературе XX века.

■

ЯЦКОВСКАЯ КЛАРА НИКОЛАЕВНА.

Советский литературовед, переводчик с монгольского, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института востоковедения АН СССР. Автор работ: «Литература Народной Монголии» (в книге Г. Михайлова и К. Яцковской «Монгольская литература», 1969), «Дашдоржийн Нацагдорж. Жизнь и творчество» (1974), а также автор статей по проблемам литературы МНР и

предисловий к ряду составленных ею книг по современной монгольской поэзии и прозе, выпущенных нашими издательствами.

■

ПАВЛОВА НИНА СЕРГЕЕВНА.

Советский литературовед, кандидат филологических наук, ст. научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР. Автор книг: «Творчество Эриха Мюзама» (1965), «Фридрих Дюрренматт» (1967) и многих статей по немецкоязычной литературе XX века.

■

ВОЛОДЯ ТЕЙТЕЛЬБОЙМ — VOLODIA TEITELBOIM (род. в 1916 г.).

Чилийский писатель и общественный деятель; в настоящее время живет в эмиграции. Автор романов «Сын селитры» и «Зерна в песке», переведенных на русский язык. В нашем журнале (№ 11, 1973) напечатано его эссе о Пабло Неруде.

Статья «Трагедия больше не должна повториться» получена от автора в рукописи.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4/XII 1975 г. А01173. Подписано к печати 9/I 1976 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л. 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,27.
Тираж 600.000 экз. (1-й завод 1 — 350.000 экз.). Зак. 4188.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394